ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
АЛЕКСЕЙ ПОЛЯРИНОВ
18+
Содержит нецензурную брань!

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман Алексея Поляринова напоминает сложную систему озер. В нем и киберпанк, и величественные конструкции Дэвида Митчелла, и Борхес, и Дэвид Фостер Уоллес… Но его герои – молодые журналист, хакер и художница – живут в Москве и, как могут, сопротивляются наступлению дивного нового мира. И защищают центр тяжести – свой, своих семей и своей родины – как умеют. Содержит нецензурную брань!

- Алексей Поляринов
  -
  - Петро
    -
    - «Графт и сердце»
    - <сказка без названия>
    - Путешествие камней
  - Марина
  - Егор
  - Петро
    -
    - Центр тяжести
  - Марина
    -
    - Измаил
  - Егор
    -
    - Фрагмент из книги Александра Грека «Двойник»
  - Егор
    -
    - Павел Караташ
  - Егор
  - Петро
  - Петро
    -
    - Колесо решений
    - [из дневников Петра Портного]
  - Петро
    -
    - Бертольд Брехт, переводчик «Дон Кихота»
  - Ольга
  - Петро
  - Егор

    - Петро
    - Эпилог
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13

Алексей Поляринов
Центр тяжести

Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи: «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и, вспомнив о своем любимом коте, он сказал: «Впрочем, Ходжа не пристрелят, нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят».

Джеймс Босуэлл. «Жизнь Сэмюеля Джонсона»

Петро

Я был сложным ребенком – я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения. Когда моей будущей маме было двенадцать – а мне, стало быть, минус двенадцать, – беззубая цыганка на ярмарке сказала ей: «Твой первый сын будет уродом». Мама была молода и суеверна – она поверила в пророчество. Вернувшись домой, она заявила, что ни за что не родит на свет чудовище.

– Но как же так? – удивлялась ее мама, моя будущая бабушка. – Ты хочешь быть бездетной?

– Нет, – сказала моя мама. – Я сначала рожу второго ребенка, а потом резко перестану рожать.

Эта фраза стала семейным анекдотом, ее рассказывали всем гостям во время праздничных застолий.

Но шутки шутками, а мать моя никогда не давала пустых обещаний: зазор между словом и делом у нее тоньше лезвия бритвы.

Когда я родился, вся родня склонилась над моей колыбелью.

– Так-так, – сказал отец, – значит, получилось.

Мой отец – математик. Он не верил в мистику, беззубых цыганок и прочую абракадабру. Если бы ему сообщили, что он будет жить вечно, он из принципа тут же пустил бы себе пулю в лоб – просто чтоб доказать несостоятельность подобного заявления.

И все же – однажды он признался мне, что влюбился в мою маму задолго до того, как встретил ее.

– Мне рассказали, что на журфаке учится барышня, которая собирается рожать детей в обратном порядке. Я был покорен. Заочно.

История их знакомства – загадка. Они прекрасно помнят тот день – проблема в том, что они помнят его по-разному. Или, точнее, помнят разные дни.

* * *

Мама училась на последнем курсе журфака и проходила практику в коммунистической газете «Красный взгляд». Газета бестолковая и тоскливая, как полное собрание сочинений Ленина, – даже сотрудники редакции потешались над изданием и между собой называли его «Конъюнктивит» (символом «Красного взгляда» был огромный красный глаз). Обязанностей у мамы

было немного, и все они сводились скорее к редактуре, чем к журналистике. Шел восемьдесят пятый год, 23 апреля, тот самый день – начало перестройки. И так уж вышло, что главный репортер газеты именно в тот день поскользнулся на льду и сломал обе руки («Постой-ка, а как он нашел лед весной? 23 апреля же!» – «Не перебивай! Откуда я знаю? Мне сказали, что поскользнулся на льду». – «По-моему, это странно. Это имеет смысл, только если он на катке был». – «Слушай, помолчи, а?»), и главный редактор вызвал маму к себе в кабинет. Ее задача, сказал он, сидя в огромном красном кресле под портретами-профилями Маркса – Энгельса – Ленина, взять интервью у молодого, но уже очень известного в узких кругах математика, Павла Портного.

– Он будет ждать вас в библиотеке МГУ. Ровно в двенадцать.

Она опоздала на сорок пять минут («Типичная Нина». – «Ой, заткнись»).

И все же маме повезло – в тот день она нашла его. В столовой. Он сидел на подоконнике и, держа между колен разрезанный напополам арбуз, огромной ложкой ковырял хрустящую, красную сердцевину. Худой неухоженный очкарик.

«Явный перебор с бровями», – подметила она.

(«Неправта! Не было никакого арбуза! Я читал книгу! Сител на потоконнике и читал книгу! Откуда вообще взялась эта чепуха про арбуз?» – «Тьфу! То тебе лед не нравится, то арбуз!»)

В тот день моя мать встретила моего отца. Проблема в том, что он встретил ее гораздо раньше.

Они ходили в один и тот же бассейн, при университете. Он плавал на сто метров, она – на четыреста. Он не блистал успехами, да и вообще боялся воды, но все равно каждый вторник натягивал унизительные узкие плавки, надеясь, что когда-нибудь все же наберется смелости и пригласит красотку в кино.

И вдруг она сама нашла его. Он ел арбуз («Не было арбуза! Не было! Я читал книгу!» – «Да? И какую же?» – «Обезьяну и сущность» Хаксли») и был так смущен, что боялся смотреть на нее. Но когда она сказала, зачем пришла, он успокоился – числа делали его бесстрашным.

«Человек-калькулятор, – отзывались о нем коллеги. – Не мозг, а микросхема».

* * *

Моя мать приехала в Москву из далекой провинции – за признанием. Она хотела посвятить свою жизнь чему-то важному и, окончив школу, подала документы в МГУ на факультет

журналистики, но за пять лет, тысячу двести сорок часов лекций, тысячу шестьсот сорок часов семинаров и сто два часа практики поняла лишь одно – что ненавидит журналистику и журналистов. И все же эта страсть – служить великой цели – всегда жила в ней и искала выхода. Так Павел Портной, человек-калькулятор, стал ее проектом. У нее появилась цель: посвятить жизнь гению, как Алисия Нэш, Альма Хичкок или Мерседес Гарсиа Маркес. Быть опорой для большого ума, о верности которой через много лет биографы будут с восхищением писать в своих книгах: «Это все благодаря ей!» Она уже видела, как в старости будет гулять по университетским аллеям, и люди будут оборачиваться и шептаться: «Ой, это же жена лауреата премии Филдса, помните ту его трогательную речь? Это он о ней говорил».

Да, именно в таком ракурсе она видела их совместное будущее – и именно над ним собиралась работать. Но – время шло, и оказалось, что не так-то просто заставить гения быть гениальным. Отец так и не выбился в ряды больших ученых – у него не брали интервью (на самом деле, то, самое первое, их совместное интервью – было последним), с его лица не делали слепки для производства бронзовых бюстов. Его пивной живот рос быстрее, чем репутация. А его легкий эстонский акцент – он плохо выговаривал букву «д»: ротина, терево, тверь – с годами все сильнее раздражал ее.

«Он одарен, да, но не талантлив. Это разные вещи. Его статьи в научных журналах так же скучны, как его рубашки и шутки. Да, он почти доказал гипотезу Римана. В этом весь он – одно сплошное «почти», – жаловалась она подругам. Со временем она стала испытывать к нему что-то вроде нетерпеливого раздражения – сродни тому чувству, которое капризный ребенок испытывает к машинке, у которой не крутятся колеса. А гипотеза Римана так и осталась недоказанной.

«Ну чего ты от меня хочешь? – спрашивал он, разводя руками (отчего становился похож на огородное пугало, думала она). – Я живу честно, я телаю свое тело. Чем я провинился?»

«Ну коне-е-ечно! Ты ни в чем не виноват! Это я, это все я! Чего я хочу? Я хочу большего, понял? Сделай одолжение – убери ноль из знаменателя. Такой ум – а дураку достался».

Большой ум должен ослеплять, а не тускло поблескивать в ночи, как бутылочное горлышко в свете луны. Так думала моя мать. И в их любовном треугольнике – он, она и ее амбиции – он оказался третьим лишним.

Красавица и калькулятор.

И каждый вечер, стоя на балконе, завернувшись в плед, докуривая сигарету, бросая бычок в темноту, она говорила себе:

«Сама виновата».

* * *

Мое рождение немного изменило схему их отношений. Мать перестала злиться на отца – и раздражение сменилось равнодушием. Женой гения она так и не стала и теперь хотела быть матерью гения. Амбиции ее всегда опережали время – и логику. Уже в четыре года меня отдали в музыкальную школу – по классу фортепиано.

«Ты будешь новым Шопеном», – шептала она, укладывая меня спать.

Но через два года клавишных пыток выяснилось, что особых музыкальных данных у меня нет – и все, на что я способен, это читать партитуры, запоминать последовательность нот, но не играть их.

Тогда мама отвела меня в секцию плавания. «Ты будешь олимпийским чемпионом». На третий день я чуть не утонул в бассейне.

К десяти годам я числился во всех возможных школах, кружках и секциях – включая кружок оригами и школу дрессировщиков перуанских альпак при цирковом училище[1]. И везде я был не к месту – как римский сестерций в горсти советских рублей.

Мама отчаянно искала во мне зерно величия – и при этом очень боялась, что я буду похож на отца. А я – уже в одиннадцать лет я мог по памяти воспроизвести число «пи» до пятисотого знака после запятой, ни разу не запнувшись. Отец знал об этом и, конечно, мной гордился, но мы скрывали мой талант от мамы – к тому времени математика в ее глазах была сродни неизлечимой хвори. Она потерпела фиаско с отцом и очень боялась, что я повторю его судьбу. А я – при ней я делал вид, что ни черта не понимаю в цифрах. И получалось, что я вру сразу им обоим: маме – о том, что не похож на отца, а отцу – о том, что хочу быть похож на него.

* * *

Они всегда ругались, если речь заходила о моем будущем.

– Может, лучше спросим у него, чего он хочет? – сказал однажды отец, когда я вернулся с кружка авиамоделирования, облепленный пластиковыми деталями самолета «Ил-2,

штурмовик». Мама выковыривала куски фюзеляжа у меня из волос, а отец обрабатывал растворителем пальцы, к которым были намертво приклеены бомбы и закрылки.

– Он ребенок! – сказала мама. – Он не знает, чего хочет. – Она выдернула кусок «Ил-2, штурмовика» вместе с клоком волос.

– Ай! Бо-о-ольно! – закричал я.

– Терпи, – сказала она. – Как ты вообще умудрился? Ей-богу, не ребенок – а беда какая-то! Ну скажи мне, как можно было приклеить к ушам куски пластмассы?

– Это не я! Это ребята! Они спросили, хочу ли я быть супергероем. Я сказал «да». А они сказали, что я теперь – человек-самолет.

Мама не оценила шутку.

– И все-таки, может, не стоит отправлять его на все возможные секции от-тновременно? – не унимался отец.

Он отдирал закрылки от моих пальцев и бросал их в эмалированную кастрюлю с теплой водой, стоявшую рядом.

– Ребенок должен всесторонне развиваться, – сказала мама. – Ты у нас умник, но почему-то ничего никогда не знаешь. Прочитай любую книгу по детской психологии. Детский мозг как губка: он впитывает информацию в семь – слышишь, в семь! – раз интенсивнее, чем мозг взрослого дурака.

– И что с того? – спросил отец. – Это вовсе не значит, что он т-толжен пахать за семерых. Ты веть помнишь себя в тетстве, ты наверняка уже знала в тесять лет, что тебе нравится, а что нет.

– Да ничего я не знала ни в «тетстве», ни в «тесять лет»! – Мама всегда издевалась над его произношением, когда они спорили.

Она выдернула у меня из волос деталь «Ил-2, штурмовика».

– Ай! Бо-о-ольно!

– Терпи. Это что такое? – Она показывала мне деталь.

– Это ротор, – сказал я. – На него крепится винт.

– Вот видишь! – сказала мама отцу. – Даже если ему не нравится то, что он делает, возможно, эта информация пригодится ему в будущем. Человек должен быть всесторонне развит. А ты знаешь, что такое ротор? Вот и я думаю, что нет.

Я хотел почесать затылок, но отец схватил меня за руку.

– Кута? У тебя руки в ацетоне.

– Но у меня чешется.

– Чешется у него! Где чешется?

– В затылке.

Мать с отцом стали вместе чесать мне затылок: мама левое полушарие, папа – правое. Мама чесала нежнее.

– Скажи: тебе нравится секция авиамот-тэллирования? –

спросил отец.

– Ну, вообще-то… – начал было я, но мама меня перебила:

– Перестань портить ребенка!

– «Портить»? С чего это? Я просто хочу узнать больше о его претпочтениях. Разве тать ребенку то, что он хочет, – это не самое лучшее воспитание?

– Брось! Ты прекрасно знаешь, что воспитание состоит из ограничений. – Мама презрительно посмотрела на него. – Дешевый трюк!

– Какой трюк? Нет никакого трюка!

– Ты пытаешься выставить меня ответственной за все ограничения, а сам эдак исподтишка даешь ему мнимую свободу. Это популизм.

Они стали ругаться, продолжая чесать мой затылок.

– «Популизм»? Нет никакого популизма!

– Перестань делать это!

– Телать что?

– Ты все время повторяешь последнее мое слово.

– Слово?

– Ну вот опять!

– Опять?

Отец улыбался – ему нравилось злить ее.

– Мам, пап! Мне больно! – подал голос я, и они перестали чесать мой затылок.

– Ты предлагаешь дать ребенку свободу, – сказала мама. – Но он же ребенок. Если детям дать свободу, они через час заболеют, объевшись мороженого. А через сутки превратятся в чумазых мартышек.

– Может быть, в этом твоя проблема? – сказал отец. – У тебя комплекс Атланта: тебе кажется, что небо рухнет, если ты не бутешь его тержать. Просто ослабь хватку. Совсем чуть-чуть. Перестань тержать небо.

Повисла тишина. Мои родители смотрели друг на друга, я смотрел на них снизу вверх, сидя на табуретке, все еще облепленный деталями «Ил-2, штурмовика».

– Ты – прямо типичный козерог, – сказала мама презрительно.

Отец закатил глаза: «О господи! Опять».

– Ну, конечно, – вздохнул он, – звезды виноваты.

– Можешь сколько угодно издеваться над астрологией, но все твое поведение сейчас доказывает, что я права. Ты – упертый, упрямый скептик, как и все козероги.

– То есть, по-твоему, я не верю в астрологию потому, что я козерог?

Мама хотела ответить ему, но не нашлась и повернулась ко мне:

– Петро, сынок, скажи: может быть, ты хочешь записаться в какую-то конкретную секцию?

– Или уйти из какой-нибуть, – добавил отец.

Я испуганно смотрел на них снизу вверх. Это был первый раз в моей жизни, когда родители спросили мое мнение. По спине, вдоль позвоночника, гадко щекоча, прокатилась холодная капля пота. Я видел глаза отца – я знал: он ждет от меня поддержки его математической линии. Но я не мог – ведь я хотел совсем другого.

– Я хочу быть антропологом, – сказал я.

– Чего-о? – Они переглянулись.

– Простите, – пробормотал я, глядя на свои ладони, облепленные бомбами и закрылками «Ил-2, штурмовика». – Я много думал: я всегда мечтал путешествовать и изучать странные вещи. Я люблю странные вещи. А недавно я узнал, что существует такая профессия – антрополог. И я решил, что буду антропологом.

Родители молча смотрели на меня. Прошло примерно двести семьдесят пять лет, прежде чем они оттаяли и снова заговорили.

Отец виновато чесал затылок – на этот раз свой.

– Тела-а-а, – сказал он.

– Мам, пап! – Я видел, что они не воспринимают меня всерьез, и мне хотелось плакать от обиды. – Я уже даже прочитал одну книгу по антропологии: там человек три месяца жил среди дикарей. Я тоже так хочу. Я хочу в Монголию.

– Почему в Монголию?

Я пожал плечами:

– Потому что там есть дикари.

– О-х-х… – Мама погладила меня по голове. – Поверь, сынок: дикари есть везде. И чаще всего даже там, где ты совсем не ожидаешь их встретить.

* * *

Все эти разговоры угнетали меня – я жил с ощущением, что не справляюсь с тяжестью родительских надежд. Но я был хилым ребенком – и надежды давили все сильнее: и чем бы я ни занимался – я был ниже среднего; как тройка в школьном дневнике: всего лишь «удовлетворительно» и оттого постыдно.

«Завышенные ожидания родителей – одна из главных причин детских комплексов» – это я вычитал в книжке по воспитанию

детей. У мамы их полно. И книжек, и ожиданий. Она сама – дочь талантливой пианистки и потомственного военного – выросла под высоким давлением родительских упований. От нее всегда чего-то ждали – успехов, достижений, медалей. И вот, казалось бы, ее наполненное неврозами детство должно было как-то скорректировать ее отношение к собственным детям – но не тут-то было. Довольно сложно вырасти уверенным в себе человеком, если твои родители постоянно говорят тебе: «Ты недотягиваешь». А если и не говорят, то ведут себя так, что все понятно без слов.

А между тем мама была очень талантлива. Честное слово, я не преувеличиваю и не пытаюсь приукрасить прошлое. У нее был дар – она сочиняла сказки. Выдумывала их буквально на ходу, когда укладывала меня спать вечерами.

Однажды я пришел домой из школы, и, помогая мне раздеться, мама нашла в моем кармане камень.

– Это еще что такое?

Я рассказал, что видел по телевизору, как ураган вырывает дерево из земли и уносит прочь. И этот образ так напугал меня, что теперь, выходя на улицу, я набивал карманы камнями – мне казалось, что если меня настигнет ураган, то тяжесть камней не позволит ему оторвать меня от земли. Мама внимательно слушала историю. Она не смеялась надо мной и не называла меня дурачком – нет, она всерьез задумалась над моими словами. И уже вечером, вдохновленная моей историей, она написала сказку.

«Графт и сердце»

Графт был необычным мальчиком – он родился без сердца. В прямом смысле. Под ребрами с левой стороны у него было пусто. А в остальном он был такой же, как все, – любил футбол, конфеты и маму. Он никогда не дрался, не грустил и не дергал за косички одноклассниц – он был сам по себе. Как большой палец на руке.

И только одно беспокоило его родителей: Графт был такой легкий, что при ветреной погоде ему приходилось носить в кармане тяжелый камень, иначе ветер уносил его слишком далеко от дома.

Мать водила его по врачам, но никто из них так и не смог объяснить, почему ребенок весит не больше сухого листа и как это связано с отсутствием сердца.

Вот так и проходил Графт всю свою юность с пустой грудной клеткой и камнем в кармане. Окончил школу, институт – и пришло время искать работу. Все люди работают – а почему, зачем? Никто не знает. Графта учили, что человек должен приносить пользу, поэтому и работу он искал особенную: такую, где он мог бы быть полезен.

Он решил стать врачом и пошел в больницу.

Приходит и говорит:

– Я хочу быть врачом. Дайте мне больных, я буду их лечить. – И кулаком по столу стучит. – Где больные? Я пришел их лечить. Почему мне не дают больных?

– А почему вы хотите лечить людей? – спросили у него люди в белых халатах.

– Я умный! – ответил Графт и опять стукнул кулаком по столу. Он любил стучать кулаком по столу – ему нравились громкие звуки. – Я знаю о внутренних органах все. Я окончил институт – вот красный диплом. Еще у меня есть зеленый и синий. У меня много дипломов, потому что я умный, а вы – нет. Ха-ха-ха! – засмеялся Графт. У него было необычное чувство юмора.

– А справка о здоровье у вас имеется? – спросили люди в белых халатах. – Чтобы лечить больных, надо самому быть здоровым?

– Конечно, есть! Вот!

– Но постойте! – сказали люди в белых халатах. – Тут написано, что у вас нет сердца.

– Ну и что? Зато у меня есть руки. Разве больных лечат не руками? – Графт показал им свои огромные руки, пошевелил пальцами.

– Извините, – сказали люди в белых халатах. – К сожалению, мы не принимаем на работу людей без сердца.

– А что же мне делать тогда? – спросил Графт.

– Ну, вы можете стать политиком. Или военным. Или адвокатом.

– Но я хочу приносить пользу! – сказал Графт. – Я много учился, я много знаю!

– Для того чтобы приносить пользу – знать недостаточно, – сказали люди в белых халатах.

И Графт ушел. Он совсем не расстроился – у него ведь не было сердца. И даже в детстве, когда он читал книги – например, «Дон Кихота», – ему было скучно: он не понимал, почему люди страдают, встречая несправедливость.

Графт переходил дорогу, когда его окликнул человек: «Эй, парниша! Я слышал, тебе нужно сердце?»

Графт обернулся. Перед ним стоял некто в коричневом плаще – руки он держал в карманах, а высокий воротник был поднят; Графт не видел лица, и ему казалось, что это сам коричневый плащ с ним разговаривает.

– Что вы сказали?

– Я могу продать тебе сердце. Ты ведь хочешь приносить пользу?

Графт кивнул.

Коричневый Плащ повел его по узким, темным переулкам, они зашли в какой-то подвал, где одинокая лампочка освещала стол, стоящий посреди пустой комнаты. Порывшись под столом, коричневый плащ достал картонную коробку и открыл ее. Графт заглянул туда – и увидел десятки сердец. Синевато-красные, овальные – они выглядели точь-в-точь как на картинках в учебнике биологии. Только живые, настоящие. И все они бились, пульсировали – одни быстро и громко, другие медленно и спокойно.

– Это отдам за полцены, – сказал Коричневый Плащ, указав на маленькое чахлое сердце с дырочкой в боку.

Дырочка была заклеена пластырем, но пластырь держался плохо. Сердце билось – и дырочка свистела, приподнимая пластырь.

Графт взял одно сердце – и оно засветилось у него в руках, как лампочка.

– А чего это оно? – спросил Графт.

– Чувствует тепло человеческих рук, – сказал Коричневый Плащ. – Они всегда так. Люди часто покупают их как светильники. Это очень выгодно – гораздо выгоднее даже, чем энергосберегающие лампы. Сердцу ведь не нужно электричество –

достаточно сказать несколько ласковых слов, и оно начинает светиться. Глупый орган.

– Да. Глупый, – согласился Графт. – А сколько стоит?

– Это зависит от сердца. Вот это – тысячу, а вот это – сто.

– А почему так дешево?

– Оно бракованное. Видишь, треснуло.

– А чего оно треснуло?

– Не знаю. Уронили, наверно. Или от холода. Но ты не бойся, треснутое сердце даже лучше. Оно светит, конечно, не так ярко, зато чувствует больше и сильнее. Ты ведь хочешь приносить пользу – тебе пригодится. Парадокс, но поврежденные сердца приносят гораздо больше пользы. К тому же у меня сегодня акция: если ты купишь это треснутое сердце, в подарок ты получишь красный клоунский нос и оленьи рога.

– Зачем мне оленьи рога?

– Как это зачем? А вдруг на тебя нападет олень! Что ты будешь делать без рогов?

Графт покачал головой.

– Я не думаю, что на меня нападет олень, – сказал он.

– Ты смотри, какой самоуверенный! – цокнул языком Коричневый Плащ. – Ну, если не хочешь рога, тогда возьми вот эту кожаную перчатку.

– Одну? А где вторая?

Коричневый Плащ разозлился.

– Слушай, чего ты придираешься! Не будь занудой! Ну хорошая же перчатка – смотри!

– Да я вижу, что хорошая. Но ведь она одна – а рук у меня две. – Графт выставил перед собой свои огромные руки, пошевелил пальцами.

– Да-а-а, это проблема, – задумчиво сказал Коричневый Плащ. – Но ты не злись. Я просто продолжаю дело своего отца. Мой папа всегда терял вещи: носки, ботинки, перчатки. И его это ужасно злило, потому что терялись у него всегда парные вещи. И однажды в голову ему пришла гениальная идея: он открыл магазин, в котором стал торговать одиночными вещами: одна перчатка, один ботинок, один носок. Идея была проста – ведь люди постоянно теряют вещи, правильно? Особенно носки! Ну вот, представь: потерял ты один носок, и один у тебя остался. Что делает в таком случае обычный человек? Просто выбрасывает второй! Но ведь это – ужасное расточительство! Выбрасывать вещи! Замысел моего папы был прост: любой человек, потерявший одну из парных вещей, мог просто прийти в его магазин и найти новую пару! Гениально, правда?

– Да, наверно, – с сомнением сказал Графт.

– Вот поэтому я и хочу продолжить его дело. А пока торгую сердцами – коплю стартовый капитал. Уже через год я собираюсь открыть магазин «Потерянных пар».

– Удачи тебе. Но мне сейчас не нужна перчатка – я куплю вот это сердце.

– Отличный выбор! Хочешь, я заверну его в подарочную бумагу? – спросил Коричневый Плащ.

– Нет, не надо. Оно маленькое – я просто положу его в карман.

– Ну что ж, спасибо за покупку. Не забудь чек, гарантия две недели. Если передумаешь насчет перчатки – ты знаешь, где меня найти. И не жалуйся, если на тебя вдруг нападет олень! Сам виноват – надо было брать рога!

Графт шел по улице, и вокруг не было ни одного оленя.

Сердце тихо билось у него в кармане. Оно было мягкое и горячее, Графту нравилось прикасаться к нему. Раньше он никогда не видел настоящих сердец – и теперь очень удивился, когда заметил, что карман его светится ярко-ярко, дрожащим светом. Как будто там горит костер.

Графт пришел домой, положил сердце на стол и долго смотрел на него. И как-то радостно было у него внутри. «Надо же, – думал он, – теперь у меня есть собственное сердце. Это очень приятно. А почему – непонятно. Без всякой причины».

Он подошел к плите, взял чайник и хотел налить воды – и вдруг услышал тихий шлепок. Он обернулся – сердце упало со стола и покатилось к двери.

– Стой!

Графт догнал его и подхватил. Сердце вспыхнуло – и на мгновение ослепило его. И пока из глаз его сыпались искры – он увидел лицо девушки. Сердце принадлежало ей – и теперь стремилось обратно.

– Но ты мое! Я ведь тебя купил, – сказал Графт.

Сердце снова вспыхнуло, и он почувствовал, как внутри у него все заболело – как будто птица била крыльями у него под ребрами, в пустоте.

Сердце снова выпало у него из рук и, как клубок ниток из сказки, покатилось к двери. Графт открыл дверь – и сердце выкатилось наружу. Оно катилось медленно – и светилось все сильнее. Графт шел за ним и иногда нес его на руках, переносил через лужи и помогал переходить дорогу. Люди оглядывались удивленно.

– Вот чудак! – говорили они. – Сердце выгуливает! Все же знают, что сердце надо держать под замком или на поводке, чтоб никто не украл и не разбил. Одни проблемы от него. Глупый

орган, – говорили люди и шли дальше.

А Графт шел за сердцем. Оно привело его в парк, где на скамейке у озера сидела девушка с длинными волосами. Волосы были такие длинные, что путались вокруг скамейки, и лежали на дороге. Прохожие шли мимо, осторожно переступали через волосы и ругались.

– Ишь, разбросала свои косы! Причесалась бы хотя бы, шельма!

Девушка не слушала их, она кормила стаю воробьев хлебными крошками. Сердце подкатилось к ней и остановилось. Девушка испуганно посмотрела на него, потом – на Графта. Графт поднял сердце, отряхнул от пыли, снял несколько сигаретных бычков, прилипших по пути, и протянул сердце девушке.

– Кажется, оно ваше, – сказал он.

Девушка посмотрела на сердце – и пожала плечами.

– Больше нет. Я подарила его.

– Как? Кому?

Графт стоял, не двигаясь, окруженный воробьями. Воробьи сидели на его ботинках, на руках, на плечах, на голове – и даже на носу и на ушах. И каждый воробей смотрел на сердце.

– Я подарила его одному человеку, – сказала девушка. – А он поменял его на ботинки. Синие, замшевые, с белыми шнурками.

– А что было дальше? – спросил Графт, и воробьи взлетели с его рук, носа и ушей, покружились над ним и расселись на ветках акации.

– Ничего, – сказала девушка. – Он до сих пор ходит в этих ботинках.

Графт сел рядом с девушкой и положил сердце ей на колени.

– Где вы его нашли? – спросила она.

– Купил.

– А зачем оно вам?

– А у меня нет сердца. Я родился без него. Хотел вот, так сказать, восполнить пробел. Но раз уж оно ваше, то…

– Но я не могу забрать его у вас.

– Почему?

– Оно слишком тяжелое. Сердце – центр тяжести человека. Вся тяжесть в нем скапливается, а я не хочу так. Я не смогу его нести – мне тяжело, я надорвусь.

Графт долго смотрел на девушку – ему хотелось прикоснуться к ней.

– Хочешь, я помогу тебе нести его? – спросил он.

Так они и сделали. И жили долго и счастливо – с одним сердцем на двоих. А Графт с тех пор вместо камня носил в кармане только конфеты. Он больше не боялся ветра.

* * *

– А почему его зовут «Графт»?

– Это твое первое слово. Первое, что ты сказал в жизни, – засмеялась мама. – Вот я и подумала: неплохое имя для сказочного персонажа. У кого-то первое слово «мама», а у тебя было «графт». Ты как будто рычал или лаял.

Окончив рассказ, мама целовала меня в лоб, выключала ночник и уходила. А я лежал в кровати, таращился в потолок и думал: о Графте, и его бессердечии, и о камне в его кармане, и о Коричневом Плаще, и его странных затеях, и, конечно, о девушке, которая подарила свое сердце незнакомцу. И я мечтал, чтобы какая-нибудь девушка с длинными волосами подарила свое сердце мне. Я бы никогда и ни за что не променял ее сердце на синие замшевые ботинки с белыми шнурками. Я берег бы его, сдувал бы с него пылинки – и каждый вечер, сидя в кресле, читал бы (или писал) книгу при свете этого сердца.

* * *

Если мама в своих историях делала упор на воображение и развитие души героя – ее притчи учили добру и храбрости, – то рассказы отца были другими, под стать его характеру, они напоминали краткие эссе о природе вещей. Когда приходила его очередь провести со мной вечер, он садился не на край кровати, как мама, а на стул, оглядывал комнату, выбирал какой-нибудь незначительный предмет – например, карандаш, канцелярскую скрепку или, как было однажды, стену – и начинал:

– Сегодня мы поговорим о стенах. Что мы знаем о них?

Я пожимал плечами.

– Ну, во-первых, они отлично играют в теннис – и всегда выигрывают, – говорил отец, стараясь сохранять серьезность. – Во-вторых, стены – скучные собеседники. Мой тебе совет, сын: никогда не разговаривай со стенами – это пустая трата времени. Парадокс: в народе стена не считается таким уж революционным изобретением; во всяком случае, в рейтинге полезности она уступает колесу и математике. Но, по-моему, это несправедливо: вот мир без математики я легко могу себе представить – для этого нужно всего лишь сходить на рынок; а давай представим себе мир, где нет стен. Куда ты теперь будешь клеить обои – на деревья? А рамки с фотографиями? Мир без стен превратится в хаос: ведь если их нет – то окна будут просто глупо висеть в воздухе, а двери вообще потеряют смысл.

Он делал паузу, подмигивал мне.

– Ладно, шутки в сторону. На самом деле стены могут рассказать гораздо больше, чем ты думаешь. Заурядны не стены – заурядны те, кто считает их таковыми. Нужно лишь научиться понимать их язык – язык жестов своего рода.

Не веришь?

Я качал головой.

– Навскидку вот тебе две стены – Великая Китайская и Берлинская. Первая – отражение Востока, вторая – Запада. Первая – символ единения, вторая – раскола. Первая стоит уже десятки веков, вторая рухнула, едва отпраздновав двадцать седьмой день рождения. Возведение обеих было своего рода жестом.

Странно: в западной культуре слово «стена» вообще имеет негативный оттенок («разговаривать со стеной», «сидеть в четырех стенах»). Восток же видит все иначе: для них стена – не столько символ герметичности, сколько – самобытности. В японских домах стены бумажные – чтобы подчеркнуть тонкость ощущений, возможно. И, я думаю, нам стоит у них поучиться.

Стены умеют говорить – и чем старше стена, тем громче ее голос. Стена со следами пуль в кирпичной кладке гораздо красноречивей, чем газетная статья о расстреле. Стена Плача прочнее, чем стены военного бункера – потому что у нее есть голос, и ее цель – не защитить, а дать надежду. Стены бункера защитят тебя, но надежды ты от них не дождешься. Мой рассказ кажется тебе чересчур помпезным? Что ж, виновен – люблю передразнивать Гюго.

Вот пара интересных фактов: в некоторых арабских странах в качестве скрепляющего раствора для стен использовали мед; а Стена Плача вообще возведена без скрепляющего раствора. Ты все еще считаешь стены скучными?

* * *

Мои родители отличались друг от друга так же, как их истории. Они как будто жили в разных мирах; или все же в одном – но по разные его стороны: как Западный и Восточный Берлин. И даже я не стал для них скрепляющим раствором.

А потом все стало еще сложнее – мне сказали, что у меня «будет братик».

– Братик? – Я удивленно смотрел на маму. – Но мне не нужен братик. Я хочу видеокамеру.

– О гс-с-споди, Петро! Ты сам себя слышишь? – Мать гладила себя по животу. – Нельзя так говорить.

Братик, Егор, родился, когда мне было шесть. Мама к тому моменту уже забыла о предсказании гадалки и о своем обещании «родить сначала второго ребенка, а потом резко перестать рожать».

И в жизни моей стало на одну проблему больше.

«Странное дело, – думал я, глядя на мамин растущий живот, – он еще даже дышать самостоятельно не может, но уже умудрился испортить мне жизнь».

* * *

Детство – это метаморфозы; каждый ребенок – немного Овидий; он пишет собственную историю перевоплощений. Это взрослые «ищут себя» (что бы это ни значило), но дети – другие, они ищут новые формы себя. Оно всегда так: мне бы вершить судьбы мира, а тут – домашка по алгебре. Сложно достать луну, если ты даже пакет молока с верхней полки холодильника не можешь достать без табуретки. И я – я был настолько одержим далекими мирами, мечтами о другой, удивительной жизни, что даже в школе стал врать всем о своем происхождении.

Мне было тринадцать, когда наша семья переехала в поселок Рассвет в Ростовской области (поближе к маминым старым родителям и новой отцовой работе), и седьмой класс я оканчивал уже в совершенно другой школе. Каждый новичок знает это унизительное чувство – когда учитель выводит тебя к доске и заставляет рассказать немного о себе. И – клянусь вам: когда я стану президентом, я первым делом наложу мораторий на подобные пытки. У меня будет два моратория: на баранки и на вызов к доске.

Почему на баранки? Не спрашивайте, это слишком личное.

И вот: я стою перед одноклассниками – во всей красе. Точнее, во всей нелепости: ведь мама, по случаю первого дня в новой школе, нарядила меня в костюм с лиловым галстуком. Спасибо, мама. Низкий поклон тебе, тройной книксен. Даже если бы у меня на шее висел мертвый пудель, я бы вряд ли так сильно бросался в глаза. Ах да: мои волосы – они намочены и зачесаны набок с ровным пробором – мое сходство с Гитлером настолько вопиюще, что я уже мысленно планирую захват Польши[2].

– Класс, знакомьтесь, это наш новый ученик, Петр. У него очень интересная фамилия: Портной, – говорит Нина Петровна, учительница литературы и русского языка. – Сейчас Петя расскажет нам немного о себе. – Она смотрит на меня и кивает.

Я выдаю скороговоркой:

– Рост: метр семьдесят шесть. Размер ноги: тридцать семь. Любимый цвет: красный. Можно я пойду?

– Петя, постой, куда ты?

Нина Петровна изумленно смотрит на меня. Класс хихикает – и это хорошо: я чувствую, как атмосфера медленно оттаивает. Мне страшно смотреть на одноклассников, и я разглядываю кактус на подоконнике. Кактус выглядит вялым и уставшим, и я его понимаю.

Нина Петровна прочищает горло, все замолкают.

– Петя, – говорит учительница, – я имела в виду твою жизнь. Откуда ты, кто твои родители. Вот кем, например, работает твой папа?

Я бросил на нее полный отчаяния взгляд. Ну почему – во имя всех слепых котят, во имя Александра Сергеевича Пушкина, во имя озоновых дыр, почему?! – ты задала мне именно этот вопрос? Ты, странная женщина в черно-бело-полосатом пиджаке, из-за которого тебя всю жизнь будут называть «Пианиной Петровной».

Я вспомнил насмешки одноклассников из прошлой школы: «А знаете, как родился Портной? Его папа возвел его маму в квадрат, а потом извлек из нее корень, ха-ха-ха!»

Передо мной сидели дети, способные превратить в дантов ад следующие шесть лет моей жизни (по полтора круга на каждый год), и некоторые из них, пожалуй, именно это и собирались сделать. Я просто не мог – не мог, понимаете? – сказать правду.

– *Мой папа – антрополог*.

Я соврал – это вышло спонтанно.

Класс зашуршал – дети слышали это слово впервые и теперь были заинтригованы. Я буквально видел, как шевелятся их любопытные уши, как глаза их наполняются интересом к моей скромной персоне. Это было… приятно.

– Пардон-н-н, – спросила Пианина Петровна. Она всегда растягивала букву «н» в слове «пардон», если ее что-то удивляло. – Ты, верно, что-то напутал. – Посмотрела в журнал, провела длинным розовым ногтем по одной из строчек. – У меня написано, что твой папа – преподаватель высшей математики.

– Это ошибка, – сказал я, сглотнув. – Он антрополог, он изучает монгольских дикарей.

Так началась моя «Монголиада», короткая и бесславная.

Пианина Петровна осторожно присела на край стула. Класс зашептался. А я мысленным веником смел под мысленный ковер последние крохи стыда – и стал рассказывать трагическую историю своей вымышленной жизни: о том, что мой отец женился на моей дикарке-матери лишь из любви к науке и провел с ней всего одну ночь; и что я – результат этой ночи; и что родился я в

монгольской пустыне; и что раскаленный пустынный песок оставил на моем теле – и на душе, конечно, тоже, куда ж без этого? – незаживающие шрамы…

– Закежь шрамы! – раздался возглас с задней парты.

Я выпростал рубашку из брюк, задрал ее насколько возможно и повернулся спиной к классу. Пианина Петровна кинулась ко мне и потянула рубашку вниз, издавая невнятные звуки расстроенного пианино (как если бы кошка гуляла по клавишам). Но было поздно – все одноклассники увидели мои ожоги, и по классу, как по стадиону, прокатился одобрительный гул.

– Птр Пртнй! Нмедленно престань хлиганить!

Естественно, шрамы мои не имели никакого отношения к раскаленному песку пустыни Шамо. Эти ожоги я получил в три года, когда пытался помочь бабушке донести до ванной кастрюлю с кипятком (мой вам совет: опасайтесь бабушек. Любой предмет в их руках может стать оружием).

В тот день я впервые в жизни понял, что это значит – завоевать аудиторию.

* * *

После уроков учительница, разумеется, позвонила родителям, и дома меня ждала взбучка. Мама дрожащим голосом говорила что-то о лжи и ответственности, а я стоял в дверном проеме, опустив голову, в знакомой позе осужденного, и разглядывал дырку в носке (вот, кстати, еще вопрос: почему пальцы на ноге называются так же, как и на руке? Зачем мне на ноге «указательный палец»? Я ведь ни разу в жизни им не указывал! Нелогично как-то). Отец сидел за столом на кухне и ножом намазывал масло на хлеб, сосредоточенно, с видом реставратора, наносящего лак на фреску.

Мама повернулась к нему:

– А ты ничего не хочешь сказать?

– А? – Он отвлекся от бутерброда. – Сказать о чем?

– Твой сын сегодня придумал себе новых родителей.

– Слушай, ты сама готами утюжила его всеми этими своими «техниками развития воображения». – Он отложил бутерброд и изобразил кавычки пальцами, потом показал на меня: – Вот, пожинай плоты, у него отличное, первоклассное воображение.

– Ну знаешь, есть разница между воображением и ложью.

Отец вернулся к бутерброду:

– Это уже из области этики, а в ней я не силен. Я математик, помнишь?

* * *

Не поймите меня неправильно – я не против математики. Очень даже «за». Между прочим, я и сам чертовски умен. И не надо ухмыляться, я серьезно. Вся штука в том, что быть умным и быть интересным – не одно и то же. Если ты можешь по памяти воспроизвести число «пи» до пятисотого знака после запятой – ты умен; и все бы ничего, но число «пи» не поможет тебе завести друзей. Поверьте, я проверял.

* * *

Я очень быстро понял, что совершил ошибку – нарушил главное правило новичка в сельской школе: «Не отсвечивай».

Я сочинил «Монголиаду», потому что хотел понравиться новым одноклассникам, впечатлить их, но оказалось, что улучшенная, более экзотическая версия моего прошлого вовсе не сделала меня популярным, – как раз наоборот: я стал изгоем.

Все началось с целого вороха кличек: «монгол», «бархан», «верблюдоеб», «горбатый», «порнокопытный», «саксаул». Придумывать клички мальчишкам быстро надоело, и вскоре от слов они перешли к делам: например, однажды на физкультуре я оставил сменку в раздевалке и, когда вернулся, обнаружил, что мои ботинки под завязку набиты песком.

Главным зачинщиком и дирижером всех издевательств в нашем классе был Тимур Головня, мальчишка, чья фамилия, похожая на кличку уголовника, словно бы предопределила его будущее. Неправильный прикус придавал его и без того озлобленному лицу какое-то совсем свирепое, бульдожье выражение. Он был самым старшим, самым высоким и самым тупым в классе – даже свою фамилию писал с ошибками. И только две вещи он умел делать хорошо – играть в футбол и унижать слабых.

Опознать изгоя легко: единственное свободное место в классе – рядом с ним. Так вот, первые две недели весенней четверти я просидел за партой в одиночестве (увы, совсем не в гордом), но в середине апреля все изменилось – в классе появился еще один ученик. Он не был новичком, просто пропустил учебу из-за болезни.

Его звали Александр Грек. Тщедушный, низкорослый и лохматый, внешне – типичный мальчик для битья, с вечным насморком и криво подстриженной челкой, падающей прямо на глаза (явный признак крайней нищеты родителей, в деревне

таких видно издалека; кривая прическа всегда означает, что ребенка стригут дома, обычными, самыми дешевыми ножницами, потому что на парикмахера денег нет и не будет). Он плюхнулся рядом со мной, но лишь потому, что других свободных мест в классе не было.

Мы оба не особо стремились к знакомству, поэтому первое время делали вид, что не замечаем друг друга, хотя он, очевидно, старательно изучал меня, а я – его.

Первое, что я заметил (и после этого сразу зауважал его): он не смеялся над тупыми шутками «крутых» пацанов.

Знаете, в каждом классе есть парочка таких комиков, альфа-самцов, которые любую, даже самую безобидную реплику учителя стараются переделать в шутку, выкрикнуть что-то с места. Их цель – заставить класс смеяться. Самое противное в том, что шутки у них, как правило, несмешные, и остальные дети реагируют вовсе не на юмор, а на репутацию. Если хохочешь над шутками альфа-самца, это снижает вероятность встречи с его кулаками.

У всех учителей в школе были клички. Учителя литературы звали «Федя ФМ», манерой речи он действительно напоминал радиоведущего: он приносил на уроки свой двухкассетный магнитофон «Панасоник», периодически включал его прямо посреди урока, его рассказы о писателях перемежались музыкальными паузами и фрагментами из известных радиопьес.

В конце апреля на одном из уроков он рассказывал нам о «Евгении Онегине»:

– Пушкин, – воскликнул он, – это пир духа!

Один из «крутых» пацанов поднял руку.

– Да, Михаил, что ты хотел?

– Вы сказали «пирдуха»?

Учитель кивнул, он был так увлечен поэзией Александра Сергеевича, что не заметил подвоха.

– Пирдуха? – повторил пацан, удалив пробел между двумя словами. По классу волной пробежались сдавленные смешки. – Зачем вы обзываете Пушкина «пирдухой»? Что он вам сделал?

Пацаны прямо давились от смеха, девчонки тихо хихикали, зажимая рты ладонями. Но я сидел смирно и всеми силами душил в себе эти подобострастные хиханьки; нет, ну правда: эта шутка такая старая, что ее бородой можно пару раз окольцевать экватор. Я посмотрел на соседа по парте, он тоже не смеялся и точно так же, как я, всем своим видом демонстрировал презрение к тупым шуткам. «Эй, может быть, он не так уж и плох. У него есть гордость», – подумал я.

Как выяснилось позже, он в тот момент то же самое подумал

обо мне.

На следующий день, когда раздался звонок на большую перемену, он протянул мне записку: «Рюкзак возьми с собой, иначе они тебе туда песка насыплют».

В этой записке меня удивили две вещи: отсутствие ошибок и идеальный, почти каллиграфический почерк.

И – на последнем уроке: «Они будут ждать тебя за живой изгородью по дороге на площадь Четырех Елок. Хотят насыпать песка за шиворот. Советую идти через лесополосу, вдоль трассы».

У меня не было особых причин доверять ему, это могла быть и ловушка, и все же: он ведь не смеется над их шутками, значит, он не один из них, думал я. И оказался прав: благодаря его наводкам я успешно избежал нескольких засад. Он стал моим информатором, заранее предупреждал меня о планах Тимура и его команды. Вообще, эти уроды со временем даже как-то забыли обо мне.

– Как тебе это удается? – спросил я однажды. – В смысле как ты узнаешь об их планах?

– Всех представителей рода говнюков объединяет одно, – ответил он, убрав челку с глаз, – они крайне неизобретательны. У меня было время изучить их повадки. – Пауза, вздох. – На твоем месте раньше был я.

Так началось наше знакомство.

Главное, что меня поражало в Греке: он был как бы сам по себе, не пытался никому понравиться. У него совсем не было друзей, и вел он себя так, словно и не нуждался ни в чьей дружбе. Он везде появлялся с книгой, постоянно что-то читал и этим нарушал главное правило выживания в сельской школе: «Не отсвечивай». Мальчишки-школьники всегда особенно тщательно следят за своей репутацией, и если кто-то и читает книги, то старается помалкивать об этом, за такое и побить могут: «Слышь, мышь! Ходь сюды! Че это ты книжки читаешь, ты чо, самый умный, что ли? А может, ты того, гомик? Любишь книги? Книгоеб, что ли?» Но Грек не боялся быть осмеянным. На физкультуре, пока мы разминались или играли в футбол, он сидел с книжкой в руках за линией поля, прислонившись спиной к стволу акации. И даже когда пацаны ради смеха запускали в него мячом (игра называлась «попади в книгоеба»), он просто убирал упавшую на глаза челку (таким, знаете, характерным движением), подбирал выскользнувшую из рук книжку, отходил подальше, садился на землю и снова отращивал вокруг себя невидимый, непроницаемый купол одиночества.

* * *

Когда мы переехали в Рассвет, мой младший брат Егор пошел в первый класс, мама снова стала искать работу – и вскоре устроилась редактором в небольшое издательство в Ростове – и после этого, разумеется, свалила на меня все свои обязанности. Теперь я должен был делать свои уроки, убираться в комнате, мыть посуду после ужина и забирать малька из музыкальной школы. Из ее сына я превратился в ее раба.

– Но почему опять я?!

Мама сидела за трюмо в голубом халате и расчесывала волосы белым гребешком, похожим на фрагмент рыбьего позвоночника. Она посмотрела прямо на меня через зеркало.

– Потому что я вернусь с работы только в семь. Занятия у Егора закончатся в шесть. Поэтому кто-то должен его забрать.

– Да, но почему этот «кто-то» всегда обязательно я?

– А у тебя есть какие-то другие кандидатуры?

– Ну, не знаю, ты можешь родить еще одного ребенка, и пусть он забирает Егора из школы.

Мама не оценила шутку и просто вернулась к своим волосам.

– Разговор окончен, – сказала она.

* * *

Когда Егору стукнуло четыре, мама всерьез взялась за него. Как и меня когда-то, она записала его во всевозможные кружки и секции. Как и я когда-то, он стал центром ее надежд, ее новым проектом «воспитать гения». Она перечитала все свои старые книги со странными обложками и названиями, вроде «Детский интеллект: губка или фильтр?», или «Рацион будущего ученого», или «Мой сын гений! Что делать?», и снова повесила на холодильник таблицу приема витаминов группы В (для развития гиппокампа), йодосодержащих препаратов (для щитовидной железы) и – в обязательном порядке – морепродуктов (фосфор, калий – для мозговой ткани). Со мной все эти книжные методики и рационы не работали, поэтому теперь мама утюжила ими Егора. Я даже немного ему сочувствовал, я ведь знал, каково это. Это звучит ужасно, но иногда мне казалось, что она родила его только потому, что я не оправдал ее надежд, только потому, что мой гиппокамп, вероятно, отторгал витамины группы В, моя щитовидная железа не реагировала на йод, а на морепродукты у меня и вовсе была страшная аллергия.

Впрочем, надо признать, малек оказался гораздо более смышленым, чем мы с отцом. Он схватывал все на лету, уже в год и два месяца он говорил длинными предложениями и почти не

картавил. Серьезно.

Когда ему было четыре, он однажды спросил:

– А что такое «туроператор»?

Мы все сидели за столом на кухне.

– А где ты это услышал?

– Это написано на холодильнике. – Он показал вилкой.

Мама бросила взгляд на отца. Тот обернулся и посмотрел на листок бумаги, красным магнитиком прикрепленный к эмалированной двери холодильника: «Курорты Черноморского побережья. Телефон туроператора: 86322…»

Уже в четыре года мой младший брат научился читать. Сам. Мама была счастлива – наконец-то ее методики и методички дали результат.

И все же без проблем, конечно, не обошлось. Егор был одарен творчески, но как любой, эмм, вундеркинд, в быту он был абсолютно беспомощен. Например, даже в семь лет, уже во вполне сознательном возрасте, он не умел завязывать шнурки. Его гибкие пальцы уже давно приручили клавиши рояля, он мог играть небольшие фрагменты из Баха и тем не менее был не способен завязать бантики на кедах. Поэтому родители покупали ему обувь на липучках. Он и внешне был похож скорее на персонажа из сказки или фантастической книжки – пронзительно-красивый, маленький и белобрысый. Помните, был такой фильм «Мидвичские кукушки»? Так вот, Егор был точь-в-точь как дети инопланетян из того фильма – только глаза не красные, а голубые.

Та же проблема с ориентированием на местности: за ним всегда нужен был глаз да глаз. Однажды он вышел на улицу поиграть с друзьями – и исчез. Никто не обратил внимания, куда он пошел, мама была в настоящей истерике, я никогда не слышал, чтобы она так рыдала; все соседи вышли на поиски, с фонариками, прочесывали лесополосы, овраги, вызвали милицию. Егора нашли быстро. Он сидел на лавочке в двух кварталах от нашего дома и просто ждал, пока за ним придут. Когда его спросили, почему он просто не пошел домой, он ответил: «Я не был уверен, в какой стороне находится дом».

Топографический кретинизм – вот как это называется.

С тех пор мама стала очень нервной; если Егор опять чудил, норовил потеряться или выкинуть еще что-нибудь странное, то виноват в этом был я: «Ведь ты же старший брат!» Я был, в сущности, его телохранителем; и даже нянькой – водил его на все эти его кружки рисования, курсы фортепиано и обратно.

* * *

Мои уроки заканчивались в два. Заняться мне все равно было решительно нечем, друзей у меня не было, поэтому до шести я просто бездельничал, шатался по коридорам музыкальной школы и слушал протяжные, мучительные звуки, доносящиеся из кабинетов, в которых музицировали малолетки. То, что они играли, очень мало напоминало музыку, – скорее это походило на вопли музыкальных инструментов, словно их, инструменты, пытали каленым железом. Особенно больно, судя по всему, было скрипке – она рыдала, вырывалась и умоляла ее отпустить.

Егор учился по классу фортепиано всего год (он начал еще до переезда в Рассвет), но схватывал он все невероятно быстро, уже мог играть мелодии на слух – например, однажды я попросил его сыграть «Имперский марш» из «Звездных войн», и у него неплохо получилось, а вот заглавную тему из «Секретных материалов» он играть отказался, сказал, что она ему неприятна.

На стенах в коридоре висели портреты композиторов. Бетховену кто-то пририсовал стильные темные очки. К портрету Баха той же ручкой пририсовали револьвер (весьма неплохо, кстати, очень реалистичный получился, как у Клинта Иствуда) – дуло направлено прямо в висок композитору, перед фамилией приписка: «Ба-» – чтоб получилось «Ба-Бах». Оказывается, среди музыкантов тоже встречаются вандалы-остроумцы, любители портить портреты. Впрочем, возможно, автор этих художеств, как и я, просто заскучал, дожидаясь своего дурацкого, более талантливого младшего брата. В туалете на стене надпись: «Григ жив». И, кстати, туалет в музыкалке общий – для мальчиков и девочек. Не знаю почему. Возможно, музыканты просто выше всех этих условностей с половыми различиями.

Чтобы скоротать время, я достал из рюкзака тетрадку, стал вырывать из нее листы, комкал их и бросал в мусорную урну. С точностью у меня проблемы, поэтому очень скоро пол вокруг урны был завален белыми бумажными комками. Я так и не прибрался за собой – это был мой протест!

Вообще-то я не из тех, кто любит рисовать на стенах и мусорить, но… вы же понимаете: скука иногда способна довести нас до безумия. Когда часами без дела околачиваешься в полутемных коридорах, иногда хочется сделать какую-нибудь гадость, как-то отомстить этому месту за бездарно потраченное время. Я продолжал разглядывать портреты композиторов. Вот Рихард Вагнер. Взгляд у него был какой-то очень наглый и даже вызывающий, он словно смотрел на меня и говорил: «Ну и лох же ты, Петро, так и не смог научиться играть на рояле».

– Сам ты лох! – сказал я портрету и отвернулся.

Вдоль стен стояли ряды стульев. Сиденья у них были

деревянные, и задница у меня через две минуты тоже стала деревянной. Настал момент, когда ни сидеть, ни стоять я больше не мог. И я решил прилечь.

А почему бы и нет? Вообще, мама говорит, что лежать на твердой поверхности полезно для позвоночника. А у меня, между прочим, сколиоз.

Ну, я и прилег.

Минуты две я разглядывал трещины на потолке, пока где-то над головой не раздался голос.

– Что ты делаешь?

Я подскочил так резко, что, кажется, потянул поясницу. Передо мной стояла девочка.

Очень. Красивая. Девочка.

В руках она сжимала стопку желтых листов. На плече – синий рюкзак.

– Почему ты лежал на полу? Тебе плохо?

– Я… эээ… – Мое лицо не просто горело, оно, кажется, дымилось от стыда. – Нет, мне не плохо. Просто я… – длинная пауза, – люблю полежать. Иногда. На полу. – Я показал пальцем на пол. – Тут паркет. Паркет – это дерево. А дерево – оно полезно для позвоночника. Так мама говорит.

«Браво! – сказал мой внутренний голос. – Ты просто превзошел себя! Это самое тупое объяснение из всех, что я когда-либо слышал; а я, давай признаемся, слышал их немало, я ведь живу в твоей голове».

Девочка осторожно разглядывала меня: так антрополог разглядывает дикаря.

– Ты странный, – сказала она.

– Ох, – я отмахнулся, – поверь, в моей семье я самый нормальный.

– В твоей семье все любят лежать на полу в общественных местах?

Я чувствовал, что сейчас скажу очередную глупость, поэтому молчал.

– Почему ты молчишь? – спросила девочка. Она убрала за ухо темную прядь.

– Эээ… – Я поднял палец, собираясь что-то сказать, но снова запнулся. Мой внутренний голос всегда был особенно жесток ко мне, когда я пытался разговаривать с девочками. Особенно с красивыми.

– У тебя такого никогда не бывает? – спросил я. – Вот ты хочешь что-то сказать и так сильно боишься сказать глупость и разочаровать человека, что просто молчишь, как дурак. Ну, то есть как дура. Ой, прости. – Я нервно размахивал руками, пытаясь

выразить свою мысль. – Моя мама называет это «внутренний цензор». Такой голосок внутри головы, твой самый жестокий судья, сноб, который тщательно следит за твоими словами, и высмеивает, и стыдит тебя всякий раз, когда ты лажаешь.

Разговор не клеился, девочка, кажется, уже пожалела, что вообще заговорила со мной.

«Давай, расскажи ей что-нибудь еще обо мне! – сказал внутренний голос. – Тогда она точно решит, что ты шизофреник».

В горле пересохло. Я поднял руки, как бы сдаваясь.

– Прости. Давай начнем сначала. Забудь, что я говорил про «внутреннего цензора».

– Нет-нет, я понимаю, о чем ты, – сказала она.

– Правда? – сказал я.

«Нифига себе!» – сказал внутренний цензор.

– Я тоже могу очень долго перебирать слова в голове, пытаясь найти правильные. – Она улыбнулась и показала на висок. – И внутренний голос постоянно твердит, что я делаю это слишком медленно. Я думаю, это тоже можно назвать «внутренним цензором».

«Эй, а она мне нравится, – сказал мой внутренний цензор. – Спроси, как зовут ее внутреннего цензора? Она может нас познакомить?»

– Меня зовут Петро.

– Аня. – Она пожала мою руку. – Петро? Какое интересное имя.

– Ну, на самом деле «Петр», но все зовут меня «Петро».

Я рассказал ей, что жду здесь младшего брата.

– Он учится играть на фортепиано. И поверь, он гораздо страннее меня («Страннее? Нет такого слова!»). Например, он ест только круглую еду.

– Что? – Аня засмеялась. – Это как?

Мы шли по коридору в сторону актового зала.

– Ну, он любит овсяное печенье. Однажды мама купила ему целую упаковку, а он разрыдался и сказал, что не будет его есть. «Оно квадра-а-а-а-атное!» Орал, брыкался. И успокоился, только когда мама ножом аккуратно обрезала углы у всех печенек.

– Да, мой младший брат тоже все время чудит, – сказала Аня.

– У него тоже странные отношения с печеньками, да?

– Типа того. Он, как бы это сказать, с прибабахом. Не любит, например, когда его трогают за голову, поэтому не ходит к парикмахерам и стрижет себя сам. Выглядит это ужасно, но ему нравится. Вообще, он очень умный, уже все книги в доме перечитал, и у соседей тоже. Наша мама работает в архиве института, он и там, кажется, все папки перелопатил. И при этом

у него совершенно нелепое, абсурдное воображение. Постоянно мерещится всякое. Преступления, заговоры, шпионы. Воображает себя детективом. Например, недавно он пытался мне доказать, что водонапорная башня за девятым домом – это на самом деле не водонапорная башня, а ракета «Фау-2», замаскированная под водонапорную башню. Это ужасно странно. Ну, то есть я понимаю, что ему тринадцать и все такое, и мама говорит, что в его возрасте это типа нормально, но я за него все равно беспокоюсь.

Она остановилась возле входа в актовый зал и показала большим пальцем за спину:

– Мне сюда.

– А что там?

Я заглянул внутрь. По сцене ходили мальчишки в смешных костюмах – в странных мундирах, с цилиндрами на головах. И декорация – огромный картонный Биг-Бен и, кажется, тот знаменитый Лондонский мост, который обычно рисуют на коробках с английским чаем или печеньем. Как он там называется?

– Мы репетируем. Играем пьесу. По Диккенсу. «Дэвид Копперфилд».

– А-а-а-а, Копперфилд? – Я закивал. – Пон-нятно.

«Угу, типа ты знаешь, кто это такой», – скептически сказал мой внутренний цензор.

«А вот и знаю!»

«И кто же?»

«Волшебник! Я по телику видел! Он прошел сквозь Великую Китайскую стену».

«Ты идиот, – вздохнул мой внутренний цензор. – Мне стыдно, что я живу в такой пустой голове».

– Он снова там, да, – спросила Аня, показывая на висок. – Твой внутренний цензор?

Я улыбнулся и кивнул.

– Можно я посмотрю, как вы репетируете? Я очень люблю «Дэвида Копперфилда».

Аня посмотрела себе за спину, потом в даль коридора.

– А разве тебе не надо забирать брата?

– Ой, – я посмотрел на свои наручные часы «Касио». – Едрена мать!

И бросился бежать.

– Пока! – Аня махала мне вслед.

* * *

Учителя алгебры звали Сергей Семенович, и его инициалы – СС – сыграли с ним злую шутку. Мы называли его Эсэсовец. И он действительно был похож на немецкого штандартенфюрера: высокий блондин, всегда в черном, идеально выглаженном костюме, он ходил между партами, заложив руки за спину, как надзиратель.

Каждый урок начинался с того, что он проходил между рядами и проверял наличие всех необходимых предметов на партах: ручка (синяя), карандаш (наточенный; а если нет – он лично даст тебе точилку и будет молча стоять над душой, пока ты не наточишь карандаш; поверьте – это страшное зрелище; от такого у ученика начинают дрожать руки, он косячит с точилкой, нервничает еще больше, потеет и тихо доводит себя до нервного тика; я видел, как ученики падали в обморок, потому что не могли выдержать молчаливого взгляда Сергея Семеновича), ластик (чистый), линейка (30 см; именно 30 – и ни сантиметром меньше), тетрадка (в клеточку, открытая на чистой странице), дневник (закрытый, на углу парты), учебник (открытый на параграфе, который задавали на дом). Сергей Семенович больше всего на свете уважал порядок (и нефильтрованное пиво, но сейчас не об этом). Если ученик забывал принести с собой ластик или положить на парту дневник, СС спокойно, но строго указывал ему на это, если ошибка повторялась – он указывал на дверь.

Он склонился над моей партой:

– Как вас зовут, молодой человек?

– Петр.

– Просто Петр? Или у вас есть фамилия?

– Да, есть. Портной.

Если твоя фамилия звучит как профессия – это всегда проблема. Людям может показаться, что ты издеваешься или – что ты не понял вопроса.

– Почему вы не собраны, Петр Портной? Что это за стопка?

– Это книжки из библиотеки. Я только что оттуда.

– А почему они лежат на парте?

– Извините, они не помещаются в рюкзак. Я не знаю, куда их деть.

Он еще сильнее склонился, навис над моей головой, как зловещий сталактит. Изо рта у него несло гнилой капустой, я задержал дыхание. Его ноздри были прямо надо мной: черные волосинки торчали из них, как лапки тараканов (и еще я подумал: «Странно: сам он блондин, а волосы в носу – черные. Разве так бывает?»).

– Вы знаете порядок. На парте должен быть только один учебник, – сказал он и двинулся дальше, вдоль ряда, заложив

руки за спину.

– Но куда же я дену все остальные книжки?

Он замер, развернулся на каблуках и склонил голову набок:

– Вам что-то непонятно во фразе: «На парте должен быть только один учебник»? Разве у этого утверждения есть какой-то дополнительный смысл?

– Нет, но…

– Вот и уберите учебники.

– Но куда?

– Просто положи их на пол, не зли его, – прошептал Саша Грек.

Я молча стащил стопку книг и сложил их под стулом, оставив на парте только учебник по алгебре. Лицо у меня горело, подмышки взмокли, я чувствовал, как все вокруг смотрят на меня с недоумением. Как на дикаря.

– Вот и отлично. – Сергей Семенович хлопнул в ладоши. – Ита-а-а-а-ак. Ваши учебники открыты на странице тридцать два. Кто хочет зачитать определение, с которого начинается параграф? Есть добровольцы? Петр Портной, не хотите попробовать?

Я открыл учебник и начал судорожно листать страницы. По классу пробежала волна смешков.

Сергей Семенович сжалился надо мной – надо отдать ему должное, он выглядел как злодей, но, в сущности, злодеем не был – просто любил порядок:

– Я понимаю, что вы недавно перешли в этот класс, Петр. Не волнуйтесь. Давайте же, читайте. – Он тер переносицу большим и указательным пальцами. – Страница тридцать два.

Я бросил взгляд на страницу и уже хотел начать читать, но… не смог. Она была пуста. Страница. Белый лист. И следующая тоже. И та, что за ней.

– Вы испытываете мое терпение, молодой человек.

– Может, он не умеет читать? – донеслось с задней парты, и все захихикали.

– Здесь пусто, – сказал я.

– Что?

– Учебник. – Я поднял книгу повыше и показал ему страницы. – Он пустой.

– Да что ж это такое! – Сергей Семенович подошел ко мне, вырвал книгу и стал листать ее. – Вы что, издеваетесь?

Выражение на его лице изменилось – он смотрел на меня с негодованием и даже с возмущением, так, словно я намеренно злю его, словно я специально принес на урок пустой учебник или каким-то магическим образом заставил все буквы и цифры просто

исчезнуть со страниц.

– По-вашему, это смешно?

– Я не…

– Вы, вероятно, считаете, что это отличная шутка. Хотите прослыть бунтарем?

– Но…

– Я уже слышал о вашей выходке на уроке Нины Петровны. Так вот, я хочу сказать вам, что со мной этот номер не пройдет.

– Но…

– Выйдите из класса.

– Да я же…

– Я сообщу о вашей выходке классному руководителю.

* * *

Вот так я заработал второй выговор за месяц. Меня оставили после уроков, мыть пол в кабинете алгебры. Никто даже не стал выяснять, как такое могло случиться. Учителя словно сговорились, они были уверены, что вся эта история с пустыми страницами – сознательный саботаж.

Я полоскал половую тряпку в грязном жестяном ведре и ненавидел их всех. Мне было ужасно жалко себя, хотелось плакать.

– Как ты это сделал? – спросил Миха.

Его тоже оставили после уроков, начудил чего-то на уроке физкультуры. Сейчас он вытирал пыль с подоконников, с листьев фикусов, поднимал горшки с кактусами и вытирал под ними.

– Сделал что?

За окнами темнело – уже почти семь вечера.

– Ну, пустой учебник. Это крутой трюк.

Я лишь устало выдохнул. В руках у меня была швабра с мокрой тряпкой на конце – и мне хотелось ударить его этой тряпкой по морде.

Вода в ведре очень быстро стала черной, как нефть. Сливать всю эту мерзкую жижу в раковину в подсобке нам запретили (засор). Слить ведро и набрать чистой воды можно было только туалете для мальчиков на первом этаже.

– Давай, я отнесу, – сказал Миха.

Его внезапная доброта удивила меня, я согласился, и только через десять минут, когда он не вернулся, я понял, что он попросту сбежал и оставил меня одного.

– Привет.

Я поднял взгляд. В дверном проеме стоял Грек.

– Привет.

– Я это, – он мялся на пороге, – про книгу хотел спросить. Ну, эту, с пустыми страницами.

– Клянусь, если еще хоть один раз услышу об этой книге, я начну убивать людей, – сказал я.

– Я просто хотел посмотреть на нее, – сказал Грек. – Она у тебя-нет?

– У меня. Вообще-то ее собирались отобрать, но, похоже, просто забыли в суматохе – были слишком увлечены выбором наказания. Мне еще и от родителей сегодня влетит.

– О, это отлично, просто отлично. Я бы хотел ее обменять.

Я выпрямил спину и отложил швабру:

– Обменять?

– Ну да. Тебе ведь она не нужна-нет? Давай договоримся: ты отдашь мне эту книгу, а я в качестве оплаты буду делать за тебя домашку по алгебре до конца года.

– Я не могу отдать ее тебе, это книга из библиотеки, – сказал я.

– А! – Он расстегнул рюкзак и достал свой учебник. – Возьми.

– А как же ты будешь?..

Он отмахнулся.

– Что-нибудь придумаю.

Он переминался с ноги на ногу и смотрел как будто на меня, но при этом избегал прямого зрительного контакта. Я давно заметил эту его странность: когда он разговаривал с вами, он смотрел не в глаза, а в воображаемую точку рядом с левым ухом собеседника. Смотреть в глаза он боялся.

Я разглядывал его, скрестив руки на груди. Мне стало любопытно.

– Ты ведь понимаешь, что я не отдам тебе эту книгу, пока ты не объяснишь, зачем она тебе.

Он поморщился так, словно ему вонзили иглу между ребер. Вся его поза, нервные движения рук, топтание на месте – все говорило о том, как тяжело дается ему этот разговор.

– Слушай. – Он вздохнул. – Я ведь отличную сделку предлагаю. Домашка по алгебре за весь год. Я шарю в цифрах, спроси кого хочешь, у тебя одни пятерки будут.

– Я тоже шарю в цифрах.

На лице его отразилось удивление, потом – досада, затем – скепсис.

– Серьезно?

– Да, мой отец – математик.

– Постой-ка. – Он почесал затылок и, кажется, впервые посмотрел мне прямо в глаза. – Ты же на первом уроке говорил,

что он антрополог. Еще целую историю про пустыню рассказал.

Я открыл было рот, но осекся. Грек заметил мое смятение и улыбнулся: теперь уже ему стало интересно.

– Я так и знал, – он сел на край парты, – что тут что-то не так.

– Это не твое дело, понятно?

– Понятно. – Он пожал плечами, – Конечно, понятно. Видишь, я не задаю лишних вопросов. И я обещаю: никто не узнает об этом. Но моя просьба остается в силе: ты отдашь мне свою пустую книгу?

Я был так зол, на себя – за то, что проговорился, и на него – за то, что он заметил мою оплошность, что просто огрызнулся:

– А если не отдам, то что, будешь шантажировать меня?

– Шантажировать? Ты дурак-нет? – Он убрал длинную челку с глаз. – Шантаж – это подло. И непродуктивно. Я бы никогда… да ну тебя. – Он схватил рюкзак, бросил в него свой учебник и вышел из кабинета.

Я взял швабру и вернулся к работе. Я уже почти закончил мыть пол, когда он снова появился в дверях.

– Я их собираю.

– Что?

– Книги. – Он переступил порог. – В смысле я собираю бракованные книги. Я называю их «книги-уроды».

– Книги-уроды?

– Ну да. Знаешь, так бывает, книгу сдают в типографию, и там что-то идет не так, и из пяти, скажем, тысяч экземпляров один получается не таким, как все. Либо строчки поехали, либо краска не того цвета, страницы склеились, нумерация их сбилась, еще бывают книги-перевертыши – это когда ты открываешь книгу, а там все вверх тормашками. Ну, то есть книга-урод – это книга с поврежденным текстом.

– И ты их собираешь.

– Ну да. Такие книги редко попадают в библиотеки или в книжные. Обычно их отслеживают и уничтожают. Такой вот геноцид книг.

– Я не знал этого, – сказал я (а еще я не знал, что такое «геноцид», но постарался запомнить слово, чтобы вечером посмотреть его значение в словаре).

– Да! – воскликнул Грек. По лицу его было видно, какое удовольствие ему доставляет рассказ о книгах-уродах. – Представляешь? Они уничтожают книги.

– Прям сжигают?

– Не-а. Это как раз самое интересное. Я читал, что в СССР в подвалах стояли котлы с кислотой, и неугодные книги бросали в них, и они растворялись там.

– Жуть какая.

– Ага. Книжные концлагеря. – Он вдруг осекся, поняв, что уже слишком много наговорил, и вновь напустил на себя серьезности. – Так вот: если ты вернешь эту свою пустую книгу в библиотеку, ее уничтожат. Сто процентов.

Повисла тишина. За окном проехала машина «скорой помощи», красные блики сирен мелькнули на стенах.

– Ты странный, – сказал я.

Он лишь пожал плечами, как бы говоря: «Какой есть».

Я достал из рюкзака пустой учебник и вручил ему. Он с интересом стал листать его, разглядывая пустые страницы так, словно там были картинки.

– Невероятно, – прошептал он, потом поднял на меня взгляд и улыбнулся.

– Спасибо. Такой у меня еще не было. Это прям какой-то учебник дзен-буддизма.

(Слово «дзен-буддизм» я тоже постарался запомнить, чтобы вечером посмотреть в словаре.)

– И сколько их у тебя?

– С этой – двадцать три. У меня теперь своя кунст-библиотека.

Он сунул учебник в рюкзак и протянул мне свой – нормальный, с параграфами, цифрами и формулами. Странно, но в тот момент я даже немного пожалел, что не оставил пустой учебник себе. Теперь, узнав о существовании «книг-уродов» и «книжных кислотных котлов», я понял всю ценность и уникальность экземпляра с пустыми страницами.

– А мой отец собирает табуретки, – вдруг сказал я.

Не знаю почему. В этой фразе не было никакого смысла, мне просто захотелось чем-то поделиться с Греком – пусть самой маленькой тайной.

– Какой из них? Антрополог или математик? – спросил он и засмеялся, потом поднял руки, как бы сдаваясь. – Да шучу я, шуткую. Прости, не смог удержаться.

Я рассказал ему о странном хобби отца: о совершенно одинаковых табуретках, которые он день за днем собирал в своем гараже. К моему удивлению, табуреточная история привела Грека в восторг.

– Это ужасно круто, – сказал он.

Я не решился спросить, почему он так считает, и все же – он был первым человеком, который на полном серьезе назвал моего отца «крутым». И я не хотел портить это ощущение.

– Эй, молодежь, – в дверях появилась голова охранника, – вы скоро? Уже шесть, я должен закрыть кабинет.

Меня вдруг бросило в пот. Шесть часов. Егор!

* * *

Музыкалка располагалась по ту сторону площади Четырех Елок. Через четыре минуты я уже бежал по коридору с портретами композиторов.

Кабинет был открыт, я заглянул внутрь. Галина Викторовна сидела за учительским столом и заполняла журнал. Она посмотрела на меня поверх своих круглых, как у Джона Леннона, очков (прическа у нее, кстати, тоже вполне джонленноновская – это мама так сказала).

– Петро? Здравствуй.

– Егор! – сказал я, озираясь. – Где он?

– Я думала, он с тобой. – Она бросила взгляд на часы, висящие на стене, над дверью. – А разве ты не?..

Я выбежал из кабинета и оглядел ряды стульев вдоль стен. Никого.

Рядом стоял Грек, он прибежал сюда вместе со мной (позже, когда я спросил у него, зачем он последовал за мной в музыкальную школу, он лишь пожал плечами и сказал: «У тебя было такое лицо, что мне самому стало страшно, вот и побежал за тобой. Отчасти, конечно, это было еще и любопытство, веришь-нет?»).

Я бегал по коридорам, заглядывал во все кабинеты и спрашивал у каждого встречного, видел ли он (или она) маленького, худого, белобрысого мальчика с синим рюкзаком. Люди качали головами, моя паника нарастала.

Я рассказал Греку о причудах своего брата, о его «топографическом кретинизме» и полной беспомощности. И он теперь со мной бегал по этажам, даже спустился вниз, к выходу, и спросил у вахтера, но вахтер – старый лысый дядька, лицо которого выглядело так, словно бог начал лепить его из глины, но разочаровался в замысле и бросил на полпути, реально недоделанное лицо, я не шучу, какой-то черновик лица, – сказал лишь, что мимо него прошли десятки детей с синими рюкзаками, и он, видите ли, не обязан всех помнить.

Я как безумный носился по коридорам и кричал: «Егор! Егор!» – люди, едва завидев меня вдалеке, прижимались к стенам.

В какой-то момент на лестнице я столкнулся с двумя пацанами из театрального кружка. Они были в сценических костюмах – в сюртуках, цилиндрах, с тростями.

– Привет, – сказал один из них. – Мы проверили пятый этаж,

его там нет.

Я замер на месте.

– Мы помогаем искать Шопена, – сказал второй. – Грек попросил нас.

Через минуту коридоры наполнились диккенсовскими персонажами – ребята из театрального кружка помогали искать моего брата. Но его нигде не было. Мы все собрались возле раздевалки на первом этаже. Мальчишки и девчонки стояли полукругом, облаченные в костюмы Викторианской эпохи. В любой другой ситуации я бы оценил иронию, но не сейчас.

Мы все беспокойно переглядывались. Я увидел Анну – и без слов понял, что тот странный младший брат, о котором она мне рассказывала, и есть Грек, и именно он попросил ее о помощи.

Она молча кивнула мне.

– Так, народ. – Парень в костюме мистера Микобера деловито хлопал в ладоши, пытаясь привлечь внимание, и жестикулировал, как регулировщик на оживленном перекрестке. – Шопен не мог уйти далеко. Школу мы прочесали, его тут нет. Надо прочесать улицу. Надо поделить территорию на квадраты.

– У Михи батя – милиционер, – тихо сказал мне Грек, кивнув на «мистера Микобера». – Он знает, как надо искать людей.

Я хотел что-то ответить, но почувствовал, что не могу выдавить ни слова – сердце жужжало внутри, билось о ребра, словно огромная муха об оконное стекло. Мы вышли на улицу, все это было похоже на дурацкий сон: персонажи Диккенса помогают мне искать моего потерявшегося брата. Дикость какая. Я даже слово придумал: диккенсть!

В тот вечер я впервые в жизни по-настоящему испугался. По-настоящему. Я не боялся наказания, нет, я боялся, что больше никогда не увижу Егора. Мама однажды рассказала мне, как цыгане крадут маленьких детей, гипнотизируют их, подсаживают на наркотики, превращают в рабов, выгоняют на улицу и заставляют попрошайничать. Иногда этих похищенных детей калечат, выкалывают им глаза или ломают ноги, чтобы они, эти маленькие инвалиды, вызывали больше жалости у прохожих и чтобы прохожие давали им больше милостыни. Я никогда особо не воспринимал всерьез мамины россказни, мне казалось, что у нее просто какие-то предрассудки против цыган и она выдумывает все это, чтобы запугать меня, чтобы я внимательней следил за мальком, но теперь, блуждая по тускло подсвеченным улицам Рассвета, я не мог выбросить жуткие образы из головы. Я закрывал глаза и мысленным взором видел, как огромный, жирный, волосатый цыган, обвешанный золотыми цепями, хватает моего брата за шкирку и тащит в свой старый, покрытый

ржавчиной, как экземой, микроавтобус. В моем воображении похититель был похож на Кинг-Конга из мира хип-хопа, гигантское человечкоподобное чудовище. Такой вряд ли умел разговаривать.

Мы с Греком бежали по Садовой улице, вдоль кладбища, звали Егора, и я живо представлял себе, как этот цыган гипнотизирует моего брата, заманивает в свой микроавтобус, увозит к себе домой и уже там, дома (в каком-нибудь вонючем сарае), обкалывает наркотиками, калечит, выгоняет на улицу и заставляет просить милостыню где-нибудь в подземном переходе.

От одной этой мысли мне становилось тошно. Отвратное ощущение, словно вот-вот вырвет, но ничего не происходит – и тошнота копится внутри. Время шло, мы бегали по перекресткам, и я уже потерял всякую надежду. Нос заложило, я дышал через рот, в горле пересохло, зубы ломило от холодного воздуха.

Мы добежали до черешневого сада за гаражами и свернули в сторону белой стройки. Там мы встретились с Аней и с мальчишкой в костюме лондонского бродяги. В тусклом желтом свете фонаря я не сразу разглядел их лица. Они улыбались.

– Миха нашел его! Нашел!

До меня не сразу дошел смысл их слов.

– Где?? – спросил Грек.

– Они сидят на лавочке, на площади Четырех Елок, возле музыкалки.

Ребята смотрели на меня, ожидая реакции. Я ощутил облегчение: значит, никакой цыган не крал Егора, не калечил его и не заставлял попрошайничать в подземном переходе! И в то же время, когда стало ясно, что брату ничего не угрожает, я почувствовал невероятную злость. И жалость к нему сменилась желанием хорошенько отметелить этого белобрысого беспомощного болвана за то, что он заставил меня пережить.

Но когда мы вернулись на площадь и я увидел Егора, сидящего на лавочке, рядом с Михой, я, кажется, впервые увидел его настоящего и понял, насколько он беззащитен. Я и раньше знал, конечно, что он слабый, но в тот момент я понял кое-что другое: он всегда выглядел так, словно на нем было написано «Осторожно, хрупкое». И люди, все люди, каким-то образом, подсознательно, чувствовали это. Мальчишки никогда не задирали его, взрослые не повышали на него голос; парадокс: эта аура беззащитности служила для него чем-то вроде защитного механизма.

– Прости меня, пожалуйста, – сказал он, когда я подошел. – Я не хотел, чтобы у тебя были проблемы.

Я хотел обнять его, но сдержался – не стоит разводить

телячьи нежности на глазах у пацанов.

– Сам-то цел?? – спросил я, имитируя строгий тон Старшего Брата.

– Це-ел, – ответил Миха за него.

– Где ты его нашел?? – спросил я.

– Тут и нашел. Он на лавочке сидел. Говорит, какой-то старик привел его сюда.

– Какой старик?

Мы все посмотрели на Егора, он пожал плечами.

– Я не знаю. Он не сказал, как его зовут. Я просто попросил его отвести меня к музыкальной школе, и он отвел.

Я устало тер переносицу пальцами.

– Егор, я обещаю, что не буду злиться, но ты можешь объяснить мне, почему ты ушел, почему не дождался меня?

– Ну, – он посмотрел на меня снизу вверх, – тебя долго не было, я думал, ты потерялся, и решил пойти поискать тебя.

Мальчишки рассмеялись. Они думали, он шутит, и только я знал, что он это всерьез: Егор не умел понимать иронию[3]. К тому времени все ребята из театрального кружка собрались вокруг лавочки. Все были очень горды собой, они называли Егора «Шопеном», спрашивали, как у него дела, и только тут я понял, что в стенах музыкалки мой брат был действительно известен и даже популярен.

– Так, а где он тебя нашел-то, этот дед?

– Я не знаю. Я помню деревья. И еще большой серый камень, на нем были числа. Один, два, четыре, пять. А тройки не было. Я еще подумал, что это странно, что нет тройки. А потом я увидел старика, с ним была собака. Большая, мохнатая.

* * *

– Петро, ты злишься?

Мы шли домой, я крепко держал Егора за руку. Даже слишком крепко. Словно боялся, что он опять пропадет, провалится сквозь землю, стоит мне отвлечься на секунду.

– Нет. Не злюсь. – И после паузы. – Самую малость. Чуточку. – Еще пауза. – Да, злюсь. О чем ты думал вообще? Как я теперь маме это объясню? Она меня в духовку запихнет и поджарит.

– Ну, мы ведь можем ничего ей не говорить.

– Мы можем, да. Но она ведь все равно узнает. И тогда крику будет еще больше. Мы ведь всю музыкалку на уши поставили, пока тебя искали.

* * *

И все же у этой истории с исчезновением были свои плюсы: на следующий день ребята в школе встретили меня как своего. Все делились впечатлениями от вчерашней поисковой операции, рассказывали смешные истории. Первые два месяца в новой школе я был изгоем, я ходил по коридорам, и на шее у меня словно висела табличка «пни меня», теперь же я вдруг стал своим, у нас была общая история, и во время большой перемены в столовой, когда я шел с подносом по проходу, Миха предложил мне сесть с ним и с его друзьями из 9-го «Б». Он был самым крутым в школе – сын милиционера, выдающийся спортсмен, гордость школы. Ходили слухи, что в театральный кружок он записался только из-за Ани, сестры Грека, чтобы впечатлить ее; он давно и безуспешно клеится к ней.

(«У него нет никаких шансов, – уверенно сказал Грек, когда я как бы между делом спросил его об отношениях Ани и Михи. – От него воняет».

«В смысле?»

«В прямом. Ты не замечал? От него воняет псиной. Даже после душа. Плюс эта экзема на шее, которую он чешет прям по-собачьи. – Он показал, как Миха чешет свою шею – вышло очень похоже. Действительно, как собака. – И еще во время пробежек, когда устает, он высовывает язык, прям как овчарка. Есть у меня подозрение, что в роду у него были не только люди».)

На следующий день после уроков, выходя из школы, я наткнулся на Грека. Он сидел на ступеньках и ждал меня:

– Эй, дело есть! Хочу кое-что спросить у твоего брата. Насчет вчерашнего.

– А что насчет вчерашнего?

– Он говорил про камень с числами. Мне капец как надо узнать, где он его видел.

– Ничего не выйдет, – сказал я.

– Да брось. Всего пара вопросов.

– Ты не понял, я не запрещаю тебе, я пытаюсь сказать, что это бесполезно.

– Почему?

– У него проблемы с этим… с географией. Он даже в трех осинах может заблудиться.

– В трех соснах.

– Что?

– Правильно говорить: в трех соснах.

* * *

Прозвенел звонок, и дети высыпали из кабинетов. Егора я ждал прямо у двери. Стоило ему появиться, как Грек тут же кинулся к нему, вытащив из кармана какую-то фотографию. Он вел себя как частный детектив из нуарного фильма – сразу же вошел в роль, даже воротник куртки поднял.

– Егор, мне нужно задать тебе пару вопросов. Скажи, ты знаешь этого человека?

Егор вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами и кивнул, мол, можешь отвечать.

– Это ведь он вчера помог тебе, я прав-нет?

– Не бойся, – сказал я, – просто ответь ему, и мы пойдем домой.

Егор, щурясь, посмотрел на фотографию.

– У него здесь больше волос на голове. У того их почти нет.

– Но это ведь он, да-нет?

Мой брат кивнул, и выражение лица у Грека стало медленно меняться – сперва он словно не поверил своим ушам, потом сам посмотрел на фотографию и заулыбался так, словно выиграл подарочный набор ножей в «Магазине на диване».

– Я знал, – тихо сказал он и чуть громче, немного удивленно: – Я был прав!

Я выхватил у него карточку и тоже посмотрел на нее.

– Кто это?

– Осторожно. – Грек отобрал у меня фотографию. – Это из архива, ее нельзя так хватать. Пойдемте, я кое-что вам покажу, вы офигеете! Просто офигеете!

* * *

– Я знаю, что тебе Аня обо мне рассказала. – Мы вышли на площадь Четырех Елок и направились в сторону Сельскохозяйственного института. – Она сказала, что я чокнутый, да? Сказала, что я «с прибабахом», – он изобразил пальцами кавычки, – что я от нечего делать придумываю загадки и тайны и сам их потом решаю. Но это! Это я не придумал. – Он похлопал по карману, где лежала фотография.

– Что «это»?

Мы остановились возле входа в институт. Там на огромном стенде висела подробная карта Рассвета, со всеми домами, полями, холмами и оврагами.

– Вы читали рассказ Эдгара По «Письмо»? – Грек повернулся к

нам, дернул головой, откинул челку с глаз.

– Н-н-нет, – признался я.

– О, это гениально! Там есть такой детектив, Огюст Дюпен! И он расследует дело, ему надо найти письмо, спрятанное в доме у одной дамы. Полицейские шпики обыскали весь дом, даже ножки стола просверлили, хотели найти тайник. Они даже подушки иглами протыкали, чтобы найти там это письмо. И все равно не нашли! А знаешь почему?

– Почему?

– Потому что они идиоты! – Грек развел руками. – Они забыли проверить самое очевидное – стол. И только Огюст Дюпен был достаточно умен. – Он постучал мизинцем по виску. – Он сразу нашел письмо, оно как ни в чем не бывало лежало прямо на рабочем столе, веришь-нет?

Мы с Егором молчали.

– Так вот, о чем это я? С Рассветом то же самое. Самая большая тайна Рассвета – здесь, – Грек ткнул пальцем в карту, – прямо у всех под носом. Но никто ее не замечает. Люди слишком ленивы. Приглядитесь, не замечаете ничего странного?

Мы с Егором минуты две разглядывали карту.

– А что мы должны увидеть?

– Хороший вопрос. – Грек потирал ладони. – Вы ведь недавно переехали сюда, вы ходили на четвертое озеро?

– Ну да.

– Можешь показать его на карте?

Я ткнул пальцем в северо-западную часть карты.

– Угу. А сколько всего озер в округе, ты знаешь-нет?

Я окинул карту взглядом и сосчитал.

– Раз, два, три, четыре… ммм… все.

Грек улыбался все шире, как фокусник, готовый вытащить из рукава двух лебедей, трех енотов и одного жирафа.

– Правильно. Их четыре. А теперь посмотри, как они называются.

Я начал было искать названия, но Егор меня опередил.

– Третьего нету, – сказал он.

– Правильно! – Грек вскинул руки. – Правильно! – Он поднял с земли прутик и стал водить им по карте, как учитель указкой по доске. – Вот первое озеро. Оно так и называется «Первое озеро». Вот второе. И тут написано: «Вто-ро-е о-зе-ро». А вот, если считать по порядку, третье. И как оно называется?

– Четвертое, – прочитал я и тут же стал водить глазами, стараясь отыскать еще одно озеро.

– Не старайся, – сказал Грек, разломив прутик об колено. – Его нет. Третьего озера нет.

Я перевел на него взгляд:

– А почему?

Он сломал прутик.

– Дело, достойное Огюста Дюпена, я считаю. Я спрашивал у взрослых. Никто не знает, почему после второго озера идет четвертое. И никто не знает, было ли вообще третье, люди просто привыкли к тому, что озера так названы. И никто никогда не задумывался, почему. – Он усмехнулся. – Люди очень любят ныть, что все вокруг ужасно банально и скучно, но никто ни разу даже не попытался выяснить, что случилось с Третьим озером. А ведь это невероятно интересно.

* * *

Мы шли домой по Институтской улице. Я крепко держал Егора за руку (боялся потерять). Грек шел рядом, сунув руки в карманы своей зеленой брезентовой куртки почти по локти. Куртка была сильно велика ему, особенно в плечах, она явно раньше принадлежала взрослому, но кто-то неудачно и неумело перешил ее для подростка.

– Я должен найти этот камень, – сказал он, глядя на Егора, – с числами. Тот старик, который вчера нашел тебя и привел обратно, к школе, я думаю, он все знает.

– С чего ты взял? – спросил я.

Грек искоса посмотрел на меня и рассмеялся.

– Что, все так же считаешь, что я «с прибабахом», а?

– Ну, мне просто интересно.

– «Просто интересно»! Ха, да у тебя глаза сейчас лопнут от любопытства!

Мы шли через небольшой продуктовый рынок. На этой неделе открылась ярмарка меда. За прилавками стояли огромные тетки в желтых фартуках с пчелами и много-много-много стеклянных банок с янтарной жидкостью – липовый, сосновый, самый разный, жидко-прозрачный, желто-белый, сахарный. Тут были даже банки с сотами.

– Я хочу меду, – сказал Егор.

– Мы скажем маме, она купит, – ответил я.

– Не люблю мед, – буркнул Грек. – Я недавно узнал, что мед – это блевотина пчел.

– Что? Фуууу, – Егор сморщился, – это неправда!

– Правда-правда, я по телику видел, «В мире животных». Пчелы едят пыльцу с цветов, а потом прилетают в улей, заходят в хранилище меда и суют себе два пальца в рот. – Грек сунул два

пальца себе в рот и издал характерный звук. – И вот так получается мед: по сути, это полупереваренная пыльца и желудочный сок пчел, веришь-нет?

Мне тоже, как и Егору, было неприятно это слушать. «Этот чувак точно не дружит с головой», – подумал я, а вслух сказал:

– Перестань. Егору шесть лет, не надо ему такое рассказывать.

– Какое «такое»? – Грек развел руками. – Ты что думаешь, я это придумал, что ли? – Он повернулся к одной из продавщиц и громко сказал: – Здравствуйте.

– Здрасте, – отозвалась она. Огромная шарообразная тетка. Две толстые черные брови-гусеницы над глазами, и еще одна – под носом.

– Вы ведь свой собственный мед продаете? Ну, то есть у вас же есть собственное пчелиное пастбище или вроде того?

– Это называется «пасека», – кивнула она. – Да, мой муж – пчеловод.

– А это правда, что мед – это блевотина пчел? Они ведь едят пыльцу и потом блюют ею, верно-нет?

Мы с Егором внимательно смотрели на нее, ожидая ответа. Ее брови беспокойно задвигались и столкнулись на переносице, слились в одну жутковатую бровь.

– Э-э-э-э… «выблевывают» не совсем то слово. Они ее скорее сплевывают.

Грек повернулся к нам.

– Ха! Ясно вам, невежды? – Мы двинулись дальше. – Вот так всегда, – продолжал размышлять он. – Люди считают, что я «с прибабахом» и вообще чокнутый, а на самом деле я просто умный.

– И скромный.

– Да, и это тоже. – Он потер ладони. – Ну так что? Тебе интересно узнать, что случилось с Третьим озером, или нет?

* * *

Да, мне было интересно. Честно говоря, ужасно интересно.

Я отвел Егора домой – это было нелегко, он долго сопротивлялся, хотел пойти со мной, пришлось силой затаскивать его в квартиру и терпеть его высокочастотное нытье[4]. К счастью, мама была уже дома и взяла все под контроль.

Грек ждал меня у подъезда.

– Идем, – сказал он.

– Куда?

Мы дошли до почтамта и спрятались за раскидистым кустарником неподалеку.

– Зачем мы прячемся?

– Сколько времени?

Я посмотрел на свои «Касио»:

– Семь сорок пять.

– Отлично. Он вот-вот придет.

– Кто?

– Осторожней с кустарником. Это барбарис, колючая зараза.

– Кто придет-то?

Он указал пальцем вдаль. Я бросил взгляд в конец улицы и увидел старика. Того самого, что и на фотографии, только гораздо старше. Худой, сгорбленный, лысый, с бородой и кривой тростью – старик был не похож на живого человека. Гораздо больше он напоминал аллегорию – такой собирательный образ старости. Каждая его черта, каждая морщина, каждый предмет одежды – все в нем как бы говорило: «Я символизирую старость». Старик медленно приближался ко входу в здание почты, затем остановился возле голубого почтового ящика с надписью «Почта» и почтовым гербом.

– Чего он ждет? – спросил я.

– Смотри.

Дверь почтового отделения открылась, и на улицу вышел человек в сером комбинезоне с большим серым мешком в руках. Он увидел старика, они кивнули друг другу. Старик достал конверт из внутреннего кармана пиджака и бросил его в голубой почтовый ящик. Они с почтальоном перебросились парой реплик. Почтальон открыл ящик и ссыпал в него письма. Затем запер ящик на ключ и запечатал мешок.

Старик захромал обратно в темноту.

* * *

Признаться, я чувствовал разочарование. Когда Грек сказал, что мы будем «проводить расследование», я представил себе почти киношную картинку – погони, тайные заговоры, дедуктивный метод, как в сериале про Шерлока Холмса с Василием Ливановым в главной роли. На деле же мы просто весь вечер просидели в кустах, ожидая какого-то дряхлого старика с дурацким письмом.

И все.

Мы шли по улице к моему дому. Темнело, и воздух наполнился холодом – влажным и колким. Мы выдыхали пар.

Грек шел, нахохлившись, накинув на голову капюшон, он почти по локти засунул руки в карманы своей огромной зеленой куртки.

– Вот тебе и тайна. Этот старик приходит на почту и бросает письмо в ящик каждый вечер. За три минуты до того, как почтальон выйдет, чтобы ссыпать письма в мешок. Старик специально делает это, так у него есть гарантия, что письмо никто не перехватит.

– И что там, в письмах? – Я пнул шишку.

– Не знаю. Это и есть тайна.

Минуту он шел молча, иногда вынимал руки из карманов и дышал на ладони, пытаясь согреться. И вдруг зарядил дождь, да так, что нам пришлось спрятаться под козырьком закрытого продуктового магазина.

– Ты ведь что-то знаешь об этом старике, да? Откуда у тебя та фотография?

– Моя мама работает в архиве.

Он смотрел на ровные струи воды, стекающие с рифленого козырька. Подставил руку под одну из струй.

– И? – спросил я.

Он, щурясь, смотрел на меня.

– Он в Рассвете – с сорок четвертого года. Был на войне, получил ранение. Он был одним из ведущих специалистов в местном сельскохозяйственном институте. Он знает об этих озерах все. Он их проектировал. Это ведь искусственные водоемы.

– И почему ты думаешь, что он что-то нам расскажет?

– Ну, есть только один способ выяснить.

– Какой?

– Спросим у него.

– «Спросим»? Мы?

– Ну да. Ты же хотел поучаствовать в расследовании-нет? Опрос возможных свидетелей – это важнейшая часть любого расследования.

– Хорошо, но как ты собираешься спросить у него про озера?

Он пожал плечами:

– Вежливо.

* * *

И все же Грек меня заинтриговал. Всю ночь я не мог уснуть – все думал об этом озере. Куда оно пропало? Неужели можно вот так просто взять и заставить исчезнуть целое озеро? А что, если его украли? Да ну, чепуха, разве можно украсть целое озеро? Озеро – это не бумажник, его нельзя просто так сунуть в карман и

уйти.

Грек не просто играл в детектива. Он, кажется, «жил в детектива», полностью вживался в эту роль. Любил загадки, ребусы. И если не находил их – то просто выдумывал, чтобы хоть как-то развлечься. На скучных уроках мы с ним обменивались записками. Учителя иногда эти записки замечали и отбирали у нас – выходило неловко, особенно если мы писали гадости про учителей.

Тогда Грек придумал систему шифрования. По сути, это был просто листок в клеточку с двумя столбцами букв: первый – кириллический алфавит, второй – набор выдуманных символов, стилизованных под язык Хищника из одноименного фильма с Шварценеггером.

Его система вряд ли стала бы проблемой для Алана Тьюринга, но учителей она вводила в ступор – и мы могли спокойно переписываться на уроках на своем «хищниковском» языке, не боясь разоблачения.

А еще у него было тайное убежище – водонапорная башня в поле за девятым домом.

Башня торчала посреди кукурузного поля, как ракета, готовая к пуску. Высокая, чуть покосившаяся, обшитая проржавевшей жестью. На двери висел огромный висячий замок в форме львиной головы. Грек позвенел связкой ключей и сунул один из них в пасть льву, тот звякнул и впустил нас.

– Откуда у тебя ключи? – спросил я.

– Места знать надо.

Мы поднялись вверх по кривой винтовой лестнице. Грек включил маленький ручной фонарь.

– Не смотри вниз, – сказал он мне.

– А куда там смотреть? Не видно ж нифига.

– Все равно не смотри.

Мы поднялись на вершину башни. Он толкнул дверь, и мы вошли в машинное отделение. Здесь было светло и тепло, солнце прогревало жесть и сочилось сквозь небольшое пыльное окошко. Вдоль стен тянулись трубы разного диаметра и степени изношенности, плюс – куча кранов, вентилей и прочей гидротехнической лабуды.

– Смотри.

Грек гордо указал на стену, где висела огромная карта Рассвета, на ней – куча пометок, разноцветных флажков. Прямо как в кино про детективов. Не думаю, что все эти флажки и пометки действительно что-то значили, скорее всего, Греку просто нравилось копировать киношных детективов, а ведь все мы знаем, что у любого киношного детектива должна быть

специальная стена, завешанная картами, планами и фотографиями. Именно такую стену соорудил себе Грек.

– Круто, а? Это наш штаб. Здесь мы будем встречаться и обсуждать повестку дня. – Он сразу преобразился, вошел в роль, стал говорить медленно и серьезно. – Давай я покажу тебе наш тайный знак. – Грек подошел к окошку и распахнул его. – Смотри, эта башня – самая высокая точка в поселке. Ее видно отовсюду. Я могу видеть ее из окна своей комнаты, а ты – из окна своей. Вот. – Он поднял с пола красный шарф, выглянул в окно и привязал шарф к обрезку трубы, торчащему прямо из стены. – Это будет наш тревожный сигнал.

– В смысле?

– Ну, например, сидишь ты дома такой и вдруг выглядываешь в окно и видишь, что к трубе на башне привязан красный шарф. И ты сразу поймешь: что-то случилось, я жду тебя в штабе. Это такой позывной, понимаешь?

– Да, но… – Я почесал затылок. – Почему бы просто не позвонить?

Он устало вздохнул:

– Потому что телефон могут отключить или он может быть занят. Или, еще хуже, нас могут прослушивать.

– Кто?

– Ну не знаю. Спецслужбы. Короче, техника может подвести, но это, – он указал на шарф, трепыхающийся на ветру, – это будет нашим секретным кодом. Это значит: «Нам надо поговорить».

– Хорошо, понял.

Он протянул мне бинокль.

– Отсюда даже дом старика видно, вот, смотри. – Он протянул мне бинокль. – Видишь-нет?

– Ага.

– Туда мы и пойдем. Говорить буду я, ты просто кивай.

– Угу.

– И когда мы пойдем к нему? – Я вернул бинокль Греку, он осторожно закрыл его окуляры крышками.

– В полвосьмого.

– Почему так поздно?

Он смотрел на меня как на идиота.

– Потому что в восемь он пойдет на почту, не тупи, ради бога.

Я кивнул так, словно понял замысел.

– Легенда такая, – сказал он. – Нам задали написать доклад по истории родного края, и мы такие, значит, решили написать об основании нашего достославного института.

– Погоди, какого института? Я думал, он сельскохозяйственный.

– Так, не отвлекайся. Сначала спросим старика о жизни, и все такое, а потом я такой как бы случайно спрошу про озеро. – Он посмотрел на меня. – Понял-нет?

– Понял.

– Деньги взял?

– Да.

– Идем. Надо купить торт.

– Зачем?

– Мы же идем в гости. Никто не ходит в гости без торта. Это невежливо.

* * *

Наконец впереди показались свинарники. Длинные, грязные, затертые здания. Коричневые, похожие на огромные прямоугольные какашки. Вообще-то еще в прошлом месяце тут было три свинарника, но один из них сгорел. Со всеми свиньями внутри… Говорят, это было ужасно – свиньи горели заживо и визжали, и визг их был похож на человеческие вопли. И запах. Запах паленого мяса. Жители пытались помочь – кто-то сорвал замок с двери, открыл загоны, и свиньи вырвались наружу – горящие, живые факелы – и бегали по заснеженному полю, визжа и сталкиваясь, разбрасывая искры, как медленные, полные боли шаровые молнии. И так и падали замертво, прямо в снег и горели-горели-горели-горели. Я сам не видел этого, но то, что мне рассказывали, ужасно. Мне очень долго потом снились кошмары – я видел их, этих свиней, они горели и просили о помощи, но я не мог помочь, потому что в том сне я жил в мире, где воды не существует.

Теперь на месте сгоревшего свинарника – пепелище. Только сваи торчат из земли и одна стена.

Мы подходили к дому старика: кирпичный коттедж, два маленьких окна, похожие на подслеповатые, старческие глаза. Стекла в них грязные, мутные – словно подернутые подступающей глаукомой.

Рядом с домом – большая клетка, а в ней Фарадей, огромный пес, помесь кавказской овчарки, самоедской лайки (и, возможно, лернейской гидры). Огромный, седой. Шерсть в колтунах.

– Не бойся. Он взаперти. А лаять он не умеет, – сказал Грек.

Я это знал. О Фарадее у нас тоже слагали легенды. Пес то ли родился без голосовых связок, то ли потерял их после операции. Пацаны говорили, что сам Косарь вырезал псу «гавкалку» специально, чтобы превратить собаку в идеальное оружие.

Фарадей нападал неожиданно и тихо. Говорят, он даже бегает беззвучно, мол, лапы его не касаются земли. Пес-ниндзя.

Мы поднялись на крыльцо, и Грек постучал в дверь. Я озирался на клетку с Фарадеем. Пес спокойно лежал в тени, положив свою огромную голову на скрещенные лапы.

Дверь долго не открывали. Из дома раздавались голоса.

– У него гости?

– Нет. Это радио. Он всегда его слушает.

Я заметил, как на одном из окон дернулась шторка. Он наблюдал за нами откуда-то из темноты.

– Улыбнись, – шепнул Грек. – Он смотрит, а ты выглядишь так, как будто тебя на эшафот ведут.

Я попытался изобразить на лице подобие улыбки (и мысленно отметил слово «эшафот», чтобы сегодня вечером, перед сном посмотреть его значение в энциклопедии).

Грек постучал еще раз – громко и настойчиво.

И снова тишина.

– Похоже, он не хочет открывать, – сказал я.

– Возьмем измором.

– Что?

Он демонстративно закатал рукава и начал стучать ладонями по двери, как африканский барабанщик – отстукивал какую-то мелодию. Старая рассохшаяся дверь задребезжала, ржавые петли дрожали. Грохот был столь оглушителен, что даже пес, Фарадей, вскочил на все четыре лапы и стал беспокойно бродить вдоль прутьев клетки, не сводя с нас взгляда.

Сердце мое бешено билось в груди, я уже был готов бросить этот дурацкий вафельный торт и бежать – черт с ним, с Третьим озером, я хочу жить!

И вдруг – дверь распахнулась. Так резко, что Грек еще пару раз по инерции ударил по воздуху.

– Ой, – сказал он, глядя на старика снизу вверх. Руки его зависли в воздухе. – Здрасте.

– Хочешь сломать мою дверь? – спросил старик.

Я думал, он будет в ярости, но, как ни странно, на лице его не было никаких признаков недовольства, только усталость. Он спокойно разглядывал нас – так, словно был уверен, что мы ошиблись адресом.

– Нет, вовсе нет. Тут понимаете, какое дело. – Грек чесал затылок. – Мы получили задание в школе: написать доклад по истории. Тема: «История родного края».

– И при чем здесь я?

– Ну, как. Вы же старый. – Он обвел старика взглядом. – То есть, в смысле, мудрый. А еще вы всю жизнь проработали в

институте. Институт сегодня работает только благодаря вам, нет?

– Мне? – Старик склонил голову набок. Нахмурился, брови у него были густые, волосы в бровях такие длинные, что аж завивались немного. Теперь он смотрел на нас с негодованием, словно мы ворвались в его дом и рылись в его личных вещах. – С чего вы взяли?

– Моя мама работает в архиве, – сказал Грек. – Я помогал ей перебирать бумаги.

– А. – Старик задумался, потом снова посмотрел на нас сверху вниз. – А зачем вам я, если есть архивы?

– Ну, – Грек пожал плечами, – просто, как говорит моя мама, лучшая история – это история из первых уст. Мы не будем обузами, честное слово. Просто расскажите нам что-нибудь, чтобы хватило хотя бы на четверку. У нас очень строгий учитель. Ну, пожалуйста. Мы даже тортик принесли, – он повернулся ко мне, – покажи тортик.

Я поднял торт над головой.

Старик ничего не ответил. Он долго, молча смотрел на нас. Нижняя челюсть его постоянно двигалась, как будто он жевал что-то (возможно, процесс жевания помогал ему лучше думать). Потом устало вздохнул и отступил в сторону, пропуская нас в холодные сумерки своего дома.

– Ладно, заходите, только недолго, у меня дела сегодня.

– Э-э-э… хорошо.

По лицу Грека было ясно, что он не верит собственной удаче. Он готовился к долгим, утомительным переговорам, рассчитывал взять старика настойчивостью, измором. Если надо – устроить осаду. Но вышло так, что Косарь просто впустил нас. Без лишней болтовни.

Грек зашел в дом. Я же все еще стоял на месте с тортом в руках.

– А ты чего? – Старик окинул меня взглядом. – Так и будешь там стоять?

Я переступил порог, и дверь за мной звонко захлопнулась. Внутри почему-то пахло морковным салатом – мама делает такой на Новый год: тертая морковь, майонез и грецкие орехи. Этот запах сложно с чем-то спутать.

Мы прошли по коридору и очутились в небольшом зале. Стены обшиты деревом, в углу – старое, продавленное кресло, рядом – радиоприемник, из которого доносились странные голоса – они говорили что-то, но на чужом языке – я слышал легкие переливы буквы «р», как во французских фильмах. Косарь выключил радио и указал нам на диван.

– Пойду заварю чай.

Я присел, и диван зловеще заскрипел подо мной. Скрип пружин был похож на недовольное ворчание робота.

– Ух ты! – Грек разглядывал медали и статуэтки в пыльном серванте, за стеклом. – Это все ваше?

– Нет. – Старик вернулся с кухни. Теперь он был облачен в коричневый халат из странного серо-зеленого жесткого материала, похожего на парусину, из которой делают походные палатки. – Это медали моей дочери. В юности она была кандидатом в мастера спорта.

– И она…

– Прыгала в воду. С вышки.

– Крутота! Моя мама тоже кандидат спорта, – зачем-то сказал я. – Ну, то есть кандидат в мастера. Была.

Он посмотрел на меня поверх очков.

– Она тоже прыгала с вышки?

– Нет, плавала на четыреста метров.

– И почему бросила?

Я открыл было рот, чтобы ответить, но осекся. Ведь я не знал ответа. Почему? И когда? Когда я родился? Или когда они с папой поженились?

– Я не знаю.

– Итак. – Старик сел в кресло и жестом пригласил нас к разговору.

– А, да! – Грек отвлекся от медалей и сел на диван. – Чего расселся? Начинай резать торт. – Потом достал тетрадь и ручку.

Я хотел сказать, что мне нечем его резать, ножа нет, но почему-то молчал – и просто сидел с тортом на коленях, как дурак.

– Вы ведь занимались проектировкой систем ирригации, верно?

(Я мысленно пометил слово «ирригация», чтобы вечером посмотреть его значение в энциклопедии.)

– Верно, – сказал старик. Он, кажется, был немного удивлен этим вопросом.

– Да-да, и это ведь вы выкопали эти озера вокруг поселка.

– Строго говоря, это не озера. Это пруды. Но местные почему-то упорно называют их «озерами». И нет, это не я их выкопал. Проект создания прудов курировал мой начальник. Это целиком его заслуга, и я не знаю, почему все приписывают эту заслугу мне. Первую запруду он сделал, кажется, сразу после войны. Там, на юге. После сорок пятого государству как-то надо было восстанавливать сельское хозяйство, особенно в наших краях, где чернозем и сплошные поля. Но тут была проблема. Можно легко засеять сотни гектаров земли, но мы живем в засушливом районе,

и если не позаботиться об орошении, толку не будет. Так был создан первый пруд, или Первое озеро, как его теперь называют местные.

Грек кивал и старательно записывал все в тетрадку.

– Но тут возникла новая проблема, – продолжал старик. – Нужен был трубопровод, чтобы поставлять воду в самые отдаленные районы. Но труб не было. Война – дело такое. Нет денег, нет ресурсов. Промышленность в упадке. Тогда Максимов придумал выход: сделать еще несколько запруд. Если не можешь доставить воду от озера к полю, надо просто выкопать еще одно озеро прямо радом с полем. Если Магомет не идет к озеру, озеро само идет к Магомету. – Он улыбнулся, не разжимая губ. – Звучит глупо, любой инженер рассмеялся бы, если б услышал такую нелепость, но тогда у нас не было выбора, и мы стали думать, как устроить запруду там, на севере, рядом с посевами.

– Подождите-ка. – Грек открыл рюкзак, достал оттуда карту и развернул ее на столе.

Старик склонился над ней и улыбнулся.

– Ух ты, даже карту принес.

– Да. – Грек взял карандаш. – Но если Максимов хотел выкопать второй пруд на севере, тогда почему он в итоге перенес проект вот сюда? Это ведь довольно далеко от вот этой точки, так ведь-нет?

– Так. – Старик осторожно разровнял карту ладонью. – Видите ли, тут были чисто технические проблемы. Проблемы ресурсов. Нам приходилось выкручиваться буквально на каждом шагу. Задача была не из легких. Довольно сложно сварить кашу, если у тебя есть только вода и топор. Именно этим мы, в сущности, и занимались: варили кашу из топора. Кашей был наш проект, а топором – полное отсутствие оборудования. У нас были только лопаты и люди. И наши мозги. Тут ведь еще надо учитывать, что земля, на которой мы живем, находится под легким наклоном, мы живем на холме, хоть и не чувствуем, на деле же, если взять за точку отсчета уровень моря, то перепад высоты между этой точкой – он ткнул пальцем в северную часть карты, – и этой – палец опустился над южной частью карты, – довольно большой. И у Максимова просто не было оборудования, чтобы бурить до грунтовых вод. И тогда он и придумал свой проект «четыре пруда». Сеть из четырех водоемов, которые связаны, как сообщающиеся сосуды, вы ведь уже проходили это на уроке физики, так?

Мы с Греком кивнули.

– Но ведь он так и не закончил свой проект, нет?

Косарь улыбнулся и посмотрел на меня.

– А твой друг отлично подготовился. Сколько вам лет вообще-то?

– Тринадцать.

– Это впечатляет. – Он вздохнул и продолжил: – Да, над четвертым прудом работал уже я. Это было несложно, я всего лишь доделал его работу. Проект был уже готов, когда он… ммм… скончался.

– А что случилось с третьим прудом? – Грек сделал все, чтобы этот вопрос звучал максимально непринужденно, как простое, праздное любопытство.

Вопрос повис в воздухе, и я почувствовал, как атмосфера в комнате вдруг сгустилась. Запах морковного салата стал еще острее, в животе у меня урчало.

Косарь снисходительно рассмеялся.

– Да, третий пруд, или, как говорят, Третье озеро, – это нечто вроде местной легенды. Я слышал много нелепых историй о том, что с ним случилось.

– Например?

– Например?

– Да, – Грек взялся за ручку, – расскажите про самые нелепые легенды. Мы могли бы собрать их и записать, чтобы рассказать о них в своем докладе, это ведь интересно-нет?

– Ну, – Косарь пожал плечами, – самая идиотская версия гласит, что во время бурения геологи наткнулись на древнее кладбище, я не очень вдавался в подробности, потому что версия эта не выдерживает никакой критики.

Мы с Греком переглянулись.

– А вторая версия?

– Да они все примерно одинаковые. – Он положил руку на набалдашник своей трости, и только тут я заметил, что на левой руке у него нет среднего пальца – лишь короткий обрубок, одна фаланга из трех. – Все версии утверждают, что геологи во время бурения что-то там нашли: залежи алмазов, сокровище, скелет динозавра, бомбоубежище, ворота в ад, портал в другое измерение.

– А как все было на самом деле?

Косарь вздохнул.

– На самом деле всему виной время. Наш проект уже находился в процессе реализации, два пруда были готовы, а потом оказалось, что несколько заводов в Советском Союзе уже запущены и уже производят трубы. Это сильно облегчило задачу инженерам, проект был переделан буквально на коленке, и после перерасчета стало ясно, что третий пруд, или Третье озеро, называйте как хотите, больше не нужен.

– Но если он был не нужен, тогда почему вы не поменяли номера? Почему четвертый пруд не сделали третьим?

– Проект был уже готов, во всех сметах и документах значились именно эти номера прудов. И мы, инженеры, именно так их между собой и называли, и как-то так получилось, что названия просто прижились, и мы не видели никакого смысла в том, чтобы менять их.

– Но ведь третий пруд действительно начали копать-нет?

Косарь покачал головой:

– Об этом мне ничего не известно. Я принял проект в тот момент, когда надо было копать четвертый пруд, в том месте, где на плане было написано «четвертый пруд», мне сказали «Копай!», и я сказал «Так точно! Здесь будет четвертый пруд».

Вдруг на столе задребезжал будильник, Косарь бросил взгляд на циферблат – 19:30.

– Вам пора, – сказал он.

– Но мы ведь только…

– В другой раз. У меня дела.

– Хорошо. Мы придем завтра.

– Нет, не завтра. В другой день.

Грек начал складывать карту.

– Можно я схожу в туалет? – вдруг спросил он. – Я быстро, правда.

Косарь посмотрел на часы, он явно нервничал.

– Хорошо, только быстро. – Грек подскочил с дивана и огляделся.

– Коридор, последняя дверь налево, – подсказал старик.

И мой друг, пританцовывая, убежал в коридор.

Косарь поднялся и начал торопливо убирать со стола. Я бросился помогать ему.

– Торт можете забрать, – сказал он, – я не ем сладкое.

– А где туалетная бумага? – раздался приглушенный крик Грека из туалета. – А, все, нашел.

Затем – звук смыва в унитазе, шелест воды в раковине и щелчок двери.

– Извините, что так долго. У меня проблемы с пищеварением.

* * *

Мы попрощались со стариком и вышли на улицу.

– Иди спокойно, не оборачивайся, – сказал Грек, – веди себя естественно. Скорее всего, он смотрит на нас из окна. Сейчас зайдем за свинарники и спрячемся в поле.

– Зачем? Я думал, мы закончили.

– Пффф… мы еще даже не начинали. Когда он уйдет, мы вернемся.

– Мы – что?

– Тихо ты, я же сказал: веди себя естественно. У него в туалете есть маленькое окошко. Я открыл шпингалет и подложил карандаш между рамой и подоконником, чтобы оно не закрылось.

В животе у меня словно завязали морской узел.

– Мы не можем. Это незаконно.

Мы зашли за свинарники и одновременно рванули в сторону пшеничного поля, так, словно за нами спустили гончих. Затаившись в зарослях озимой, мы легли на холодную землю.

– Как в той книге, – сказал я, – «Над пропастью во ржи». (На самом деле, конечно, ничего похожего тут не было, и книжку я так и не дочитал, а вспомнил о ней сейчас, чтобы казаться умнее.)

– Это не рожь, это пшеница, – сказал Грек. – Так, слушай сюда: сейчас Косарь пойдет на почту, я засекал время – вернется он только через сорок минут, в двадцать двадцать, понял-нет? У нас полно времени.

– Знаешь, мне кажется, это плохая идея.

– Это не плохая идея, это ужасная идея. Но это единственная идея. У тебя есть идея получше?

– Да.

– Какая?

– Не делать этого.

– Пффф, «не делать» – это не идея. Мы обойдем дом, ты подсадишь меня. Расслабься ты, мы ведь не обокрасть его собираемся, я просто хочу полистать его бумаги, он ведь пишет письма каждый день, там должны быть черновики или типа того-нет?

– И все же я…

– Тихо. Пригнись. Он идет.

– Зачем мне пригибаться? Я и так лежу на животе во ржи.

– Это пшеница. Тихо.

Темнело, воздух наполнился гулким стрекотом сверчков, мы смотрели вслед уходящему Косарю.

– Идем.

Грек достал свой карманный фонарик. Мы вернулись к дому и стали обходить его по часовой стрелке.

– Вот.

Пятно света остановилось на небольшом окошке, на высоте где-то два с половиной метра.

Он взял фонарь в зубы, как кубинскую сигару, и повернулся ко мне:

– Подшади мея.

Я сложил руки в замок, и Грек, опершись мне на плечи, потянулся вверх. Он зацепился пальцами за край окошка и поднялся как-то очень ловко, влез туда, буквально втянулся, как змея – в нору.

– Я внутри, все отлично. Если что – свисти!

– Но я не умею свистеть, – отозвался я.

– Что?! – Голова Грека появилась в окошке. – В смысле, не умеешь?

– Ну, вот так.

– Как можно не уметь свистеть? Все детективы должны уметь свистеть, это часть профессии!

– Иди в жопу. Не умею – и все.

– Ладно, не важно, нам в любом случае нужен какой-то позывной. Сигнал об опасности. Обычно используют свист, но ты же не можешь просто закричать.

Я лихорадочно соображал, и тут меня осенило:

– Ой, слушай, я ведь умею изображать пьяного селезня.

Грек удивленно смотрел на меня сверху вниз. Только голова в небольшом прямоугольнике окна – как диктор в телевизоре. Он поднял руку и посветил фонариком мне в лицо.

– Повтори-ка.

– Ну, я умею изображать пьяного селезня. Мой дедушка однажды напоил уток пивом, и они очень смешно крякали, и я так хорошо научился им подражать, что они даже приняли меня за своего.

Он выдержал паузу, покачал головой.

– Я хочу официально зафиксировать этот момент, потому что это самое странное признание из всех, что я когда-либо слышал.

– Мы теряем время, – сказал я. – Уже девятнадцать пятьдесят пять.

– А, ну да. Хорошо, просто давай договоримся уже насчет сигнала тревоги. Издай какой-нибудь звук.

Я набрал воздуху в легкие и издал несколько крякающих звуков.

Кряки мои звучали так странно, что Грек сорвался, и голова его пропала из окна. Раздался грохот.

– Я в порядке! – тут же крикнул он. – Я в порядке! – И его хохочущая голова снова возникла в прямоугольнике окошка. – Я хочу сделать официальное заявление: это был самый странный позывной в истории. Мне очень понравилось. Сделай так еще раз!

Я снова крякнул.

Смех у него был очень заразительный, я тоже захихикал. Но тут же вспомнил про время, посмотрел на часы.

– Эй, уже восемь.

– Блин! Щас вернусь! Будь на стреме!

Ночь не была темной, небо как свежий лед на озере, а звезды в нем – как пузырьки воздуха в толще льда, а луна – как мутная вода в проруби. Я запрокинул голову и подумал: как жаль, что я ничего не понимаю в звездах. Надо бы выучить хотя бы парочку созвездий, чтобы смотреть в ночное небо и не чувствовать себя тупицей.

А потом я взглянул на пшеничное поле и вспомнил про эту книжку, где там пропасть на ржаном поле. Надо бы ее почитать, хоть пойму, в чем же там соль и зачем кому-то понадобилось сеять рожь прямо над пропастью. Какой в этом смысл? Ведь если засеять поле на краю пропасти, то люди не смогут увидеть края и упадут. Или, скажем, комбайн будет собирать эту рожь, и комбайнер не заметит края и свалится туда. Интересно, в книжке есть ответы на эти вопросы? А если, например, на дне этой пропасти есть деревня или город, и жители живут себе и в ус не дуют, а потом – бац! – и им на головы упадет комбайн, а? Прямо вот на крышу дома. Сидишь ты такой, завтракаешь, яичница, кофе с молоком, все дела, и – фигак! – твои кишки намотаны на лопасти комбайна! Что-то такое было в той крутейшей книжке братьев Стругацких, которую мне читал отец! Хоть убей, не помню, как она называется: там что-то про осадки. Надо будет спросить у отца.

Потом я посмотрел на огромную клетку для пса. Фарадей – ужасное чудовище, единственный пес на свете, который не умеет лаять. Какой смысл его держать? Ведь такой пес не сможет ни отпугнуть незнакомца, ни предупредить хозяина о том, что кто-то приближается. Хотя, тут же подумал я, с другой стороны, молчаливый взгляд этого пса порой гораздо страшнее любого лая. Да и вообще все зависит от хозяина. Может быть, Косарю и не нужны предупреждения. Ему нужен тихий пес, который сможет беззвучно подкрасться к незваному гостю и перегрызть ему глотку. Голосовых связок у Фарадея, может, и нет, а вот зубы еще как есть. Надо только выпустить пса из клетки…

И только тут я заметил, что клетка открыта.

Металлическая дверь нараспашку.

Меня бросило в пот. Я хотел издать тревожный сигнал, уже даже приложил ладони ко рту, но передумал. Нельзя привлекать внимание. Пес ведь может услышать меня. Где он вообще? Я бросил взгляд на пшеничное поле, залитое лунным светом. Дул ветер и гнал волны по полю, колосья раскачивались. Или это пес бежит? Боже мой, это он!

Я рванул вокруг дома, к двери и стал бить в нее кулаками.

– Саша! Саша! Открой! Открой, слышишь?! Быстрее!

Я долбил по двери так сильно, что у меня тут же заболели кости, заломило запястья и костяшки пальцев. Когда дверь распахнулась, я оттолкнул Грека, ворвался в дом, щелкнул замком и тут же сполз по двери на пол. Меня трясло так, что я с трудом дышал.

– Ты дурак-нет? – Грек развел руками. – Мы же договорились.

– К-к-клетка!

– Что?

– Клетка! Клетка открыта!

Он подбежал к окну, отдернул штору и стал вглядываться в темноту. В тот день я впервые услышал, как он матерится. Ругань его была такой изощренной, что я просто не понимал половины слов. Когда же приступ паники прошел, стал ходить туда-сюда.

– Идиот-идиот-идиот! – Он бил себя по голове. – Я не подумал об этом. Конечно же, он выпускает собаку, когда уходит из дома. Это ведь очевидно.

Я смотрел на него снизу вверх, сидя на полу, подпирая спиной входную дверь.

– Что будем делать?

– Тихо. Мне надо подумать. – Он ходил по кругу и ворошил свои волосы. Прошло пять минут, но он так и не произнес ни слова.

Я посмотрел на свои «Касио».

– Блин, уже двадцать двадцать. Он же сейчас вернется.

Грек замер. В темноте коридора я видел лишь его силуэт, но я буквально чувствовал эту ауру ужаса вокруг него.

Он подошел к окну и слегка отдернул штору.

– Идет.

Слово прозвучало в темноте глухо и отрывисто – словно камень упал на пол. Мне хотелось плакать. Я поднялся с пола, выглянул в окно и увидел серый силуэт, идущий по дороге. Навстречу ему бежал его медведеобразный пес. Седая шерсть Фарадея блестела в свете луны, словно мокрая.

Они оба – пес и человек – приближались к дому. Старик подошел к клетке и указал на нее пальцем, Фарадей послушано забежал внутрь, дверь хлопнула, звякнул шпингалет.

– Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! – Грек схватил меня за шкирку и потащил по коридору. – Быстрее, быстрее, быстрее.

Мы забежали в туалет. Грек запрыгнул на сливной бачок унитаза и начал подсаживать меня к окну. Я не помню, как мы оказались снаружи. Из окна я, кажется, вывалился головой вниз, но даже ничего не почувствовал при приземлении – настолько был напуган. Бог знает, как мне удалось ничего не сломать. Грек

выпрыгнул следом. Рюкзаки наши лежали тут же, у стены, мы схватили их и рванули прочь сквозь пшеничное поле.

От страха, и усталости, и холода у меня ломило зубы, нёбо потрескалось, словно дно пересохшего озера.

– Подожди! Петро, подожди!

Я замедлился и обернулся. Грек хромал следом.

– Что такое?

– Нога. Блин!

– Тебе помочь?

– Не, я могу идти. Просто хватит бежать. Мы уже далеко. – Он выдохнул и зажмурился. – Пффф, пронесло.

Несколько минут мы шли молча. И, честно говоря, в тот момент я его просто ненавидел. «Как глупо, как глупо, как глупо, – вертелось в голове, – зачем я согласился на это? Поиграли в детективов, блин!»

– Не хочешь узнать, что я нашел у него на столе? А? Петро? Ну чего ты опять ускорился, у меня же нога!

– Нет! – Я обернулся. – Не хочу я ничего знать! Иди в жопу!

Он виновато смотрел на меня:

– Прости. Я знаю, по-дурацки вышло.

Минуту мы молча смотрели друг на друга, и вдруг – он засмеялся. Сначала сдавленно, потом – громко и в голос.

– Чего? Чего ты ржешь?

– Видел бы ты свое лицо там, когда я открыл дверь!

– Ничего смешного.

Грек с трудом подавил хохот.

– Да, ты прав, еще рано над этим шутить. Постой, я присяду ненадолго, а то совсем больно наступать.

Он присел на бордюр, взялся за ногу обеими руками так, словно она была отдельным предметом.

– Сломал? – спросил я.

– Не, если б сломал, я бы пальцев не чувствовал, а я могу ими шевелить. Просто неудачное приземление.

Мы переглянулись – и снова засмеялись. Одновременно. Страх прошел, и смех сработал как защитный механизм.

Я тоже присел на бордюр:

– Что ты нашел?

– Наконец-то. Я думал, ты никогда не спросишь. – Он рылся во внутреннем кармане куртки, достал сложенный вчетверо листок и протянул мне.

– Это было на его столе. Он подкладывал этот листок под письмо. Я заштриховал его карандашом, чтобы увидеть продавленные места на бумаге.

Я раскрыл листок и увидел череду странных символов –

иностранный язык.

– Что здесь написано?

– Откуда я знаю? Надо найти переводчика. А пока мы знаем только, что он пишет письма за границу.

– Ну, это не преступление. – Я вернул ему письмо. – Он может писать письма кому угодно, это его право.

– Да, только есть одна загвоздка.

– Какая?

– Он соврал сегодня.

Я вопросительно посмотрел на Грека.

– Был еще один инженер. В пятьдесят втором. После Максимова и перед Косарем. Именно он должен был отвечать за создание третьего пруда.

– И что с ним стало?

– Никто не знает. В архивах ничего нет об этом.

– Тогда откуда ты знаешь, что был еще один инженер?

Грек улыбнулся:

– Бухгалтерия. Быть сыном работницы архива довольно скучно. Я кучу времени проводил в хранилище, помогал маме сканировать документы, они хотят перегнать все в компьютер, а бумаги пустят на макулатуру. Так вот, я нашел зарплатные листы. Максимов перестал получать зарплату в феврале пятьдесят второго, потом в бумагах появился некий «Руков А. В.», но через полгода все упоминания о нем исчезли. И только в январе пятьдесят третьего появился Косарев, то есть наш Косарь.

– А что, если он ничего не знает об этом?

– Знает.

– Откуда ты знаешь это?

Он растирал ступню ладонями.

– Интуиция.

* * *

– Ну здравствуйте, молодые люди.

Мы возвращались с нашего «интервью» (как раз шли через рынок, было уже поздно, и прилавки пустовали), когда нас окликнула моя мама.

– Здравствуй, сынок.

Я представил ей Грека. Грек увидел у нее в руках тяжелые пакеты с продуктами и кинулся помогать. Его хромота тут же прошла.

– Ох, – мама выдохнула с облегчением, – спасибо, Саша. Какой хороший у тебя друг, – сказала она мне.

Грек не просто помог маме донести продукты до дома, он даже поднялся с нами в лифте и дотащил пакеты до самой двери. Ему было ужасно тяжело, он прямо гнулся под тяжестью гречки и сырых куриных грудок, мы с мамой предлагали ему разделить эту ношу, но он упрямо качал головой.

– Еще раз спасибо тебе, Саша, – сказала мама, пытаясь в полутьме попасть ключом в замочную скважину (лампочку на лестничной клетке опять разбили).

Грек достал свой карманный фонарик детектива и посветил на замок.

– Ой, – мама засмеялась, – ты спасаешь меня уже во второй раз за последние десять минут.

Дверь распахнулась, повеяло теплом дома. Мама включила свет в коридоре, и мы минуту щурились, привыкая к яркому электрическому свету.

– Петро, а может, пригласишь друга на ужин?

– Я? Хорошо. – Я посмотрел на Грека и с удивлением увидел испуг в его глазах.

– Я даже не знаю, – сказал он. – Уже поздно. Скоро девять, я должен дома быть.

– А я позвоню твоей маме и скажу, что ты у нас. Скажу, что ты помог мне, и я настаиваю, чтобы ты остался на ужин.

Я смотрел на Грека и не мог понять, почему он в панике.

– Мама учила меня никогда не ходить в гости без торта. Это невежливо.

Моя мама засмеялась:

– Это интересно. А давай мы договоримся, что ты придешь с тортом в следующий раз. А сегодня угощаю я. Торта у нас нет, зато есть гречка и жареная курица.

В гулкой тишине подъезда послышалось урчание.

– Похоже, твой желудок «за».

«Оставь его в покое, – хотел сказать я маме, – чего ты к нему прицепилась? Это мой первый и единственный друг. Сейчас он решит, что ты сумасшедшая, и перестанет со мной общаться».

И в то же время я не мог понять, почему Грек не хочет заходить к нам в гости. Все выглядело так, словно они вдвоем знают что-то, чего не знаю я.

– Ну, хорошо. – Грек переступил порог.

– Вот и славно. Умывайтесь, ужин скоро будет. И да, надо позвонить твоей маме.

– У нас нет телефона, – сказал Грек.

Уши его горели, он как будто стыдился этого.

– Ну, тогда я позвоню вашей соседке и попрошу, чтобы она передала твоей маме, что ты у нас.

– Хорошо. – Голос его звучал сдавленно.

Буквально через две минуты в замке входной двери снова щелкнул ключ – вернулись папа и Егор (отец возил малого в больницу, проверить горло).

Мы сели за стол. Егор, как всегда, капризничал, и маме пришлось специально выкладывать еду на тарелке, чтобы он смог ее есть.

– Он ест только круглую пищу, – объяснил я Греку. – Поэтому мама выкладывает рис в виде круга и кусочки курицы тоже вырезает кругляшками.

Грек посмотрел на Егора:

– Любишь все круглое, а?

Егор закивал.

– Тебе бы понравился наш учитель математики. Он круглый дурак.

Возникла неловкая пауза, мама с папой переглянулись. И чтобы как-то сгладить неловкую шутку Грека, я начал рассказывать о Третьем озере. Точнее, о его отсутствии.

– Действительно, странно, – сказал отец. – Я и не думал об этом. Почему после второго идет четвертое?

– Добавки? – спросила мама у Грека. Она все время смотрела на него с какой-то странной жалостью и заботой, словно на промокшего под дождем щенка.

– Нет, – сказал он тихо, – спасибо, я сыт.

– Да брось. – Она взяла его тарелку и навалила ему еще гречки и положила жареную куриную грудку. – У нас в семье всегда едят две порции.

– Да? – удивился я. – А можно мне завтра две порции шоколада?

– И мне! – сказал Егор.

– Нет.

– Но ты же только что сама…

– Я имела в виду полезную еду, а сладкое вредно для зубов. И для кожи. Смотри, у тебя на лбу вон опять выскочили прыщи, – она прищурилась, – уже расковырял один, да?

– Нина! – Папа демонстративно бросил ложку в тарелку. – Давай не будем обсуждать его прыщи хотя бы за ужином, а?

– Пардон.

Снова повисла тяжелая тишина. На этот раз ее прервал Грек. Он обратился к отцу:

– Петро сказал, что вы любите делать табуретки.

Отец перестал жевать и посмотрел на меня.

– По-моему, это очень круто, – добавил Грек.

– Круто? – Мама вскинула брови в изумлении. «Круто» было

последним в списке ее слов, относящихся к отцовскому хобби.

– Э-э-э… ну да, наверно. – Отец тер шею ладонью.

– Да, мой брат сейчас учится в Японии, изучает криптографию. Это такая наука про защиту информации.

(«Так во-от почему он так одержим всеми этими шифрами и тайными знаками», – подумал я.)

– Вот как? Старший брат?

– Ага. Он иногда звонит нам. Ну, то есть не нам, а тете Тане, и мне позволяют поговорить с ним пять минут. Я рассказал ему про ваши табуретки и про то, как вы говорите, что для вас создание табуреток похоже на медитацию. Ну, потому что, по-моему, это очень круто. Я читал про одного японца, его звали… эммм… то ли Хиросима, то ли Нагасаки. Так вот, у него был маленький ресторанчик в подземном переходе, там даже туалета не было, верите-нет? А в меню там – только суши. И все! Ничего больше. Даже воды не было. – Грек задумался. – Ну, может быть, вода все-таки была, я не помню. Но в остальном – только суши. И знаете что? У него не было отбоя от посетителей.

– Как интересно. – Папа с мамой переглянулись.

– Да. – Грек ковырял вилкой курицу. – Больше всего на свете японцы ценят преданность своему делу. Знаете, Брюс Ли, один из моих кумиров, он сказал как-то, – Грек многозначительно поднял вилку: – «Я боюсь не того, кто отработал по разу десять тысяч ударов, а того, кто отработал десять тысяч раз один удар». Понимаете? Преданность – нет ничего важнее. И посетители этого ресторана ходили к повару и ели его суши с угрем. Они отдавали дань его преданности своему делу.

– Это прекрасная история.

– Да. Это мне брат рассказал. И еще он сказал, что ваша история с табуретками очень похожа на историю этого… Хиросимы-Нагасаки. Я не помню, как его зовут, но я обязательно спрошу у брата, когда он позвонит в следующий раз.

– Хорошо.

– Мой брат сказал, что в Японии вы были бы очень уважаемым человеком.

Отец засмеялся.

– Да, мне, пожалуй, стоит подумать о переезде в Японию.

Грек вдруг закашлялся:

– Ой, простите, я не то имел в виду. Я не хотел сказать, что здесь вы не уважаемый, простите, я… то есть в Японии все по-другому.

– Ничего, не переживай, я понял, что ты имел в виду. И я очень польщен. Знаешь, странное дело: однажды в моем гараже табуреток стало так много, что я просто не мог развернуться там.

Тогда я решил раздать их. Я повесил объявление: «Бесплатные табуретки». И знаешь, что произошло?

– Что?

– Ничего. Никто не пришел. И знаешь, что я сделала?

– Что?

– Поменял текст объявления. «Суперцена. Скидки. Акция. Только сегодня». И знаешь, что произошло?

– Что?

– Я продал все табуретки за день.

Мы с мамой переглянулись, папа никогда не рассказывал нам эту историю.

– Люди видели дешевые табуретки, покупали табуретки «с огромной скидкой, по акции» и уходили в полной уверенности, что совершили выгодную сделку. Это льстило их самолюбию, наверно.

Мы все засмеялись. Действительно прекрасная история. Я смутно догадывался, что где-то там есть мораль, но пока не понимал, в чем она.

– Это потрясающе! – сказал Грек. – Я обязательно расскажу ее своему брату, когда он позвонит в следующий раз. Он будет в восторге!

* * *

Я готовился ко сну, шел в ванную, чтобы почистить зубы, когда услышал с кухни мамин голос. Она мыла посуду – шумела вода и звенели тарелки, – но даже сквозь посторонние шумы я услышал, как она сказала: «… этот мальчик, Саша».

Вообще-то подслушивать нехорошо, и я бы просто пошел дальше, но следующая фраза мамы привлекла мое внимание:

– Мне всегда так жалко его.

– Да? Почему? – спросил отец.

Он сидел за обеденным столом и, кажется, пил чай. Я слышал, как он размешивает сахар и хрустит баранками.

– Ну, мне всегда жалко детей из неполных семей. Я знаю его мать, она одна воспитывает троих детей. У него есть сестра, она уже в десятом классе, кажется. И еще брат старший, но ему повезло, он выиграл общероссийскую олимпиаду и уехал учиться в Японию.

– А что стало с их отцом? – спросил отец.

Мама выключила воду, звякнула тарелка. А потом тишина – долгая и странная. Я было решил, что разговор подошел к концу, или мама не хочет отвечать, или уже ответила, просто я не

расслышал.

И вдруг она сказала:

– Он повесился.

* * *

На следующий день, во время большой перемены мы нашли Аню и показали ей бумажку с иностранными словами.

– Это немецкий, – сказала она.

– Ты уверена? – спросил Грек.

Она посмотрела на него как на идиота.

– Я изучаю немецкий, как ты думаешь, я уверена?

Грек всегда игнорировал ее презрительный тон. Видимо, привык.

– Значит, он немец, – сказал он, повернувшись ко мне.

– Так, что ты опять учудил? – Аня откинула челку с глаз. Знакомое движение – Грек тоже постоянно откидывал челку с глаз, без рук, просто дернув головой. Похоже, у них это семейная черта, они словно копировали привычки и тики друг друга. – Откуда эта бумажка?

– Ниоткуда, – сказал Грек. Рядом с ней он всегда превращался в запуганного младшего брата – говорил тихим, почти извиняющимся тоном. – Нашел.

– Петя, – она посмотрела на меня, – я надеюсь, вы не затеваете ничего такого?

– Я тоже на это надеюсь, – сказал я.

Мне было обидно, что она видит во мне всего лишь друга своего мелкого брата. Я для нее – малолетка. Но это нечестно, у нас разница всего два года. Я даже Диккенса начал читать, чтобы понравиться ей. И пару раз уже пытался процитировать его в разговоре с ней; она заметила цитаты, но не похоже было, что они ее впечатлили.

– А что именно здесь написано? – спросил Грек.

Она снова взяла бумажку.

– Не знаю, это половина слова. А дальше – числа: один, два, четыре, пять.

– Пффф, ну спасибо, помогла. – Грек закатил глаза. – А то мы без тебя не знали, что это числа.

Аня искоса посмотрела на него.

– Нарываешься?

* * *

Самое интересное началось, когда я вернулся домой.

– К нам сегодня заходил Андрей Борисович Косарев, – сказала мама. Она стояла на кухне у плиты и размешивала что-то в кастрюле. – Спрашивал тебя. Сказал, что вы с Сашей Греком пишете доклад по истории родного края. Очень хвалил вас, говорил, вы очень ответственно подошли к заданию, и приглашал вас завтра в гости. Петро?

– А?

– Ты в порядке? Ты как-то побледнел. Ты хорошо себя чувствуешь?

– Меня тошнит немного. Пойду прилягу.

Внутри у меня все похолодело, уши заложило, словно при резком наборе высоты. Он знает, он знает. Он знает! Он знает, что мы влезли к нему в дом, мы оставили следы, это точно. Торт! Господи, неужели я где-то там забыл этот дурацкий вафельный торт?

Я зашел в детскую, на полу сидел Егор и собирал свой китайский конструктор «Лигао» (я называл его «недолего»). Детали валялись повсюду, как осколки битого стекла, я вечно наступал на них, и это было очень больно. Сейчас же я прошел по ним, как йог – по раскаленным углям. Мне было так страшно, что я не чувствовал боли. Я метнулся к рюкзаку и стал рыться в нем – торта не было! Я забыл его где-то там! Или он выпал, когда я убегал по полю?

Я подошел окну и осторожно выглянул. На улице никого, пустая детская площадка. Ветер едва двигает качели.

Надо бежать к Греку, предупредить его.

«Никто не выпустит тебя из дома, уже поздно».

Тогда я кинулся к телефону, чтобы позвонить ему, но тут же в ярости шарахнул трубкой о рычаг – у Грека нет телефона. Он есть у соседки, тети Тани, но мама ни за что не позволит мне позвонить ей. «Это невежливо, – скажет она, – звонить после девяти вечера и тем более звонить соседке друга и доставлять ей неудобства».

В отчаянии я лег на кровать, закрыл лицо ладонями. Думай, думай, думай. Что делать?

Я хотел бежать – накинуть куртку и рвануть куда глаза глядят, сквозь пшеничные поля, сквозь лесополосы и бежать, бежать на запад, не оборачиваясь, бежать, пока не добегу до Португалии, до побережья Атлантики, и там прыгнуть в океан и

плыть-плыть-плыть-плыть-плыть-плыть, пока не доплыву до Аргентины, и уже там, в Аргентине, я бы купил поддельные документы на черном рынке (на имя «Элиот Боливар», например) и залег бы на дно где-нибудь в самом глухом районе Буэнос-Айреса, в фавелах. Я бы устроился подмастерьем к портному и научился бы шить настоящие пончо, подружился бы с индейцами-гаучо, и стал бы антропологом, и изучал бы племена Южной Америки, вот была бы жизнь…

Сколько у меня денег в копилке? Рублей двести? Этого хватит на билет до Аргентины?

Хотя кого я обманываю? Если Косарь так быстро нашел меня здесь, то уж и в Буэнос-Айресе он точно меня обнаружит. Нет, он шпион, точно шпион. Грек был прав, все эти недомолвки, странные чужие голоса из радиоприемника, ежедневные письма на немецком языке. Мы зря разворошили этот улей с шершнями прошлого.

И вдруг в коридоре задребезжал телефон. Я вскочил с кровати так, словно мною выстрелили из пушки, и тут же наступил на рассыпанные по полу детальки Егорова конструктора.

– Эй! – возмутился он.

Но я уже был в коридоре. Я знал, что это Грек. Я бежал так быстро, что, кажется, преодолел звуковой барьер, но – мама все равно как-то умудрилась меня опередить. Он взяла трубку и сказала «да» (она никогда не говорила «алло», только «да»), минуту слушала похожее на шорох бормотание в трубке, потом обернулась, хотела позвать меня, но вдруг подпрыгнула от испуга и удивленно вскинула брови, увидев, что я уже стою прямо перед ней с протянутой рукой.

– Секундочку! – сказала она, прикрыла трубку ладонью и прошептала: – Будь добр, сообщи ему, что это невежливо звонить после девяти вечера.

– Хорошо-хорошо. – Я вырвал у нее трубку, схватил телефон и потащил его в туалет.

– Эй, осторожней! Провод не порви.

К сожалению, провод был недостаточно длинный, и я не смог нормально закрыть дверь в туалет. Телефон остался по одну сторону двери, а трубка на пружинистом проводе – по другую. Я опустил стульчак и сел на унитаз.

– Алло, – прошептал я.

– Почему ты шепчешь? – спросил Грек.

– Я не знаю, – снова прошептал я.

– А если ты не знаешь, тогда зачем ты продолжаешь шептать? Это ведь глупо-нет?

– Да, наверно.

– Я по делу звоню: я так понимаю, к тебе он тоже приходил?

– Да! – выдохнул я, чувствуя облегчение. «Ну вот, – думал я, – сейчас Грек придумает, как нам выпутаться. Не удивлюсь, если он уже звонит мне из Аргентины». – Что будем делать?

– Пойдем к нему, что же еще.

– Ты спятил?! Этот человек похитил целое озеро! Заставил его исчезнуть! Что помешает ему «исчезнуть» нас с тобой? Может, он нас в этом исчезнувшем озере и утопит, блин.

– Так, перестань истерить. На самом деле это не так уж плохо…

– «Не так уж плохо»? Он знает! Он знает, что мы были в его доме! Мы наверняка наследили там, у меня была грязная обувь! И еще я потерял торт.

– Это возможно, да. Но я все продумал. У нас будет план для отступления. Он не сможет нас «исчезнуть».

Я молчал.

– Аня, – сказал Грек.

– Аня?

– Да, Аня.

– И что с ней?

– Мы ей все расскажем.

– Ты с ума сошел? Ты расскажешь ей, как залез в чужой дом?

– Нет, мы скажем ей не всю правду. Но скажем. Она будет нашим козырем. Она всегда меня выручает.

Я глубоко вздохнул.

– Ну ладно. Это может сработать.

– А, и еще, – сказал Грек, – я узнал у брата имя того японца. Дзиро Оно.

– Какого японца?

– Ну того, который делал суши. Его имя Дзиро Оно. Скажи своему отцу.

* * *

И хотя разговор с Греком меня успокоил, я все равно всю ночь не мог сомкнуть глаз. Каждые пять минут смотрел на часы и несколько раз ходил на кухню попить воды. Во время одного из таких походов я и столкнулся с мамой. Она сидела за обеденным столом и что-то писала в тетрадке. Мы с папой знали, что она пишет роман, но старались не трогать ее. На вопросы мама реагировала странно: сначала отшучивалась, говорила: «Да так, ерунда всякая, девичий дневник», потом же, когда вопрос ей

надоел, она выбрала новую тактику: когда ее литературные будни снова становились частью дискуссии за обеденным столом, она просто опускала очки на переносицу и грозно смотрела на нас своим «фирменным» взглядом («хочешь скандала? Могу устроить», – говорил этот взгляд). Однажды папа попытался пошутить на эту тему:

– Ну? Как будет называться твой роман?

– «Убийство несмешного математика»[5].

И пусть по форме это звучало как шутка, тон у мамы был такой холодный и презрительный, что папа с тех пор не касался этой темы.

И сейчас я, застав маму за работой над романом, просто молча прошел мимо, налил себе в чашку кипяченой воды из трехлитровой банки на подоконнике и уже хотел вернуться к себе в комнату…

– Что, не спится? – спросила мама.

– Угу.

– Мне тоже, – вздохнула она.

Я ждал, что она скажет еще что-нибудь, но она молчала. Я собирался уйти, но остановился на пороге – не знаю как, но я почувствовал: мама не хочет, чтобы я уходил.

Я обернулся:

– Мам?

– Да?

– А можно спросить?

– Конечно.

– А почему ты бросила плаванье?

Я боялся, что вопрос разозлит ее, в последнее время ее злили вообще любые вопросы (даже безобидные, вроде «сколько времени?»), она очень легко выходила из себя и начинала кричать, просила оставить ее в покое. Но в этот раз все было иначе. Она улыбнулась, отложила ручку, сняла очки и стала тереть глаза ладонями так, словно хотела вдавить их внутрь черепа.

– А почему ты спрашиваешь?

– Не знаю. Я рассказывал одному человеку о твоих наградах по плаванью, а он спросил у меня, почему ты ушла из плаванья, а я не знал, что ответить. Ты перестала заниматься плаваньем, потому что я родился, да?

– Это кто тебе сказал? Отец?

– Нет. Ну, то есть он сказал, что ты перестала ходить на плаванье после моего рождения, потому что тебе надо было ухаживать за мной.

Она вздохнула.

– Так. Во-первых, я хочу, чтобы ты знал: я никогда, никогда, ни одной секунды не жалела ни о чем, что было связано с тобой или с твоим братом. Ты это понимаешь?

Я кивнул.

– Да, я ушла из спорта после того, как ты родился, но это вовсе не значит, что ты в чем-то виноват. Да, я действительно хотела проводить больше времени с тобой, но… – Она запнулась, ей было тяжело говорить.

– Но тогда почему?

Закрыла лицо ладонями, потом сквозь пальцы посмотрела на стопку своих черновиков.

Голос ее словно треснул.

– Потому что я никогда в своей жизни ничего не доводила до конца. И только об этом я жалею. Ничто не мучает сильнее, чем неоконченное дело. И если я когда-то была груба с тобой и заставляла тебя делать что-то, что тебе не нравилось, я делала это только потому, что не хотела, чтобы ты повторил мои ошибки. Чтобы ты всегда все доводил до конца. Потому что теперь, пожив немного, я знаю, что каждое неоконченное дело отдаляет тебя от… от… самого себя… – Она зажмурилась и сжала кулаки, ее ужасно злило то, что она не может четко сформулировать мысль. Мама в последнее время была сама не своя, я чувствовал, они с отцом все чаще ссорились. – Все это звучит ужасно глупо, – бормотала она, – банально и непонятно, но я все-таки надеюсь, что… что… – она неопределенно махнула рукой и посмотрела в окно, – что эти слова когда-нибудь помогут тебе. Никогда не бросай начатое, даже если тебе кажется, что ты делаешь это хуже всех на свете. – Только тут я понял, что она говорит все это не столько мне, сколько самой себе. – Даже если ты точно знаешь, что никогда не будешь лучшим в своем деле, – это не дает тебе права сдаться.

Я хотел сказать ей что-нибудь ободряющее, но боялся испортить момент. В самом деле, что я мог сказать? Но и просто стоять там со стаканом воды в руке я тоже не мог. Тогда я сел за стол напротив нее и бросил взгляд на ее черновики.

– Мам.

– А?

– А о чем будет твоя книга?

Она смущенно прикрыла страницу ладонью.

– Ни о чем. В том-то и проблема. Мне не о чем писать. У меня нет оригинальных мыслей.

– Это неправда! У тебя полно оригинальных мыслей! У тебя всегда отлично получалось придумывать сказки. Помнишь про Графта и сердце?

Она удивленно посмотрела на меня.

– Ну, про мальчика, который родился без сердца, – объяснил я. – Ты рассказывала ее мне перед сном, когда я был маленький.

– Ну, я рассказывала тебе много сказок.

– Да, но эта была особенная.

– Почему?

– Потому что я знал, что это ты ее придумала специально для меня.

Она закрыла рот ладонью, то ли зевнула, то ли была тронута, я не мог разобрать. Но что-то изменилось в ее лице – я знал, что смог достучаться до нее.

– Я имею в виду, почему ты говоришь, что ничего не доводила до конца? Ты ведь довела до конца историю про Графта и его обретенное сердце, правильно? У этой сказки идеальный конец.

Она шмыгнула носом, готовая заплакать.

– Я и не думала, что ты помнишь об этом. Ты ведь был совсем маленький.

– Ты шутишь? Я все детство мечтал, что мое сердце будет светиться, как стоваттная лампочка!

* * *

– Ай-ай-ай-ай, бо-о-ольно!

Аня держала Грека за ухо, он корчился от боли и словно висел на ее руке, пытаясь освободиться.

– Так и знала! Ты опять что-то натворил! Петро. – Она строго посмотрела на меня, продолжая выкручивать брату ухо. Наблюдать за этим было ужасно неловко. – Что вы сделали? Говори.

Я сглотнул.

– Ничего.

– Ничего? А зачем тогда вы оставили это письмо в нашем почтовом ящике?

Она бросила в меня комком бумаги – не мне, а именно в меня.

– Я не думал, что ты так рано заглянешь туда, – прошипел Грек. Он все еще пытался освободить свое ухо.

Я поднял листок и прочитал: «Если я не вернусь домой, во всем виноват Косарь». Я испытал приступ настоящего испанского стыда (это когда тебе стыдно за кого-то другого, мне мама об этом рассказывала). Грек сказал, что у него есть план – но не упомянул, насколько это тупой план. Оставить предсмертную

записку? Тоже мне план.

Анна слушала меня спокойно, даже слишком спокойно, и, когда я рассказал, как мы проникли в дом Косаря, она не разозлилась, наоборот, она выглядела усталой и разочарованной.

– Саша, твою ж мать, – тихо сказала она. – Почему ж ты такой дуралей?

Он ничего не ответил, прижимал ладонь к больному уху, словно боялся, что оно отвалится.

* * *

Мы подходили к дому Косаря. Ночью прошел дождь, дорога раскисла и хлюпала черной жижей под ногами. Дорожная колея была полна воды (в ней купались воробьи), нам приходилось идти по обочине.

В этот раз нам даже не пришлось стучать – дверь распахнулась, стоило нам ступить на порог.

– Ой, у нас еще одна гостья. – Старик улыбнулся Ане.

Она начала было извиняться за нас, но Косарь успокоил ее и пригласил нас всех в дом.

– Заходите. – Он улыбнулся как-то слишком дружелюбно, и я почувствовал, как мой желудок завязался в узел. – Только обувь оставьте за порогом.

Мы разулись и вошли.

– Что с твоим ухом? – спросил Косарь.

– Аллергия, – буркнул Грек. Похоже, этот аргумент он заготовил заранее.

Я старательно имитировал спокойствие и всеми силами подавлял внутренний голос: «Это ловушка! Беги!»

Но дверь захлопнулась за нами, было поздно. Внутри все так же пахло морковным салатом с грецкими орехами и еще чем-то – как будто марлей или спиртом. Как в операционной. Я живо представил себе пыточную в подвале у Косаря, все эти скальпели, ланцеты и иголки, которые он будет загонять нам под ногти.

– Мы принесли торт, – сказал Грек.

– Отлично, я как раз заварил чай. Имбирный, с кусочками фруктов.

«Так вот что это за запах? Имбирь», – подумал я.

Он, как и в прошлый раз, был облачен в серо-зеленый халат. На ногах – старые зеленые затрепанные тапочки с заостренными, загнутыми вверх носками. Вместе с седой бородой все это делало его похожим на джинна из сказки. Я даже невольно стал озираться в поисках бутылки или лампы, из которой он вылез.

Мы с Греком сели на продавленный диван. Аня села рядом со мной, сквозь одежду я чувствовал ее теплое бедро.

Косарь разлил чай по чашкам и сел в кресло напротив нас.

Повисла пауза, где-то вдали летел кукурузник. Мы молча переглядывались, как соучастники на очной ставке, играли в молчанку, словно дожидаясь, когда же оппонент даст слабину и заговорит первым. У нас был только один вопрос: как много он знает? И я уверен, старик разглядывал нас и по лицам пытался понять, какая часть правды известна нам.

– Что ж, давайте начну я, – наконец проговорил он. – Все-таки это я вас пригласил. Только сразу предупреждаю: я не собираюсь вас ни в чем обвинять или угрожать вам. Все очень просто. Я знаю, что вы залезли ко мне в дом.

Я с трудом подавлял дрожь в колене.

– Вы изрядно наследили там, в туалете. На сливном бачке и в коридоре – следы ваших ботинок. И да, сначала я был очень зол и хотел найти вас и оторвать вам головы или чего похуже.

Мое лицо горело от стыда, я смотрел в пол, потому что боялся, что если взгляну на старика, то рассыплюсь на осколки, как витрина, в которую швырнули булыжник. Если бы он орал на нас, или пытался нас побить, или вызвал полицию, это не было бы и вполовину так унизительно. Каким-то образом его тихая, спокойная речь, его слова о том, что он прощает нас, – все это делало наш поступок еще более подлым и неприличным.

Грек убрал руку от уха. Ухо было пурпурное, как орден за храбрость.

– Но потом я успокоился, осмотрел свои вещи и понял, что ничего не сломано и не украдено. Потом я вспомнил наш разговор и то, как меня восхитила ваша осведомленность. В свои тринадцать лет вы умудрились узнать об истории строительства ирригационных систем больше, чем многие студенты-инженеры, и уж тем более больше, чем все жители Рассвета, вместе взятые. Вы не стесняйтесь, пейте чай. Остынет же.

Он взял чашку, отхлебнул из нее, почмокал губами. Несколько янтарных капель повисли на его белой бороде.

– И потом я сказал себе: «Эй, эти парни не просто шпана. Они ведь искали что-то конкретное». И я вспомнил себя в вашем возрасте. Я ведь тоже делал много глупостей в детстве. И я сказал себе: «Эй, я тоже должен поговорить с этими пацанами, вправить им мозги». И вот что я вам скажу, ребята: даже самые благие намерения не дают вам права влезать в чужой дом. Это преступление. Уголовное. Вы это понимаете?

Приступ стыда, смешанного с паникой, постепенно проходил, я уже даже мог смотреть на Косаря. Ухо Грека сменило цвет –

стало красным, как сигнал светофора.

– Да, – сказал я за нас обоих.

– Я долго жил, долго и странно, и я точно могу вам сказать, что самый ценный навык в жизни любого человека – это умение правильно формулировать вопросы. Этот навык – ключ от всех дверей. Я полагаю, вы влезли в мой дом потому, что вам казалось, будто я скрываю что-то от вас.

– А вы не скрываете?

Грек смотрел на него исподлобья. Взгляд у него был обиженный и озлобленный, как у ребенка, наказанного за проступок, который он не совершал.

Старик снисходительно посмотрел на Грека, взял чашку.

– Молодой человек, у каждого есть – как это говорят? – скелеты в клозете. – Он отпил чаю и снова почмокал губами (и, честно говоря, это его чмоканье ужасно раздражало). – И у меня они тоже есть. Но мы ведь не говорим о совсем личных вещах, вас интересует история Рассвета, верно?

Мы молчали. Старик заулыбался, и я только сейчас заметил, в каком хорошем состоянии находятся его зубы. Неужели вставные? Да не, точно вставные.

– Но я ведь не смогу вам помочь, если не буду знать, что вы ищете.

– Мы ищем Третье озеро, – сказал Грек.

– Третий пруд, – поправил Косарь, подняв палец, и добавил: – Его не существует.

– И куда он делся?

– А вот это – неправильный вопрос, – сказал старик.

– Скажите хотя бы, где он был и что с ним случилось? Его закопали? Или там что-то произошло? Какая-то трагедия? Я ведь с ума сойду, если не узнаю.

– Это тоже неправильные вопросы.

– Так нечестно.

– Что именно нечестно?

– То, что вы делаете. Мы так можем до старости тут сидеть и задавать вопросы, а вы будете говорить, что они неправильные.

Старик покачал головой, допил чай из своей чашки и снова почмокал губами:

– Вовсе нет. Как раз наоборот. Я пытаюсь направить вас.

– Вы можете просто сказать нам ответ, и все будут довольны.

– Нет, так не пойдет. – Он покачал головой и подался вперед, положив ладони на набалдашник трости и упершись в них подбородком (я снова заметил отсутствующий средний палец на левой руке). – Когда я был маленький, такой же, как вы, и я слышал какое-то новое, незнакомое слово, я спрашивал у отца,

что оно значит. И знаете, что он отвечал? Он говорил: «Если я тебе скажу, ты тут же забудешь. Чтобы запомнить и понять это слово, ты должен приложить усилие». Понимаете? Что не требует усилий – не заслуживает усилий. Правда – самое удивительное вещество на планете: ее недостаточно узнать, чтобы добраться до нее, нужно поработать. В основном головой, но иногда и руками. И ногами – в том случае, если надо куда-то идти за ней. Как правило – далеко. И чем больше усилий ты прикладываешь, тем ценнее ответы, тем больше вероятность, что ты сможешь правильно понять то, что узнал, и не забудешь об этом на следующий день.

– Значит, вы нам ничего не скажете?

Старик наливал себе еще чаю.

– Как это «не скажу»? Еще как скажу. Но я хочу, чтобы вы заслужили правду, поняли ее ценность. Точно так же мой отец никогда не говорил мне, что значит то или иное диковинное слово, он знал, что я тут же забуду его значение. Почему вы не пьете чай? Пейте.

Мы с Аней потянулись за одной и той же чашкой и одновременно сказали: «Ой, извини».

Я взял ту, что левее, она – ту, что правее. Я сделал глоток. Терпкий напиток с привкусом цедры уже остыл. Грек сидел неподвижно.

– К тому же, – сказал старик, повторив свою процедуру с чашкой: понюхал, отпил, почмокал губами, – у вас нет никаких причин верить мне на слово. Как вы поймете, что я говорю правду? Я ведь могу сказать все, что придет мне в голову. Например, что третьего пруда не существует потому, что автор проекта ненавидел цифру три. Как вы узнаете, вру я сейчас или нет? Ну же, я разговаривал с вашей мамой, Александр, она сказала, что вы любите играть в детектива. Полагаю, вы именно это сейчас и делаете. Для того чтобы я сказал правду, вы должны найти, придумать такой вопрос, от которого я не смогу отвертеться.

– Это всего лишь слова, – сказал Грек.

– «Всего лишь слова»? Слова никогда не бывают «всего лишь». Слово сильнее, чем вы думаете. Я знаю случай, когда «всего лишь» одно короткое слово обрушило целую стену. Одно неосторожно сказанное слово – и целый народ обрел свободу.

– Я не верю в магию, – сказал Грек.

Старик фыркнул и встал, опершись на трость; хрустнув коленными суставами, вышел из комнаты, вернулся через минуту и положил перед нами на стол какой-то камень. Точнее – обломок. Небольшой серый кусок бетона. Одна грань ровная, на

ней даже виден фрагмент надписи.

– Берлинская стена, – сказал Косарь, усаживаясь обратно в кресло. – Двадцать семь лет она служила искусственным барьером между жителями западной и восточной частей Берлина. Но девятого ноября тысяча девятьсот восемьдесят девятого года все изменилось. Одно неосторожное слово – и все изменилось. Гюнтер Шабовски, пресс-секретарь Социалистической партии Германии, просто взял и ляпнул не то. Он рассказывал журналистам об упрощении порядка выезда граждан ГДР за рубеж. И тут у него спросили: когда новые правила вступят в силу? Проблема была в том, – старик поднял палец, – что Шабовски не знал точного ответа, он не удосужился просмотреть новые документы и потому не мог назвать точную дату. Но журналисты напирали, они кричали с мест: «Когда? Когда же? Сейчас?» И, не выдержав давления, вспотевший, испуганный Гюнтер ответил: «Насколько я знаю, да, сейчас». – Старик улыбнулся так, словно присутствовал при этом моменте. – Сейчас! Толпы людей кинулись к границе, и стена пала. Одно неосторожное слово и, – он показал тростью на камень, – граница превратилась в музейный экспонат, утратила свою силу. Люди перестали бояться.

– Откуда у вас этот камень? Вы были там? – спросил я.

– Все-то вам расскажи. Пусть это останется тайной.

– Пффф, одни тайны у вас. – Грек закатил глаза. – И ни одной разгадки.

– Ну почему же, разгадки у меня тоже есть. Я ведь сказал уже: единственный ключ к любой загадке – это правильно сформулированный вопрос.

– Несколько дней назад его брат, – Грек кивнул на меня, – Егор, ушел из музыкальной школы и потерялся. Это ведь вы нашли его.

Косарь кивнул.

– Кстати, спасибо за это! – вставил я.

– Он помнит, что встретил вас возле большого камня, – продолжал Грек, – и на камне были числа. Один, два, четыре, пять. Точь-в-точь как пруды.

Старик сморщился. «Так много морщин, – подумал я, – лицо похоже на грецкий орех».

– Вы хотите знать, что это за камень?

– А это правильный вопрос? Вы скажете нам?

– Я дам вам подсказку. – Он встал с дивана (суставы его хрустели, как хворост в костре), подошел к книжному стеллажу, взял книгу и бросил ее на стол, перед нами.

Старая, затертая обложка, название на иностранном языке.

На обложке – два персонажа. Тонкий, с копьем, на тонконогом коне, и толстый, на жирном осле. Стоят и смотрят на ветряную мельницу.

Грек открыл книгу.

– Она не на русском, – сказал он.

– А вам и не надо ее читать, – ответил старик. Он медленно опустился в кресло, коленные суставы хрустнули, словно сломались. – Это очень редкий экземпляр. Берегите ее. Мой отец был переводчиком. Переводил с испанского. Он перевел эту книгу. Мои родители познакомились благодаря ей.

Грек полистал книгу, закрыл ее и еще раз взглянул на обложку.

– И что нам с этим делать?

Старик пожал плечами:

– Это загадка. С помощью ее вы узнаете, где искать этот камень. Отгадка прямо на обложке. Все очень просто. Вы же любите играть в детективов. Вот и разгадайте ее. Она проще, чем кажется. Если вы знаете историю Рассвета, вы не заблудитесь.

* * *

Я чувствовал: что-то не так. Мои родители, может, и не были идеальной парой, и все же иногда (очень редко, но все же) между ними возникало взаимное тепло, я чувствовал это излучение, добрую радиацию, когда сидел с ними за обеденным столом. Издательство, в котором работала мама, занималось выпуском сентиментальных женских романов, и мама редактировала их, стараясь, как она сама говорила, «придать всей этой адовой графомании удобоваримый вид». Иногда ей приходилось почти полностью переписывать рукопись. У нее даже появилось хобби: она собирала идиотские обороты, пошлые сравнения и ляпы из этих самых романчиков. И вечерами, когда мы все садились за стол, она зачитывала нам свои находки. Со временем это стало чем-то вроде семейной традиции. Отец даже потирал руки от нетерпения и спрашивал: «Ну чего там, давай, жги глаголом». Мама открывала свою синюю тетрадь и читала: «Матильда лежала на спине и молча поедала потолок». Тут, вероятно, имелось в виду, что потолок эта самая Матильда поедала глазами, но автор забыл уточнить. Мы все хихикали и поднимали головы, смотрели вверх и пытались представить себе эту сцену – женщина ест потолок. А мама продолжала: «Она зашла в дом, а голову оставила на улице» («Это уже что-то из Майн Рида», – замечал отец, бросая ложку сметаны в борщ).

Их отношения никогда не были идеальными, но той весной тепла между ними становилось все меньше – такое вот резкое похолодание, холодный фронт. Я больше не чувствовал доброй радиации, теперь они, казалось, стеснялись смотреть друг другу в глаза. Даже Егор почуял изменения в атмосфере, и вечером, перед ужином он садился поближе ко мне, а не к маме.

Отец все чаще задерживался на работе, он просто не успевал к ужину. «Дипломники, – говорил он, пожимая плечами, – ничего сами не могут».

Ритуал был нарушен.

Если бы я мог, я бы дал всем родителям один совет: почаще (а лучше всегда) говорите своим детям, что они ни в чем не виноваты. Каждую ссору родителей, каждую грубость ребенок легко запишет на свой счет и будет навьючивать себя неврозами, как дромадер, пока не надорвется.

В молчании родителей, в их нежелании объяснять детям свое поведение всегда есть какой-то нездоровый и невежественный эгоизм, им кажется, что они выясняют отношения между собой и что дети здесь ни при чем. Але, родители, если у вас есть дети, забудьте про «между собой».

– Зачем объяснять ребенку очевидные вещи? – скажут родители.

И в этом вся разница между нами: многие взрослые просто не понимают, что дети живут в мире, где «очевидных вещей» не существует в принципе, и яичница на завтрак – штука такая же необъяснимая, как и летающие тарелки или киты, а ссора между родителями – событие, по степени чудовищности равное ядерному удару.

И, в общем, отец все чаще задерживался на работе. А приходя домой, включал телевизор и просто смотрел на экран, словно завороженный, загипнотизированный; так древние люди, наверно, смотрели на огонь.

А потом…

23 апреля я, как обычно, забрал Егора из музыкальной школы. Мы возвращались домой, деревья уже обросли листвой, был вечер, но солнце было еще высоко, и небо слепило всеми оттенками синего. Мы, кажется, о чем-то говорили, я пробовал шутить – неудачно. Мы были скованы, не очень-то хотели возвращаться домой, в эту враждебную тишину.

Я вставил ключ в скважину и попытался повернуть его, но оказалось, дверь открыта. Я толкнул ее и тут же увидел осколки стекла в коридоре. Стеклянная вставка в кухонной двери была разбита, солнечный свет поблескивал в местах скола и в россыпи стеклянной крошки на линолеуме.

Егор вцепился в мою руку. Я чувствовал себя как космонавт, ступающий на белую лунную поверхность. Словно мы одни тут, на Луне, в кратере, и воздуха все меньше. Только вакуум кругом и громкий звук собственного дыхания в голове: шшшш, шшшш, шшшш. Вдох, выдох – почему так душно?

Я сделал несколько шагов по коридору и заглянул в зал, очень осторожно, словно боялся, что в меня могут выстрелить. Всюду бардак – одежда, брюки, носки, два открытых чемодана на полу.

«Нас ограбили», – то ли сказал, то ли подумал я.

Егор смотрел на все это из-под моей руки, словно надеялся, что я смогу защитить его в случае чего.

Потом я увидел телевизор. Он работал без звука, пульт на полу, на ковре. Показывали новости, съемки какого-то тонущего корабля, черные и радужные пятна на морской поверхности, чайки и тюлени, увязшие в черной жиже. И заголовок внизу «Разлив нефти в заливе». «Какой дурацкий заголовок, – помню, подумал я, – «разлив в заливе» – как же глупо это звучит». А потом еще подумал: если нас ограбили, тогда почему телик не взяли? Это не имеет смысла. Телик – самое ценное, что есть в этом доме. Еще синтезатор Егора. Но и он тоже на месте.

– Это вы? – Хриплый голос из кухни.

Мама смотрела на нас сквозь разбитое окно в кухонной двери. Глаза у нее были красные, и все лицо словно съехало на сторону, куда-то влево-вниз, она шмыгала носом, в руке – дымящаяся сигарета. «Ты же не любишь запах дыма», – опять то ли сказал, то ли подумал я.

– Что случилось?

Она еще раз шмыгнула носом, открыла дверь, и я увидел еще больше осколков на полу – разбитые тарелки. И что это – капли крови? Я внимательно оглядел маму, с ног до головы – на ней ни царапины. Тогда откуда кровь?

На стене не хватало несколько кафельных плиток.

– Петро, я хочу, чтобы вы сейчас собрали вещи. Мы едем к бабушке с дедушкой. Помоги брату, хорошо?

– Да, но, – я смотрел на пол, – что здесь было?

– Просто собери вещи. Потом поговорим, нам надо ехать.

– А где папа?

Она сжала губы, словно сдерживала крик или ругательство, и я, не дожидаясь ответа, потащил Егора прочь по коридору, в комнату. Так солдаты бегут с линии огня.

Нам ничего не объяснили. Мы ведь всего лишь дети. Мы собирали вещи, Егор спросил у меня, надо ли брать игрушки и конструктор, я сказал, что не знаю, и он заплакал. Я начал

утешать его, боялся, что мама услышит рыдания и разозлится еще сильнее.

Потом мы ехали в такси. Мама в темных очках и в косынке, кожа бледная, полупрозрачная, зеленая сетка сосудов на шее и вздувшаяся вена на виске.

– А где папа? – спросил Егор.

Мама не ответила, он повторил вопрос.

– Перестань, – сказал я ему тихо.

Он посмотрел на меня с искренним недоумением, словно не мог поверить, что я сказал это.

– Что? Но я же просто спросил, где папа?

– Прошу тебя, золотце, не сейчас. Давай потом поговорим. Маме надо подумать немного. Хорошо? Приедем к бабушке с дедушкой, и там… – Она громко сглотнула, как будто сама себя мысленно спросила: «что – там?» – и не смогла ответить.

Бабушка с дедушкой жили в двадцати километрах от Рассвета, в пригороде Новочеркасска, в собственном одноэтажном доме. Когда машина въехала на холм и стала спускаться, я увидел их, они уже стояли на пороге и ждали нас. Это было странно, я видел их еще издалека. Казалось, они стоят тут, возле собственного дома, уже очень давно и смотрят вдаль, на холм, и ждут, когда появится желтая машина. И вот мы появились, и бабушка тут же пошла, даже скорее побежала нам навстречу, хотя мы были еще очень далеко. Дедушка догнал ее и остановил. К тому моменту уже начало темнеть, таксист остановил машину и заглушил мотор, в свете фар мелькали насекомые, то ли мотыльки, то ли бабочки. Цикады журчали так, что закладывало уши. Бабушка подбежала к машине, открыла заднюю дверь и потянула Егора на себя, взяла его на руки и тут же схватила меня за руку и стала вытаскивать, словно боялась, что автомобиль вот-вот взорвется или исчезнет и мы взорвемся/исчезнем вместе с ним. Дедушка открыл багажник, достал чемоданы. Все молчали, никто даже не поздоровался.

Я бы хотел точнее описать тот вечер, но я не помню всех подробностей. Память не похожа на кинопленку, гораздо больше она похожа на бракованную книгу, книгу-уродца, из тех, что коллекционировал Грек. Чернила в ней нечеткие, и строки наезжают друг на друга, и нумерация страниц нарушена, а иногда – ты видишь чистые листы.

Я помню, что тем вечером нам так ничего и не объяснили. И следующим утром – тоже. И даже через три дня взрослые отчаянно избегали разговоров на эту тему.

Я помню, как ночью меня разбудил Егор. Он стоял возле моей кровати, сжимая в руках книгу, с которой никогда не расставался,

«Детский атлас мира». Я подвинулся, и он лег рядом. И мы лежали в темноте и смотрели в потолок. Он вскоре засопел – уснул наконец. А у меня в голове вертелась эта фраза из маминой коллекции дурацких перлов из любовных романов: «Она лежала на спине и поедала потолок». Сейчас эта глупость уже не казалось мне смешной.

– Тебе холодно? – спросил Егор.

– Мне? Нет, а что?

– Ты дрожишь.

Я не нашелся что ответить и лишь спросил:

– А ты чего не спишь?

– А ты?

– …

– Я хочу кое-что сказать тебе. Но это секрет.

– …

– Ты сохранишь его? Обещаешь?

– Обещаю.

– Я не хочу быть музыкантом. Я хочу быть мореплавателем. Как Жак-Ив Кусто.

– Кусто не мореплаватель. Он исследователь моря.

– Ну вот я хочу быть как он. Только маме не говори, ладно?

– Почему?

– Она расстроится.

Я помолчал, потом потянулся к тумбочке и включил ночник. Комната озарилась темно-оранжевым, апельсиновым светом, на потолке нарисовался белый круг – свет лампочки вырывался вверх из плотного матерчатого абажура. Я взял у Егора атлас и начал листать его. «Все-таки у меня странный брат, – подумал я. – Какие у маленьких детей обычно любимые игрушки? Плюшевый мишка, трансформер, гоночная машина? А мой брат всегда берет с собой в постель «Атлас мира» или «Могучего властелина морей» Жак-Ива Кусто».

Впрочем, надо признать, книга была чудесная – с огромными цветными фотографиями и рисунками. Здесь даже есть карта звездного неба и карта океанического дна, заметил я. Самой смешной была страница, посвященная головным уборам: тут и викинги в своих нелепых рогатых шлемах, и английские солдаты в шапках, похожих на огромные черные меховые башни, и китайские мандарины, шляпы которых как перевернутые блюда для салата, и ковбои в крутых шляпах с загнутыми полями, и пираты в треуголках из акульей кожи, французы в беретах, ну и, конечно, русские в шапках-ушанках. И только у туземцев-зулусов из Африки не было головных уборов.

– А почему у них нет шапок? – спросил Егор. Ему было

обидно за туземцев.

– Не знаю, – сказал я, – в Африке все очень бедные, наверно, у них нет денег на шапки. Да и потом, там ведь жарко, зачем носить шапку в жару? У тебя ж уши вспотеют.

Я перевернул страницу, и мы увидели несколько вариантов географических карт семнадцатого века. Они сильно отличались от современных. Как странно. Ведь в семнадцатом веке, когда еще не было спутников, самолетов и орбитальных станций, люди смотрели на эти карты и верили, что мир выглядит именно так. Мне стало не по себе от этой мысли. Сколько людей, думал я, заблудилось и умерло, доверив свою жизнь неправильной карте? Сейчас-то у нас есть всякие электронные штуки, самолеты-беспилотники, и уж они-то точно знают, как выглядит наша планета с высоты птичьего полета. И тут я снова осекся: «А ведь те люди в семнадцатом веке думали точно так же, – подумал я, – они ведь тоже наверняка думали: «Ну уж сейчас-то мы, просвещенное общество, в отличие от этих средневековых дикарей, которые сожгли Джордано Бруно, уж мы-то точно знаем, как выглядит мир. Вот мы и карты нарисовали!»

На самом деле средневековые карты всегда нравились мне гораздо больше, чем современные. В них не было самодовольства, никто не утверждал в них, что знает абсолютно все. Неизвестные, неисследованные области на таких картах помечали фразой: «Hic sunt leones». «Здесь обитают львы».

Сегодня ученые утверждают, что им удалось получить максимально точный снимок планеты и что на Земле не осталось неисследованных областей. Но если это так, то почему в море до сих пропадают корабли? Просто исчезают с радаров.

Однажды я поделился этой мыслью с Греком. Мы разглядывали карту Рассвета, пытались понять, где может находиться тот загадочный камень с числами «1245». Я рассказал ему о разнице между современными и средневековыми картами и еще о том, что каждый раз, выпуская новые атласы, ученые утверждают, будто теперь их вычисления точнее некуда, но проходит время, и появляются новые ученые и доказывают, что в предыдущих атласах на самом деле было слишком много ошибок и лучше ими не пользоваться.

Грек кивал, это был первый раз, когда мне действительно удалось впечатлить его своими размышлениями.

– Мне нравится эта фраза, – сказал он и написал синей ручкой на карте Рассвета, на севере: «Здесь обитают львы».

* * *

– Мам?

Мы сидели за столом, я вилкой ковырял полузастывший желток глазуньи. На краю тарелки лежали кусочки ветчины, но я не хотел мяса. На самом деле я всерьез подумывал о том, чтобы стать вегетарианцем.

Она подняла на меня взгляд.

– Пожалуйста, скажи нам, что случилось с папой.

Все перестали жевать и стали осторожно переглядываться.

– У вашего папы есть другая семья, – вдруг сказал дедушка.

– Леша! – Бабушка цокнула языком.

– Что? – Дедушка развел руками, в одной из них была вилка. – Вы же не можете все время молчать. Они должны знать правду.

– О гсспди-боже! – Бабушка закатила глаза. – Каждый раз одно и то же: есть сотни способов сообщить правду, и ты всегда – всегда! – выбираешь самый грубый.

– Уж лучше самый грубый, чем самый никакой, – сказал дедушка, возвращаясь к своему омлету. – Вы молчите, как канарейки, уже второй день. Нельзя так с детьми, им же страшно.

– Это очень деликатная тема. Мы подбирали слова.

– Это слова, а не рассыпанные монеты, чего их подбирать? Просто говори – и все. – Дедушка нанизывал на вилку куски тонко нарезанной ветчины.

– У папы другая семья? – подал голос Егор. Вообще-то он никогда не смотрел прямо в глаза, но сейчас уставился прямо на маму, тщетно пытался поймать ее взгляд.

– А разве так можно? – спросил я.

Лицо мое горело, меня словно бы обдало этой новостью, как крутым кипятком. Другая семья? Что это значит? В те годы я зачитывался страшилками Стивена Кинга и, услышав фразу «другая семья», тут же представил себе совершенно дикую картину: я подумал, что где-то в городе живет еще одна семья, точная копия нашей – такая же мама, такой же Егор и точь-в-точь такой же я. Наши полные, абсолютные двойники. Как в параллельном мире, как в зеркале. А отец у нас один – и он живет на две семьи. И он путешествует между этими параллельными мирами от семьи к семье, потому что… почему? Господи, какая глупость.

Я тряхнул головой и зажмурился.

– Вообще-то нельзя, – сказал дедушка. – Просто ваш папа – сволочь.

– Леша! – снова воскликнула бабушка. – Ну что ты опять!

– Если хочешь, чтобы я молчал, – говори сама. – Дедушка погрозил ей вилкой. – Мне надоело это хождение по мухам.

Бабушка медленно положила столовые приборы по краям тарелки. Мама смотрела в стол, она не двигалась, кажется, даже не дышала. Повисла тишина. Птицы чирикали за окном, на дереве. Что-то скрипело на ветру – долго и протяжно: то ли качели, то ли дверные петли.

– Ох, да сколько можно? Если не можете, я сам скажу. – Дедушка повернулся ко мне: – Ваш отец ушел…

Мама с грохотом отодвинула стул, встала и быстро вышла из кухни. Бабушка направилась за ней и бросила деду через плечо: «Я сейчас вернусь, и только попробуй скажи еще хоть слово!»

Дедушка угрюмо смотрел в свою тарелку и медленно жевал.

* * *

Уже тогда я знал значения слов «интрижка» и «любовница», но эти слова были для меня частью какой-то другой реальности – вымышленной. Это в кино и в книгах люди заводят интрижки и любовниц. Я никогда не думал, что такие вещи существуют в нашей скучной, обычной, провинциальной жизни.

Оказывается, существуют.

У отца была другая женщина (как объяснить это ребенку?). Потом он стал проводить все больше времени с ней и все меньше – с нами. В марте она, эта женщина, сообщила отцу, что беременна. Он обещал ей все уладить, но целый месяц продолжал тянуть, жил на два дома. Смотрел нам в глаза и улыбался, уже зная, что предал нас, – вот как все было. А 23 апреля, в тот самый день, не знаю уж зачем и почему, – возможно, они с отцом поссорились, и эта женщина – другая женщина – просто взяла и позвонила к нам домой. Мама взяла трубку. И та, другая, женщина рассказала ей все.

А дальше – скандал, драка, ругань, проклятия, тарелки, летящие в отца, разбитое стекло на кухне, отлетевшие фрагменты плитки, капли крови (одна из тарелок, самая первая, угодила отцу в лоб; шесть швов).

Наш разрушенный дом.

И мы переехали к дедушке с бабушкой.

* * *

Мама никогда особо не ладила с дедом. Она не называла его «папа», только «отец», а когда злилась – «полковник». Из ее уст это звучало как оскорбление.

Дедушка был военным, а военных мама презирала больше всего, называла их «птеродактилями». Дед вечно был в разъездах, дочь видел редко, ее, по сути, воспитала наша бабушка, Вера Михайловна. Наверно, из-за этого мама выросла полной его противоположностью (хотя сам он говорил, что она выросла такой ему «назло»). Он был военным-артиллеристом: участвовал в боях, имел награды, хранил коллекцию оружия. Мама же ненавидела насилие, а его коллекцию называла «люфтваффе».

– При чем здесь люфтваффе? – удивлялся дед. – Люфтваффе – это военно-воздушные силы Третьего рейха, а у меня коллекция ружей. Голландских и бельгийских. Тут вообще нет никакой связи. Если ты хочешь меня оскорбить, то хотя бы делай это логично. – Когда он злился, он размахивал правой рукой, указывал куда-то вдаль (в светлое будущее) словно политик, толкающий речь перед избирателями.

Вообще, стоило им – маме с дедушкой – оказаться в одной комнате, и я буквально чувствовал высоковольтное напряжение. Они почти не разговаривали, но их взаимная неприязнь наполняла комнату электричеством, казалось, что еще чуть-чуть – и начнут лопаться лампочки в люстре.

Коллекция деда хранилась в его кабинете, под замком, но в зале стоял еще один стеклянный шкаф, где на всеобщее обозрение было выставлено любимое дедово ружье: бельгийское «Август Лебо». Я часто рассматривал его – и представлял себе, каково это: заталкивать патроны в стволы, нажимать на курок и чувствовать плечом отдачу.

– Хочешь подержать? – спросил однажды дед, проследив мой взгляд.

– А можно?!

– Ну, конечно.

Он достал из кармана связку ключей и потянулся к замку.

– Даже не думай, – раздался мамин голос с кухни.

Вот это слух! Она из другой комнаты услышала, о чем мы говорим?

Дед устало вздохнул.

– Слушай, я не собираюсь «учить его убивать», ничего такого. Я просто дам ему подержать ружье – оно не заряжено, расслабься.

– Я сказала, нет. Ему всего тринадцать.

Дед посмотрел на меня и пожал плечами:

– Извини, малек. Твоя мама – пацифистка.

– Ну, ма-ам! – Я зашел на кухню, мама нарезала салат. – Я ведь только подержать.

– Я думаю, он прав, Петро. У тебя ведь есть свое ружье, – говорила бабушка. Дочь дипломата, она всю жизнь улаживала

конфликты между домочадцами.

– Да, но оно ненастоящее!

* * *

Они всегда все делали назло друг другу. И, разумеется, дождавшись нужного момента, дед достал ружье из-под стекла и вручил мне. Оно оказалось тяжелее, чем я думал, гораздо тяжелее, чем моя пластмассовая двустволка, – и эта тяжесть вызывала дрожь. Дула перевешивали, и мне приходилось отклоняться назад, чтобы держать равновесие.

– Вот это да-а-а…

Дед достал из шкафа деревянный ящичек, открыл его золотистым ключом и вытащил оттуда несколько красных патронов.

– Пойдем, – сказал он, мотнув головой в сторону двери.

Мы вышли из дома и направились к пруду. Ружье в моих руках становилось все тяжелее, я уже не мог его нести и стал просто волочить за собой. Дед заметил это – и влепил мне подзатыльник.

– Ну что ты делаешь? Тьфу! Это же «Август Лебо», твою ж мать! – Он вытер стволы носовым платком и перекинул ружье через плечо. – Пойдем, чудик.

Я семенил за ним.

В пруду плескалась молодежь – два парня и две девушки. Они шумно прыгали в воду с небольшого деревянного пирса – кричали, визжали, смеялись.

Один из парней – коренастый, лысый, с синей наколкой на плече – сидел на краю мостика, свесив ноги, с сигаретой в зубах. Он заметил нас на другой стороне пруда, за камышами, и крикнул – хрипло, протяжно:

– Полко-о-овник!

Его друзья перестали плескаться и тоже посмотрели в нашу сторону – и замахали руками: «Полко-о-овни-и-ик!» От их воплей две утки выпорхнули из камышей и полетели прочь. Молодежь засмеялась. Дед лениво махнул им рукой, не останавливаясь. Я шел следом и чувствовал бесконечную гордость – даже эти шумные гуляки уважали моего деда.

Мы вышли на широкую поляну, где среди зарослей виднелся огромный пень. Дед ловко зарядил ружье, потом одним движением, как ковбой, вернул стволы на место и посмотрел на меня:

– Готов?

Я закивал.

– Смотри на пень.

Раздался выстрел, и на мгновение я оглох. Я наблюдал за тем, как облако синего дыма поднимается из стволов. На пне появилась светлая отметина – расщепленная древесина. Дед разломил ружье, вытащил горячие гильзы, сунул их в карман куртки и вставил два новых патрона. Потом задумался, бросил взгляд на меня – и вытащил один патрон.

– Иди сюда, – сказал он.

Я подошел, он встал на одно колено и показал мне, как правильно держать ружье.

– Прижми приклад к плечу, если не хочешь, чтобы отдачей тебе сломало ключицу.

Он стоял у меня за спиной и помогал целиться. От него пахло жареным луком.

– Все. Нажимай.

Я задержал дыхание, зажмурился – и надавил на спусковой крючок, но ничего не случилось.

– Не тот. Левый, – сказал дед мне на ухо.

* * *

Отдача превзошла все мои ожидания – приклад не сломал мне ключицу, но оставил здоровенный синяк на плече. Весь день у меня звенело в ушах – сквозь звон я с трудом мог слышать, как мама и бабушка кричат на деда:

– Еще раз – и ты больше никогда нас не увидишь!

С тех пор дед больше не пытался привить мне любовь к оружию – он и сам понимал, что перегнул палку. Ему было неловко, он сидел в кресле и молча, угрюмо опустив голову, сносил упреки, как нашкодивший пес.

И мне – мне тоже было стыдно. Мама не разговаривала со мной, даже не смотрела в мою сторону. Даже Егор, кажется, стал держаться от меня подальше, словно, взяв в руки ружье, я автоматически превратился в убийцу.

Всю ночь мне снились кошмары, я проснулся, замотанный в простыню, как мумия. Лунный свет, пробиваясь сквозь сдвинутые шторы, тонкой белой линией наискосок ложился на пол. Я всегда боялся этого луча – мне казалось, что, если я задену его, он отрежет мне руку, как лазер в научно-фантастическом фильме. Поэтому, двигаясь к двери, я осторожно обошел лунный «лазер».

Я пробрался в спальню мамы и растолкал ее.

– Что? Уже? Сколько времени? – забормотала она.

– Маааам, – прошептал я.

– О господи! – Она вздрогнула и потянулась к ночнику. Когда свет зажегся, она приподнялась на локтях и, щурясь, посмотрела на меня: – Что такое? Плечо болит, да?

– Нет. То есть да, но я не об этом. Я хотел сказать, что больше не буду.

– Это не может подождать до утра?

Я помолчал, набираясь смелости.

– Я тоже хочу быть пацифистом, как ты, мам.

– Пацифистом? А, это хорошо. – Она зевнула. – Это все? Ты за этим пришел?

– Да.

– Что ж, я рада, что мы все выяснили. Иди, ложись спать, завтра поговорим об этом, хорошо?

Она выключила ночник и повернулась на бок. Я постоял немного в темноте – и снова включил ночник. Мама открыла глаза и, щурясь, посмотрела на меня.

– Ну что еще?

– А что обычно делают пацифисты? – спросил я.

Она терла лоб ладонью.

– В смысле «что делают»?

Я пожал плечами:

– Ну, маляры красят заборы, военные воюют, а пацифисты – они что делают?

Мама задумалась:

– Да, в общем, ничего.

– Как это «ничего»? То есть если я весь день лежу на диване и ничего не делаю – я пацифист?

Мама вздохнула.

– Нет, если ты весь день лежишь на диване – ты лентяй, а не пацифист.

– А в чем разница?

Она потянулась к ночнику и погасила свет.

* * *

И все же дед мой – даром что военный – никогда не ассоциировался у меня с оружием. Он пах не порохом, а проявителем. В подвале его дома располагалась фотолаборатория, где на веревках, как белье, при свете тусклых темно-красных – иногда зеленых – фонарей сушились фотографии. Бабушка не любила заходить туда – подвал напоминал ей «логово серийного убийцы». А я наоборот – хотел

там жить. И дело даже не в искусстве фотографии – хотя и мысль о том, что время здесь остановилось, испуганное вспышкой объектива, приводила меня в восторг. Больше всего я любил сам процесс проявления: дед постепенно приобщал меня к ритуалу – сперва я просто наблюдал, сидя в углу на старой, хромой табуретке; потом он доверил мне ракель – я должен был снимать остатки влаги с проявленной пленки. «Снимай осторожно, не дави – поцарапаешь». А дальше – высший пилотаж: работа с фотоувеличителем и реактивами, выбор степени зернистости и прочее. Сложнее всего – поймать мгновение. Я запорол немало снимков, пытаясь с помощью секундомера рассчитать время выдержки – и каждый раз получал слишком контрастные, мертворожденные изображения – лица приобретали черты манекенов, восковых фигур. Они снились мне в кошмарах – как если бы и собственные сны я слишком долго держал в проявителе.

У каждого фотографа есть своя тема. Кто-то снимает портреты, кто-то – пейзажи, кто-то – натюрморты. Дед любил снимать руки. Точнее, кисти рук. У него была целая серия снимков такого рода.

– Если глаза – это зеркало души, то ладони – карта характера, – говорил он. – Смотри.

Он выкладывал на стол фотографии. На одной: хрупкое запястье, ветвление вен под тонкой кожей, длинные, очень длинные пальцы. На другой – рука сжата в кулак, костяшки неровные, квадратные. Обе фотографии были черно-белые, но я все равно отчетливо видел, насколько бледна и нежна кожа на первом снимке; кулак же, напротив, был темен, смугл.

– Видишь? – сказал дед. – Ты можешь не знать о человеке ничего, но его руки часто скажут все самое важное. Дело здесь даже не в форме ладони, длине запястья, нет, я говорю о движениях. Люди ведь по-разному держат руки, например когда сидят.

Больше всего дед гордился фотографиями рук бабушки. Он сделал более четырехсот снимков ее пальцев, скользящих по клавишам рояля, он покадрово, секунда за секундой, заснял, как она играет двадцатый ноктюрн Шопена. Эти снимки – все четыре сотни – занимали всю северную стену в его лаборатории. Я любил разглядывать их, мой взгляд перемещался от снимка к снимку, и мне казалось, что я слышу музыку. Мне было тринадцать, я мало что понимал в музыкальной гармонии, еще меньше – в искусстве в целом, и все же эти фотографии, этот разбитый на серию отдельных кадров фильм был похож на большое, красивое стихотворение. Я много раз видел, как бабушка играет на рояле,

но, лишь увидев «раскадровку», я понял (или мне казалось, что понял) всю красоту фортепианной музыки Шопена.

* * *

После утра, проведенного в подвале среди химикатов, мы шли в лес – подышать свежим воздухом. Я следовал за дедом, как прикованный. А он рассказывал истории.

– Помнишь, как ты однажды потерялся в лесу?

– Я? Нет.

– Тебе было шесть.

– Неправда. Я никогда не терялся в лесу.

– Мы пошли за грибами, было солнечно, прямо как сегодня. К полудню я набрал уже полную корзину белых. Твоя корзина была полна мухоморов – это был твой «мухоморовый бунт». «Ты собираешься их есть?» – спросил я. «Нет, я собираюсь их пить», – огрызнулся ты.

– Не было такого. Ты все выдумываешь! – говорил я, смеясь, но он продолжал как ни в чем не бывало:

– Помню, я ужасно разозлился и хотел всыпать тебе, но ты стал бросаться мухоморами, а потом и вовсе убежал.

Я помню тот лес: косые лучи в частоколе сосен. И твоя спина, твои мелькающие пятки вдали. Естественно, я ждал, что ты вернешься – я был уверен, что ты где-то неподалеку, наблюдаешь за мной. Но прошло пять минут, десять, час, два – а тебя все не было. Нигде: ни у друзей, ни дома. Когда стало темнеть, вся деревня высыпала в лес на поиски – даже баба Надя. Ей было девяносто, она была почти слепа – но, даже несмотря на это, полна решимости найти тебя и выпороть.

Ох, та ночь: темнота и – редкая листва, кусты, пылинки, ветки, мотыльки, мелькающие в белом свете фонарей. И крики отовсюду: «Петро-о-о!» Признаться, я струсил тогда. Даже мамане твоей не решился позвонить. Ну, что я мог ей сказать: «Мы ходили по грибы, и я потерял твоего сына. Зато набрал целую корзину белых».

Искали тебя до четырех утра, и возвращаюсь я такой домой, взять новые батарейки для фонаря, и что я вижу: твои заляпанные грязью сапоги на пороге и куртенку – на вешалке. Ты вернулся домой и просто лег спать. Я был так рад, что даже не смог толком разозлиться на тебя. Хотя пытался.

– Это правда было со мной? – спрашивал я после паузы.

– Нет, – говорил дед. – Это было со мной. Когда я был такой, как ты сейчас.

Его истории напоминали лоскутные одеяла – причем рассказ обычно строился так виртуозно, что швы между ложью и правдой были совсем незаметны. Он любил приврать и приукрасить, но при этом жутко обижался, когда люди подвергали сомнению его россказни.

* * *

Время, проведенное в деревне со стариками, было для меня особенно важным – ведь в отличие от моих родителей, бабушка с дедушкой действительно любили друг друга – без всяких оговорок. Это проявлялось во всем – даже в ссорах: они могли, конечно, поругаться из-за мелочи, долго играть в молчанку, но при этом оба после размолвки выглядели так виновато, что мне хотелось пожалеть их. И сцены примирения сопровождались какой-то юношеской робостью: дед, страдавший от артрита, во время обеда иногда ронял вилку на пол, бабушка молча поднимала ее, ополаскивала в раковине, вытирала фартуком и вкладывала ему в руку. Потом садилась напротив, подперев голову ладонью, смотрела, как он ест, – и вдруг говорила нежно: «Дур-р-рак ты». Дед ничего не отвечал, но по лицу его было заметно, что ему приятно. Таких нюансов было много – стоило бабушке бросить взгляд на солонку, дед тут же протягивал руку и пододвигал солонку ближе к ней.

– А что такое любовь? – спросил я однажды у деда.

Мы стояли в очереди в магазине – и все покупатели стали озираться, услышав мой вопрос. Дамы заулыбались, ожидая ответа.

– Любовь – это как мороженое, только лучше, – сказал дед.

* * *

Вообще, конечно, дед был очень странный – мог выйти из себя на ровном месте.

Я помню случай, когда это вышло ему боком. Тем утром я сидел на кухне и ковырял ложкой овсяную кашу. Из окна я видел, как бабушка развешивает белые простыни на веревках. Дул сильный ветер, и простыни вздымались и раскачивались, как бестолковые, ленивые привидения.

И вдруг раздался выстрел! Глухой и хлесткий.

Бабушка обернулась и посмотрела на меня сквозь окно. Потом отбросила таз с бельем и, подхватив подол сарафана,

кинулась в дом. Она толкнула дверь и пронеслась по кухне, окатив меня запахом стирального порошка. В коридоре ее остановила мама – она схватила ее за плечи и потянула назад.

– Леша! – закричала бабушка, глядя на дверь в подвал. – Леша!

Мы все испуганно смотрели на нее. Повисла тишина. Дверь отворилась, и из темноты вышел дед с пистолетом в руках. Он, щурясь, оглядел нас и сказал:

– Эта сука погрызла мои пленки.

– Какая сука?

– Мышь.

Он держался за ухо, явно оглушенный выстрелом.

– Ты стрелял в мышь? Ты… ты совсем, что ль, уже?

– Она погрызла мои пленки, – повторил дед упрямо.

Бабушка подошла к нему.

– Дай сюда! – Она прошла мимо меня на кухню и бросила оружие в мусорное ведро.

Дед, все еще слегка контуженный, виновато шел за ней.

– Ве-е-ер, ну ты чего? Ну.

– Ничего! – Она с ведром вышла на улицу и направилась в сторону озера.

Он догнал ее на полпути и потянул за локоть – она обернулась и посмотрела ему в глаза. Он был гораздо выше ее ростом, но странным образом смотрел на нее как бы снизу вверх, вжав голову в плечи, как провинившийся мальчишка. Развешенные повсюду стираные простыни частично скрывали их от меня. Дул ветер, простыни вздымались, и я мог сквозь окно видеть, как они спорят.

– Что? Что я тебе говорила? У нас был уговор, разве нет?

– Да, но…

– В доме дети!

– Да, но…

– Что «но»? Что «но»? Мне плевать, что это именной пистолет! Ты больше его не получишь! Конец беседы!

Дед смиренно смотрел, как бабушка шагает к озеру. Она вышла на пирс, брезгливо, двумя пальцами достала пистолет из ведра и бросила в воду.

Мама, стоявшая за моей спиной, хмыкнула:

– Вооружила рыб.

Бабушка демонстративно отряхнула руки и крикнула:

– Есть такое изобретение: мышеловка!

* * *

Так мы с Егором впервые в жизни попали на блошиный рынок. Дед взял нас с собой. Мы шли от ряда к ряду. Какое только барахло там не валялось: монеты, виниловые пластинки, книги, компасы, бинокли и даже – господи! – вставные челюсти, собачьи черепа, медвежьи когти. А иногда – обломки механизмов, предназначения которых не знали даже хозяева.

– Деда, а почему этот рынок называется блошиным? Тут ведь не продают блох.

– О-о-о, – протянул дед. – Это давняя история. Когда-то, давным-давно, когда миром правили блохи, блошиный царь выпустил указ…

– Деда.

– А?

– Мне тринадцать. Я не верю в блошиных царей.

Я помню, как впервые увидел медвежий капкан – огромные стальные челюсти. Я подошел поближе и спросил:

– А что это?

Продавец сверкнул золотым зубом, хотел ответить, но дед перебил его:

– Нет, чудик, это, пожалуй, чересчур. Бабушка не оценит.

Продавец показал нам классическую мышеловку – сюда кладете сыр, здесь закрепляете пусковой механизм. Он даже устроил небольшое представление: выдернул из метлы тонкий деревянный прутик и аккуратно надавил на качельку. Мышеловка грохнула и подлетела в воздух.

– Без шансов.

* * *

Мы вернулись домой, дед, как всегда, накинул шляпу на абажур светильника в коридоре и направился на кухню. Порывшись в холодильнике, он достал головку сыра и стал нарезать ее.

– Эй, это камамбер вообще-то! – сказала мама, наблюдая за ним. – Не слишком ли круто для мыши?

– Да брось, на нем плесень, он уже пропал.

Дед отрезал маленький квадратик сыра и быстрым шагом направился в сторону подвала. Сапоги его громко стучали по паркету. Он на ходу пытался зарядить пусковой механизм мышеловки, но старые пальцы не слушались.

– Давай я помогу, – сказал я, протягивая руку.

– Не надо, – проворчал он, оттолкнув меня.

Дед всегда становился груб, когда слышал жалость в моем

голосе – тело все чаще подводило его: простейшие манипуляции вроде открывания дверей или нарезания хлеба теперь вызывали трудности, он раздражался, если не мог попасть ключом в замочную скважину, и, конечно, отчаянно храбрился, не желая признавать свою слабость. Я любил его за это еще сильнее – его отчаянная мужественность меня восхищала.

Он зашел в подвал, локтем поднял рычаг выключателя и стал спускаться вниз по лестнице, даже не дождавшись, пока нагреются и вспыхнут лабораторные фонари. Он оступился – и упал в темноту; раздался грохот – и звонкий щелчок. Когда свет наконец зажегся – я увидел его: он лежал на боку, согнувшись в странной позе – как марионетка, запутавшаяся в собственных нитях.

– Дедушка! – Я кинулся к нему и сам чуть не споткнулся. – Деда, ты в порядке?

Мышеловка защелкнулась на его указательном пальце. Ноготь посинел.

– В порядке, – сказал он, повернув ко мне голову, и добавил после длинной паузы: – Только ослеп немного.

* * *

Он боялся старости – или скорее бессилия, связанного с нею. Потомственный военный, он считал слабость главным и единственным смертным грехом, поэтому не позволял никому из домочадцев за собой ухаживать. Он стал раздражителен и даже агрессивен. В первый раз услышав сочувственные нотки в голосе мамы, он схватил со стола первое, что попалось под руку, – шариковую ручку и швырнул в нее, точнее, в ту зону, откуда доносился голос (артиллерист со стажем, он умел стрелять вслепую).

Дом превратился для деда в поле боя. Он не хотел признавать свою слабость и каждое предложение помощи расценивал как нарушение границ, интервенцию. В итоге через неделю домочадцы стали просто избегать его. Он слышал, как на кухне шепчутся, словно присяжные, обсуждающие его будущее, и, открывая дверь своей фотолаборатории, кричал им: «Не дождетесь!»

Иногда к нему спускалась бабушка.

– Может, хватит уже дурака валять? Чего ты, как маленький? – Она знала, как с ним надо разговаривать. – Пойдем спать.

Он упрямо молчал.

– Я не ради тебя стараюсь, а ради себя. Я не могу уснуть без твоего храпа.

Дед вполне понимал, что ведет себя неприемлемо, что поведением своим отравляет жизнь окружающим. Но он не мог остановиться. Он был загнан в угол собственными принципами – и собственным упрямством.

Ночью он крался вдоль стен, находил спальню, хватался за холодную латунную ручку – замирал на мгновение и тихо открывал. Она спала, он слушал ее дыхание.

* * *

Он не хотел ни с кем говорить, и только мне и бабушке было позволено спускаться в его личную темноту. Я приносил ему обед, иногда читал книги и газеты, но чаще всего я перебирал фотографии и описывал их для него. Он слушал внимательно.

– Да, я помню этот момент. Положи в левый ящик.

Когда я уходил, он кричал вслед:

– Выключи свет.

Я поднимался по ступенькам, оборачивался и видел его фигуру в кресле, подсвеченную тусклым, искусственным сиянием лабораторных фонарей. Я опускал рычаг выключателя – фонари медленно тухли, фигура исчезала – и мне казалось, что если я сейчас опять включу свет, то увижу лишь пустое кресло. Я тянулся к рычагу, но не решался – мне было страшно.

А вечером, проходя мимо двери, ведущей в подвал, я слышал шорохи из темноты – и я не мог поверить в то, что эти шорохи – все, что осталось от него.

* * *

Он сидел в своем подвале окруженный фотографиями и аппаратурой. В темноте ему становилось легче – внешний мир не тревожил его.

Он открывал и раскручивал старые пленки, тщетно пытаясь на ощупь определить, почувствовать изображения. Он разбирал фотоаппараты – «Зенит», «Зоркий», «ФЭД-2» – чистил детали и возвращал на свои места.

Ему нравилось слушать звук затвора, шорох вынимаемой пленки и гул лабораторных фонарей.

Каждый день я помогал ему перебирать снимки. Я брал фотографию, описывал ее (наверно, именно тогда я осознал, как

это важно, уметь подбирать наиболее точные слова).

– Большая, темная ладонь, тыльная сторона. Она демонстрирует свои кольца.

– Она? – спросил дед.

– Да, это женщина. Длинные, накрашенные ногти, она положила ладонь на деревянный стол, чтобы дать тебе ее сфотографировать. Она как бы позирует, ее ладонь. Я думаю, она была польщена, когда ты попросил разрешения сфотографировать ее руку. И еще кольца, их много.

– Молодец. – Дед улыбнулся. – Ты быстро схватываешь. Положи в третью коробку.

Я выполнял просьбу и брал следующий снимок. На самом деле никакого смысла в их сортировке не было – как ни старался, я не мог понять, какими принципами руководствуется дедушка, распределяя снимки по коробкам.

В какой-то момент все это стало ужасно тяготить меня. Я продолжал приходить к нему каждый день, но уже скорее из чувства долга. Меня уже тошнило от снимков с изображениями рук.

Вот тут-то и случилось невероятное: я извлек из стопки очередное фото, стал разглядывать его, и вдруг меня словно облили холодной газировкой. Рука на снимке опиралась на трость, один палец – средний – отсутствовал.

Я сразу узнал ее – это был Косарь. Его рука!

Я описывал фотографию и при этом внимательно следил за реакцией дедушки. Знает ли он Косаря? Были ли они друзьями или дедушка просто однажды сфотографировал четырехпалую руку незнакомца?

– Да. Это отличный снимок. Положи в третий ящик. Давай следующую.

Но я не шевелился, снимок не отпускал меня.

– Деда.

– Да?

– Я хотел спросить: а ты знаешь человека, которому, ну, принадлежит… ну, то есть хозяина этой руки, которая без пальца?

Он повел головой, повернулся ко мне по привычке, словно хотел заглянуть в глаза:

– Почему ты спрашиваешь?

– Ну, просто, мне кажется, я знаю его. Он живет у нас в Рассвете, недалеко от четвертого пруда.

Дед улыбнулся и заерзал в кресле.

– Вот это да! – сказал он. – Должен сказать, я впечатлен. Такая внимательность. Из тебя выйдет прекрасный сыщик. Или

художник.

Я был польщен, даже покраснел. И все же я не это хотел услышать.

– Так ты знаком с ним? – спросил я.

Он пожал плечами:

– Ну «знаком» – понятие растяжимое. В маленьком поселке все друг с другом знакомы. В той или иной степени. Мы ведь жили в Рассвете до того, как переехали сюда.

Я рассказал деду о нашем с Греком расследовании, об исчезнувшем озере, ну, и вообще о том, что нам (точнее, Греку, конечно) удалось выяснить.

– А почему вы называете его «Косарь»?

Я покраснел:

– Я не знаю. Это старшеклассники придумали.

Дед помолчал.

– Да, честно говоря, я тоже всегда думал, что это странно, что у нас нет Третьего озера. Одно время я даже общался с Андреем, это его настоящее имя. Мы оба болели за ростовский футбольный клуб «Ростсельмаш». Так и подружились.

– Давно?

– Давно-о-о. Еще в семидесятых, кажись.

Я ждал, что дедушка вот-вот скажет что-то важное, но он, казалось, забыл про «тайну Третьего озера» и про отсутствующий палец на левой руке Косаря и просто ударился в воспоминания о тех временах, когда он был ярым фанатом футбола и ездил на все домашние матчи клуба «Ростсельмаш», облаченный в желто-синюю клубную майку, с клубным шарфом, и как они однажды подрались с фанатами «Спартака», и как дошло до поножовщины…

– Деда-деда, – перебил я, – ты говорил про Косаря, помнишь? Про Третье озеро?

– А, да. А что я про него говорил?

– Косарь, ну, то есть Андрей, он потерял палец на работе или на войне? Почему у него нет пальца?

– А, палец? – Дед яростно тер лоб ладонью, словно стараясь разогреть и высвободить воспоминания. Он всегда так делал, когда пытался вспомнить что-то. – Я не помню. – Он услышал мой разочарованный вздох. – Ты же понимаешь, мы не были закадычными друзьями. Мы болели за одну команду, да, но он никогда особо не стремился дружить со мной и другими мужиками из нашей футбольной шайки. Он был старше нас. – Дед вдруг хлопнул себя по лбу. – Вспомнил! Его жена!

– Что? Она не разрешала ему дружить с вами?

– Нет. – Он понизил голос. – Она была тяжело больна. Он

редко выходил из дома. И чем хуже ей становилось, тем реже мы его видели. А потом она умерла. Они жили рядом с ветряными мельницами. Я точно помню это, потому что никакого смысла в этих мельницах не было – мельницы давно не работали и служили скорее чем-то вроде символа поселка. А потом она умерла, и он разрушил мельницы и похоронил ее прямо там, на том самом месте. В восьмидесятом году это было. Я точно помню год, потому что по телику шла Олимпиада. И Высоцкий еще умер тогда же, чуть ли не в тот же день. Эх…

Он снова ударился в воспоминания, начал рассказывать, как они собирались вместе и пели песни Высоцкого под гитару и как все были подавлены, когда узнали о его смерти.

– Даже Надя, – сказал он, – с ее консерваторским образованием очень любила его песни.

– Да-да, деда, но все-таки Третье озеро, помнишь?

– А, это? Да, помню. Я ведь даже спросил однажды у него, у Косаря вашего, об этом. Он сказал, что работает в сельскохозяйственном институте и что он инженер, проектирует всякие там сооружения. А я спросил, почему озера так странно пронумерованы.

Я подался вперед, уже готовый кричать: «Эврика!»

– Он показал мне руку. Ту, левую, где пальца среднего нет. И сказал что-то вроде: «Я хотел, чтобы количество озер соответствовало пальцам на моей левой руке», и засмеялся.

Возникла пауза, дед, кажется, почувствовал мое разочарование. Я ждал откровения, а получил дурацкую шутку.

– Извини, – сказал он. – Я хотел бы помочь, но это все, что я знаю.

* * *

Прошла неделя, потом месяц. Дед продолжал прятаться в подвале – он выходил на поверхность лишь ночью, шел в гостевую комнату, залезал под кровать и с головой накрывался одеялом. Солнце пугало его. И по ночам мы слышали, как он тихо ходит по дому, словно потерявшееся ворчливое привидение.

Вообще, если что-то и помогло мне пережить лето и не сойти с ума от тоски – то это книги.

Телика в доме не было, мама целыми днями шила что-то или копалась в саду на заднем дворе, бабушка разучивала с Егором новые партии на пианино.

Сперва я без энтузиазма воспринял просьбу деда почитать ему что-нибудь. Шекспир давался мне с трудом, я спотыкался о

его белые стихи, о ритмизированную прозу, не там ставил ударения и чувствовал себя из-за этого законченным болваном.

Но позже, когда дед попросил прочесть ему «Трое в лодке, не считая собаки», все изменилось. Книга захватила меня, я впервые понял, что значит выражение «искрометный юмор», – почувствовал, что получаю от чтения удовольствие, хохочу в голос и по несколько раз перечитываю самые выдающиеся пассажи и реплики. Это была чистая интеллектуальная радость, радость открытия, радость нового.

И однажды утром, лежа в постели, мучаясь от нестерпимой жары и слушая грустную мелодию фортепиано с первого этажа, я вдруг понял, что хочу еще – хочу читать, и чем больше, тем лучше.

Я зашел в кабинет дедушки и оглядел его огромный книжный стеллаж с рядами аккуратных разноцветных корешков.

Книги стали моим обезболивающим. Они помогали не думать о разводе родителей, о слепоте деда и о том, что вся моя жизнь всего за пару месяцев превратилась в черт знает что. Читая, я лучше понимал, что со мной происходит. Писатели объясняли мне мои собственные ощущения, я прочитал у них о том, что такое тоска и обида, и, прочитав, стал легче относиться к собственным эмоциям, – через книги я научился принимать себя.

Дед посоветовал мне начать с американских фантастов. Я прочитал собрание сочинений Рэя Брэдбери, запоем проглотил пятитомник Роберта Хайнлайна и трехтомник Айзека Азимова. Фантасты закончились, но мне было мало, и я взялся за классику – за тех писателей, которые были ближе всего по духу к моему любимому Джерому: О'Генри, Марк Твен, Ильф и Петров и ранние рассказы Чехова.

Все летние каникулы мы провели у бабушки с дедушкой. За это время я прочел больше тридцати книг. Но близилась осень, новый учебный год, а ездить в школу из Грушевки мы с Егором не могли – рассветовский школьный автобус не доезжал; ведь здесь была своя школа. В итоге на семейном совете взрослые, мама и бабушка, решили, что менять школу нецелесообразно и лучше дать нам, детям, возможность вернуться в привычную среду. Мама боялась возвращения, она морщилась, словно от дикой мигрени, всякий раз, когда кто-то из нас произносил слово «рассвет» (даже если речь в буквальном смысле шла о восходе солнца). Но бабушка была настойчива: Петр с Егором и так слишком много пережили за это лето, говорила она, и очередной переход в другую, новую, школу будет для них еще большим стрессом. Тем более, добавляла она, кочергой переворачивая плохо горящее полено в камине (в доме было тепло, даже жарко,

но бабушка все равно разжигала камин по вечерам, огонь успокаивал ее), тем более что школа у нас, в Грушевке, просто ужасная. И дети там кошмарные. Дикие дети. Дети фермеров и пьяниц. Уж лучше бы их волки воспитывали, чем пьяницы, всяко больше толку было бы. Нашим мальчикам вряд ли там понравится.

– Но как же отец? – спрашивала мама. – Ты что же, одна будешь за ним ухаживать?

– Я и так всегда одна за ним ухаживаю. Я тебе больше скажу: все эти его истерики – это по большей части представление для вас. – Бабушка справилась с поленом и вернула кочергу на место, отряхнула руки, села в кресло, посмотрела маме в глаза. – Я знаю, тебе страшно, – сказала она. – Ты пытаешься найти повод туда не возвращаться. Но ты должна. Ты не можешь все время прятаться тут от своей жизни, понимаешь? Надо жить дальше. А жизнь – она там. – Бабушка кивнула на окно, в сторону Рассвета. – Я завтра съезжу туда, приберусь у вас в квартире. Ты ведь не была там с того дня?

Мама покачала головой. Она смотрела на огонь.

– Я приберусь там, вымою полы.

– Там стекло на полу, – сказал я.

Я сидел на лестнице и смотрел на них, держась за балясины, как заключенный – за прутья решетки.

Бабушка вздрогнула и, щурясь, посмотрела на меня:

– Боже мой, Петро. Нельзя же так пугать. Ты бы хоть как-то обозначил свое присутствие. Если хочешь посидеть с нами, просто спускайся и садись. Не надо сидеть там, в полутьме. Это выглядит так, словно ты подслушиваешь.

– Прости. – Я спустился к ним.

– Как там Егор? – спросила мама.

– Спит.

– А ты почему не спишь?

Я пожал плечами и спросил:

– Мы вернемся в Рассвет?

Бабушка кивнула. Мама молчала, она оцепенело смотрела на огонь.

* * *

Странное дело: все лето мне казалось, что я очень хочу вернуться. Но когда мы собрали все вещи и сели в такси, я почувствовал тревогу, словно внутри у меня есть какой-то особый нерв, идущий от затылка к сердцу, и этот нерв сейчас

вибрировал, гудел у меня под кожей – нечто подобное, наверное, чувствует мореплаватель, который после долгих лет странствий видит в подзорную трубу порт родного берега и флаг родной страны.

Это вроде бы тот же дом, тот самый, и в то же время другой – все, все вокруг изменилось, одни деревья выросли, другие кто-то срубил, там постелили новый асфальт, здесь перекрасили фасад. И это всего лишь за три месяца.

Ощущение дикое, словно мы вернулись в какую-то другую, параллельную реальность, где все выглядит почти точно так же, и это «почти» не дает тебе покоя, ты озираешься вокруг, и тебе кажется, что все эти дома – всего лишь декорации, которые кто-то возвел здесь, чтобы обмануть тебя, а люди, твои соседи, одноклассники – актеры.

Все лето я думал о Рассвете, и мне казалось, что, когда мы вернемся, жизнь снова потечет своим чередом, все будет как раньше, только без отца, – мама вернется на работу, вечерами она будет писать свою книгу, готовить нам ужин и зачитывать очередную подборку перлов из присланных в издательство глупых рукописей. Егор будет ходить в музыкалку, на уроки фортепиано, я буду забирать его оттуда; а потом мы с Греком снова займемся нашим расследованием – и распутаем Дело о Пропавшем Третьем Озере.

Но в первый же день, когда такси остановилось возле нашего подъезда и я увидел двор, я испугался. Все изменилось, деревья подросли, и там, где раньше стояли две лавочки, теперь красовалась разноцветная детская площадка – горка, песочница, трапеции, качели.

Мне кажется, именно тогда, именно в тот момент я впервые в жизни почувствовал течение времени – оно неудержимо, как скорый поезд, неслось мимо меня. Мимо нас.

Жизнь не вернулась в старое русло. Потому что русла уже не было. И понимание этого – понимание того, что прошлое уже не вернуть, что нужно жить дальше с тем, что есть, – просто шокировало меня.

В ночь на первое сентября мне снились кошмары сюжетами из «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери – казалось, меня окружают не люди, но чужие, чуждые существа, принявшие облик знакомых людей. И утром собирая портфель, я едва не заплакал; до меня вдруг дошло, что там, в школе, все наверняка уже знают, что мои родители разводятся, и что мой отец ушел к другой женщине, и что мой дед ослеп, и что вся моя жизнь за одно лето превратилась в сюжет для идиотской мелодрамы, – они знают обо мне все. Я чувствовал себя голым, мне хотелось прикрыть свое

прошлое чем-нибудь, хоть фиговым листком, спрятать, скрыть его от посторонних глаз.

Я шел по улице, и мне казалось, что я слышу мысли прохожих: «Ох, это сын Портного, слышали их историю?»

Рассвет – провинциальный поселок с населением в пять тысяч человек. У всех провинциальных поселков есть одна общая черта: в них ничего не происходит. Люди здесь законсервированы в скуке, в повседневности, как эмбрионы в формалине в музее медицинских патологий. И как любое другое по-настоящему скучное место, Рассвет – идеальный рассадник/производитель сплетен.

У Чехова есть рассказ «В овраге», где описание села Уклеево умещается в одну фразу: «…то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Рассвет же люди обычно описывают фразой: «… тот самый, где председатель обкома пытался дать взятку судье ворованными медными проводами».

Но это было раньше. Теперь же все изменилось. Теперь наша семья – точнее, ее распад, интрижка отца, его жизнь на два дома, – все это стало главным предметом застольных бесед. Я несколько раз замечал, как люди просто замолкают на середине предложения, на полуслове и молча смотрят на меня, когда я прохожу мимо, и провожают взглядом, а потом снова начинают шепотом обсуждать что-то, искоса глядя на меня.

И это было невыносимо. Все, все, все вокруг знали.

Учителя в школе относились ко мне со снисхождением, никто не ругал за опоздания, за забытый дневник, за несделанную домашку. Но я не нуждался в особом отношении, наоборот, меня просто бесила их вызывающая снисходительность, бесило то, что они заостряли на мне внимание. Их настойчивое сострадание, тяжеловесное добро, их поблажки вовсе не облегчали мою жизнь, а делали только хуже, больнее; я чувствовал себя как артист на сцене, забывший все реплики – все эти добренькие взгляды, как софиты, были направлены на меня, слепили, обжигали. И мне хотелось кричать: «Перестаньте! Перестаньте жалеть меня! Я хочу быть как все!»

* * *

Первые две недели учебного года Грек пропустил, он пролежал в постели с горячкой – то ли скарлатина, то ли еще что-то (об этом мне сообщила Аня; мы встретились с ней в коридоре музыкалки, когда я пришел туда за Егором).

И только 14 сентября он появился в школе – худой и

бледный, но очень довольный тем, что наконец может выходить на улицу. Он зашел в класс и плюхнулся за парту рядом со мной.

– Я так понимаю, ты в окно не выглядывал все это время.

– А что?

Он как-то странно посмотрел на меня. Что это, презрение?

– Наш тайный знак, дубина, помнишь-нет? Я еще две недели назад вывесил красный шарф на трубе, на башне! Ты так и не пришел!

* * *

В отличие от учителей, ученики особой жалости ко мне не питали, напротив, я снова стал изгоем, объектом травли. Особенно в этом усердствовал тот самый Тимур Головня. Ни дня не проходило без его шутки в мой адрес.

Во время большой перемены в буфете он со своими миньонами садился недалеко от меня и громко рассказывал анекдоты про неверных мужей, разводы и прочие гадости. А если речь заходила об оценках и обучении, он говорил что-нибудь вроде:

– Жаль, что у меня папа на стороне никого не трахал. А то и мне бы тоже оценки на халяву ставили, из жалости. Жалким всегда оценки завышают.

– Не обращай внимания, – говорил мне Грек. – Когда на тебя лает бешеная собака, просто проходи мимо. Лаять в ответ бессмысленно и глупо.

* * *

И даже на уроке физкультуры, когда мы играли в футбол, Тимур все время старался поддеть меня, врезать по ногам. Мои страдания, руины моей семьи, все это почему-то доставляло ему удовольствие. Я молча вытерпел несколько грубых подкатов сзади. Проблема была в том, что если в буфете, во время обеда я мог легко игнорировать его – просто брал поднос и садился за другой стол, – то на футбольном поле уйти мне было некуда: я играл на позиции левого полузащитника, а он – правого защитника, в команде противника, и его главной задачей было сдерживать меня, не дать мне прорваться по флангу и навесить мяч в штрафную. Он и раньше никогда не давал мне спуску, играл грубо, грязно и даже не пытался скрыть свои приемчики от физрука, но в тот раз к подножкам, толчкам в спину и подсечкам

прибавились еще и шуточки. Он вел себя как какой-то карикатурный злодей из фильмов про шпионов – делал гадости без всякого смысла, просто потому что мог.

Он видел, как неприятно мне слушать его шуточки, и продолжал давить:

– Что такое? Ты хочешь плакать? Не сдерживай себя!

В очередной раз получив мяч, я рванул вперед по бровке, убрал на замахе одного из защитников и со всей силы, уже падая за лицевую линию, прострелил в штрафную.

Я надеялся услышать радостные вопли, возгласы «го-о-о-ол!», но вместо них услышал чей-то стон и хохот толпы.

Я приподнялся на локтях и огляделся. Тимур лежал в самом центре штрафной площади в позе эмбриона и стонал от боли. Вратарь на корточках сидел рядом с ним. Ко мне подбежал нападающий, Васька Гарин, помог подняться и тихо шепнул:

– Отличный удар. Яйца всмятку. Это правильное решение. Таким, как он, лучше не размножаться.

Мы тихо посмеялись.

Удар по яйцам вовсе не утихомирил Головню, наоборот, он разозлился еще сильнее, его подкаты стали еще жестче (за один из них он получил «горчичник», а я – огромный синяк на бедре), а шутки в мой адрес – грубее.

Очередное наше столкновение на бровке вышло таким сильным и неожиданным, что, упав ничком, я ударился подбородком о землю и застонал от боли.

Раздался свисток и возмущенный возглас:

– Ой, да бросьте! Я же сначала в мяч сыграл.

Он подошел ко мне и потянул меня вверх, за шкирку.

– Вставай, все было по правилам!

Боль в лодыжке была такой сильной, что у меня против воли выступили слезы. Головня увидел их и захохотал.

– Эй, да он плачет!

Смех его, низкий, ломаный, похожий на шумы в двигателе старого автомобиля, окончательно меня добил.

Внутри что-то треснуло и осыпалось, как витрина, в которую бросили кирпич. Я знал: еще секунда – и я разрыдаюсь.

Есть два способа замаскировать горе: смех и ярость.

Я выбрал второй.

* * *

На двери табличка: «Михаил Петрович Штейн, психолог». Он мне сразу не понравился: типичный мистер Всезнайка – седина в

бороде и библейская печаль во взгляде. Такой, знаете, ветхозаветный пастух. Как на картинках в детской Библии. Только вместо посоха у него карандаш, вместо хлопчатой жилетки – коричневый твидовый пиджак, вместо барана – я. Он задал пару вопросов, и, поняв, что я не страдаю от красноречия, взялся за книгу – с таким видом, словно меня нет. На стене у него за спиной в рамке висел недособранный пазл: большой фрагмент голубого неба наверху (собирать небо – настоящая пытка) и кусок серо-зеленой кирпичной стены внизу, а в середине – пустота. Центрального фрагмента – около ста деталей – нет.

– Что это? – спросил я.

Он посмотрел через плечо:

– Это пазл. Но он не завершен.

– А если он не завершен, зачем вы сунули его в рамку?

Он улыбнулся:

– Видишь ли, это лучший способ вызвать людей на разговор. Вот ты пришел сюда ко мне, весь такой угрюмый, на вопросы не хочешь отвечать. А потом – бац! – и видишь этот пазл, и тебе интересно, почему он там висит, ты задаешь вопросы, мы начинаем разговор.

– И это работает?

Он улыбается:

– Ну, с тобой же сейчас сработало.

Эта «шутка», по его замыслу, должна «растопить лед» между нами; он делает паузу, ожидая, что я улыбнусь, но я упрямо прячу эмоции. Я живу на этом свете достаточно, тринадцать долгих лет, и уже успел понять: взрослым плевать на то, какой ты есть там, внутри, это неважно, – главное, чтобы ты был объясним.

Взрослые – вообще странный народ: они приручили электричество, победили чуму и покорили космос, но так и не научились понимать собственных детей.

Хотите мое мнение? Психология – никакая не наука. И уж тем более – не медицина. Психолог – никакой не врач, он дрессировщик тараканов. Его цель – не вылечить вас, совсем нет, его цель – заставить тараканов в вашей голове прыгать сквозь горящий обруч его теории. Вот и все.

Итак, мы молчим. Мозгоправ снова берет в руки книгу. Я слегка подаюсь вперед и щурюсь, стараясь разглядеть имя автора.

– Любишь читать? – спрашивает он.

Я откидываюсь назад.

– Читать? Не-е. Ну, только комиксы.

Он улыбается – думает, что видит меня насквозь.

– Почему комиксы?

– Книги – это скучно. Картинок мало, и вообще.

– Хм… но эту-то книгу ты наверняка читал.

Он показывает обложку: «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд.

– Не-а. Не читал.

– Ну как же? Ты ведь знаешь, кто такой Оскар Уайльд?

– Я знаю, что он был педиком. А читать книгу педика – это как-то… – Я поводил в воздухе ладонью, пытаясь выдать свой жест за проявление косноязычия и гомофобии одновременно.

– Секундочку. – Он открывает ящик стола, достает тонкую картонную папку и несколько секунд водит пальцем по строчкам. – Вот. Две недели назад тебя выгнали с урока русского языка, верно?

– Угу.

– За что?

Я молчу.

– Ты переписывался с соседом по парте. Но, судя по всему, – он достает мою записку, – ты писал не на русском языке. Я долго сидел над этой запиской. Это шифр. – Он улыбается. – Я тоже в детстве любил шифры. И знаешь что? Я тут немного «поколдовал», – он смотрит прямо мне в глаза, – и нашел ключ. Это было несложно. Метод подмены взломать проще всего, начинаешь с союзов, потом ищешь гласные – а, о, е, – находишь зависимость, связь и вуаля! Смотри, твой друг, Александр Грек написал тебе: «Наша Пианина Петровна с каждым днем все моложе и моложе. Что-то с ней не так».

Он поднял на меня глаза. В груди у меня гулко стучало – я не могу поверить! Он взломал наш шифр!

– И что ты написал ему в ответ?

– Не помню.

– Это не страшно. У меня есть следующая записка, вот она, ее я тоже расшифровал. Ты написал: «Я почти уверен, что у нее дома на чердаке хранится портрет, который стареет и покрывается морщинами вместо нее».

Минуту мы молча смотрим друг на друга.

– Ты знаешь, что такое «аллюзия»?

– Ну, это когда… когда… эммм… обман зрения.

– Нет, это иллюзия. А аллюзия – это то, что ты использовал в своей записке.

Я не реагирую. Мозгоправ секунду смотрит на меня, потом подается вперед и говорит:

– Я проверил твою библиотечную карточку: на прошлой неделе ты взял Марка Твена. А до этого – Айзека Азимова. И только не надо говорить, что ты подкладываешь книги под ножку парты, чтобы не качалась. Я тебе вот что скажу: самый верный

способ быть обманутым – считать себя умнее других. Ты ведь понимаешь, почему ты здесь?

Пауза.

– Да.

– И почему же?

Я молчу.

– Почему ты напал на Тимура Головню?

Я молчу.

– Вообще, драки между мальчишками – дело обычное. Но ты нанес ему серьезные травмы, понимаешь? Чуть ухо не оторвал.

Я молчу.

– У тебя раньше случались приступы ярости?

Я молчу.

– Это довольно серьезно. Ко мне в кабинет обычно попадают дети с психическими отклонениями, из тяжелых семей. Но ты, – он положил ладонь на папку с моим делом, – явно не один из них. Поэтому я и хочу узнать, почему ты атаковал одноклассника?

«Атаковал»? Что это еще за слово? Никто не говорит «атаковал», когда речь идет о драке.

– Почему ты ухмыляешься?

– Вы сказали «атаковал». Так никто не говорит.

– Да? А как говорят?

– Врезал, втащил, отметелил. «Атаковал» – это какой-то военный термин.

– Хорошо, я перефразирую: за что ты отметелил одноклассника? За что ты втащил ему?

Я смотрю на часы, потом – на мозгоправа.

– Сколько мне тут еще сидеть?

– Хочешь уйти? Иди.

Он брезгливо машет рукой в сторону двери и берется за книгу. Прочитав страницу, он поднимает на меня взгляд:

– Ты еще здесь? Я думал, ты хочешь уйти. Дверь там – прямоугольная, коричневая. Не промахнешься.

Я облизнул губы. Его поведение, манера выражаться и полное отсутствие интереса ко мне – все это не вязалось с моими представлениями о психологах.

Проходит еще минута.

– Моей маме уже позвонили, да?

Он вновь откладывает книгу.

– Ты так, мммм, «отметелил», – изображает кавычки пальцами, – одноклассника, что его пришлось везти в больницу. Как ты думаешь, мы позвонили твоей маме или нет?

Я вздыхаю. Я хочу начать говорить, хочу рассказать ему все,

меня тошнит, слова рвутся из меня, как блевотина. Но я молчу.

– А как это вообще работает?

– Что именно?

– Как вы обычно определяете, болен человек или нет? Вот, например, если человек ничего не чувствует, это нормально?

– В смысле – «ничего не чувствует»?

– Ну… у меня был друг… Женька. Я считал его самым мирным и уравновешенным человеком на свете – он ни разу в жизни не дрался и, кажется, даже голос никогда не повышал. Однажды мы сбежали с урока математики, чтобы сходить в видеосалон: показывали «Чужого». Это такой монстр в космосе…

– Да-да, я знаю.

– …угу, так вот. Мы выгребли из карманов мелочь, наскребли на два билета и направились к остановке. Мы проходили мимо кафетерия, когда раздался взрыв – что-то бухнуло, знаете, как будто лопнул большой воздушный шар, потом секунда тишины, и новый звук «тр-р-р-р», похожий на грохот ливня по жестяной крыше, – это добавленные в бомбу монеты дырявили обшивку автобуса и застревали в стене у меня за спиной; я помню, как в воздухе повисли осколки стекла, я смотрел на них и не мог понять: почему они не падают? Я был как будто законсервирован в мгновении.

Очнулся в машине «скорой помощи» – целый и невредимый. Женька сидел рядом – невозмутимый, как всегда. Он кивнул на покореженный автобус и сказал: «Прикинь, мы живы только потому, что в момент взрыва стояли за автобусом, он принял ударную волну. С этого дня я официально уважаю общественный транспорт. – Он разжал кулак и показал мне несколько гнутых монет. – Это я насобирал, пока тебя латали».

Я испуганно посмотрел на него.

«Ты че, идиот? Выбрось».

«Чего идиот-то? Здесь семнадцать рублей. Купим хот-догов».

«То, что ты держишь, – это начинка для бомбы. Эти монеты, как картечь, калечили людей, ломали кости».

«Ой, не истери, а? – сказал Женя. – Деньги не пахнут. И вообще, пошли. Киноха наша начнется через двадцать минут, надо спешить».

Вокруг нас лежали трупы, а он боялся опоздать на фильм. Скажите, доктор, мой друг, Женя, он сумасшедший?

Психолог откинулся назад, почесал висок, пожал плечами.

– Я должен поговорить с ним, чтобы выяснить.

Пауза.

– А если я скажу вам, что это был я?

– В смысле?

– Это я выковыривал монеты из стены – в тот момент мне казалось, что это логично: чего добру пропадать? Я просто ничего не чувствовал – ни тоски, ни страха. И теперь Женя избегает меня – он считает меня психопатом.

Доктор минуту внимательно разглядывал меня – и вдруг громко чихнул.

– Извини. – Чихнул еще раз и внимательно посмотрел мне в глаза. – У меня ужасная аллергия на чушь. Чихаю без остановки. – Откинулся назад и скрестил руки на груди. – Думаешь, ты первый, кто сочиняет басни в этом кабинете? Впрочем, я должен отдать тебе должное – ты отличный рассказчик. Не думал стать писателем?

Я сунул руку в карман – и высыпал на стол горсть гнутых, покореженных монет. Семнадцать рублей.

* * *

Дома я ожидал серьезного разговора. Даже взбучки. Но мама вовсе не была в ярости. Она как-то грустно посмотрела на меня и обняла. Я не знал, как реагировать: хорошо это или плохо? Раньше я бы все отдал, чтобы избежать взбучки за проступок, но сейчас… Сейчас эти ее объятия нагоняли тоску. Если б она наорала на меня, мне было бы гораздо легче – я бы знал, что теперь все будет по-старому.

Впрочем, были и светлые моменты: мама потихоньку приходила в себя – вернулась к книге, например. Ночами сидела на кухне с чашкой растворимого кофе и перебирала свои черновики, черкала что-то карандашом.

Однажды, вернувшись из школы, я услышал шипение – звук доносился с кухни: мама жарила курицу. Дверь на кухню была плотно закрыта.

– Мам? – позвал я.

Она не ответила. Я разулся, осторожно подошел к двери. На ней висел календарь, и я сдвинул красный квадратик так, чтобы он показывал сегодняшний день, а потом приоткрыл дверь. Мама сидела за кухонным столом, в одной руке лопатка, в другой – книга. Она читала и была так увлечена, что совершенно забыла про курицу. Сковорода на плите уже дымилась, воздух был насыщен запахом паленого куриного мяса.

– Мам?

Она подпрыгнула и уронила лопатку. Мы посмотрели на лопатку, потом – друг на друга.

– Ты напугал меня до смерти! – сказала она, прижав ладонь к

груди.

– Там курица… того. – Я показал пальцем.

Мама метнулась к плите, схватила сковороду за ручку и тут же – «ссссс!» – отдернула ладонь. Потянулась за прихваткой и убрала сковороду с огня, на соседнюю конфорку. Потом кинулась к окну и открыла его настежь – густой, почти осязаемый дым струей потянулся на улицу.

Мама обернулась, но смотрела не на меня, а на свою ладонь.

– Блин! – взяла большой палец в рот.

Потом метнулась к раковине, открыла холодный кран и сунула руку под струю.

– Блин, блин, блин.

Я поднял лопатку с пола и так и застыл посреди кухни, не зная, что с ней делать. Мне было неловко, мне казалось, что мама обожглась из-за меня.

– Переверни, пожалуйста, курицу, – сказала она.

Я подошел к плите и стал лопаткой отдирать куриные грудки от сковороды.

– Петро! Ну что ты делаешь? Она же на полу валялась, ей-богу! Ты же это есть потом будешь, ну.

Мое лицо не просто горело от стыда, оно, кажется, дымилось – так же как курица.

– Прости.

Она открыла ящик рядом с раковиной, достала другую лопатку и перевернула куриные грудки. В этом, впрочем, уже не было необходимости – сковорода остывала.

Я подошел к столу и бросил взгляд на книгу. «Как писать книги».

* * *

Я знал, где искать ее по ночам. Она сидела на кухне, поджав под себя ногу, и перебирала черновики. Я зашел попить воды.

– Ну, как продвигается?

Она потерла глаза ладонями и посмотрела на меня. Усталый, измученный взгляд. Ластик на кончике карандаша стерт почти до основания.

– Не очень.

Я прошел к подоконнику и налил себе воды из трехлитровой банки. На вкус кипяченая вода напоминала жидкий мел, отдавала накипью, и я терпеть ее не мог, но мама запрещала пить из-под крана.

Она сняла очки и начала массировать переносицу. Я поставил

стакан на стол и сел напротив нее.

– Мне не спится, прочитай мне одну из своих сказок. Какую-нибудь новую.

– У меня нет новых. Оказывается, придумывать сказки не так просто. В последнее время у меня проблемы с идеями.

– Может, я могу помочь?

Она перестала массировать переносицу, посмотрела на меня.

– Это как?

Я пожал плечами:

– Ну, я могу подбросить тебе пару идей для сказок. У меня много идей. Я всегда получаю пятерки за сочинения по литературе.

– Да? – Она надела очки, взяла карандаш, чистый лист бумаги и выжидательно посмотрела на меня, мол, давай, Диккенс, диктуй, я внимательно слушаю.

Я задумался, оглядел кухню – взгляд мой застыл на холодильнике.

– «Похититель холодильников», – сказал я.

Повисла пауза. Мама посмотрела на холодильник, потом – на меня. Спросила:

– Чего?

– Это название сказки, – объяснил я. – Главный герой – он крадет холодильники. Как тебе? Представь: в мире пропадают холодильники, люди в ужасе, мороженое тает, производители газировки терпят убытки, потому что никто не хочет пить теплую газировку. Ну и так далее. Катастрофа мирового масштаба!

Мама почесала лоб.

– Мммм, звучит неплохо. Но это не сказка.

– Почему? Ведь в сказках всегда происходят странные вещи. А воровство холодильников – это очень странно.

– Да, но у сказки свои законы: какие бы странные вещи в ней ни происходили, у них должен быть смысл, хотя бы в рамках той реальности, в которой они происходят, должна быть мораль, они должны учить нас чему-то хорошему или предупреждать о плохом, понимаешь?

– Но моя сказка будет учить людей хорошему. Она будет учить, что красть холодильники нехорошо.

Мы переглянулись – и засмеялись. Она погрозила мне карандашом.

– Похоже, кто-то здесь не очень серьезно относится к своей задаче.

– Хорошо, дай подумать. – Я зажмурился, напрягся. – Если тебе нужны чудесные и странные вещи, тогда напиши сказку про похитителя стен.

– Стен?

– Да, стен. – Я хлопнул ладонью по стене. – Просто представь себе этот образ! Ты просыпаешься, а у твоего дома нет одной стены. Ее украл похититель стен.

– Так, – сказала мама. – Меня начинает пугать твоя одержимость похищениями и воровством. Скажи, у тебя есть идеи, в которых ничего не пропадает?

– Ну, – я стучал пальцами по стакану с кипяченой водой, – да. То есть нет. То есть почти. Помнишь, я рассказывал тебе о том, что в нашем поселке есть четыре озера – Первое, Второе, Четвертое и Пятое. А Третьего нет. И никто не знает, где оно. И было ли оно вообще. И если было, то куда пропало. А если его не было, тогда почему озера так странно пронумерованы?

На этот раз мама всерьез задумалась.

– Хммм. – Она прижала кончик карандаша к нижней губе и задумчиво посмотрела куда-то вверх-влево. – Пропавшее озеро. Думаешь, его украл похититель озер?

Я засмеялся.

– Я не знаю. Но я очень хочу выяснить. К тому же если ты напишешь об этом сказку, ты сможешь выдумать все что угодно – пусть это будет похититель озер. Ты ведь сама говорила, что в сказках должны происходить чудеса. Я много думал об этом озере. Иногда мне кажется, что кто-то просто пришел, взял это озеро за край, сложил его аккуратно, сунул себе в карман и ушел с ним. Вот просто так взял и ушел.

– А вот это интересно. – Мама сделала пару заметок на листке бумаги. – Озеро в кармане. Унес озеро в кармане. Слушай, а это отличная идея. Мне надо подумать над ней. Но зачем кому-то похищать озеро?

Я посмотрел в окно. Сотни насекомых летали, вертелись в свете уличного фонаря.

– А может, он не похищал его? Может, хотел просто спрятать? Чтобы защитить. Ну, например, от злого короля.

Эта идея понравилась маме еще больше.

– Спрятать, защитить озеро… – бормотала она, записывая.

(Мне странно сейчас вспоминать все это – эту ночь на кухне, этих насекомых в свете фонаря за окном, и этот диалог: вот так, буквально из ничего родилась новая история, одна из самых известных маминых сказок; и вот вопрос: если бы я знал тогда, как сильно эта сказка про спрятанное озеро аукнется мне в будущем, как бы я поступил?)

* * *

Ночные встречи на кухне стали для нас чем-то вроде традиции. Я делал вид, что ложусь спать, дожидался, пока Егор засопит на соседней кровати, выбирался из-под одеяла и, шлепая тапочками, шел на кухню, где за обеденным столом, обложенная черновиками, сидела мама.

Однажды мне даже удалось уговорить ее прочесть мне один из ее черновиков:

<сказка без названия>

Она дышала музыкой. Буквально. Нина родилась с особым даром – ее легкие, пропуская воздух, умели создавать мелодии.

Когда она появилась на свет, акушер долго не мог понять, что происходит, – ребенок плакал, но вместо плача операционную затопила симфония, такая грустная и пронзительная, что все, кто находился в комнате, тоже разрыдались.

Нина росла, а вместе с ней росли ее легкие. Она училась управлять своим даром, училась создавать, конструировать звуки, непохожие ни на один музыкальный инструмент.

Конечно, не все были рады ее дару. Родителям пришлось купить дом, одиноко стоящий в поле, потому что рядом с людьми они жить не могли. Соседи, сперва очарованные мелодичным дыханием девочки, через какое-то время начинали злиться, жаловались на «шум», требовали тишины хотя бы ночью. Но ведь Нина не могла не дышать, и даже ночью ее легкие сплетали из звуков дыхания новые симфонии и колыбельные.

И так они переехали очень далеко и жили в поле, где росли подсолнухи. Отец и мать ее могли уснуть, лишь заткнув уши ватой.

* * *

– И? Что дальше?

Мама посмотрела на меня поверх страницы, пожала плечами.

– Ничего. Я не могу придумать. Уже очень давно, сказка просто застряла после того, как… – Она зажмурилась, словно от мигрени. – Я не знаю, что будет дальше.

– Хммм. – Я задумался, почесал подбородок. – А что, если она заболеет и потеряет свой дар? Сначала она будет даже рада, ведь это значит, что она может ходить в школу и общаться с другими детьми.

Мама смотрела на меня, выгнув бровь, я продолжал:

– Но проходит время, и она понимает, что общение – это не так уж и интересно и что люди очень редко говорят о чем-то важном, и даже хуже, по большей части они несут чушь. И она поймет, что теперь она еще более одинока. Ведь раньше у нее была музыка, а теперь – только глупости, которые говорят люди.

Мама улыбнулась, покачала головой:

– Это как-то слишком, эээ, высокомерно.

– Почему? Это же правда.

– Понимаешь, сынок, вряд ли кто-то захочет читать сказку, в которой людей открыто называют идиотами.

– Да подожди ты, я же еще не закончил. Слушай: она затоскует и захворает еще сильнее.

– Еще сильнее, чем сейчас?

– Ну да, прямо очень сильно, сопли, температура, вот это все, и тогда ее родители вызовут врача, и он посоветует им обратиться в Министерство Дыхания, помнишь эту сказку про министерство?

– Конечно.

– И врач скажет им, что в этом Министерстве работает специалист, эмм, назовем его «Мастер Дыхания». Этот Мастер Дыхания настолько мастер, что о нем уже слагают легенды. Однажды к нему обратился один мальчик: у мальчика была проблема, когда он чихал, со всех деревьев вокруг опадали листья. И мальчик обратился к нему, и Мастер Дыхания помог: не вылечил мальчика, но помог ему контролировать свой дар. Круто?

Мама задумалась, кивнула:

– Круто. А как мастер поможет нашей главной героине?

Я почесал затылок.

– Этого я еще не придумал, но… – Меня вдруг осенило, я подскочил со стула и вскинул руки так, что чуть не сбил стакан с водой со стола.

– Придумал! Нет, все было не так! Давай переделаем? Зачеркни вот это все, что я там сейчас сказал. Смотри: ведь у сказки должен быть злодей, правильно? А пусть эту девочку Нину похитит злодей!

Мама покачала головой:

– Что, опять похититель? То он у тебя озера похищает, то девочек.

– Не-не, на этот раз другое. Ее похитит хозяин бродячего цирка! Его цирк выступал в городе, где жила Нина, и он случайно услышал, как она дышит музыкой, и подумал: «Эй, а на этом можно заработать». И похитил ее. И вот она каждый вечер выходит на арену и дышит – люди в восторге, они платят за ее музыкальное дыхание. Но они не видят, что на самом деле к ноге у нее привязана вот такая вот, знаешь, волшебная невидимая леска – чтоб не сбежала. Как птица на жердочке. Помнишь, еще картина такая есть, «Щегол»?

Мама взялась за карандаш, ей явно нравился ход моих мыслей.

– И этот злодей, такой вот Карабас-Барабас, каждый раз обещает отпустить ее, но, конечно же, врет. Потому что он, ну,

брехло. А потом, потом она сбежит от него. – Я говорил взахлеб, не успевал за собственными мыслями. – Но сбежать сложно. Потому что, потому что… она ведь дышит музыкой, правильно? Получается, что ее везде слышно, понимаешь? А если ты бренчишь, как музыкальная шкатулка, то спрятаться довольно сложно. Тебя везде найдут по звуку. И ей, значит, приходится учиться задерживать дыхание, сдерживать музыку внутри себя, и только так она может где-то спрятаться. И вот она бежит по ночному городу, за ней погоня, – я вышел из-за стола и изображал бегущую девочку и ее преследователей одновременно, – и она видит, что в одном из магазинов горит свет! Она забегает внутрь, – я дернул воображаемую ручку и забежал в воображаемый магазин. – А там!..

Повисла тишина.

Мама перестала писать и посмотрела на меня.

– Что?

Я выдохнул.

– Не знаю. Вдохновение прошло.

Мама постучала себе по носу кончиком карандаша.

– Давай теперь я попробую продолжить. Пусть это будет магазин портного.

– Портного?

– Ну да. Портной. Который шьет одежду.

– Ма-а-ам, это скучно. – Я закатил глаза. – Это же сказка, там должен быть как минимум продавец ковров-самолетов. Зачем нам портной? Ты бы еще математика вставила.

– Да подожди ты! Это же необычный портной! Он торгует озерами.

Я задумался и закивал.

– А вот это уже неплохо. Но как портной связан с озерами? Ведь озера – это вода, их нельзя зашить, или я не знаю, что там еще делают портные?

Мама улыбнулась:

– А что, если можно? Что, если в этом мире озеро – это такая особая ткань, которую можно зашить, распороть и еще, – она подняла карандаш, – спрятать в карман.

* * *

– Я хочу признаться. Эта история про взрыв бомбы и гнутые монеты. Я ее выдумал.

– Я знаю.

– Знаете?

Он сцепил руки в замок на колене, посмотрел на меня.

– Слушай, я ведь тоже не вчера родился. Отличать правду от вымысла – часть моей профессии. Знаешь, в чем разница? Правда бесхитростна, ее не нужно приукрашивать. Когда человек говорит правду, он просто рассказывает историю, и если использует детали, то лишь для уточнения. Ложь работает по-другому. Когда человек врет, он всегда слишком старается насытить историю деталями. Лжец говорит о том, чего не было, поэтому ему без конца приходится дорисовывать и еще каждый раз проверять, верят ли ему. – Он помолчал. – Я проверил: в последние два года в Ростове ничего не взрывалось. – Пожал плечами. – Но, надо отдать тебе должное, ты был чертовски убедителен. А уж эти монеты… Где ты их взял? Неужели специально изготовил, чтобы мозги людям пудрить? Или у них другая предыстория?

– Нет. На самом деле с них все и началось. Я просто нашел их на улице, они лежали на дороге. Я подобрал их и долго носил в кармане. Не могу понять, кто и зачем их погнул. Ну и придумал эту историю, чтобы объяснить самому себе.

* * *

Я стал часто ходить к Михаилу Петровичу. Просто поболтать. Он действительно умел слушать.

– Папа вообще был странный. Всегда. Ну, то есть люди говорили о нем «эксцентричный». В институте один его друг пытался доказать гипотезу Римана – не спрашивайте, что это такое, я не смогу объяснить, – так вот, другу почти удалось доказать ее, но в вычислениях была ошибка, которую ни он, ни папа никак не могли исправить. А потом этот друг, ну, погиб. Его сбила машина, когда он переходил дорогу. Говорят, он был рассеянный, скорее всего, пытался что-то посчитать в голове и не заметил, как вышел на дорогу. Что-то такое. Так вот, на похоронах папа должен был прочесть надгробную речь – или как она там называется? – он вышел, встал возле гроба и начал говорить что-то вроде: «Самая большая трагедия – когда кто-то уходит на взлете, в таком возрасте. Но в случае с Гришей трагедия удваивается, потому что он был не только большим человеком, но и большим ученым. Он почти расколол гипотезу Римана, и лишь одна нестыковка в вычислениях отделяла его от триумфа. Давайте рассмотрим зета-функцию…»[6] И тут на глазах у рыдающих родственников, стоя прямо возле гроба, он начал по памяти пересказывать процесс решения гипотезы Римана. Он просто забыл, где находится, и по привычке занялся

вычислениями. И даже когда мама попыталась за руку оттащить его от гроба, он сказал ей: «Нина, не мешай, я же лекцию читаю!»

Я засмеялся – не смог сдержаться, эта байка из жизни родителей всегда веселила меня.

– Понимаете? В этом был весь он. Он как будто не понимал, что у людей есть чувства, которые надо беречь. Однажды мама задала ему вопрос про стакан, ну, знаете: «Этот стакан наполовину пуст или наполовину полон?» – а он посмотрел на стакан, потом – на нее и на полном серьезе сказал: «Ты о чем? Разве не видишь? Оба варианта верны». Ей всегда казалось, что он издевается. Хотя на самом деле, я уверен, он просто такой родился – иногда просто не понимал иронии и сарказма. Знакомые всегда считали его очень саркастичным, но они ошибались – на самом деле он всегда серьезен, даже в самых абсурдных ситуациях, и именно это несоответствие между ситуацией и неадекватной папиной реакцией на нее люди принимали за остроумие.

Психолог пододвинул ко мне коробку с салфетками, и только тут я понял, что у меня текут слезы.

– Извините, – сказал я.

Он отмахнулся, мол, «да брось, не за что извиняться».

– Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? – спросил он через какое-то время.

Я запнулся. И правда почему?

– Не знаю. С тех пор как он ушел в другую семью, он ни разу даже не позвонил нам, не спросил, как мы с Егором поживаем. Как будто нас нет. И я опять же уверен, что это не со зла и не потому что он про нас забыл, – он просто не знает, что о детях надо заботиться, не знает, что молчание причиняет нам боль. И иногда я ненавижу его за это.

Я рассказал Михаилу Петровичу о своих родителях – с самого начала и даже упомянул беззубую цыганку, поведавшую маме, что ее первый сын будет уродом. Я рассказал об отношениях в нашей семье и о маминых сложносочиненных амбициях, о ее мечтах «быть опорой для гения» и «писать романы».

– Моя мама боялась, что я буду похож на отца, и этот страх, кажется, передался мне. В последнее время, с тех пор как он ушел, я постоянно слежу за собой, словно смотрю на себя со стороны, боюсь быть таким же холодным, спрашиваю себя: «А как поступил бы отец?» – и делаю все наоборот. Это дико и неправильно, и так нельзя, но я ничего не могу с собой поделать. Я постоянно борюсь с этим, и меня это бесит!

Я замолчал и посмотрел ему в глаза. Он облокотился на стол.

– А может быть, проблема именно в этом? – спросил он. –

Зачем ты с этим борешься?

Я задумался, пожал плечами.

– Потому что я хочу стать лучше. А чтобы стать лучше, надо работать над собой, разве нет?

– Это верно. Но я о другом: с чего ты взял, что так уж похож на него? Да, в тебе его гены, это правда, и он вроде как участвовал в твоем воспитании, но ведь это вовсе не значит, что ты его копия. И тем более это не значит, что ты будешь таким же, как он. Мой отец любил выпить, а я не люблю. Но я не люблю алкоголь вовсе не потому, что мой отец его любил. Я его просто не люблю, и всё. Это мой личный выбор. Главная проблема здесь вовсе не в том, что ты пытаешься не быть похожим на отца. Главная проблема в том, что ты свои гены воспринимаешь как поле битвы.

Он помолчал, давая мне время это обдумать.

– Это такое внутреннее донкихотство.

– Что?

– Ну, донкихотство.

– Это что такое?

Он улыбнулся, раскинул руки.

– Ну ты даешь! Столько книжек прочел, а «Дон Кихота» нет? Это книга такая. Там главный герой чуть-чуть сумасшедший, ему кажется, что он рыцарь. Он видит ветряные мельницы и думает, что это драконы, и сражается с ними. Очень смешная сцена. Да и вообще «Дон Кихот» – одна из самых лучших книг на свете, очень советую. Так вот, я думаю, что этот твой страх «не быть как отец» – это твоя внутренняя ветряная мельница, с которой ты постоянно борешься. Оставь ее в покое, пусть машет своими лопастями, позже ты поймешь, что она приносит пользу. Эй, ты слушаешь меня?

Меня вдруг бросило в пот. Знаете, так бывает, когда две обрывочные, нечеткие мысли вдруг сталкиваются внутри, в голове, и образуют одну ясную, сверхновую. Я вспомнил Косаря, его загадку. Когда мы с Греком были у него в последний раз, какую книгу он положил на стол? Ведь это и был «Дон Кихот»! И он сказал, что книга – подсказка. И позже, летом, дедушка рассказывал мне про Косаря и упоминал ветряные мельницы. Они принадлежали Косарю.

Я подался вперед.

– Скажите, а ведь тут где-то раньше были ветряные мельницы?

Психолог автоматически посмотрел в окно, почесал затылок.

– Эммм, да, но это было давно. Их же снесли.

Я вцепился пальцами в подлокотники кресла.

– А почему снесли?

– Что-то с кладбищем. Они хотели расширить его, кажется. А мельницы мешали. Я точно не знаю. Они же нерабочие были, так, достопримечательность, эй, ты куда?..

* * *

– Это могильная плита!

Грек удивленно смотрел на меня. Я стоял на пороге его дома, пот тек с меня ручьями, я вытирал его рукавом кофты. Рукав стал мокрым и грязным.

– Камень с числами – это могильная плита.

Я, запинаясь, яростно жестикулируя, руками изображая мельницу, рассказал о своей догадке, и через две минуты мы уже со всех ног мчались на кладбище. У меня началась одышка, закололо в боку, но я не останавливался – разгадка уже здесь, так близко, остановиться сейчас, даже чтобы перевести дух, – это преступление.

Рассветовское кладбище прилегало к трассе М4, на карте оно обозначалось крестиками. Российские кладбища очень сильно отличаются от тех, что вы обычно видите в кино. Это в фильмах про вампиров вам покажут опрятные, стриженые газоны и благородные, неброские камни и кресты или же склепы в готическом стиле, похожие на мавзолеи, украшенные барельефами и скульптурными композициями. В российской же глубинке кладбища не такие – здесь они больше напоминают свалку металлолома и пластиковых цветов. Могильных плит тут почти нет, и все вокруг утыкано полусгнившими деревянными крестами с портретами усопших; кто побогаче, у тех надгробия из металла. А еще оградки. На всех российских кладбищах у каждой могилы есть оградка, такой, знаете, маленький бессмысленный заборчик. У всех этих оградок есть одно общее свойство – они бесконечно уродливы. Даже те, что красивы, все равно уродливы. И если бы меня когда-нибудь спросили, что именно я хотел бы изменить в русском менталитете, какую именно черту характера я бы извлек из нашей национальной ДНК, я бы ответил: одержимость долбаными заборами. Русский заборный психоз особенно остро чувствуется здесь, на кладбище, где даже после смерти люди все равно пытаются отгородиться друг от друга[7].

На краю кладбища, под сенью ив располагалась небольшая деревянная каморка – хижина гробовщика. Этот человек выполнял сразу две функции: сторожил кладбище от мародеров (меня всегда волновал вопрос: что именно люди воруют на

кладбищах? Оградки?), а также продавал всем желающим свободные места.

Его прозвали Хирон. Мы, школьники, естественно, не знали, что это отсылка к греческой мифологии, – мы были уверены, что это ругательство, образованное от слова «хер».

Хирон сидел на ступеньках своей покосившейся хижины и белыми нитками зашивал сапог – точнее, пришивал отвалившуюся подошву. Это выглядело довольно странно, даже жутко: в одной руке иголка с ниткой, на другую надет сапог.

Мы остановились прямо на пороге. Он перестал орудовать иголкой и посмотрел на нас. Старик с бородой, похожей на банный веник, в широкополой шляпе. Лицо, покрытое глубокими морщинами, напоминает фотографию пустыни с высоты птичьего полета. Ноги босые, пальцы огромные, толстые – как будто по пять больших пальцев на каждой ноге, и ногти как листовое железо; чтобы состричь такие, нужна циркулярная пила как минимум.

Грек хотел обратиться к нему, но запнулся, и я сразу понял, в чем дело – мы не знали его имени. Никто не знал. Не могли же мы сказать: «Здравствуйте, Хирон, нам нужна ваша помощь».

– Мы хотели у вас кое-что спросить, – пробормотал я.

Секунд семь он переводил взгляд с меня на Грека и обратно, потом вернулся к своему сапогу – быстрыми, ловкими стежками зашивал его раззявленную «пасть».

Мы с Греком переглянулись.

– Это очень важно, – неуверенно сказал я.

Но старик словно забыл про нас.

– Эй! – вдруг крикнул Грек. – Вы нас слышите-нет?!

– Че ты орешь? – Старик сморщился, словно от мигрени. – Слышу я. Вишь, делом занят? Дай сапог зашить-то, епта.

Через пару минут, закончив, он перекусил нить и, кряхтя, натянул сапог на свою гигантскую ногу.

– Чо надо?

– Камень. Тут должен быть надгробный камень. С числами. Отведите нас к нему.

– Это кладбище, тут все камни с числами. Годы жизни – это и есть числа, а?

– Нет, этот особенный. На нем только четыре числа: 1, 2, 4, 5.

Старик, щурясь, посмотрел на меня – он явно знал, о чем мы говорим.

– Тут ведь раньше были мельницы, правильно? На этом месте?

Хирон почесал щеку ногтями – звук был такой, словно кто-то сдирает кору с дерева.

– Так-то да. Ну, идемте, чо.

Мы шли за ним – на север, вдоль лесополосы, вдоль трассы М4, где, проезжая мимо, грохотали фуры. Дойдя до края кладбища, старик указал на холм – и мы увидели большой, бесформенный надгробный камень. Он располагался чуть вдалеке от основного массива кладбища, и даже шум дороги здесь был почти неслышен. Не было ни оградки, ни цветов, – только трава и этот огромный булыжник.

Мы подошли поближе, я протянул руку и провел пальцами по гравировке. По спине – мурашки, как ледяной водой окропили. Это был он, тот самый камень – именно здесь оказался Егор в ту ночь – 1245.

– Это эпитафия.

* * *

До дома Косаря мы бежали со всех ног. Еще издалека я заметил, что клетка Фарадея пуста. Я чуть притормозил и схватил Грека за руку.

– Смотри.

Он тяжело дышал.

– Чего?

– Собака. Ее нет.

Чуть отдышавшись, мы снова кинулись вперед. И чем ближе мы были к дому, тем тревожней становилось на душе.

– Дверь. – Грек показал пальцем. – Дверь открыта. Что-то не так.

Ну вот, подумал я, сейчас заглянем внутрь и увидим там мертвого, уже давно окоченевшего старика. Такое всегда бывает в кино: стоит героям вплотную подобраться к разгадке, как – бац! – и вместо ответа автор сценария подбрасывает им окоченевший труп, а дальше – затемнение и надпись на экране: «Продолжение следует…» Ненавижу такое.

Но труп мы не нашли. Мы вообще ничего не нашли. Дом был пуст. Самую старую, нетранспортабельную мебель оставили, все остальное вывезли к чертям. На потолке – голые провода, торчат, ветвятся, словно корни электрического дерева, растущего где-то на крыше или на чердаке. В зале – только диван и кресло. Грек бегал по дому, открывал двери, заглядывал в кладовки – зачем? – словно надеялся, что старик никуда не уехал, а просто решил подшутить над нами, поиграть в прятки, сидит тут где-нибудь в шкафу или под диваном и хихикает в ладонь, давится от смеха: «Э, как я вас разыграл».

Диван заскрипел пружинами, когда я сел.

– Нет, нет, нет, нет, нет…

Грек, кажется, делал уже второй или третий круг по дому. Он хлопал дверями с такой силой, что с потолка то и дело осыпалась штукатурка. Я ждал, когда он угомонится, еще раз оглядел пустую комнату и вдруг увидел в углу камень, прямо возле порога. Тот самый – серый обломок, фрагмент Берлинской стены. Неужели он просто оставил его здесь? Нет, не может быть такого. Наверно, камень просто выпал из сумки, из дырки в дне. Не мог же старик просто так бросить здесь такую важную штуковину?

Грек снова появился в зале.

– Смотри, – сказал я.

Он выхватил камень, повертел в руках и вдруг – со всей дури швырнул в окно. Окно не осыпалось осколками, камень пробил в нем аккуратную дыру, от которой паутиной во все стороны расползлись тонкие лучи-трещины.

– Ты дурак, что ли?

Я понимал его ярость. Мальчик, выросший на книгах, внутри книг. И собственную жизнь он воспринимал как сюжет для рассказа Эдгара По или хотя бы Стивена Кинга. Теперь у этого рассказа нет развязки. Главный герой не поразит всех своей эрудицией, не выведет хитрого старика на чистую воду, не расскажет любопытному читателю, «как все было на самом деле». Книга не закончена. Возможно, он закончит ее когда-нибудь, но теперь мы знаем: это случится нескоро. Очень нескоро.

Я вышел из дома и разыскал в кустах тот самый камень – обломок Берлинской стены. И положил в карман.

* * *

Темнело, мы шли по улице в молчании, я боялся даже смотреть на Грека. Он шел ссутулившись, опустив голову.

Мимо нас вдруг проехал длинный, шумный свадебный кортеж – десяток автомобилей, обвешанных разноцветными ленточками, с бантиками на радиаторных решетках автомобилей. Кортеж скрылся за поворотом, шум машин удалялся, и вскоре снова повисла тишина. Только сверчки журчали в подступающей темноте.

На обочине валялась отломанная ветка, кривая и жилистая, похожая на сведенную судорогой мышцу. Грек схватил ее и с размаху ударил по яблоне, растущей здесь же, у дороги. Дерево дрогнуло, с него посыпались желтые листья. Он ударил еще раз, и еще. Он лупил по дереву до тех пор, пока кора ошметками не

полетела во все стороны.

И вдруг в небе вспыхнул салют. Вдалеке были слышны восторженные, пьяные улюлюканья. Все тот же свадебный кортеж.

Небо было заляпано светящимися кляксами фейерверков. В охлажденном осенью воздухе взрывы звучали приглушенно, как артиллерийские залпы. Разноцветные капли салютов взмывали ввысь и растекались по темноте. Они все были разных цветов, но взлетали с одним и тем же звуком – «фффсссс», как будто стравливали воздух, затем – резкий хлопок, – светящиеся траектории напоминали грубые неловкие швы на брюхе неба. Кесарево свечение. На полпути один из салютов с треском расщепился на сотни мелких красных ломаных линий. И небосвод стал похож на кровеносную систему, словно в глазу у ночи полопались капилляры. В другой момент я бы насладился зрелищем, но сейчас мне хотелось плакать.

Мы, кажется, даже не попрощались тогда – настолько подавлены были. Если б я знал, что в следующий раз увижу Грека лишь спустя четыре года, уже в университете, наверно, я бы приложил какие-то усилия, чтобы запомнить момент прощания.

Но я не помню.

Домой я возвращался в одиночестве, за спиной у меня все еще взрывались салюты, но я не оборачивался, просто смотрел на свою длинную черную тень, очерченную розовым-лиловым-желтым сиянием.

Лифт не работал, и на девятый этаж мне пришлось подниматься пешком. Я открыл дверь и, вешая куртку на крючок, как всегда крикнул:

– Мам, я дома!

Никто не ответил.

На кухне горел свет.

– Мам?

Мне стало жутко. О господи, неужели опять что-то случилось?

– Мам?

Я заглянул на кухню. Она сидела за столом, спиной ко мне. Обернулась.

– Ой, ты давно зашел?

– Только что.

– Садись-ка, у меня есть новость.

У меня заболело в груди. Ну что еще? Что-то с Егором? Кстати, где он?

– Где Егор?

– Он в детской. Садись.

Я сел за стул, взглянул на маму и только тут понял, что она

улыбается. И даже больше: буквально лучится счастьем.

– Звонили из издательства! Они хотят напечатать книгу!

Я тупо смотрел на нее, не мог понять, о чем она. Мне стоило бы сразу догадаться: она говорит про свою книгу, но в голове гудело, и я просто спросил:

– Какую книгу?

Она засмеялась – звонко, радостно.

– Да мою же! Какую еще? Мне уже прислали договор. Им понравились мои – наши! – сказки. Представляешь?

За окном, в черном небе снова вспыхнул салют, взорвался лиловыми брызгами – как ветка сирени. На этот раз он был вполне уместен.

– Представляешь? Это будет настоящая книга, с моим именем на обложке: Нина Ходжарова. Я решила, что верну свою девичью фамилию. – Вздохнула, зажмурилась мечтательно. – Даже не верится, я теперь писатель. Я уже и название придумала: «Путешествие камней». Как тебе? Звучит?

Путешествие камней

[рассказ из книги Нины Ходжаровой]

Когда-то я был частью скалы, я нависал над морем, и волны бились об меня. Потом пришли люди и раскололи, растащили скалу – на булыжники. Их было двое, два брата, они строили стену. Потом они поссорились, один из них схватил меня и ударил второго по голове. Тот человек умер сразу, – лежал там, на земле, с размозженной головой, и вороны клевали его, – его брат ушел куда-то, а я несколько сотен лет провалялся в высокой траве, у недостроенной стены. Потом пришли другие люди и погрузили меня в телегу. Люди, – сотни, тысячи людей, – тащили нас, камни, в пустыню, обтесывали и складывали из нас какие-то пирамиды, огромные могилы для своих царей. И храмы. И я стал частью храмовой стены. Люди ходили ко мне, и молились, и приносили в жертву животных и, иногда, других людей. И это длилось много лет – я давно сбился со счета. Потом пришли другие люди и разрушили храм, а нас, камни, собрали и возвели крепость на берегу моря. Но и крепость стояла недолго – лет сто или двести, не больше. Варвары превратили ее в пыль, в груду обломков, но мне повезло, я остался цел – квадратный кирпич, только углы пооткололись.

А дальше меня снова подобрали и снова использовали для строительства стены. Я посчитал: за всю мою историю я видел сотни стен, я был вмурован в сорок две из них. И все, абсолютно все без исключения стены не имели никакого смысла. И все они рухнули.

Я много где бывал.

Я был элементом брусчатки на улицах города где-то на Востоке, люди топтали меня, проливали кровь и воду и снова топтали. Потом случился бунт, крестьяне выдирали нас, камни, из земли и швыряли в стражников. Потом какой-то юноша таскал меня в кармане, – я был как якорь для него, – он боялся ветра. Потом они исчезли, все они – и юноша, и крестьяне, и короли, и стражники. И вот город скрылся под слоем песка и грунта и пролежал в земле еще десятки сотен лет, пока однажды меня не откопали. Группа археологов. Они говорили что-то про затерянную цивилизацию, сыпали цитатами из древних рукописей. И оказалось, что я необычный камень, я представляю какую-то ценность (эх, люди, что бы вы знали о ценности!). Меня извлекли из земли и передали в руки старику в халате, с

родимым пятном на щеке. Он долго крутил меня в руках и улыбался, потом взял молоточек и зубило. Вот так я превратился в шахматную фигуру, в пешку. Меня поместили в шкатулку к другим фигурам. Нас подарили королю. Жестокому королю. Я понял это сразу, едва он взял меня в руки. Я знаю вкус крови, а на его руках крови было много, так много, что хватило бы на тысячу переливаний, жертвоприношений и закатов.

Иногда он доставал нас, играл с гостями. Я быстро выучил правила и почти сразу понял, что он играет очень плохо и выигрывает лишь потому, что гости отчаянно ему поддаются.

У короля был сын, он любил расставлять нас на доске и двигать по клеткам. Он играл со служанкой. И знаете что? Этот мальчик мыслил на несколько шагов вперед. Светлый ум, большое будущее.

Да и король, впрочем, тоже был не так прост. Он знал, что среди приближенных растет недовольство, и много лет жил в страхе. Однажды ему стало известно, что кто-то из его советников готовит переворот. Король не стал искать зачинщиков, устраивать показательные казни. Он поступил иначе: слухи о грядущем перевороте он использовал, чтобы сбежать. Корона тяготила его, а отречься он не мог, ведь власть была его главной и единственной защитой от недоброжелателей – король знал, что непопулярен и что если снимет корону, тут же угодит в тюрьму или, еще хуже, на эшафот. И тогда он решил разыграть свою смерть: идея эта пришла к нему однажды, когда он случайно встретил своего двойника. Король узнал, что где-то в городе есть человек, который изображает его, короля, во время театральных постановок. Он пригласил актера, познакомился с ним и сделал своим другом. Они часто сидели за столом и играли в шахматы. Когда же королю стало известно, что со дня на день один из советников устроит переворот, король решил, что время настало – теперь он может сбежать, и никто не заметит. Он пригласил к себе актера и заколол прямо у себя в покоях. А потом собрал мешок с пожитками – одежда, горсть золотых монет – и был таков.

А дальше, как это обычно бывает у людей, пролилась кровь. Во дворец ворвались заговорщики, и в суматохе шкатулку с шахматными фигурами выкрал кто-то из слуг.

И после серии перепродаж (довольно оскорбительных – воры не знали нашей истинной ценности и продавали нас за гроши, а то и вовсе однажды обменяли на краюху хлеба).

Вот так мы оказались в лавке древностей, у старика, торгующего антиквариатом: мебелью, часами, клетками для канареек и прочим барахлом.

Мы, фигуры, долго томились в шкатулке на верхней полке возле чучела совы. Старик увлекался азартными играми, был одержим, пытался даже разработать «алгоритм удачи». Но проиграл все. Однажды утром к нему пришли люди, широкомордые и наглые, требовали деньги, и отчаянный старик направил на них антикварный мушкет.

Каков дурак.

Одна из пуль угодила в шкатулку и раскололо меня на две части.

Стрельба затихла, и пришли новые люди. Один из них наконец заглянул в шкатулку и грустно выдохнул:

– Ой, как жаль.

Девушка. Молодая, с длинными каштановыми волосами. Она взяла меня, пешку, расколотую на две части, в руки.

– Как думаешь, это можно склеить?

Мужчина, ее муж, взял шкатулку, провел пальцем по отверстию от пули, потом посмотрел на меня – я лежал на ладони у девушки.

– Оставь, я что-нибудь придумаю.

Муж этой женщины был мастером на все руки. Он взял меня, обточил, скруглил, уменьшил, сделал отверстие и нанизал на нитку вместе с другими мелкими камнями.

Мы стали частью браслета – мастер надел его на руку своей любимой.

Она читала книги. Много книг. Однажды взяла с полки сборник стихотворений в кожаном переплете и начала читать вслух.

«Эй, я знаю эти стихи, – сказал один из камней на браслете. – Я был частью надгробного камня того поэта, что их сочинил. Потом на кладбище упала бомба, надгробный камень разлетелся, и я проделал долгий путь, прежде чем попал сюда, на эту нить…»

«Постойте-ка, – подал голос другой камень. – Не тот ли это поэт, который путешествовал по Индии? Я был фрагментом стены в том доме, где он написал эти стихи…»

«Я тоже его знаю! – сказал третий камень на браслете. – Помните стихотворение о летящем камне? О камне, брошенном в ворону? Это обо мне! Обо мне! Он видел, как мальчишка бросил меня в птицу, и написал стихотворение».

«И я, я тоже вдохновил его однажды: он бросил меня в озеро и увидел, как по поверхности расходятся круги, и написал об этом».

Все камни загалдели, стали перебивать друг друга.

«Он сын тирана! – сказал один из них. – Помните, как он бежал из дворца во время революции? Это мной, мной он сбил

амбарный замок с двери и спрятался там, в свинарнике. Я спас ему жизнь!»

И тут я тоже вспомнил: «Смуглый мальчик, играл в шахматы со служанкой!»

«Да-да, у него есть стихотворение об этом, называется «Пешка».

«Это я! Я пешка!»

Мы все сыграли свою роль в жизни поэта, и теперь судьба нанизала нас на нитку браслета женщины с каштановыми волосами. Но единение наше длилось недолго. Однажды женщина пришла к морю, вышла на пирс и прыгнула в воду. Она любила плавать и обычно снимала браслет, но в этот раз забыла, нитка порвалась – и мы рассыпались по морскому дну, смешались с другими камнями. Течение разметало нас по миру.

И я лежу здесь, на пляже, на побережье среди обточенных прибоем стеклышек, камней, ракушек. Лежу и думаю: зачем все это было? Для чего?

Марина

Отец называл меня «точка». Ну, ты же помнишь этот его дефект речи, проблемы с буквой «д»: он так и говорил ротина, терево, тверь. А я стала точкой.

– Никакая я не точка, – ворчала я.

– А кто же ты? Запятая? – спрашивал он и смеялся.

– Я девочка!

– Отно тругому не мешает.

Он вообще странный был. Например, перед сном вместо сказок рассказывал мне разные истории о происхождении вещей. Возьмет, скажем, скрепку со стола и давай распинаться:

– Что это? Думаешь, просто скрепка? А вот и нет. У нее богатая история. Ты знала, например, что во время Второй мировой в Норвегии скрепка стала символом сопротивления оккупантам?

В дверях появилась мама.

– Ты совсем дурак? Ей четыре, зачем ты про нацистов ей рассказываешь?

– Но это очень интересная история!

– Не сомневаюсь. Нацизм – это очень интересно, часами могу слушать истории об истреблении целых народов. Но ей же четыре, господи боже! Расскажи ей сказку.

– Но я не знаю никаких сказок.

– Для таких, как ты, давно придумали одно хитрое приспособление, называется «книга». Такая прямоугольная, может, видел когда-нибудь. Там еще буквы внутри. А если эти буквы вместе сложить – получится сказка.

* * *

У меня два сильных воспоминания из детства – сказки твоей матери и баскетбольный мяч. Первые мне перед сном читал отец; второй я увидела однажды во время прогулки с мамой. Мама рассказывала, как мы шли однажды мимо баскетбольной площадки, и я застыла там, на кромке, и наблюдала за игрой, открыв рот.

На самом деле мне просто нравился этот звук – мяч ударяется о деревянный пол в спортзале, и еще, знаешь, шорох сетки, когда мяч попадает в кольцо, и все эти аплодисменты, раскаты рукоплесканий. Возможно, это звучит странно, но главная причина, почему я в детстве выбрала именно баскетбол, –

звуки. Во всем этом грохоте, свисте кроссовок по паркету было что-то такое, что сразу вводило меня в транс, в состояние, близкое к эйфории.

Проблемой был мой рост, сто шестьдесят один сантиметр, который не очень-то позволял надеяться на место в школьной команде. Когда я пришла поучаствовать в отборе, остальные девочки – высокие, длиннорукие, длинноногие, как, прости-господи, аисты, – смотрели на меня так, знаешь, типа, чо ты здесь забыла, малая, фонд помощи карликам дальше по коридору. Я бы хотела рассказать, как с самого начала поразила всех своей техникой, реакцией и точностью, но нет. В команду меня взяли только с третьего раза. К тому моменту я так насобачилась забрасывать штрафные, что тренер даже похвалил меня однажды, когда во время тренировки я выбила десять из десяти. Потом мне стукнуло четырнадцать, и, ну, началась гормональная буря. За лето я стала выше на шесть сантиметров, «отрастила» небольшую грудь, пережила первые месячные и первое сексуальное влечение – влекло меня не только к мальчишкам, но и к девчонкам. Я как-то случайно проболталась об этом маме, она была человеком старой закалки, мыслила по ГОСТу, решила, что я больна, закатила истерику и за шкирку потащила меня к психологу. Психолог маму успокоил: переходный возраст, фантазии такого рода – норма.

В команде после летних каникул оценили мой новый рост, но тренер не спешил выпускать меня на площадку. «Ты отлично бросаешь, – говорил он, – проблема в том, что попадаешь ты только из статичного положения. Ты как артиллерист. Когда тебя блокируют, ты теряешься, мажешь. Научись двигаться, и твой рост может стать твоим преимуществом – твой центр тяжести находится низко, ниже, чем у высоких игроков, а это значит, что ты можешь быть очень маневренной. Работай над скоростью и дриблингом».

Так я и делала: выставляла конусы и вела мяч по зигзагообразной траектории, стараясь попасть в кольцо прямо с ходу. Получалось не очень. Тренер был прав – моя результативность в отборе менее пяти процентов.

– Я почти бесполезна. Скорее балласт, чем игрок, – ворчала я, когда папс за ужином спрашивал, почему я такая угрюмая.

Ты будешь смеяться, но он понятия не имел, что такое баскетбол и как в него играют, пока я ему не объяснила.

– То есть за бросок из штрафной зоны ты получаешь тва очка, а за бросок из-за ее претелов – три? – спросил он. Я кивнула. – Тогта зачем вообще бросать из штрафной зоны? Нет, правда, сама потумай. – Он снова включил математика: достал блокнот, ручку

и начал черкать формулы на листочке в клеточку. – Смотри: бросок из-за штрафной на тритцать три процента эффективнее, плюс за претелами штрафной зоны, если я правильно понял, никто особо не атакует. Главная борьба за мяч всегда пот сеткой или на потхоте к ней, так?

– Вроде того.

– Ну и смотри. Я посчитал сретнее количество бросков за отну игру и вычислил вот что: если процент попатаний из-за штрафной зоны бутет хотя бы в районе пятидесяти процентов, то вероятность побеты…

– Па-а-а-а-па-а-а! Это игра! Игра, понимаешь? Тут формулы не работают.

– Я просто пытаюсь сказать, что тритцатипроцентная разница в назначении очков за броски – это серьезный люфт в балансе игры. Странно, что никто его не использует.

– Хорошо, пап, спасибо, я подумаю об этом.

Однажды вечером, в конце октября, я отрабатывала броски. Тренер уже ушел, и я одна в течение часа бросала мяч в кольцо (или скорее бросалась мячом – сил уже почти не было, и каждый промах все сильнее выводил меня из себя).

– Знаешь, в чем твоя проблема?

Голос – мужской, точнее, юношеский – прозвучал в зале так неожиданно, что я вскрикнула от испуга и выронила мяч. Потом обернулась – в дверях стоял Рома Кокорин – одиннадцатиклассник, капитан школьной сборной. Белая майка «Поло», бежевая ветровка поверх нее, серые брюки, кеды «Лакост». На плече – спортивная сумка «Найки». Волосы мокрые, зачесаны набок – он выглядел так, словно готовился к фотосессии для спортивного, прости-господи, бренда.

– Привет. – Махнул рукой. – Прости. Не хотел напугать. – Улыбнулся. – Обычно я сам ненавижу людей, которые подкрадываются сзади и пугают.

Повисла пауза, и только тут я поняла: он ждет, что я что-то отвечу.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я.

– Зашел душ принять, – показал пальцем себе за спину. – Дома воду отключили, на две недели. Хожу сюда после уроков, моюсь. Тренер разрешил. Кстати, где он?

– Уехал. Жену надо забрать откуда-то, или типа того. Ключи оставил.

– Хм, он теперь всем подряд ключи оставляет? А потом удивляется, что у нас мячи пропадают. – И вдруг спохватился: – Ой, прости, я не имел в виду, что… – Поднял руки, как бы сдаваясь: – В смысле, не хотел тебя обидеть. Язык мой – враг мой.

Можно чуть-чуть посмотрю, как ты бросаешь?

– Нет.

Я отвернулась и пошла под кольцо – попить воды. Взяла бутылку и залпом выпила до дна. Меня все еще трясло – нет, ну каков придурок, а? Это он что хотел сказать, что из-за меня мячи пропадают?

Когда я обернулась, Кокорин все еще был там. Не просто «был». Он устроился на трибуне, закинув ноги на лавочку перед собой.

– Тебе ведь известно значение слова «нет»?

– Твоя проблема в том, что ты ищешь кольцо глазами, когда бросаешь.

– Спасибо, сэнсэй, я учту это.

– Кольцо ведь всегда в одном месте, понимаешь? Оно не двигается, тебе не нужно следить за ним. Обрати внимание, как бросают профессионалы во время игр НБА или Евролиги. Чаще всего они не смотрят на кольцо, они просто знают, где оно.

– Это все, конечно, о-о-о-очень круто звучит, но я пока не понимаю, как это можно применить на практике.

Кокорин встал, прошелся по лавочкам и остановился у стены, возле выключателей.

– Взгляни на кольцо и постарайся запомнить его положение в пространстве. Научись видеть его не глазами, а… ну… как бы умом, пространственным мышлением. И теперь начинай двигаться к нему. Давай.

Я стояла не двигаясь.

– Сделай это один раз, и я уйду, хорошо?

Я тяжело вздохнула, взяла мяч, посмотрела на кольцо и начала движение. Когда я уже собиралась прыгать, свет вдруг погас, и от испуга я чуть не подвернула ногу при приземлении.

– Ты охренел, что ли?!

Он щелкнул выключателями, и люминесцентные лампы (защищенные решетками) снова зажглись, мерцая, загудели.

– Ты бы хоть предупредил, что свет выключать будешь!

Он смотрел на меня с искренним изумлением.

– Алё, я подошел к выключателям, как ты думаешь, что я с ними делать собирался? – Я молчала, и он продолжил: – Когда я был в Греции, я тренировался со вторым составом «Панатинайкоса». Именно так они тренируют новичков. Твои глаза – в данном случае – твои враги. Про спортсменов любят говорить, что мы, мол, тупые и не пользуемся головой. Но алё, гараж, любой игровой спорт – это именно игра головой. Мускулов недостаточно. Настоящему мастеру не нужно все время смотреть на кольцо – он и так знает, где оно находится. Ведь кольцо

привинчено болтами к щитку, а щиток – к бетонной стене. Никто не сможет сдвинуть их с места, понимаешь?

Пауза.

– Если вся эта штука с вырубанием света действительно так эффективна, почему тогда наш тренер ее не использует на тренировках?

– Здесь люминесцентные лампы. Стробоскопический эффект. Если включать и выключать их по пятьдесят раз в день, они быстро сгорят. У школы нет денег на то, чтобы менять их каждый месяц.

Он вернулся на трибуну, взял сумку, закинул на плечо и направился к выходу:

– Ладно, все, не буду тебе мешать. Бывай.

И я осталась одна. Или, точнее, наедине с неловкостью от того, что, очевидно, была к нему несправедлива.

* * *

Фокус с выключением света перед броском внезапно оказался очень эффективен. Следующим же вечером после уроков я попросила подругу Катю помочь мне с тренировками. Мы дождались, когда тренер уйдет, и начали. Сперва получалось не очень: как только вырубался свет, я просто теряла ориентацию в пространстве. Но в мыслях повторяла, как мантру: «Кольцо не двигается, запомни, где оно, и бросай туда».

Через неделю тренировок – едва у меня начало получаться – кто-то донес на меня тренеру, ему рассказали о «странном поведении» света в спортзале после его ухода. Тренер сразу понял, в чем дело. Он не злился и не ругался, он просто попросил «больше не баловаться с выключателями, бюджет школы и бла-бла-бла». Но это было уже неважно, к тому моменту я как раз начала понимать механику упражнения с «неподвижным кольцом», и в «баловстве с выключателями» уже не было необходимости.

* * *

Нет, строго говоря, я никогда не хотела играть профессионально. Мама ведь тоже была спортсменкой. Она иногда рассказывала мне, как в юности ходила в школу олимпийского резерва, занималась, прости-господи, синхронным плаванием (забавно, ведь твоя мама тоже была спортсменкой.

Пловчихой, да? Похоже, у папса был какой-то пунктик на тему женщин в бассейнах с латексными шапочками на голове. Фетиш). Занятия и тренировки она вспоминала как перманентную пытку. За их весом и рационом строго следили, есть почти не давали – прямо концлагерь, и девчонки по ночам бегали в общагу к пацанам-боксерам. Тех, наоборот, кормили на убой, как этих… ну… блин, неважно, забей. И, в общем, боксеры с удовольствием делились едой с синхронистками. Единственное место во всем спорткомплексе, где ты действительно мог побыть наедине с собой, – это душ. Поэтому подаренные боксерами сушки и булки девочки прятали в полотенца и потом съедали, стоя в душе, под струей. «Я теперь как собака Павлова, – смеялась мама. – Звук бегущей воды провоцирует у меня слюноотделение, во рту появляется привкус размокшей сушки».

Плюс адовый кукольный макияж: накладные ресницы, контуринг, тройные стрелки. Кожа из-за него не дышала, лицо жгло так, словно кислотой плеснули, отсюда вечные прыщи и проблемы с порами. И, в общем, в двадцать мама уже была трехкратной чемпионкой Европы, у нее прям грозди медалей дома лежат, и в какой-то момент поняла, что еще чуть-чуть – и у нее, прости-господи, крыша поедет от всего этого; как раз тогда она и встретила папса. И почти сразу залетела. О расставании со спортом она никогда не жалела, в бассейн с тех пор – ни ногой и не красилась никогда, адский водоотталкивающий спортивный макияж, на протяжении двенадцати лет покрывавший ее лицо и веки, напрочь отбил желание вообще когда-либо прикасаться к румянам, кремам и прочему барахлу из «косметички современной женщины».

О своем знакомстве с отцом мама не любила вспоминать – не знаю почему, тут несколько вариантов.

А. Она ведь знала, что «увела» папса из другой семьи, из-за нее он бросил вас и вашу мать.

Б. Их отношения к тому времени охладели настолько, что оба уже толком не могли вспомнить, как и за что полюбили друг друга и было ли это любовью вообще.

– За что ты полюбила папу? – спрашивала я.

Она смущенно смеялась и отвечала:

– Он казался мне самым умным человеком на свете.

И здесь я ее понимаю – папс действительно умел произвести такое впечатление, проблема в том, что он был совершенно не способен это впечатление поддерживать.

Вот удивительно, правда?

Ему с рождения был дан талант – высокий интеллект, огромный потенциал. И на что он его потратил? На то, чтобы

охмурить двух красивых спортсменок – пловчиху и синхронистку, жениться на них, наделать детей – а потом просто свалить. Ну вот как это вообще, а? Это как если бы Бог дал человеку способность видеть сквозь стены, а человек использовал бы ее лишь для… блин, ну не знаю: чтобы подглядывать за женщинами в раздевалке или вот что-то такое.

Я помню, мы были на каком-то приеме. И папсу там вручали какую-то награду. Медаль за заслуги перед образованием, или типа того.

И декан такой говорит ему: «Вы – символ России».

Столько пафоса было, прям хоть окна открывай, проветривай.

Мы с мамой сидели в первом ряду. И она вдруг прыснула от смеха, представляешь? С трудом сдержалась, чтоб в голос не заржать. А ржать она умела, мама – она такая была: Золотой Смех России. Тогда – мне было лет двенадцать, кажется, – я впервые почувствовала, что брак их, того, трещит по швам. «Вы – символ России». Нет, ну ты подумай. В этом даже что-то есть. Красивый, умный, талантливый мужчина, который целыми днями собирает в своем гараже совершенно одинаковые, кривые, неудобные табуретки и там же, в гараже, сажает себе печень дешевой водкой.

Символ России, ага. Один сплошной нереализованный потенциал.

[неразборчиво]

Так, о чем я говорила? Ах да, Рома Кокорин.

В следующий раз я встретила его на вечеринке в честь Хэллоуина. Формат вечеринки: известные киногерои. В том году как раз вышел «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, и все тащились от Джокера. Его играл – как бишь его? – а! – Хитман Леджер. Поэтому половина пацанов явилась на вечеринку в зеленых рубашках и с лицами, размалеванными маминой косметикой. Сходство с оригиналом, как правило, было весьма условным и ограничивалось пандоподобными черными кругами вокруг глаз. Все это выглядело очень комично: казалось, я попала на какой-то, прости-господи, кастинг клоунов-панд, или типа того.

Кокорина я заметила сразу. На фоне всей этой толпы бюджетных Джокеров он сильно выделялся. Одет в джинсы, какую-то серую рубашку – так сразу и не скажешь, что это карнавальный костюм, на голове – черная вязаная шапка, на лице – нарисованная черным же фломастером щетина. Он меня – тоже, улыбнулся, махнул рукой, но подходить не стал.

«Ну вот, – подумала я, – считает меня истеричкой, наверно».

Мне было стыдно за то, что я так агрессивно набросилась на него там, в спортзале, и я хотела как-то извиниться и еще похвастаться успехами.

И я сама к нему подошла. На мои извинения он отреагировал очень мило, как будто даже застеснялся:

– Ой, да забей, я же мешал тебе тренироваться! Если бы кто-то мне мешал, я бы тоже начал ворчать. Хочешь выпить?

– Здесь же нет алкоголя.

– Пффф. Кто ищет, тот обрящет. Мы под столом бутылки спрятали.

– А если поймают?

– Мой батя недавно майора получил. Большой человек, отмажет.

Мимо нас проходил кто-то из его друзей, Кокорин искоса посмотрел на него и сказал:

– Слушай, Дим, ты не обижайся, но ты сегодня самый уродливый и непохожий на Джокера Джокер на этой вечеринке.

– Я не Джокер! – закричал Дима. Похоже, его этим вечером все уже достали подобными ремарками. – Я клоун Пеннивайс из фильма «Оно»! По Стивену Кингу! Неужели никто не смотрел? Крутое же кино!

Кокорин поднял руки.

– О'кей, о'кей, братан, не кипятись. Я просто обознался, значит. Крутой костюм.

Дима-в-образе-клоуна-Пеннивайса прошел мимо нас дальше, злобно бормоча что-то себе под нос, Кокорин посмотрел ему вслед и шепотом произнес:

– Неловко.

Я засмеялась.

– А ты у нас кто? Погоди, не говори, я угадаю. Рыжий парик, военная форма. Какая-то смесь Эрин Брокович и Солдата Джейн.

– Я Эллен Рипли из «Чужого».

– О как! Круто. А теперь угадай, кто я! – Он раскинул руки и широко улыбнулся. Честно говоря, я понятия не имела, кого он косплеит. – Погоди, сейчас будет подсказка. – Он обернулся и закричал через весь зал. – Антоха, иди сюда!

Народ расступился, к нам приближался огромный двухметровый детина в седом парике и с красным лицом. В руках он нес какую-то огромную фарфоровую хреновину, типа раковины. Они встали передо мной, Кокорин все ждал, что я узнаю отсылку.

– Ну? Ну? Это ж Вождь, смотри! А я – Макмерфи! Ну же!

Краснолицый детина флегматично обнимал свою раковину.

– Я ж говорил, – проворчал он, – тут одни школотроны, никто

не смотрел «Над гнездом кукушки».

– Блин, но это же классика! Лучший фильм Формана!

И как-то так мы и познакомились по-настоящему. Весь вечер говорили о кино, Рома рассказывал мне о Милоше Формане, о баскетболе и о своих тренировках с клубом «Панатинайкос», а я, кажется, с каждой минутой влюблялась в него все сильнее. Мы даже выпили, совсем немного – и это, кажется, был первый раз, когда я выпила чего-то покрепче вина; меня тут же укачало, и Рома проводил меня до дома, и там у двери мы и расстались.

* * *

И следующим же утром я скачала и посмотрела фильм «Пролетая над гнездом кукушки». В титрах была подпись, что фильм снят по роману писателя Кена Кизи. И я подумала, что неплохо бы прочесть этот роман, чтобы при следующей встрече с Ромой произвести на него впечатление. Сказать, например: «Фильм мне понравился, но книга все равно лучше».

У папса был книжный стеллаж в кабинете, и первым делом я обратилась к нему (к папсу, не к стеллажу). По выходным он, как всегда, пропадал в гараже, строгал свои, прости-господи, табуретки.

– Па-а-апс? Я тут книгу ищу.

– Да? Какую? – Он отложил рубанок, стер капли пота со лба тыльной стороной ладони.

– Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом».

Он вскинул бровь:

– Ух ты, как интересно.

Лицо у меня в тот момент горело от смущения, и мне казалось, что он видит меня насквозь, что у меня на лбу написано: «Мне нравится мальчик, которому нравятся фильмы Милоша Формана».

– Да, у меня, кажется, была. Посмотри на стеллаже, серая такая, там птичка в клетке на обложке.

Я зашла в папин кабинет, забралась на стул и стала разглядывать корешки. Книгу я нашла быстро, сняла ее с полки и уже хотела спрыгнуть со стула, но – заметила кое-что: в глубине стеллажа, в провале между двумя книгами, там, откуда я только что достала Кена Кизи, было что-то, эмм, ярко-красное – еще одна книга. Я осторожно извлекла ее и посмотрела на обложку: Нина Ходжарова «Путешествие камней».

– Па-а-а-апс?

– Та, точка? – Он снова отвлекся от рубанка.

– Смотри, что я нашла.

На этот раз покраснел он – так сильно, словно в руках у меня была не книга сказок, а список грехов, совершенных им за всю жизнь, или компрометирующая его видеозапись. Или типа того.

Мне было пятнадцать, и я еще не знала, что у него есть вы с Егором. Позже, гораздо позже, он признался, что не хотел скрывать от меня свою «прошлую жизнь», просто «так сложились обстоятельства». Отношения с первой женой (по его словам) были «бесповоротно испорчены», и сыновей она настроила против него, они не хотели его знать. Поэтому тему «ошибок прошлого» в нашей семье никогда не поднимали – своего рода табу.

Но в тот осенний ноябрьский день я нашла книгу сказок его первой жены, прочла несколько строк и тут же вспомнила:

– Ты же читал мне эти сказки в детстве. Я помню их. Особенно эту – про мальчика Графта и его светящееся сердце. Почему ты перестал мне их читать?

Папа мялся, бормотал что-то невнятное, как троечник, которого вызвали к доске.

– Можно я оставлю ее себе?

– Эээ… конечно, – сказал он. – Если хочешь.

* * *

Через два дня тренер решил дать мне шанс, выпустил на замену, и тут-то я впервые применила новый навык под названием «не смотри на кольцо»; забросила несколько мячей, набрала одиннадцать очков, прервала три атаки, поучаствовала в шести. Результат не для книги рекордов, конечно, но прогресс тренер заметил.

А после игры Рома сам подошел ко мне, поздравил с «впечатляющим дебютом» и пригласил в кино – через неделю у нас случилось первое настоящее свидание, а вместе с ним и первый поцелуй. Походы в кино по выходным стали нашим – Нашим! – ритуалом, и так продолжалось до самого Нового года.

* * *

В каждой семье есть новогодняя традиция. Традицией в нашей семье была ссора. Кого и с кем – неважно. Тут к гадалке не ходи: пробьет двенадцать, и кто-нибудь сцепится: слово за слово.

Иногда так бывает: по отдельности твои родственники – милейшие люди, прям няшечки, но стоит им собраться вместе, и,

сука, начинается шапито – цирк с конями.

Сложно сказать почему, но вот знаешь – дух соперничества, он как какой-то, прости-господи, генетический дефект, всегда был отличительной чертой в нашем роду. Моя мать и ее родня (два брата и сестра) просто не могли спокойно общаться – им было тесно в одной комнате, в одной стране, на одной планете. Начиналось все с невинных шуток.

– Эй, а почему елка голая? – спросила мама, заглянув в зал. Руки у нее были в муке, на голове – бигуди. – Я час назад ее нарядила. Кто снял игрушки?

– Я. – Дядя Женя гордо поднял руку.

– Могу я спросить: зачем?

– Я взял их в заложники. И я буду убивать по одной игрушке каждые десять минут до тех пор, пока ты не вернешь мне мои сигареты.

– Ха-ха-ха, – сказала мама и обратилась к отцу: – Паш! Скажи ему.

Отец прикрылся газетой:

– Я читаю.

– Ты газету вверх ногами держишь.

– И что? Мы живем в свободной стране, как хочу, так и тержу.

Пока они ворчали, я сидела на подоконнике и сквозь подернутое инеем окно смотрела вниз, на дорогу. Снег мелкой крупой сыпался с неба. К подъезду подкатилось желтое такси, водитель вышел из машины и стал доставать из багажника огромный зеленый чемодан.

– Приехала! – крикнула я.

Все замолчали и посмотрели на меня, потом – стали переглядываться. Приезд тети Тани всегда вгонял всех в странное оцепенение.

– Вижу чемодан! – сказала я.

– Ну, чего застыли? Спуститесь, помогите ей.

– Я не могу, я занят, – сказал дядя Женя.

– Чем это ты занят?

– Я сижу в кресле – вот чем я занят.

– Она твоя сестра вообще-то.

– А вот это еще нужно доказать.

– Паш, ну ты хоть…

Папа сложил газету и неохотно поднялся с кресла.

– Не надо, я сама помогу! – Я спрыгнула с подоконника и побежала к двери.

– Куртку надень! – крикнула мама.

Накинув на плечи куртку, я выскочила из квартиры и стала спускаться вниз, прыгая через три ступеньки за раз.

Я увидела ее на первом этаже. Серая меховая шуба, берет на голове (мама всегда поправляет меня, мол, тетя Таня никогда не носила береты, но я точно помню – в тот предновогодний вечер она была в берете), черные перчатки и зеленый чемодан. Она давила пальцем на кнопку вызова лифта.

– Тетя Таня! – закричала я.

Она обернулась, и я упала в ее объятия. От нее пахло холодом, зимой и духами. В ярко-рыжих волосах блестели тающие снежинки. Она обняла меня.

Я откинула голову и посмотрела на нее снизу вверх.

– А лифт не работает.

– Да, я уже догадалась. – Она посмотрела на лифт, потом вверх, сквозь лестничный пролет. – И, естественно, никто не собирается спуститься, чтобы помочь мне.

– Как это «никто»? А я?

Она засмеялась и растрепала мне волосы. Обычно мне не нравилось, если кто-то трепал мне волосы, но тетя Таня умела делать это как-то по-своему, бережно.

– Он довольно тяжелый.

– Это хорошо, потому что я довольно сильная.

– Ладно, только не торопись.

Чемодан у нее старый, зеленый, весь облепленный наклейками из разных стран. Тетя Таня – переводчик-синхронист. Она в совершенстве владеет семью языками, преподает в университете и, кроме того, работает переводчиком на всяких там важных мероприятиях. Вся семья гордится ей. Ну, почти вся. Строго говоря, не гордится, а скорее завидует.

– Может, отдохнешь?

Чемодан оказался неподъемным, я чуть не вывихнула руку, пытаясь сдвинуть его. Но я все равно упрямо, задыхаясь от усталости, тянула его вверх – ступенька за ступенькой.

– Нет-нет, все нормально, – хрипло сказала я. Суставы уже болели, я вспотела, холодные капли пота текли вдоль позвоночника. – Это какой этаж уже, четвертый?

– Нет, второй.

О господи! Только второй этаж! Еще семь этажей, а у меня уже нет сил! Зачем я сказала, что я довольно сильная? Это же вранье…

Лицо мое покраснело, от перенапряжения кровь прилила к голове, я задыхалась. Тетя видела это и, наверно, все понимала.

– Давай остановимся. Я устала, – сказала она.

Я знала: она просто щадит меня – и все же не могла больше тащить свой груз. Я отпустила чемодан и уперлась спиной в стену. Мокрая майка прилипла к лопаткам.

Тетя села на чемодан, достала из кармана платок и начала вытирать мое лицо.

– Слушай, как ты вытянулась. Совсем взрослая стала. Уже и парень есть небось. – Смущение выдало меня, и она засмеялась. – Я так и знала. Как его зовут?

– Рома.

– О, прекрасное имя.

Я так много хотела ей рассказать, похвастаться тем, что попала в школьную баскетбольную команду и что именно благодаря баскетболу познакомилась с Ромой. И я уже почти набралась смелости, уже даже открыла рот, как вдруг…

– Привет! – Отец спускался вниз. Он уже был одет по-праздничному – в новые джинсы и синюю клетчатую рубашку.

Мы посмотрели на него.

– Наконец-то. – Тетя Таня встала с чемодана, они обнялись.

– Шерше ля фам! – раздался вопль с третьего этажа.

Дядя Женя съехал вниз по перилам – в руке у него был мой пластиковый меч, за спиной развевался зеленый плащ (сделанный из одеяла), а под носом красовались нарисованные черным маркером усы. Он соскочил с перил и закружил тетю Таню в танце. – Мадэмуазэль! Я защищу вас! Окажу вам пготэкцию! Скажите, кто вас обидел? Это она, – он ткнул пластиковым мечом прямо мне в солнечное сплетение. Было больно. – Защищайсь, судагь?

– Что ты сделал? – Тетя смеялась, показывая себе на верхнюю губу. – Что это?

– Усы. Почему ты думаешь, я так долго спускался – я ждал, когда от'астут усы! – Он картавил, изображая комичный французский акцент. – Как я тебе? Похож на твоего любимого гегоя?

– Ты похож на кота в сапогах.

– Да, но я в тапочках.

– Зачем вы оба спустились? У меня только один чемодан.

– Павел будет нести чемодан, а я буду защищать вашу честь, мадэмуазэль! – Мечом он написал в воздухе букву «Z». Потом вдруг огляделся и зашептал: – Тихо! Тссссс! Я слышу пгиближение вгага.

Он был прав – кто-то спускался.

– Это пгихвостни кагдинала! Я защищу вас.

Он взбежал вверх на один лестничный пролет и спрятался за шахтой лифта. Из-за угла появилась старушка с корзиной апельсинов. Дядя Женя выскочил ей навстречу, размахивая мечом.

– Защищайсь!

Старушка упала. Апельсины, яркие, оранжевые, покатились вниз по ступенькам. Мы с папой ловили их внизу.

– «Скорую»! – крикнул дядя Женя. – Вызовите «скорую». – Он прижался ухом к груди старушки и тут же получил по голове пустой корзиной.

– Ты что творишь, идиотина! – Старушка была жива, даже очень жива. Она лупила его по голове корзиной. – Совсем спятил, алкашня?!

* * *

– Что случилось? Я слышала крики.

Мама встретила нас на пороге. Она уже была в праздничном платье. Она всегда старалась встретить тетю Таню во всеоружии – я думаю, это было частью их семейного соперничества. Тетя была гораздо успешней мамы, и потому при встрече мама старалась подчеркнуть свое единственное преимущество перед сестрой – свою внешность, свою красоту.

– Да что случилось-то? Чего вы смеетесь?

Мы все хохотали, все, кроме дяди Жени – он был растрепанный и обиженный. На лбу у него остались узорные ссадины в виде плетения корзины.

А еще через пять минут смеялись все, включая маму, когда выяснилось, что дядя Женя нарисовал себе усы перманентным маркером – и теперь не мог их смыть.

* * *

К девяти вечера приехал мамин старший брат Игорь с семьей. Все собрались на пороге, шумно поздравляли друг друга, а я сидела на подоконнике и с нетерпением ждала, когда уже наступит Новый год и взрослые отбарабанят все свои скучные ритуалы, напьются и, наконец, отпустят меня на улицу, к Роме.

За десять минут до полуночи мы сели за праздничный стол, и мама взяла пульт от телевизора, чтобы включить новогоднее поздравление президента Боткина.

И началось…

Дядя Женя отпустил какую-то едкую шутку, вскользь назвав президента «желтоглазым». Дядя Игорь тут же хлопнул ладонью по столу – тарелки и бокалы звякнули.

– Женя, даже не начинай, – сказал он.

– А что? У него ведь правда желтые глаза. Сам посмотри. По-

моему, это странно, нет?

– Это все телевизор. Палитра не настроена. – Папа пытался сгладить ситуацию.

– Нет-нет, у него везде такие глаза. Я проверял, – не унимался дядя Женя. – Как у саламандры прям.

Спор из-за глаз президента постепенно превратился в грызню, а потом – в полноценный диванно-военный конфликт, с переходом на личности и ковровой бомбардировкой оскорблениями. Дядя Игорь требовал «уважать национального лидера», дядя Женя ухмылялся и говорил, мол, уважение может быть между людьми и людьми, а между людьми и саламандрами уважения быть не может. В ответ дядя Игорь кричал и презрительно тыкал вилкой (с нанизанным на нее ломтиком малосольного огурца) в сторону дяди Жени и, кажется, готов был уже броситься в бой, но тут вмешалась тетя Таня. Она схватила дядю Игоря за ухо – как провинившегося мальчишку – и он даже заскулил от боли, так тонко, так комично, что вся его воинственность тут же куда-то испарилась. Дядя Женя захохотал, но тут же получил подзатыльник от мамы.

– Ну-ка вон из-за стола!

– Но…

– Вон, я сказала. Придурки.

* * *

В конце концов, это позорище закончилось, и мне разрешили сходить на центральную площадь, посмотреть салют.

Пьяный народ шумел на улице. Все деревья в округе обмотаны паутиной гирлянд. Площадь наполнена музыкой, людьми и смехом. В центре – каток, можно взять коньки напрокат. И тут же, совсем рядом, не отходя от кассы, автомат с попкорном (не знаю, зачем он здесь; попкорн ведь не самое новогоднее лакомство). И там я увидела Рому: он стоял, облокотившись на борт, и со скучающим видом наблюдал за людьми-конькобежцами. Антон, его неизменный напарник-оруженосец, стоял рядом, нахохлившись, как пингвин, лицо его было почти полностью скрыто голубым шарфом, на голове – смешная голубая шапка с белым помпоном, руки он держал в карманах и постоянно переступал с ноги на ногу, стараясь согреться.

Как странно, что я все это помню, да? Все эти детали, шапку, руки в карманах – никогда бы не подумала, что вспомню.

Я подошла, и Рома заметил меня. Он вроде бы обрадовался

мне, но как-то не очень сильно.

– Вечеринку у меня дома пришлось отменить, – сказал он. – Родители никуда не уехали. Батя заболел.

– Что-то серьезное?

Он отмахнулся.

– Какой там! Простуда. Лучше б серьезное, ей-богу, тогда б его в больницу забрали и хата была бы свободна.

Я тоже была разочарована, но он схватил меня за плечи и прижал к себе – очень сильно.

– Мммм, как вкусно ты пахнешь. Что это?

– Духи. Тетя подарила. «Кензо». Нравится?

Он взял меня за руку и потянул сквозь толпу.

– Идем.

– Куда?

– У меня есть для тебя сюрприз.

Мы шли по ночной улице. Смех, гул толпы и песни с площади были все дальше. Мелкий снег кружился в желтом свете фонарей. Свет в окнах почти не горел, все жители собрались на площади, и оттого улицы казались особенно темными, ночь сгущалась вокруг нас.

– Любишь фейерверки? – спросил Рома. Он шагал так быстро, что мне приходилось почти бежать за ним.

– Эмм, ну да!

– Я подготовил для тебя кое-что! Тебе точно понравится!

Мы вышли на проселочную дорогу. Колея была неровная, разбитая, ямы засыпаны щебнем. Промерзший щебень скрипел под ногами. Воздух чистый и ледяной, словно стерилизованный. Я не взяла перчатки, и руки мерзли.

– Куда мы идем?

– К гаражам. Антоха вчера купил лучшие фейерверки на рынке, спрятал их там, в гараже у бати.

И только тут я заметила, что Антон идет с нами.

– Мне холодно, я пальцев не чувствую.

– А? А, на, вот, возьми. – Он снял варежки и протянул мне. Затем достал из кармана фляжку, отвинтил крышку. – Вот, согрейся. Давай-давай, праздник же, чо ты.

Я сделала глоток, слишком большой – коньяк потек по пищеводу, как раскаленный свинец, я закашлялась.

Рома засмеялся.

– Эй, да ладно, тебе же понравилось. Сейчас привыкнешь. Чувствуешь тепло? – Он похлопал меня по спине. Потом достал из кармана фонарик и подсветил свое лицо снизу так, словно собирался рассказывать страшную историю.

– Вы все умре-е-ете, – хриплым замогильным голосом

произнес он.

– Не смешно, – сказала я.

Мы шли через поле. Ночь была беззвездная и нависала очень низко (протяни руку – и коснешься), тут и там на горизонте цветочными калейдоскопами взрывались фейерверки, и заснеженный пейзаж на мгновение озарялся то голубым, то белым, то лиловым.

Слева в поле показался черный силуэт – водонапорная башня. Ракета, готовая к запуску. Рома махнул фонариком, мы свернули с дороги. Наст отливал перламутром и трещал под ногами – звук, похожий на тот, который раздается в голове, когда ешь кукурузные хлопья: «Хрррр-ум, хрррум». Было безветренно, воздух словно застыл; застыл настолько, что стало трудно дышать.

Наконец впереди показались гаражи, а чуть правее – дом сторожа.

– Эй, там свет горит, – сказал Антон.

Мы все остановились. В доме действительно горело одно окно, на первом этаже.

– Твою мать, – сказал Рома.

Его черная шапка съехала набок, в свете луны она лоснилась, как мокрая волчья шерсть. Он выключил фонарик.

Мы молча переглядывались, ожидая новой команды.

– Может, пойдем назад? – сказала я.

– Не-не, ты чего! – Рома как будто обиделся. – Я сейчас все решу. Я думал, ты хочешь побыть со мной, а ты…

– Ну ладно, прости. Просто мне холодно.

Я смотрела ему вслед – черная фигура появлялась в поле зрения каждый раз, когда ночь озаряли салюты, и снова растворялась в густой, промерзшей тьме, когда небо гасло.

– Мы замерзнем здесь насмерть. Я пальцев ног не чувствую, – сказала я и засмеялась.

Антон не ответил. Он достал из кармана карамельку и протянул мне, я отказалась, тогда он развернул ее, бросил в рот, затем аккуратно сложил фантик и убрал в нагрудный карман.

Я думала: неужели Рома и правда придумал какой-то сюрприз, специально для меня? Единственное, что смазывало радость, – присутствие Антона. Зачем брать с собой друга на романтическую встречу? Неужели Антон сам не чувствует, что он здесь третий лишний?

Ромы все не было, Антон достал из кармана пачку сигарет, вытащил одну, щелкнул зажигалкой, затянулся.

– А я твоей маме расскажу, – сказала я.

– Не расскажешь. – Он выдохнул дым. Огонек сигареты

сильно дрожал у него между пальцами.

Я шмыгнула носом.

– Дай мне.

– Нет.

– Ну и дурак.

В небо взмыл очередной салют – пейзаж озарился малиновым свечением. И вдруг я увидела что-то. В поле. Далеко, рядом с лесополосой. Что-то двигалось – очень большое и очень быстрое. Салют потух, и поле вновь залило черным.

– Я одна это видела?

– Что?

– Силуэт. Вон там. Что-то двигалось. Очень быстро.

– Я ничего не видел.

Он затушил сигарету в снегу. Брызнул очередной салют – ярко-зеленый. Я вглядывалась в даль, но в этот раз – ничего. Зернистый наст бликовал в свете летящих зеленых многоточий в небе. Потом: шаги – хруст наста. Оно приближалось, но уже с другой стороны.

– Все отлично! Старик спит. Уснул под телевизором. Я заглянул в окно, там рядом с диваном пустые бутылки. – Рома взял меня за руку.

– Подожди, я там что-то видела.

Он бросил взгляд на Антона.

– Я ничего не видел, – сказал тот.

И мы пошли дальше. Наст скрипел под подошвами, ноги проваливались, я вспотела, сопли замерзли в ноздрях, горло болело. Казалось, меня сейчас вырвет. Сто раз пожалела о том, что пошла с ними. Боже, какая дурацкая идея!

Дошли до гаражей. Рома начал возиться с замком. Замок промерз, и он отогревал его зажигалкой.

– Мне плохо. Я замерзла, – сказала я.

– Сейчас войдем и отогреешься, – сказал Рома. – Я заведу машину, там тепло. Покатаемся еще. Видела тачку моего бати, а? Огонь!

– Это все дурацкая затея. Дурацкая. Давайте вернемся.

– Так, перестань ныть.

В его голосе, в интонации было что-то такое. Мерзкое. Какая-то тихая, равнодушная грубость. Таким же тоном, высокомерным, раздражительным, обычно хозяин осаживает скулящую собаку.

– Знаешь что? – сказала я. – Пошел ты в жопу. Я ухожу.

Я развернулась и пошла обратно – по собственным следам.

– Эй! Ты куда это?

Ну вот, думала я, сейчас начнет просить прощения, извиняться за грубость.

Но я ошиблась.

И с этого момента все пошло наперекосяк.

Никто не стал просить прощения. Он просто схватил меня сзади за шею, словно в замок, болевой прием, и потащил обратно к гаражу.

Мне было пятнадцать, и я выросла в семье, где никто никогда даже голоса друг на друга не повышал, не говоря уже о насилии. И когда меня схватили за шею, я даже не поверила, что это происходит на самом деле, всерьез, что это не дурацкая шутка и что…

– Отпусти меня, урод!

Я попыталась высвободиться, но он сдавил еще сильнее – на этот раз так сильно, что у меня выступили слезы.

И здесь, наверно, мне стоило бы начать орать и отбиваться, но – меня как будто парализовало.

Пффф, давай перерыв сделаем, а?

* * *

Работает?

Давай я так начну: самый распространенный вопрос, который обычно слышат жертвы насилия (физического, сексуального, любого): неужели ты не понимала, к чему все идет?

Ответ: нет. В этом весь кошмар насилия сильного над слабым – его невозможно предсказать. Оно происходит внезапно, как аневризма. Вот человек стоит на улице, ждет, пока светофор переключится на зеленый – бах! – и в мозгу у него тромб забивает артерию, – и вот бедняга уже падает прямо на асфальт, бьется затылком о бордюр. Его хватил удар. Он мертв.

С насилием точно так же. Вы ошибаетесь, если думаете, что к насилию склонны только преступники и/или психопаты и что насильника видно за километр, и если ты не разглядела этого и подпустила его к себе слишком близко – проблема в тебе.

В 1966 году американские психологи Мелвин Лернер и Кэролайн Симмонс провели эксперимент. Суть простая: семьдесят две студентки наблюдали за тем, как их однокурсница выполняет тест. За каждый неверный ответ девушку били током. Студентки, разумеется, сочувствовали ей, но лишь сначала. Прошло немного времени, и их сочувствие сменилось обвинениями – ближе к концу теста студентки были уверены, что жертва заслужила удары – плохо готовилась.

Лернер и Симмонс объяснили такое поведение верой людей в справедливость мира: мы подсознательно верим, что все

происходящее с человеком – результат поступков. За хорошие дела мир награждает нас, за плохие – карает.

Звучит неплохо, но есть одно но: эта вера – ошибка. Когнитивная ловушка.

Мы склонны искать оправдание тем вещам, на которые не можем повлиять. Среди таких вещей – насилие.

Если тебя бьют током во время теста – сама виновата, плохо готовилась.

Если тебя избили и ограбили по пути домой – сама виновата, зачем так поздно шляешься по темным переулкам?

Если тебя изнасиловали – сама виновата и не говори, что не понимала, к чему все идет.

Мы подсознательно верим в справедливость мира и потому закрываем глаза на то, что способно поколебать, подточить эту нашу веру. Плевать на людей, вера важнее.

Когда меня изнасиловали, мне было пятнадцать.

Они сделали это вдвоем, потом прогрели машину и отвезли меня домой.

Как ни в чем не бывало. Словно так и надо.

Мне было пятнадцать, и на уроке биологии к тому моменту мы уже проходили репродуктивную систему человека. Но там, в новогоднюю ночь, в гараже, я до последнего момента не понимала, что происходит.

Рома втащил меня в гараж, открыл дверь автомобиля и бросил на заднее сиденье, лицом вниз. К тому моменту я, кажется, даже перестала протестовать – застывшая, как олень в свете фар. Он стягивал с меня джинсы и грязно ругался оттого, что на мне так много одежды и что ее так сложно снять:

– Сорок одежек, блядь! Чего уставился? Иди, помоги, руки ей держи.

Антон схватил меня за запястья, и только тут я вспомнила о нем – он тоже здесь, смотрит на все это. Хотела повернуться, посмотреть ему в лицо, но не могла пошевелиться – сейчас уже не помню, то ли меня вжали лицом в сиденье, чтоб не кричала, то ли сама вжалась от страха.

Они вдвоем кряхтели надо мной, ругались – раздраженные и даже, кажется, разочарованные.

– Чего так долго?

– Да иди ты! Она сухая вся! Еще и холод собачий! Отличная, блядь, идея – в гараже на морозе!

– Тихо, тихо, не дави так. Не надо синяков, слышишь? Мы же не звери какие. Нежнее давай, во-о-от. Не наседай, и оно само пойдет.

Их голоса – там, сверху, сдавленные и напряженные, – я

слышала их словно издалека, как будто голоса хирургов сквозь анестезию.

[неразборчиво]

Плохо.

Знаешь, ведь до пятнадцати лет я тянулась к большим и сильным людям – от них веяло безопасностью и покоем. Я любила больших людей, мне казалось, я могу спрятаться в их тени, они защитят меня. А потом, после этого я стала избегать их, общалась только с теми, кто был равен мне по весу, с теми, кого в случае внезапной агрессии смогу одолеть. Это дико и странно, и я сама не сразу заметила эту свою новую привычку…

Слушай, давай сделаем перерыв, а?

* * *

Когда все закончилось, они помогли мне одеться. Голоса их смягчились – они больше не были раздражены, не злились на меня и друг на друга, не рычали, не шипели. Словно превратились обратно в людей.

– Вот и машина прогрелась! Поехали кататься!

И мы поехали. Я сидела на заднем сиденье, все еще в шоке, в анабиозе. Они разговаривали – друг с другом и со мной – травили анекдоты. И самое страшное было в том, что в этом их беззаботном тоне не было никакого притворства – они действительно весело проводили время. Так весело, что я и сама чуть не поверила в то, что выдумала всю эту мерзость с возней и скользкими прикосновениями там, внизу, на заднем сиденье. Мы встретились с какими-то их друзьями, они курили, смеялись, пытались угостить меня шампанским. Рома нежно обнимал меня, спрашивал: «Что, замерзла? Иди сюда, сейчас согрею тебя» – и прижимал к себе.

Не знаю, как я реагировала, не помню, как дожила до утра и о чем думала. Помню лишь, что болела голова, словно с похмелья (хотя похмелья я тогда еще не знала).

Потом отвезли домой и проводили до двери. Дверь открыла мама, они с ней весело поговорили.

– Возвращаем ваше сокровище в целости и сохранности, – сказал Рома.

И по его тону было слышно – он и сам верит в это. Или просто так хорошо играет. Что значит «в целости и сохранности»? Его слова, его уверенность в себе – все это было так абсурдно, что

в какой-то момент я и сама поверила, будто ничего страшного не произошло.

Это потом, в течение недели каждый вечер отмокая в ванной, разглядывая медленно заживающие синяки на внутренней стороне бедер, мучаясь кошмарами, снами, в которых я не могла пошевелиться, – только тогда до меня стало доходить, что это ненормально. Что он соврал, когда, возвращая меня маме, сказал, что я «в целости и сохранности», соврал в лицо.

Я не сказала родителям. Не только от стыда. Я просто знала: если расскажу – я разобью им сердце.

С Ромой и Антоном я больше не общалась: когда видела их в школьном коридоре, сворачивала в ближайшую дверь. Однажды я нацарапала на капоте этой его машины слово «насильник». Но он мне ничего не сделал – не знаю почему. Возможно, он просто не знал, что это я. Что, если я была не первая, с кем он так поступил? И если так, и были еще девочки, то почему и они тоже молчали? По той же причине, что и я?

И много лет спустя, двенадцать, если быть точной, моя подруга Ольга Самойлова из Общества помощи жертвам насилия сообщила мне, что Роман Кокорин – к тому времени успешный бизнесмен, основатель обширной сети автомоек по всей России – отбывает срок в тюрьме строгого режима. За несколько доказанных случаев сексуального насилия. Мне бы почувствовать облегчение – ведь справедливость восторжествовала, не так ли? Насильник наконец наказан, пусть и не мной. Но все было наоборот: мне стало плохо. Я чувствовала вину – перед той девушкой, за изнасилование которой его посадили (и сколько их вообще было за эти двенадцать с лишним лет – еще вопрос). Ведь если бы я еще тогда, после той новогодней ночи сразу обратилась в полицию, то я бы защитила от него всех остальных женщин, разве не так? Или я просто накручиваю себя?

– Так, выкинь немедленно весь этот мусор из головы, – сказала Ольга. – Еще не хватало, чтоб ты нервы себе трепала из-за этого выродка. Он в тюрьме, его там, скорее всего, уже опустили – это самое главное.

Она была права, я знала это, и все же еще долгое время спала, не выключая в спальне свет.

* * *

Но это будет позже, а тогда моя жизнь трещала по швам. Я забила на баскетбол, совсем ушла из команды, просто перестала ходить на тренировки. То, что раньше бодрило меня, – все эти

звуки, запахи, чирканье кроссовок по паркету, – теперь вызывало приступы паники и тошноту. Родители, конечно же, заметили изменения в характере, я стала замкнутой и молчаливой, но списали все на «переходный возраст» и «несчастную любовь».

Я несколько раз была в шаге от того, чтобы во всем признаться, рассказать маме о том, что произошло, но так и не смогла заставить себя произнести ни слова – стыд оказался сильнее.

С папсом же все было еще хуже – наши отношения стремительно портились, он меня аж бесил, я прям рычала на него, кричать хотелось: «Как ты мог допустить это? Почему не защитил меня? Ты же обещал, обещал, что никогда не дашь меня в обиду! Но они обидели меня. Обидели, папа. А тебя там не было». Я знала, что это нелепо и что нельзя обвинять его в том, о чем он даже не подозревает, и все же эта обида и злость долго копились во мне и не находили выхода.

Кокорина и его друга (соучастника) с той новогодней ночи я видела один-два раза – и то издалека. Он меня заметил и, кажется, даже хотел подойти, но, видимо, по взгляду понял: еще чуть-чуть, и я перегрызу ему горло. Потом, спустя месяц, в феврале, они оба укатили в Грецию – тренироваться вместе с молодежной командой «Панатинайкоса». А я, мне как-то даже полегчало, когда узнала, – ведь, значит, я могу больше не бояться наткнуться на одного из них в школе. Все синяки на запястьях и на внутренней стороне бедер к тому времени уже прошли, и между ног ничего не болело. Значит, все в прошлом, думала я. Я справилась.

Но нет. Настоящая борьба была впереди. У меня начались проблемы со временем. Точнее, с ощущением времени. Я стала замечать, что иногда просто не помню, что делала последние два часа, я словно отключалась. Например, возвращалась домой, заходила в комнату, бросала рюкзак на пол, садилась на стул, чтобы снять носки, потом – белое пятно, и вдруг – голос мамы: «Доча! Ты слышишь? Я тебя уже час зову!» И я смотрю на часы на стене и вижу, что прошло уже полтора часа с тех пор, как я села на стул, чтобы снять носки, – но носки все еще на мне, и, судя по всему, все эти полтора часа я просидела, упершись взглядом в стену, неподвижная, как гипсовая статуя.

Я начала, прости-господи, вести дневник – нет, знаешь, не тот, в котором не в меру впечатлительные школьницы пишут о своих высоких чувствах и переживаниях (о них, о чувствах, я даже думать не хотела; они так сильно пугали меня, что я старалась затолкать их поглубже в подсознание), нет, в своем дневнике я записывала исключительно свои действия, чтобы таким образом

вернуть контроль над временем – чтобы точно знать, что я делаю.

Дневник не очень помогал, и я придумала еще более радикальный способ: купила электронные часы и настроила их так, чтобы будильник звонил каждые десять минут. Это сработало: теперь каждый раз, когда я впадала в, эмм, назовем это «транс» или «состояние фуги», часы через десять минут благополучно «будили» меня, возвращали назад, в реальность.

Успех идеи с часами меня по-настоящему воодушевил, я даже гордилась собой, ведь я получила контроль. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Белые пятна в памяти больше меня не беспокоили. Хотя, конечно, здесь были и свои сложности – мои постоянно пищащие часы всех ужасно раздражали. Через полтора года, ближе к выпускным экзаменам я, кажется, полностью пришла в себя. У меня было строгое расписание:

7:01 – подъем (не люблю ставить будильник на круглые числа, поэтому всегда добавляю одну минуту),

7:03 – чищу зубы (ровно 180 секунд),

7:06 – зарядка, делаю «планку» и «мельницу»…

Ну и так далее. Чем сильнее я заталкивала свои дни в жесткую сетку графиков и ритуалов, тем легче было терпеть жизнь. Конечно, маму с папой дико раздражали мои новые бзики и особенно мои пищащие каждые десять минут часы, но сильнее всего – истерики, которые я закатывала всякий раз, когда кто-то пытался «сломать» мое расписание.

И еще лицо. Мне не нравилось смотреть на себя в зеркало. Мое лицо – у него все время было какое-то мерзкое виноватое выражение, я ничего не могла с этим поделать. И избегать зеркал тоже не могла – они ведь повсюду. Ты даже не задумываешься, сколько в мире зеркал и зеркальных поверхностей, до тех пор, пока они не начинают раздражать тебя. Единственный способ спрятаться от собственного лица – косметика. Я стала пользоваться ею, но вовсе не для того, чтобы «подчеркнуть красоту», наоборот, хотела замазать, скрыть чувство вины, проступавшее в мимике всякий раз, когда я встречала зеркало. Краситься я особо не умела, а мама, как ты помнишь, ненавидела косметику в принципе, поэтому мне пришлось учиться самой. Да и чего там учиться? Я просто наносила на веки густой слой лиловых теней, рисовала стрелки карандашом и красила губы фиолетовой помадой. Со стороны я выглядела так, словно отчаянно пыталась привлечь к себе внимание, на самом деле все было наоборот: я прятала лицо – настоящее лицо, – и толстые слои косметики отлично справлялись с этой задачей.

И все же даже тот факт, что я буквально за пару месяцев из счастливой девочки превратилась в настоящий пучок неврозов с

килограммами мейкапа на физиономии, родителей не особенно тревожил. Мои закидоны они списывали на:

а) переходный возраст,

б) стресс, связанный с подготовкой к выпускным экзаменам и поступлением в университет.

И да, кстати, об университете. В шестнадцать лет я даже и не думала о том, кем хочу быть. Возможно раньше, до Нового года, я и мечтала о будущей профессии, о смысле жизни, то теперь мне было все равно. Нет, я готовилась к выпускным экзаменам и все такое, но на вопрос «Кем ты хочешь быть?» всегда отвечала: «Космонавтом», и отвечала таким тоном, что сразу становилось ясно: разговор окончен.

Я запиралась в комнате и старалась из нее не выходить. Читала «Властелина колец» и один за другим смотрела фильмы из списка IMDB250.

Однажды, уже в мае, ко мне зашла подруга Катя Котова и рассказала, что собирается поступать во ВГИК. Она мечтала стать актрисой, но тут была одна проблема: она ужасно нервничала перед творческим конкурсом и попросила меня съездить с ней, за компанию, в качестве моральной поддержки. Катя всегда мне нравилась, к тому же заняться мне все равно было решительно нечем, поэтому я согласилась, и мы поехали в Москву.

Я, честно говоря, не помню даже, как попала на вступительные испытания. Просто вписала свое имя за компанию, потом зашла в кабинет после Кати, прочитала какое-то стихотворение и вышла.

Через неделю пришли результаты: я прошла дальше, Катя – нет.

* * *

– ВГИК? Не знал, что ты хотела стать актрисой.

– А я и не хотела. Просто Катю поехала поддержать.

Папс вскинул бровь:

– И тебя взяли, а ее нет?

– Ну, чисто технически меня еще никуда не взяли, я просто прошла то, что они там называют «творческий конкурс», или типа того.

– Понятно. И что ты бутешь телать тальше?

– Сдам русский и литературу, а там посмотрим.

Я поступила во ВГИК с одной целью: свалить из дома. Выбила себе место в общаге, собрала вещи и умотала. В день отъезда мама рыдала так, словно я отправлялась на фронт. Знаешь, она

была ужасно некрасива, когда плакала; и это странно, учитывая то, как сильно ей в целом повезло с внешностью; но вот трагедия не красила ее, наоборот, лицо ее морщилось, как, прости-господи, у шарпея, как подушечки пальцев после ванной. Противно смотреть.

– Мам, я буду жить в общаге, это в трех часах езды отсюда. Чего ты ревешь-то?

Я знала, что их с папсом брак трещит по швам и что мама расстроена не столько моим отъездом, сколько тем, что я оставляю ее здесь одну, наедине с проблемами. Папс как раз в то время перешел на какую-то свою новую супер-дупер-уберработу в Москве, в какой-то компьютерной компании, я не особо интересовалась, а он не торопился объяснять. И, в общем, поступил в своем стиле – собрал вещи и свалил.

Но мне, честно говоря, было все равно – мне бы свои осколки собрать и склеить. Я ведь действительно надеялась, что кардинальная смена обстановки и окружения поможет мне, снизит давление в моем переполненном неотмщенными обидами мозгу.

Но нет.

Со своей первой соседкой по комнате, Наташей – огромные голубые глаза, светлые волосы, ну, вылитая Брижит Бардо – я разругалась уже через месяц. Мы изначально очень плохо уживались: она легкомысленная, мечтательная авантюристка, такая, знаешь, попрыгунья-стрекоза, и эти ее дурацкие браслеты на руке, штук двадцать, а в ушах огромные серьги-кольца… Полный комплект, короче. Только волосы в черный покрасить, мушку под глазом нарисовать – и можно идти на улицу, предсказывать будущее и просить «позолотить ручку». Вот, знаешь, прям такой человек, ничем ее не пронять, ничто не сможет испортить ей настроение.

Нет горячей воды? А я не люблю мыться.

Тараканы ползают по стенам? Зато обои красивые.

Подхватила простуду? Зато теперь занятия прогуляю, тоже хорошо.

Этот ее граничащий со слабоумием оптимизм, ее жажда жизни – все это иногда просто выводило меня из себя.

Вот так мы и жили, как два персонажа из плохого ситкома: веселая блондинка и хмурая брюнетка, запертые в одной комнате. И если бы это действительно было кино, то где-нибудь ближе к концу второго акта мы бы подружились и многому научили друг друга: она бы научила меня прокрашивать корни волос, делать завивку и носить яркие вещи, а я бы, ну не знаю, дала бы ей почитать Сартра, наверно. Какие там еще бывают сериальные,

прости-господи, клише? Но в жизни все закончилось довольно быстро и неприятно.

Однажды вечером я возвращалась в общагу и услышала ее голос, звонкий и хрупкий, лишенный в этот раз оптимистических веселых интонаций. Какой-то парень прижимал ее к стене и лез рукой под юбку. Не знаю, что на меня нашло тогда – в мозгу что-то звякнуло, хлопнуло, словно порвалась нить накаливания в стоваттной лампочке. И свет погас – в смысле внутри у меня. Совсем темно стало. Я подкралась сзади и вмазала ему булыжником по башке. И он упал. А дальше – визг Наташи, крики и сбегающиеся отовсюду люди. И препирательства:

– Она ударила его! Ударила! Просто так!

– Он лез к тебе под юбку. Я видела.

– Ты сумасшедшая! Господи, у него кровь не останавливается.

Именно в тот момент, стоя там, с булыжником в руке (на булыжнике – кровь и волосы), в окружении студентов, слушая упреки и обвинения и глядя, как по асфальту растекается темно-красная лужица, я поняла: мне нужна помощь, я не справляюсь.

* * *

Так я впервые загремела в больницу. Диагноз: нервный срыв. Замять дело не получилось – родители обо всем узнали, и спустя сутки мама уже сидела на краю моей койки и гладила меня по голове. Она, кстати, совершенно не умела гладить по голове. Я знаю, это странно звучит, но это правда – знаешь, вот есть же люди, которые не умеют свистеть или подмигивать? А есть такие, которые не умеют гладить по голове, и моя мама – одна из них. Когда она пыталась прикоснуться ко мне, на лице у нее было такое напряженное выражение, словно я не ребенок, а начиненная болтами бомба, и если она сделает что-то не так, я взорвусь нафиг. Вот так мы и сидели там, в палате, она пыталась сделать вид, что гладит меня по голове, а я делала вид, что мне это нравится; у нас был сложный и мучительный разговор, я рассказала ей все, в деталях – о новогодней ночи и об изнасиловании. Это странно, но она не расплакалась, наоборот, разозлилась, не на меня, а на моих обидчиков и уже собиралась идти в полицию. Мне с трудом удалось отговорить ее:

– Ну что ты скажешь им? «Мою дочь изнасиловали два года назад»? У нас нет доказательств. Часть улик я смыла в душе утром первого января, вторая часть зажила в течение месяца. Вот и все. Если только они не заразили меня чем-нибудь.

– Не говори так!

Она злилась все сильнее – и да, кстати, злиться она тоже особо не умела; в том смысле, что злость у нее была какая-то карикатурная, мультяшная: кулачки сжаты, брови съехались на переносице, нижняя губа дрожит, на виске вздулась жилка. Странное зрелище – выглядит так, словно она не злится, а пародирует кого-то, кто злится.

– И что? Им это сойдет с рук?

– Уже сошло.

Она хотела сказать что-то, но запнулась, вся злость вдруг испарилась. Мама снова села на край койки.

– Прости меня.

[удаленный фрагмент]

* * *

– Знаете, как соседи называли Иммануила Канта? Часовой. Он все всегда делал точно по расписанию. И каждый день гулял в саду и возвращался в одно и то же время – минута в минуту.

Молодой парень подсел ко мне на лавочку возле пруда на Патриарших. Я окинула его взглядом: черная майка, фартук в бежево-белую клетку, на груди бейдж с надписью «Миша» от руки, на щеках – милые ямочки, в руке – картонный стакан с логотипом кофейни. Он ждал, что я отвечу, как-то отреагирую на его реплику, но я молчала, и он сказал:

– Да, знаю, Кант – не самая лучшая тема для беседы, когда знакомишься с девушкой. – Пауза. – Пытаешься познакомиться.

Снова пауза. Я молчу.

– Ты каждый вторник сюда приходишь, в одно и то же время – двенадцать сорок пять. Ровно. Я вижу тебя из окна кофейни, – показал пальцем себе за спину, – я там работаю. Делаю кофе. Я бариста. Вот.

Он протянул мне стаканчик, но я не двинулась с места, все надеялась, что ему надоест со мной разговаривать и он уйдет. Мои часы запищали, я накрыла их ладонью.

Снова неловкая пауза, мимо пробежали две девушки в кислотно-ярких кроссовках.

– Я Миша, – показал он на бейдж. Потом перестал улыбаться, загрустил, вздохнул, встал с лавочки. – Ладно, прости. Не хотел отвлекать. Дурацкая была идея.

* * *

– Ну, как твои успехи? – Сегодня Нина, мой психотерапевт, в отличном настроении. – Хорошо провела время?

– Да, как и договаривались: два часа провела на природе. Сидела на лавке у пруда, смотрела на уток.

– Два часа? Ровно?

– Конечно. У меня же часы, помните? – Я показала часы.

Нина вздохнула:

– Так, Марин, мы же договаривались, что ты будешь давать себе послабления.

– Да, но послабления у меня по воскресеньям. В остальные дни я живу по расписанию.

Пауза.

– И что ты делала там, на лавочке, у пруда?

– Ничего. Сидела. Вы же сказали, что я должна «проводить два часа на природе», вы не говорили, что я должна что-то делать, пока я там.

На лице Нины – грусть, и мне ее жалко. Она действительно за меня очень переживает.

– Да ладно, я прикалываюсь. Я читала книжку, – соврала я. – И еще ко мне приставал какой-то парень.

– Приставал?

– Ну, пытался заговорить.

– И-и-и?

– И ничего.

– Ты не ответила ему?

– Нет.

– Почему? Он был тебе неприятен?

– Нет, вообще-то довольно милый. Ямочки на щеках, мне такие нравятся. Стеснялся, что-то говорил про Канта. Потом загрустил и ушел.

У Нины было необычное лицо – черты лица тонкие, симметричные, и только нос портил общую картину – кривой, сдвинутый на сторону, боксерский нос. Я все хотела спросить, почему она не вправит его на место, но стеснялась.

Она поджала губы, подалась вперед, сцепила пальцы в замок.

– И ты не заговорила с ним, потому что?..

– Потому что не хотела.

– Но ты же сказала, что он милый.

– Да, но…

– Ты помнишь, что я говорила? Общение с людьми ускорит твое выздоровление.

– Выздоровление от чего? От моей памяти? Что именно вы хотите вылечить, я не понимаю. – Это звучало грубо и бестактно, я осеклась. – Простите.

Она улыбнулась:

– Ничего.

Повисла пауза – вообще, если я и была благодарна Нине за что-то, так это за паузы, которые она выдерживала всякий раз, когда чувствовала, что мне тяжело.

– Разве память можно вылечить? – спросила я, потом зажмурилась, пытаясь как-то точнее сформулировать мысль. – То есть, постойте, я не это хотела сказать. – Я терла виски. – Знаете, в детстве отец читал мне книжку сказок «Путешествие камней». И там был один рассказ, он назывался «Центр тяжести». Речь в нем идет… в смысле, там есть город, и сквозь него дует очень сильный ветер – Ветер Истории. И чтобы противостоять ветру, жители города ходят в специальное министерство – оно так и называется Центр Тяжести. Там им на голову надевают специальный шлем, который превращает их воспоминания в камни. И чем тяжелее воспоминание, тем более плотным и тяжелым получается камень. – Я подняла на нее взгляд. – Понимаете? Тяжелые воспоминания в этом рассказе – они как ценные породы. Люди кладут их в карманы и так ходят по улицам города. Камни для них как якоря, они не позволяют Ветру Истории подхватить человека и унести в забвение. Я много думала над этим рассказом и не могла сообразить: что хотел сказать автор? Я знаю, что это дурацкий вопрос, и все же это ведь сказка, верно? В сказке должна быть мораль. Четкая, легко выводимая. И я все думала: что означают эти камни – они добро или зло? И правильно ли это: сравнивать тяжелые воспоминания с драгоценными камнями? И правда ли, что тяжелые воспоминания нужно носить с собой в карманах и что они спасают нас от забвения? Как думаете? По-моему, это какая-то болезненная фиксация на негативном. Я не хотела бы таскать свое тяжкое прошлое с собой. Не-а. Если бы я жила в этом городе, я бы вышла на улицу, выбросила камни из карманов и позволила бы Ветру Истории подхватить меня и унести куда подальше. В каком-то смысле совершила бы самоубийство. Потому что… потому что нахер такие воспоминания.

Нина (забавно, правда? Мой мозгоправ и твоя мама носят одно имя) протянула мне салфетку, и только тут я поняла, что плачу.

Мы помолчали немного. Я вдруг потеряла интерес к этой теме.

– Вообще-то я общаюсь с людьми, – вдруг сказала я, отвечая на вопрос, заданный пятнадцать минут назад.

– Да? И с кем же?

Пауза.

– С Сергеем. С тем парнем, которому пробила голову. Мы теперь дружим.

Как жаль, что у меня не было с собой фотоаппарата, – видели бы вы лицо Нины в тот момент, она смотрела на меня так, словно я только что у нее на глазах извлекла голубя из рукава.

* * *

Беднягу, которого я огрела камнем по башке, звали Сергей Мамаев («для друзей просто Мамай»), и он учился на четвертом курсе режиссерского факультета. Два дня спустя после инцидента я выяснила, в какой больнице он лежит, и пришла навестить его. Я назвалась его сестрой, и меня пустили в палату (да, вот так легко – сама удивилась; никто даже документы не проверил – безопасность нулевая). Увидев его там, лежащего с забинтованной головой, я с трудом заставила себя сделать шаг вперед и войти. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Я представилась, начала как-то сбивчиво просить прощения. А он – он улыбнулся.

– Пришла добить меня?

Потом у нас случился очень странный диалог, оказалось, он совсем не держит на меня зла и ко всему произошедшему относится с юмором. Вот так после весьма необычного знакомства мы и стали друзьями. Ну, то есть, разумеется, друзьями мы стали не сразу. Сперва он пригласил меня на вечеринку в честь своей выписки из больницы («Друзья, знакомьтесь, это Марина. И эта вечеринка стала возможна исключительно благодаря ей. И еще мой совет: увидите у нее в руках камень – бегите»). Потом он позвонил мне еще спустя пару месяцев и сказал, что снимает короткометражку и ему нужна симпатичная девушка для массовки.

– Платить мне нечем, поэтому я рассчитывал просто надавить на твое чувство вины.

Я согласилась. К тому времени я уже полгода ходила на сеансы к мозгоправу, и мне даже удалось немного ослабить свою одержимость «тайм-менеджментом». И все же говорить об «исцелении» было бы преждевременно – я, например, все так же боялась высоких и сильных мужчин. Точнее, не боялась, нет, скорее не доверяла им, ждала от них подвоха.

Забавно, но во многом именно поэтому я изначально так легко подружилась с Мамаем, он был низкого роста, худой и (чисто визуально) физически довольно слабый. Когда я позже рассказала ему об этом, он хохотал в голос.

* * *

Включил? Отлично.

На съемочной площадке. В смысле с Сашей мы познакомились на съемочной площадке. Во время съемок той самой короткометражки Мамая. Я появилась там в массовке, а Саша была спецом по пластическому гриму и бутафории.

Мамай на вопрос «В чем заключается работа кинорежиссера?» отвечал так:

– Представь, что ты едешь на велосипеде. И он горит. И ты горишь. И все горит. И ты в аду.

Я, помню, смеялась, думала – шутка. Оказалось, действительно, шутка, но лишь отчасти. Впрочем, первый в моей жизни день на съемочной площадке действительно закончился пожаром.

[смех]

Тут для начала нужно рассказать, как это дико – впервые попасть на площадку. Особенно когда речь идет о фильме ужасов.

Представь себе: в центре зала – огромный чугунный котел, под ним – хворост. Все вокруг стилизовано под ведьминскую избу, или типа того. Возле чана стоит актер в монашеской рясе, в парике «стрижка под горшок». Он курит. Причем не просто курит: в руке у него бутафорская отрубленная женская рука, совсем как настоящая, и между пальцами этой бутафорской руки – сигарета. Заметив, как завороженно я наблюдаю за ним, актер-монах улыбается мне и машет бутафорской рукой.

Мимо проходят девушки в мрачных одеждах зловещего покроя. Они замечают актера.

– Слушай, Дим, я поражена! – говорит одна из ведьм. – Ты где-то достал отрубленную женскую руку, и еще ни одной шутки про мастурбацию?

– Еще не вечер, – отвечает монах и подмигивает мне.

И, в общем, он докуривает, давит бычок об стену и направляется ко мне. Ну вот, думаю я, сейчас представится, протянет мне эту силиконовую руку для рукопожатия – и будет уверен, что это невероятно смешно.

Но тут треск – и с потолка летят искры. Все, кто был на площадке, замерли, посмотрели вверх, затем начали переглядываться. Одна из главных отличительных черт людей из киноиндустрии – их ничем невозможно удивить. Своего рода профдеформация. Над головой у них искрила и дымилась проводка, а они спокойно переглядывались, так, словно пожар на

площадке – это штатная ситуация и удивляться тут нечему. Ну в самом деле, у нас тут ведьмы и отрубленные руки, кого вы хотите удивить искрами с потолка?

На площадку выбежала девушка в белых кроссовках, с планшетом в одной руке и розовой рацией – в другой.

– Тема, блядь, что за пиротехника? Ты, блядь, совсем ебнулся? – сказала она в рацию тонким, нежным голосом.

– Это не я, – ответила рация. – Это, кажись, проводка горит.

– Схуя ли она горит? – спросила девушка. Затем, секунды через три до нее дошло, что имел в виду Тема, она оглядела актеров и световиков. – А вы че замерли все? Звоните пожарным!

И снова голос из Темы из рации:

– Уже звоню.

Искр было все больше, появилось и пламя. Огонь расползался по потолку и стенам.

В центр площадки выбежал какой-то коротышка и предложил нам покинуть территорию. Предложение свое он снабжал такой изобретательной руганью, что, мне кажется, даже белые стены студии покрылись румянцем от стыда и смущения.

Актеры, съемочная группа – мы все потянулись к выходу. Дима-монах пытался сделать селфи с бутафорской рукой на фоне пожара, но получил пинка под зад от матерящегося коротышки и тоже направился к выходу.

– Такое селфи испортил, – ворчал актер.

Из всей съемочной группы озабоченными выглядели только оператор и световики – их оборудование осталось в помещении.

И вот мы стоим там, на улице, почти на проезжей части, актеры, наряженные в ведьм и монахов, оператор, режиссер, звукачи. Куча людей, короче. Из окон здания уже валит какой-то совершенно мультяшный лиловый дым, вдали слышны сирены. И тут дверь снова открывается – и выходит еще одна девушка. В руках у нее – страшная, морщинистая бутафорская голова, и девушка сжимает ее, как младенца. Лицо в саже, на голове – красная бандана, на плече – тяжелая сумка.

– Саша, твою мать! Ты ебнулась совсем, ты ж сгореть могла заживо!

Саша глубоко дышит, смотрит на оператора, отвечает:

– Твоя камера застрахована, а мои инструменты – нет.

Оператору нечем крыть, он молча помогает Саше отойти подальше от горящего здания. Сашу сажают на газон прямо рядом со мной и дают пару влажных салфеток – вытереть сажу с лица.

Между нами появляется Мамай.

– Ну что ж, раз вы обе тут – знакомьтесь. Саш, это Марина.

Я протянула руку, и часы на ней запищали.

* * *

На самом деле я сначала даже не была уверена в том, что мы подружимся. Саша была неразговорчива, замкнута, не любила смотреть в глаза и, кажется, ужасно стеснялась моего общества. Тем вечером после пожара мы сидели в каком-то кафе (официантка испуганно косилась на бутафорскую голову, и Саше пришлось спрятать голову в пакет), и я рассказала ей, что хочу попробовать себя в этом деле – заняться пластическим гримом и бутафорией для кино.

На самом деле идея возникла спонтанно. Тот первый день на съемочной площадке так взбудоражил меня, что я хотела вернуться туда – любой ценой. Желательно – в качестве члена съемочной группы.

Так я впервые попала к Саше в студию – какой-то старый полуразрушенный лофт на территории бывшего лакокрасочного завода возле метро «Улица 1905 года». Внутри было холодно и жутко, и все предметы мебели здесь словно соревновались между собой – кто уродливей. Повсюду, как массовка, стояли недоделанные, безрукие манекены, бюсты, головы, сломанные стулья. Свет тоже был странный – несколько лампочек висели на проводах, и длинные, нервные тени манекенов расползались по полу и по стенам.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказала Саша, – выглядит как логово маньяка-убийцы.

– Вовсе нет! Здесь очень мило. Особенно вот эта голова с оторванной нижней челюстью добавляет комнате уюта.

Она улыбнулась:

– Что ж, рада, что ты не выбежала отсюда с воплями.

На стене, над диваном – который выглядел так, словно его сбросили сюда с самолета на парашюте, но парашют не раскрылся, – висели два больших плаката – «Чужие» и «Терминатор». Заметив, что я смотрю на них, Саша пояснила, что Джеймс Кэмерон – или Дэвид, я не помню, – ее кумир, и изначально он занимался именно спецэффектами и лишь потом стал снимать кино самостоятельно. Пока она рассказывала, у меня запищали часы. Я, как обычно, извинилась и стала нажимать на кнопки, чтобы вырубить будильник.

– Ты ведь в курсе, что твои часы всех дико раздражают? – вдруг спросила Саша. Я изумленно посмотрела на нее, она пояснила: – Ну вот этот твой бзик с часами, которые пищат каждые пять минут.

– Десять.

– Что?

– Каждые десять минут.

– Ну, десять, неважно. Я хочу сказать, что это выглядит очень манипулятивно. Как будто ты отчаянно пытаешься привлечь к себе внимание, – она выставила перед собой ладони в защитном жесте, – пойми меня правильно, я читала Оливера Сакса и знаю, что за каждым нервным тиком скрывается трагедия и все такое – но! – также я знаю, что неврозы – это то, с чем люди борются, а не то, чему они потакают.

* * *

– Нет, ну вы представляете? Именно так и сказала: я, видите ли, использую свои неврозы, чтобы давить на жалость! – ворчала я, сидя на кушетке в кабинете психолога, Нины. – Манипулирую людьми. Просто невероятно.

Я ждала, что Нина поддержит меня, но она терпеливо молчала. И по интонации ее молчания я поняла – похоже, она на стороне Саши.

И, в общем, короче, на следующий день я вернулась в лофт-студию, к манекенам и силиконовым головам.

– Прости. Я так глупо убежала вчера. В общем. Спасибо тебе.

Она удивленно смотрела на меня. Стояла в своей красной бандане в окружении жутких манекенов.

– За что?

– Ну, за то, что сказала правду. В смысле, я так привыкла, что люди возятся со мной, терпят мои бзики и, ну, знаешь, относятся ко мне так, словно я стеклянная. В какой-то степени это меня испортило, и я стала этим пользоваться. Но… но я работаю над собой. По воскресеньям я хожу без часов.

– У нас занятия по понедельникам и средам.

– Ну вот и отлично. Значит, по понедельникам и средам тоже буду без часов.

Я сняла часы и бросила в рюкзак. Часы тут же запищали там, внутри, и я, извиняясь, краснея, полезла за ними.

– Мы начинаем через пять минут, – сказала Саша. – Идем, покажу студию.

* * *

На занятиях Саша много рассказывала и об истории своего ремесла, и о себе. Она начинала как скульптор, мечтала высекать из камня и даже успела сделать несколько мраморных скульптур,

но еще в университете познакомилась с группой художников, называвших себя гиперреалистами, – они тоже создавали скульптуры, но не из камня, а из пенолатекса, пластика и силикона. Скульптуры их были (как правило) жуткими до одури – предельно реалистичные тела в предельно нереалистичных позах и конфигурациях. Сашу все это очень заинтересовало – новый, весьма необычный подход к процессу создания таких скульптур и, собственно, материал, – пенолатекс, предельно податливый и, главное, до чертиков реалистичный и похожий на кожу.

Она прошла курс обучения работы с силиконом и прочими «кожзаменителями» (тот самый, который теперь сама ведет) и так вошла сперва в развлекательную, а потом и в киноиндустрию. Талант скульптора очень помог ей в этом, она отлично разбиралась в человеческой анатомии.

«Когда мне было десять, – рассказывала она, – я сказала отцу, что хочу стать художницей. У меня действительно неплохо получалось рисовать. Отец был милиционером. «Отлично, – сказал он, – я помогу тебе, я знаю место, где ты можешь попрактиковаться». Отвел меня в морг и познакомил со своим другом – патологоанатомом по имени Амфибрахий (серьезно, его так и звали, по паспорту: Амфибрахий Эдуардович Панацея). Вот так, в десять лет я впервые увидела настоящие трупы, и это странно, но вид мертвых тел совсем не испугал меня; пожалуй, это был тревожный звоночек для родителей, но они проморгали момент, а я, увидев, вскрытый труп, просто достала карандаши и начала делать зарисовки – не только тел, но и конкретных деталей: колотых, резаных ран, пулевых отверстий и прочей мерзости, которая позже очень пригодилась при работе в кино. Теперь из силикона я могу делать идеально фотографически точные раны для фильмов, где есть стрельба или насилие – военные, криминальные драмы, фильмы ужасов и тому подобное».

Так началось мое обучение: сперва теория – знакомство с материалом и азами мастерства. Затем – самое интересное – и мучительное – практика. Для этого Саша пригласила Мамая; Мамай неподвижно сидел в кресле, пока мы колдовали над ним. Он сидит, а ты работаешь: убираешь его волосы под латексную плавательную шапочку и начинаешь покрывать лицо стоматологическим альгинатом, затем – заливка гипсом и «загипсовка негатива», – последнее со стороны похоже на работу эксперта-криминалиста: сидишь с гипсовой маской и кисточкой аккуратно, равномерно наносишь на нее жидкий гипс, слой за слоем. Потом – самое веселое – то, что спецы называют «лепкой образа» – процесс выдумки персонажа и его текстуризации. Тут

уж у каждого свои приемы: Саша для рисования морщин использует булавку, я насобачилась рисовать их кончиком своей заколки.

Знаешь, что еще забавно?

Вот как раз там, на уроках пластического грима, создавая фальшивые лица, я научилась наконец принимать свое собственное лицо. Раскрепостилась и смогла, прости-господи, посмотреть на себя в зеркало без отвращения.

[молчит]

Давай сделаем паузу. Я устала.

* * *

Работает? Хорошо.

С Караташем я познакомилась на выставке гиперреалистов. Меня туда Саша отвела.

Это не псевдоним, он по паспорту Караташ. Турецкие корни. В это сложно поверить, глядя на его фото: весь бледный, кожа на лице розовая и полупрозрачная, как у аксолотля. Одет всегда с иголочки – только черное и белое. Белая рубашка застегнута на все пуговицы. Ни пятнышка, ни складочки – оживший фотошоп. Такой персонаж из ранних фильмов Тима Бертона. Это было очень забавно, особенно в контрасте с Сашей, которая одевалась так, словно собиралась клеить обои или красить заборы: красно-белая рубашка в клетку навыпуск, рукава закатаны до локтей, красная бандана и дырявые джинсы – обычная для нее форма одежды. Пунктирные татуировки на запястьях, идущие вверх к локтевым сгибам. Девушка-маляр.

Так вот, мы пошли на его выставку. В смысле, на выставку Караташа.

Один из экспонатов мне особенно запомнился – старая, ржавая телега, до краев наполненная отрезанными, прости-господи, человеческими ногами и руками. Точнее – их макетами, конечно. Детально прорисованными, изготовленными из пенолатекса, полиуретана и синтетической смолы макетами человеческих ампутированных рук и ног. Бля, жуткое зрелище. Даже для специалиста по пластическому гриму – как сказала Саша: «Болезненно подробная детализация».

– У меня была идея добавить еще и запах и как-то привлечь мух, но куратор выставки уперся – и ни в какую, – сказал Караташ. – В следующий раз обязательно сделаю.

Я подошла к табличке. Инсталляция называлась: «Задний двор военного госпиталя».

– Ну как тебе? – спросила Саша, когда мы вышли из галереи и уже прогуливались по набережной.

– Жуть.

Она засмеялась.

– Да, в этом весь смысл. Паша – хороший, он, как Дэмиен Херст, совершенно поехавший. Если бы не Уголовный кодекс, он бы и настоящих человеческих рук туда накидал. Впрочем, не сомневаюсь, что так он и сделал – наверняка контрабандой подкинул туда пару-тройку настоящих обрубков. Ты, кстати, знаешь, что по нашим законам ампутированные конечности запрещено сжигать в крематориях?

– Почему?

Она пожала плечами.

– Россия, – сказала так, словно это все объясняет. – Поэтому медработники подбрасывают ампутированные руки и ноги в гробы к умершим бездомным. Представь только: хоронят какого-нибудь безымянного бомжа, и в ноги кладут ему еще парочку рук и ног, только чужих. Изначально Паша делал эту свою инсталляцию именно для того, чтобы привлечь внимание к этой идиотской бюрократической яме, но потом заигрался, и, эмм, получилось вот это.

– Слушай, давай сменим тему, а то меня подташнивает уже.

Домой идти не хотелось, но погода портилась, поднялся сильный ветер, и мы свернули в ближайший кинотеатр. Ходить в кино с киношником – это отдельный аттракцион: они всегда комментируют происходящее на экране: грим, монтаж, сюжетные дыры. В любой другой ситуации меня бы это раздражало, но Саша всегда так интересно рассказывала о съемочном процессе, что ее метакомментарии часто были интереснее самого фильма. В тот день нам повезло – сначала мы попали на какой-то тупорылый гангстерский, прости-господи, боевик с Райаном Гослингом, ну, знаешь, из тех, где бандит с десяти метров палит по герою из автомата Томпсона и не может попасть, а потом злодей вместо того, чтобы добить поверженного героя, толкает долгую речь, дожидаясь, пока герой очухается и прикончит его. Такие штуки. Следующим в расписании значился «Престиж» с Кристианом Бейлом – в рамках ретроспективы фильмов Кристофера Нолана, – и мы пошли и на него тоже. Саше фильм понравился, а я была в ярости. Помню, мы вышли из кинотеатра и, шагая по Фрунзенской набережной, спорили о том, какие именно сценарные приемы допустимы в кино. Я утверждала, что близнецы и двойники – это ужасное клише еще со времен Уилки

Коллинза; Саша была не согласна: любое клише можно обыграть и обновить, утверждала она, тут важен талант и подход.

Небо и без того цвета мокрого алюминия стало темнеть, с севера наползали тучи. Ветер – холодный, лютый – рвал плащи с прохожих и поднимал пыль с асфальта. Настоящая пыльная буря. Осенние листья, обрывки газет – все взмыло в воздух. В глаз мне попала соринка, Саша за руку отвела меня в сторону, в подворотню, под арку. Минуту оттягивала мне левое веко, искала соринку. Сосредоточенно, с видом гроссмейстера, обдумывающего важный ход. Мы почти касались носами.

– У тебя изо рта клубникой пахнет, – сказала я.

Она как-то странно на меня посмотрела. Убрала прядь волос с лица, взяла за подбородок. И вдруг поцеловала.

Егор

– Ты будешь великим композитором, – говорила мама.

Я не хотел ее разочаровывать.

Вообще, детство я помню плохо. Помню, болели запястья и пальцы – от постоянных уроков, тренировок, от игры на пианино. Я зубрил партитуры, учился играть их, и у меня даже мысли не было о том, что где-то за пределами класса фортепиано есть и другая жизнь.

Все изменилось, когда мне стукнуло двенадцать. Я прищемил пальцы дверью – сейчас уже не вспомню, как умудрился; возможно, даже специально, – и хотя переломов не было, врач хорошенько зафиксировал средний и указательный гипсом. Это был первый раз, когда я увидел живого врача. Или, во всяком случае, первый раз, когда запомнил встречу с ним. Полноватый, пахнущий марлей мужчина в белом халате. На голове – белая шапка, из-под которой на лоб падает седая прядь. Я наблюдал за тем, как он разглядывает снимок моей руки, – кости, суставы, белые на черном фоне; потом – как обрабатывает пальцы, фиксирует, обматывает бинтом и наносит гипс. И пока он разглядывал мои руки, я разглядывал его. Особенно врезались в память толстые, желтые, почти идеально квадратные ногти на больших пальцах.

– Мама сказала, ты пианист? – Изо рта у него пахло баклажанами или чем-то таким овощным.

Я кивнул.

– Не волнуйся, пальцы заживут, гибкость вернется, будешь как новенький.

И месяц я провел почти без тренировок, – вот тут и начались проблемы, потому что я впервые оказался на свободе – я был свободен от клавиш и нот. Первую неделю в гипсе музыка каждую ночь наполняла мои сны, и я просыпался в горячке, пытаясь записать ее. Но потом – потом словно перегорел, знаешь, так бывает: какое-то чувство наполняет тебя, но если не находит выхода – выдыхается, гаснет. Петро все так же водил меня на занятия, потом, когда сняли гипс, все вроде бы вернулось на круги своя, и я продолжил тренировки, каждый день, каждый день, каждый день, сочинял, сочинял, сочинял, импровизировал, сочинял, записывал, сочинял, совершенствовал свое мастерство. И в то же время все было иначе, тот месяц, проведенный в гипсе, все изменил: я узнал, что там, за пределами партитурного листа, тоже есть жизнь. И она тоже может быть яркой и интересной, иногда даже более яркой, чем ноктюрны Шопена.

Я долго держал свое откровение в тайне, боялся признаться, расстроить маму. Я продолжал сочинять и ходить на занятия, готовился к поступлению в консерваторию и даже дал свой первый концерт на радио «Классика-ФМ», а потом – интервью, на котором говорил именно то, чего от меня ждали. И все же мой преподаватель заметил изменения: у меня начались проблемы с концентрацией внимания, мои импровизации становились все более простыми и, как он говорил, «механистичными».

– Ты плохо себя чувствуешь? Не заболел? – спрашивала мама.

Я бормотал что-то в ответ, не мог признаться ей, что не хочу посвящать жизнь музыке и что все эти ежедневные занятия нагоняют на меня тоску. Тогда, в двенадцать лет я еще толком не знал, чего хочу, но мне нравилась математика, я с легкостью умножал в уме пяти-шестизначные числа и часто хвастался перед Петро своими способностями.

– Вот это да, малек! У тебя в голове не мозг, а ядерный реактор! – говорил он, когда я в уме за пятнадцать секунд решал уравнение, на которое он тратил полдня и кучу черновиков. – Только маме не говори, – добавлял он.

Я помню, как однажды зашел к Петро в комнату и вдруг, удивив самого себя, сказал:

– Я не хочу быть пианистом.

Петро обернулся, за ухом у него был карандаш. Он смотрел на меня, ожидая, что продолжу, но я молчал.

– И? – спросил он.

Я рассказал ему, как месяц, проведенный в гипсе, без музыки, что-то изменил во мне. И удивив самого себя, я разрыдался. Петро притянул меня к себе, обнял за плечи.

– Ты чего, малек? Ну не хочешь и не хочешь. Хрен с ней, с музыкой. Подумаешь, трагедия.

– Да, но мама, – бормотал я, шмыгая носом. – Она же верит в меня.

– Ну да, мама расстроится. Но это ведь твоя жизнь, верно?

С мамой было сложно. Ее книга сказок, «Путешествие камней», напечатанная тиражом в 880 экземпляров, так и не нашла читателей среди широкой аудитории. Сложные времена, обвал рубля, пустые карманы, издательства-банкроты, дефолт, деноминация. Людям было не до чтения. В прессе появились две короткие, снисходительные рецензии – и все. Мама, конечно, храбрилась, и все же я видел, как больно ей было. Одно дело, если бы книгу ругали, она бы это пережила, но тут было другое – ее просто не заметили. Мы пытались уговорить ее не сдаваться, начать писать вторую книгу, а потом, если и с этой не выгорит, то и третью:

– Первый роман Роберта Пёрсига отвергло сто двадцать одно издательство. А твою первую книгу даже напечатали, – говорил Петро. – Да, пусть все вышло не очень удачно, ну и что? Если хочешь стать писателем, ты должна быть упрямой.

Она смотрела на него и как-то грустно улыбалась. И обещала, что попробует. И, кажется, даже начала что-то писать.

А потом умер дед, и все полетело к чертям собачьим.

Мы несколько раз навещали бабушку, она теперь жила совсем одна в огромном доме и вела себя очень странно. Словно отключалась, сидела, смотрела куда-то в угол и не сразу откликалась, когда к ней обращались. Она всегда была щепетильна в отношении быта, но после смерти деда в ней что-то надломилось, дом превратился в музей: предметы всегда стояли на одних и тех же местах, идеально чистые, блестящие, как экспонаты. Не хватало только сопроводительных этикеток. Я ходил из комнаты в комнату и разглядывал двери шкафов, натертые до зеркального блеска, открывал гардероб и видел дедовы старые белые рубашки, выглаженные и накрахмаленные. Что они здесь делают? Зачем она хранит их?

Однажды мама провела эксперимент: зашла в зал и поменяла местами несколько книг на полке, потом открыла сервант и сдвинула три тарелки так, чтобы они слегка выбивались из общего ряда, и еще оставила пару жирных отпечатков пальцев на бокалах; открыв гардероб, она сняла одну из старых рубашек с плечиков, хорошенько помяла ее и повесила назад.

Когда через две недели мы снова приехали в гости, книги стояли в алфавитном порядке, тарелки в серванте вернулись в строй, а бокалы были начищены так тщательно, что слепили своей хрустальной прозрачностью; рубашки в гардеробе воняли крахмалом и, кажется, даже еще не успели остыть после встречи с утюгом.

Дом был не просто чист, но стерилен, как операционная. Даже солнечный свет, проникая в комнату сквозь старый тюль, казался белым, словно его обесцветили хлоркой.

– Ма-а-ам!

– Да?

– Подойди сюда!

– Что такое?

– Ну, подойди сюда.

– У меня тут горит все, я не могу. Подойди сама. Что ты как маленькая?

Мама сгребла рубашки в охапку и потащила на кухню. Плечики шуршали о стену, царапая обои, пока она шла по коридору. Она толкнула дверь и бросила рубашки на обеденный

стол, уже сервированный тарелками и вилками.

– Это что?

Бабушка рассеянно смотрела на нее, застыв над сковородой с лопаткой.

– Рубашки.

– Это я понимаю. Зачем они тебе? Они старые! Почему ты их не выбрасываешь?

Из ступора ее вывело шкворчащее, плюющееся сало на сковороде. Она стала судорожно переворачивать пузырящиеся ломтики жира.

– У меня тут… подгорает. Не мешай.

Мама шагнула к плите и выключила газ.

– Ты чего? Я же готовлю.

– Это подождет. Нам надо поговорить.

– Сало не может ждать. – Голос стал хрупким и неровным. Бабушка схватила спички и попыталась зажечь одну, но серная головка вспыхнула и полетела на пол. – Ты мне весь рецепт испортишь! Оно же горчить будет, если остынет. Ты хочешь есть горький бекон?

Я сидел там, на кухне, смотрел на ее тонкие, длинные пальцы – я любил перебирать их, сидя рядом с ней на диване, пока она смотрела мексиканские сериалы по Первому каналу. Ее пальцы дрожали, и я помню, как дико это меня разозлило. Я зажмурился и задержал дыхание, чтобы не закричать.

Мама долго храбрилась, но я видел, что смерть дедушки подкосила и ее – что-то надломилось. Петро к тому моменту уже поступил в университет и уехал в Москву, и мы жили вдвоем. А мама снова устроилась редактором в издательство – исправляла ошибки в чужих рукописях. Свои черновики она, кажется, так больше и не открыла ни разу. «Потому что чужие ошибки исправлять проще, чем свои», – повторяла она таким тоном, словно цитировала кого-то.

* * *

До семнадцати я, честно говоря, даже не думал, что моя жизнь будет как-то связана с компьютерами. Я поступил на математический факультет, изучал все подряд: матанализ, линейную алгебру, теорию вероятностей, математическую статистику, матметоды и модели, теорию игр, эконометрику, теорию риска, численные методы, теорию массового обслуживания.

Мама не хотела меня отпускать:

– Как же ты будешь там учиться? Там огромная территория, ты заблудишься.

Она была права: мой «топографический кретинизм» действительно доставлял много неприятностей – и мне, и окружающим. Моя неспособность ориентироваться на местности с годами стала главной темой для семейных анекдотов:

– Про рассеянных людей говорят: «Заблудился в трех соснах», – наш Егорка способен заблудиться в двух. Буквально.

Со временем мне, впрочем, вполне удалось приспособиться к такой жизни и нивелировать свой недостаток. Я стал рисовать карты и заранее продумывать даже самые простые и короткие маршруты. Да и вообще, сказать по правде, я не очень-то любил гулять. У меня была карта территории университета, и я наизусть выучил все углы, повороты и расстояния в шагах до нужных корпусов и аудиторий.

Дешевых и качественных GPS-навигаторов в смартфонах тогда еще не было, поэтому мне приходилось выкручиваться, и я, как кладоискатель, повсюду ходил с подробной нарисованной от руки картой.

– Ну что, нашел клад? – спрашивали студенты, когда я проходил мимо.

– Почти, – отвечал я с беззаботной улыбкой. – Уже близко.

Я знал, что лучший способ нейтрализовать злую насмешку – посмеяться вместе с клоуном.

Вообще это довольно сложно – выделяться. Особенно среди студентов, для которых прогулять пары – достижение. Я не любил прогуливать, и я любил учиться. Друзья называли меня информационным наркоманом. И в этом что-то было: знаете, есть такие заводные мартышки – ты несколько раз проворачиваешь ключик у нее в спине, и она бегает по столу, поет песни и весело бьет в тарелки; но рано или поздно завод кончается – мартышка падает на бок и замирает. Я понимал эту мартышку, потому что моим «ключиком в спине» были книги. Иногда мне казалось, что если я перестану учиться, читать, узнавать новое – я, точно как та мартышка, лягу на бок и умру.

* * *

В честь поступления в универ Петро подарил мне ноутбук – нехитрую китайскую машинку, которую я использовал по большей части для того, чтобы играть в видеоигры. Однажды я щелкнул не по той ссылке и поймал вирус, трояна.

Это и стало началом. Меня вдруг осенило – я понял, что

экосистема компьютера во многом напоминает водоем: тут есть свои течения, темные места и свои паразиты. Любой другой пользователь на моем месте просто удалил бы зловреда, почистил систему и забыл о нем, но я записался на курс по языкам программирования и вскоре ради интереса расковырял код, чтобы понять принцип работы вируса.

Троян управлялся посредством IRC-сервера, и мне удалось выйти на его автора. Я вышел с ним на связь и попытался узнать больше об алгоритмах, которые используются при создании вредоносного софта. Чуть позже – месяца через три – я написал своего первого зловреда и назвал его submarine: с его помощью я воровал у беззаботных пользователей CD-ключи от игр, в которые сам хотел поиграть.

В свою защиту скажу вот что: submarine был первым и последним зловредом, которого я написал.

В том же году на дне рожденья у Петро я похвастался ему.

– То есть, – сказал он, глядя на экран со строчками кода, – ты создал вредоносную программу? – Я кивнул, и он разочарованно посмотрел на меня. – Малек, это не круто. Вообще не круто.

– Но. Но подожди! Дело ведь не в этом. – Лицо мое горело от стыда. – Ты не понимаешь. Представь, что интернет – это экосистема, океан. И мы, в данном случае я, мы можем создавать живых существ, которые обитают там, взаимодействуют друг с другом, проникают в плотные слои, туда, куда обычные рыбы проникнуть не могут. Это же крутатень, разве нет? Как передачи с Жак-Ивом Кусто, только про интернет!

– И ты создал паразита, – вздохнул Петро.

Я бы хотел сказать, что реакция брата обескуражила меня и произвела терапевтический эффект. Но не могу. Я продолжал изучать уязвимости систем, в частности, мобильных операторов. Вскоре я научился даже зарабатывать на этом – воровал трафик через дырявые шлюзы и продолжал писать программы-шпионы разного уровня сложности. Я зависал на закрытых форумах для криптоаналитиков. Попасть на такой форум непросто – нужно сначала его взломать. Успешный взлом равен входному билету. Именно там, в зашифрованном сегменте сети я и познакомился с D; точнее, с пользователем под ником «D». Он модерировал форум и первый поприветствовал меня, когда я наконец нашел уязвимость и пробрался в закрытый чат. В чате никто не трепался попусту, люди занимались делом – обменивались опытом и обсуждали строчки кодов. Это был рай для гика – я попал в место, где степень крутизны человека определяется скоростью его мышления и способностью к решению задач. D иногда подкидывал нам работу: сбрасывал в чат зашифрованные данные

и предлагал расколоть их за деньги. Не буду врать, мне не сразу удалось завоевать его расположение – я был медлителен, и меня вечно кто-то опережал. Но однажды я справился раньше всех и неожиданно для себя получил две тысячи долларов. Только представьте, что такая сумма значит для нищего студента. Я понял, что на этом можно неплохо заработать, и стал ночами зависать на форуме, в надежде снова прийти первым и сорвать куш. За два года я стал своим среди десятка анонимов, обитающих в крипточате. D каждый месяц сбрасывал нам фрагменты кода и предлагал найти в них ошибку, прокомментировать или улучшить их. Однажды я взял его код, переписал начисто и отправил обратно. Буквально через полторы минуты пришел ответ.

D: неплохо

Не то чтобы очень уж комплимент, но я от счастья прыгал до потолка. Буквально.

За следующий месяц я переписал еще несколько его кодов.

D: продолжай в том же духе для таких как ты у меня всегда найдется работа

* * *

На четвертом курсе ко мне в комнату в общежитии подселили нового соседа – студента по обмену из Канады.

– Приветствую тебе свое приветствие, – сказал он, переступив порог комнаты. На плече синяя сумка, под мышкой – системный блок. – Меня зовут Реми, я из провинциальной провинции Квебек! Я изучаю ваш удивительный русский язык русских.

– Типа лингвист, что ли?

– Да-да. Я приехал изучать изучение уличного российского языка улиц.

– В смысле сленг изучаешь?

– Да-да, уличный язык улиц.

– Ты же знаешь, что такое тавтология?

Он закивал.

– Да-да, это бессмысленное повторение повторяющихся слов без всякого смысла.

– Ты же понимаешь, что «повторение повторяющихся слов» – это тавтология?

Он яростно закачал головой:

– Нет-нет, мой языковой учитель русского языка говорил, что существительное рядом с глаголом усиливает усиление выразительности.

Я полдня объяснял ему, что его учитель не прав. Реми внимательно слушал меня, кивал и старательно записывал все в свою книжечку с шестипалой ладонью и цифрой три на обложке. Он вроде бы все понял, но через пару дней снова перешел на свой собственный «русский язык русских». Вообще, с языком у него было не очень: он, например, знал, кажется, все русские идиомы, но при этом всегда косячил, когда пытался их воспроизвести:

– Я тут все дном наверх переставил, но так и не нашел свою книжную книжку.

Или:

– Она возникла, как гром посередине очень ясного неба.

Или:

– Как говорят у вас в России: без труда ловить рыбу в искусственных водоемах строго запрещено законом.

Сначала я, честно говоря, думал, что он прикалывается – нет, ну, не может же человек так откровенно издеваться над языком! – токсичные отходы он называл «отходчивыми токсинами» и был уверен, что «шут гороховый» – это салат. А вместо «поскрести по сусекам» он говорил «поскрести по сусликам». Но вскоре до меня дошло: Реми действительно искренне не понимал, почему все смеются над его речью, или – чаще – вовсе этого не замечал. Большой ребенок с огромными наивными глазами и каким-то совсем детским голосом, он очень сильно выделялся на фоне прочих – циничных и наглых – студентов нашей общаги. Он не был аутистом или савантом, ничего такого, но иногда я даже завидовал тому, насколько безобидным и хрупким выглядел этот огромный очкарик на нашем фоне.

– А что такое «вмонтировать пивандрия»? – спрашивал он.

– Это значит «выпить пива», – отвечал я.

– А «запоросячить дошик»?

– Ну, это значит «съесть упаковку лапши быстрого приготовления».

– А кто такие «школотроны»?

– Это школьники.

Или:

– Скажи, а разве у вас тут водятся ходят слоны?

– Слоны?

– Ну да. Я услышал слово «заслонить»? Вы что-то такое тут делаете со слонами?

Я засмеялся:

– Нет, Реми, для того чтобы заслонить или прислониться,

слон не нужен.

С Реми всегда было весело, он быстро стал локальной знаменитостью, мы даже подражали его манере речи, цитировали его, рассказывали друг другу истории о его новых «языковых находках языка». Реми легко к этому относился, обидеть его было невозможно, никто и не посмел бы обидеть его – добрый и безобидный, всегда готовый прийти на помощь и прикрыть, если надо, он быстро стал своим в общаге, – мы, может, и подшучивали над ним, но никогда не издевались и не позволяли издеваться студентам из других корпусов. Обидеть Реми? Ну нет, это так же нелепо и подло, как обидеть трехлетнего ребенка или щенка лабрадора.

Впрочем, нет, я ведь еще не сказал главного: внешность его была обманчива.

Он постоянно чем-то удивлял меня: однажды, например, добыл где-то ключи от крыши и по ночам уходил туда с ноутбуком и блоком бесперебойного питания. Сидел там, в старом, продавленном кресле (бог знает, как оно оказалось на крыше), курил травку и дробил пальцами по клавиатуре – писал код.

Знаете, Дега однажды дал описание идеальной школы живописи. Это должно быть многоэтажное здание, говорил он. Новички располагаются на первом этаже, там же, где натурщица, ученики второго года обучения – на втором, третьего – на третьем и так далее. И тем, кто учится больше года, придется все время спускаться вниз по лестнице, рассматривать натурщицу, потом бежать обратно вверх, к мольберту, и писать по памяти.

Чем больше таланта и опыта – тем выше этаж.

Если развить метафору, то именно так, пожалуй, и выглядят отношения человека с жизнью. Большинство людей – на первом этаже, в одной комнате с жизнью (с «натурщицей»), но у них просто нет ни сил, ни инструментов, чтобы отразить, описать ее. Талантливые люди живут на втором этаже и выше. А гении живут на крышах, без лифта, в стратосфере, в разреженном воздухе (там, где у нас с вами началась бы высотная болезнь), и им приходится часами ходить вниз и вверх по «лестнице» собственных мыслей – чтобы взглянуть на «натурщицу» и описать ее.

Таким и был Реми: с виду – дурачок, на деле же – абсолютный гений. Живет в своей стратосфере. Я, честно сказать, тоже сначала решил, что он просто не дружит с головой, и только потом понял: это с людьми он не дружит, а с головой – очень даже; и его странное поведение, я полагаю, было частью защитного механизма – пока все считают тебя безобидным

дурачком, тебя не трогают или трогают, но несильно.

– Как ты вообще в России оказался?

– Мой личный отец торгует сдержанными кадиллаками в Квебеке, – сказал он. – А я испытываю страшное превращение к кадиллакам.

– В смысле «отвращение»?

– Да-да, оно, превращение. Мой личный отец хотел, чтобы я был как он, торговал консервированными банками. Я бегом убежал от него в далекие дали.

Вот так, молодой парень просто взял и свалил на другой конец земного шара, лишь бы не торговать подержанными тачками своего бати. Международный человек-загадка, не иначе.

Позже, когда мы подружились, он рассказал мне, что его мечта – устроиться работать в ЦЕРН – крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий, поэтому по ночам на крыше он активно работал над алгоритмом по обработке и сортировке данных.

Информация – это новая нефть, говорил Реми. Каждый новый эксперимент в ЦЕРН дает десятки петабайтов информации, и научиться быстро анализировать ее и отсекать лишнее – задача на миллион долларов. Или скорее на триллион.

Сейчас мне странно вспоминать об этом, но, кажется, именно Реми впервые подтолкнул меня к мысли вплотную заняться изучением алгоритмов. Он так заразительно и ярко об этом рассказывал, что я и сам ради интереса начал посещать лекции по предмету и читать книги о коннективизме и обратной инженерии мозга.

«Если совсем просто, – говорил преподаватель. – Представь, что ты фермер, но вместо того, чтобы засеивать семена, ты отдельно проектируешь каждый початок кукурузы; именно этим сейчас и занимаются компьютеры – проектируют початки вместо того, чтобы создать семена и выращивать алгоритмы в промышленных масштабах. Главная цель специалистов по машинному обучению – создать семена, которые будут сами вырастать в готовые початки-программы»[8].

С Реми всегда было интересно, и лишь одна его привычка меня раздражала – марихуана. По утрам, когда он возвращался с крыши, от него так несло травкой, что находиться с ним рядом можно было только в противогазе. Глаза затуманенные, капилляры полопались.

Она его и погубила.

* * *

Однажды вечером я вернулся в общагу после занятий. Реми лежал в своей койке, в одежде, лицом к стене, и не двигался. Я решил, что он спит (или, как сам он сказал бы, «спит свой сон»), и тихо прошел в ванную, чтобы почистить зубы и умыться. На сером кафеле на полу я тут же увидел две темно-красные капли – кровь. Совсем свежая, еще даже не свернулась. На кранах смесителя тоже остались едва заметные потеки – он пытался смыть кровь, но не очень успешно. Плюс жирный красный отпечаток пальца на ручке шкафчика для принадлежностей.

– Реми? – Я вышел из ванной, встал над его койкой. – Реми, вставай.

– Что такое? – спросил он, обернувшись и словно бы сонно глядя на меня. Лоб его блестел от пота. – Какое-то приключение приключилось?

– Это я у тебя хотел узнать. Там кровь в ванной.

– А, это? – Он растерянно смотрел на меня, левую руку держал под одеялом, и я увидел, как там тоже проступило небольшое кровавое пятно. – Это ничего, это не повод для катастроф. Я просто отрезал чуть-чуть руки лезвием острия ножа.

– Ты – что?

Я отдернул одеяло и схватил его за руку. Он застонал. Кисть была неловко замотана бинтами, бинты насквозь пропитаны кровью. К счастью, все пальцы были на месте, ничего не отрезано, он просто перепутал слово.

– Реми, твою мать, ты совсем, что ли?

– Моя мама не имеет к этому никакого отношения.

Я вызвал такси и отвез его в больницу. Кровь не останавливалась, и, едва оказавшись в фойе клиники, он забрызгал весь кафель, отчего пол стал похож на картину Джексона Поллока.

Его зашили и перебинтовали, все вроде бы закончилось хорошо, но перед тем, как выписать его, хирург – молодая, красивая женщина по имени Альбина – отвела меня в сторону и тихо заговорила:

– Вы родственник?

– Сосед по комнате. В смысле друг. С ним все будет хорошо?

– С ним – да. Я только хотела узнать, что случилось.

Я пожал плечами:

– Он сказал, что порезался, когда готовил борщ. Он любит борщ.

Хирург Альбина поморщилась и посмотрела в окошко на двери, ведущей в операционную – там на каталке сидел Реми.

– Это вранье, – сказала она. – Он не мог нанести себе такой порез случайно. Кроме того, рядом с порезом – ожог от сигареты.

Ваш друг раньше пытался сделать себе больно?

– Он… что? Не-е-ет. Я не знаю. – Я тоже посмотрел на него сквозь окошко. – Вы думаете, это он сам себя?

– Не знаю. Он не хочет говорить. Но я бы посоветовала показать его психологу. Нужен кто-то из родственников.

– Боюсь, все его родственники в Канаде. Он приехал по обмену.

Она тяжело вздохнула, зажмурилась – мешки под глазами, растрепанные волосы. Она давно на ногах, тяжелая смена, понял я. Даже подумал угостить ее кофе, но одернул себя – не время для флирта. Она вложила мне в ладонь блистер с таблетками и свою визитку.

– Это обезболивающее. Первую таблетку можно будет принять только через четыре часа. Здесь мой телефон, если что – звоните.

Когда Реми выписали, уже светало. Мы вернулись домой на троллейбусе, и всю поездку он сидел, отвернувшись к окну, бледный, замученный. После операции он плохо соображал и с трудом ориентировался в пространстве, я за руку, как слепого, довел его до общаги, до комнаты, до кровати. Он опустился на нее, пару минут сидел неподвижно и потом вдруг разрыдался.

– Я такой Шалтай-Болтай, Егор! Такой глупый глупец!

Я сел напротив и молча ждал, когда он заговорит.

– Я совершил такую глупую глупость.

Я достал из кармана таблетки, выдавил одну, протянул ему.

– Вот, возьми. Это притупит боль.

– Нет-нет, – он яростно затряс головой, – боль внутри больше не кочегарит меня! Но это другая боль, не физическая, а душевная боль души.

– Тебе плохо?

– Я сделал глупую глупость.

– Ты ведь не случайно порезался, да? Ты специально себя порезал?

Он поднял на меня заплаканные глаза.

– Что? Нет-нет, я не резал себя лезвием острия ножа. Это не мой нож. Это было лезвие ножа Цыгана.

– Кого?

И тут Реми разрыдался еще сильнее, лицо его сморщилось так, словно он жевал лайм. Он заикался, причитал, говорил почти фальцетом и постоянно вытирал нос тыльной стороной ладони, как маленький ребенок. И он рассказал все: о том, как покупал травку у наркодилера. И взял немного в долг, но не смог вовремя отдать, а потом ввязался в одну «авантюристику» и серьезно попал на бабки.

– Я попал в долговую дыру, – сказал он.

– Реми, твою мать!

– Моя мама не имеет к этому никакого отношения. Это я сам виноват в этой вине. – Он вызывал одновременно жалость и отвращение. – Простите, простите меня, мне так стыдно из-за этого стыда. Я зависим от этой зависимости, хотя знаю, что у нее плохое окончание.

У меня был знакомый с факультета физкультуры. Его звали Гена, фактурой и габаритами он напоминал шкаф – или любой другой предмет мебели в стиле рококо, – мышцы у него росли повсюду и раздувались и наползали на другие мышцы, а те – на другие мышцы, а они в свою очередь – тоже росли поверх этих мышц. С Геной у нас было взаимовыгодное сотрудничество: я помогал ему делать курсовые по техническим дисциплинам, а он был мне вместо старшего брата – не позволял никому особо быковать в мой адрес.

Гена назначил Цыгану встречу «на точке», в переулке за библиотекой, якобы купить травки и колес. Мы пошли туда втроем: я, Гена и его друг, Рома, кандидат в мастера спорта по боксу.

– Он что, прям так один и придет на встречу?

– Ну да.

– Так, может, просто отвалдохаем его, и делов?

– Нет, Ром, мы не будем его «валдохать», – терпеливо объяснял Гена. – Мы здесь просто для устрашения.

– А почему не отвалдохать-то?

– Потому что он наркодилер, Рома. Если пальцем тронем, он завтра целую армию своих к общаге подгонит. У них же типа кодекс и все такое.

Пока Гена объяснял Роме все тонкости переговоров с наркодилерами, из-за угла появился какой-то гусь – это был он, Цыган. Черное кожаное пальто, черные джинсы, черный джемпер, – одет так, словно косплеит одного из персонажей «Матрицы». Главное, что бросалось в глаза, – его геометрически-идеально подстриженная бородка и виски. Смуглая кожа, иссиня-черные волосы, на шее серебряный крест, на запястье – золотые часы.

Его совсем не смутило, что нас трое и что двое из нас – качки. Он шел к нам, словно окруженный аурой бесстрашия. И первое, что меня удивило, – его лицо: он вовсе не был цыганом, обычный русский гусь, лет двадцать максимум, сам еще студент, наверно.

Он подошел к нам и, ухмыляясь, посмотрел на Гену:

– Я же сказал, приходи один, йопт.

– Мы не за колесами. Разговор есть.

– Разговор? Разговоры – это не ко мне.

– Это не займет много времени, – сказал Гена. – Мы пришли тебя предупредить.

– О-о-о! – Барыга явно получал от всего этого удовольствие. – Ну-ка, ну-ка!

– Реми Шубин.

– О! Так вы дружки этого долбоящера? Вписаться за него решили? Три мушкетера. Дай угадаю: Атос, Барбос и… – он ткнул пальцем в меня, – Хуй-знает-кто-с, не помню, как третьего звали. – Вскинул руки. – Я сэкономлю вам время, пацаны: очень ценю такие моменты, настоящая дружба и все такое, но нет. Я не могу простить долг. Я бы рад, но это ведь бизнес. У нас был уговор, он его похерил. Что ж мне прикажете делать? Думаете, мне нравится быть плохим? Это бизнес, пацаны: прощу долг одному, пойдет молва, и остальные должники решат, что меня можно кидать. – Он оглядел меня с ног до головы. – Слушайте, одного не понимаю: вот вы двое быки, пришли угрожать, а этот вот петушок-с-ноготок нахер приперся?

– Сколько он должен? – спросил я.

– Ну не, это врачебная тайна, пацан.

– Сколько?

Он еще раз оглядел меня, задержал взгляд на моих старых, затертых кедах.

– Сто восемьдесят три. Каждую неделю плюс десять процентов за просрочку.

– А что, если я предложу реструктуризировать долг?

Он засмеялся, громко, хрипло, противно. Смеялся он, широко открыв рот, как будто зевал. Зубы кривые и желтые, выглядят так, словно их кто-то там небрежно понатыкал в десны.

– А, я понял, ты типа умный. Умная черепашка-ниндзя. Вы не мушкетеры, вы черепашки! Ты Донателло, этот бык Рафаэль, а он… эммм… Леонардо, и вы впрягаетесь за дурачка Микеланджело. – Он снова захохотал, радуясь собственной шутке; кажется, он был под чем-то.

– Так как ты на это смотришь? – спросил я.

– Что, долг частями отдавать? Не, чувак, я так не работаю. Только все сразу.

– У нас нет таких денег.

– Ну так найдите. Ты же самая умная черепашка на свете, придумай что-нибудь.

Я вздохнул.

– Слушай, тут все просто. Варианта два.

– Ну-ка, ну-ка!

– Первый: ты продолжаешь калечить Реми. Его долг растет, а эффективность падает. Итог: ты не получаешь ничего. Второй вариант: ты соглашаешься на реструктуризацию и получаешь деньги не сразу, но полностью и на выгодных условиях.

– Неа. – Он закачал головой. – Прости, Донателло, но у меня строгие правила. Я не банк, а это не ипотека. Никаких компромиссов. Если гора не идет к Магомету, пусть идет нахуй. Начну заключать сделки, люди решат, что я размяк, дал слабину. Это плохо для бизнеса, сечешь?

Я достал из кармана бумажку с заранее записанным на ней номером телефона. Рука предательски дрожала.

– Боюсь, другого предложения у нас нет. Но если передумаешь – вот мой телефон.

Он не взял бумажку.

– Не передумаю. Еще вопросы есть? – Пауза. – Нет? Я так и думал. Ну бывайте, пацаны. Передавайте привет Микеланджело, в понедельник его долг увеличится еще на восемнадцать тысяч триста рублей. Три сотни, так и быть, я скину, я ж не зверь какой.

Он помахал нам рукой жестом капитана корабля, отправляющегося в кругосветное плавание, и двинулся к выходу из переулка.

– И что, мы ничего не сделаем?

Рома смотрел на меня, я смял бумажку в кулаке и сунул в карман. Мне нечего было ответить.

* * *

Зазвонил телефон – неизвестный номер.

– Привет, Донателло. Я тут навел о тебе справки. Можем-таки договориться.

– Эммм, хорошо. На сколько частей делим долг?

– Нет, не так договориться. Я прощу долг. Полностью. Но мне кое-что от тебя нужно.

– …

– Завтра в двенадцать в кофейне. Кудринская площадь. И ради бога, приходи один, оставь этих стероидных клоунов дома.

– Подожди, что за услуга?

Но он уже бросил трубку.

* * *

Всю ночь я не мог уснуть. Принял две таблетки

сильнодействующего успокоительного, но меня все равно трясло – от страха и от ярости. Зачем я ввязываюсь в это? Какое мне дело? Зачем рискую? И как этот барыга узнал мой номер, если не взял бумажку, там, в переулке?

В кофейню я пришел на полчаса раньше, барыга опоздал, и я час как дурак сидел за столиком в углу и изучал меню.

– Как жизнь, Донателло? – Шутка про черепашек-ниндзя, казалось, нравилась ему все больше с каждым повторением; оно хохотал, широко открыв рот, демонстрируя уродливые волчьи зубы. – А ты чего без кофе? Тут самый вкусный кофе в городе. – Он снимал пальто и одновременно делал заказ. – Два кокосовых капучино, тирамису и, – посмотрел на меня, я молчал, – два тирамису.

Кокосовый капучино? Тирамису? Этот его ванильно-нежный заказ как-то очень плохо клеился с брутальным внешним видом, но официант не удивился – просто кивнул и ушел. Барыга еще пару секунд сражался со своим пальто, рука застряла в рукаве.

– Я знаю, кто ты, – сказал он, сев за стол. – Ты типа из этих светлых умов, которые без калькулятора могут уравнения решать, да? Мне пацаны рассказали, как ты на конкурсе число пи до двухтысячного знака после запятой воспроизвел. Крутой талант. Бесполезный, но крутой. Короче, не суть. У меня к тебе дело. – Он огляделся, как злодей из плохого фильма, проверил, не подслушивает ли кто, потом подался вперед и заговорил низким голосом: – У меня экзамен через неделю – серьезная шняга, смекаешь? Я раньше другого камрада отправлял сдавать, но он… эмм… спекся. К тому же у него были проблемы, рецидивы тупости и проблемы с русским языком, на последнем экзамене чуть не спалился, как твой Джордано Бруно. Пришлось отказаться от его услуг. А ты, как я вижу, шаришь в цифрах. – Он откинулся на спинку стула. – Ну, чего молчишь? Реальный шанс решить все вопросы. Заходишь, решаешь эти свои уравнения и – фигак! – твой друг свободен.

Я молча смотрел на него. В груди у меня потягивало – мерзкое тянущее ощущение, словно открылась воронка. Воронка сомнений. Он засмеялся, щелкнул пальцами у меня перед лицом.

– Э-э, ты чо? Уснул, что ли?

– Так вот, значит, как Реми оплачивал наркотики, – сказал я.

Барыга ухмыльнулся, погрозил мне пальцем.

– А ты и правда мозговитый. Ты мне нравишься.

* * *

Я согласился. Мы ударили по рукам, и на следующий день после занятий на выходе из университета меня поджидал черный «Гелендваген»; под черными дисками – красные тормозные колодки.

Барыга открыл дверь.

– Садись.

Я сел в машину, он тронулся. Красный кожаный салон, воняет освежителем-елочкой и, кажется, дрожжами. К приборной панели у руля приклеено несколько жеваных жвачек бледно-мятного цвета. От вида этих жвачек меня начало мутить.

Он полез в бардачок, бросил мне на колени паспорт.

– Глянь-ка.

Я открыл паспорт: моя фотография и чужие данные: Иван Николаевич Цыганов.

Так вот как его зовут на самом деле. Какая нелепость. Я бы даже расхохотался, если бы не был так напуган.

– Отличная работа, а?

– Постой, – я нервно сглотнул, – мы так не договаривались. Поддельный паспорт? Нас обоих нахрен посадят. Это ж статья.

– Остынь, кипяточек. Думаешь, я впервой, что ли? Во-первых, это технически совершенная подделка, как доктор прососал, комиссар носа не подточит. Во-вторых, не посадят. Ты же умник, так? Сделаешь все четко – не посадят. У нас на экзаменах строго. Типа, чтоб не мухлевали, ввели контроль по паспортам. – Он захохотал. – Не мухлевать, ага, размечтались. Короче, не парься вообще, схема проверенная, все пучком.

– Да нет, я не об этом…

– Твой друг, этот, блядь, человек дождя, Реми, в прошлый раз забылся и свое имя вписал в бланке вместо моего. Хорошо хоть заметил, пришлось уничтожить бланк, и мне неявку влепили. Завтра последний шанс сдать экзамен. Не накосячь там, а? Я в тебя верю, бро.

Я глубоко вздохнул.

– Да я не об этом. Все это в принципе плохая идея. Мне надо подумать еще…

– Так, Донателло! Че ты начинаешь-то, а? Сам же приходил на переговоры, впрягался за товарища своего, за камрада, а теперь чо? Заднюю решил включить? Я паспорт для кого делал? Знаешь, сколько такая работа стоит? За что, ты думаешь, человек дождя мне торчит сотку плюс проценты? Я ему паспорт сделал, а он бланк запорол. Я знаю, не стоило ему ножом по руке, я просто злой был очень. Теперь вот жалею, я ж не зверь какой. Но дело есть дело, не? Эй, че молчишь? Опять вырубился. Очнись, йопт, мы приехали.

Он припарковался на Остоженке и кивнул на здание через дорогу. Я увидел герб: орел, сидящий на щите, и вывеска: «Академия внешней разведки».

Серьезно?

Барыга по кличке «Цыган» – на самом деле будущий разведчик по имени Иван? Что ж, перевоплощаться он умеет. Я бы оценил иронию, если б не был так сильно напуган.

Зато это объясняет его бесстрашие. Наверняка какой-нибудь сын полкана.

– Завтра утром, девять утра, как штырь здесь, понял? Я бы подвез, но у меня стрела на Маяковке, рассчитываю на твою пунктуальность, бро. Зайдешь в фойе, скажешь, что четвертый курс, на экзамен, тебя проведут в аудиторию, попросят паспорт, выдадут бланки, понял? – Он посмотрел на меня, склонил голову набок. – Эй, чувак, так не пойдет, у тебя вид такой, как будто ты сейчас блеванешь. Расслабься уже. Я ж говорю, схема отработанная. – Он сунул руку под сиденье, достал пакет с застежками, под завязку набитый маленькими пакетами с капсулами и разноцветными таблетками. Достал две – одна красно-белая, другая голубая.

– Вот, возьми. Эту сегодня вечером под язык. Эту завтра утром, как проснешься. Для бодрости.

– Что это?

– Какая разница? Бери. Господи, Донателло, да не тупи же ты! Ты мне бодрый и здоровый завтра нужен. Что ж я тебя травить, что ли, буду?

* * *

Я взял таблетки и красно-белую выпил перед сном, уже в общаге. Меня тут же отпустило, буквально через полминуты, я завел будильник и лег спать. А утром, едва проснувшись, разжевал вторую – и меня тут же вштырило. Зрение обострилось, цвета стали более сочными, голова – легкой. Никакой паники, воронка сомнений в груди схлопнулась, затянулась.

Мир вокруг словно замедлился, странное ощущение – все двигались как сквозь толщу воды, сквозь глицерин.

Что за херню он мне дал? Это наркотик? Почему меня плющит?

В 8:30 я уже был на месте.

В голове почему-то зазвучал голос Петро – тоже замедленный и низкий: «Э-э-это у-у-ужа-а-асно ту-у-упая и-и-идея, малек. Очень-очень-очень-очень-очень-очень тупая идея».

Но было поздно, я прошел сквозь рамки металлоискателя, представился – и человек в голубой рубашке проводил меня в сто тринадцатую аудиторию. Нас рассадили в большом зале с просторными окнами и без занавесок, солнце лупило мне прямо в лицо, но я, кажется, уже не обращал на это внимания – настолько сильно таблетка изменила мое восприятие. Нам раздали бланки с заданиями, преподаватель – старик, похожий на усатый мешок с картошкой, только в твидовом костюме, – произнес какую-то вдохновляющую речь, взглянул на часы и написал время на доске.

– Начали.

Я открыл бланк и быстро просмотрел задание. И в эту секунду меня отпустило, я полностью расслабился – все эти задания я мог решить с закрытыми глазами. Ну ладно, не настолько просто, с последним пришлось повозиться минут пятнадцать, и тем не менее через полчаса я положил ручку и поднял руку.

– Что такое? – спросил преподаватель.

– Я закончил.

– Вы – что? – Он нахмурился.

– Я закончил тест.

Студенты оборачивались на меня, преподаватель посмотрел на часы, почесал затылок. И только тут я заметил, что с начала экзамена прошло всего сорок минут. Наверно, не стоило так быстро все делать. Но у меня в голове время двигалось иначе, поэтому следить за часами я просто не мог, сердце гремело в груди и в горле, как барабан.

– Что ж, если вы закончили, проверьте, правильно ли вы написали свои паспортные данные на первой странице. И можете быть свободны. А остальным – не отвлекаться! У вас есть еще три часа.

Я вышел из здания и направился к метро. Я смотрел себе под ноги и видел не асфальт, но его фактуру, трещинки, их узоры и пересечения. Рядом затормозила машина – «Гелендваген», это был Цыган, он открыл дверь: «Садись!» Я сел, и мы тронулись.

– Ты чего так быстро-то?

– Я все.

– В смысле «все»?

Я пожал плечами:

– Все решил.

– Так быстро?

– Ну да.

Он вел машину, но смотрел не на дорогу, а на меня. А я смотрел на него и видел каждую пору у него на лице и болезненный прыщ на левой скуле и в который раз уже удивился

тому, как аккуратно и геометрически совершенно, по всем законам Фибоначчи у него выстрижена бородка – сколько же времени он каждое утро тратит на нее?

– И как?

– Что – как?

– Как думаешь, сдал?

– Ну, там только последнее задание было сложное. Насчет него я не уверен. Все остальные точно решил.

– Ошибок наделать не забыл?

– Не забыл. Две ошибки в бланке А, и одна в бланке Б.

Цыган пару секунд разглядывал мое лицо (пока я поражался этой его способности – вести машину, не глядя на дорогу), потом широко улыбнулся. Господи, какие же уродливые зубы.

– Эй, чувак, да тебя плющит же до сих пор. – Он захохотал и забарабанил ладонями по рулю от восторга. – Ха-ха, прикинь, ты по поддельным документам сдавал экзамен под дозой. Вот ты офигеешь, когда отпустит и ты поймешь, где был и что сделал, ха-ха.

* * *

Я вернулся в общагу, но еще очень долго не мог прийти в себя. Казалось, все закончилось хорошо, но утром у въезда во двор меня снова ждал «Гелендваген». Барыга в этот раз не выглядел расслабленным, наоборот – бледный, растрепанный, он нервно курил, опершись спиной о крыло своей квадратной машины. Когда я вышел, он бросил сигарету и направился ко мне, по его лицу – набыченному, злому – я сразу понял: что-то пошло не так. Признаться, я до смерти испугался, был уверен, что он сейчас без лишних разговоров пырнет меня ножом, и мне бы что-то предпринять, но я стоял, неподвижный, как олененок в свете фар. Цыган схватил меня за воротник и затряс – пуговицы от рубашки полетели во все стороны.

– Ты что наделал, долбоклюй?

Я молчал, хотел сказать что-то, но во рту пересохло, язык, наоборот, словно, распух. Он влепил мне пощечину и оттолкнул.

– Ты нахера задания из бланка С решил, кафель ты сортирный? Я же сказал: решать только А и Б.

Я судорожно вспоминал наш уговор: он ничего не говорил про бланк С, а я решил все на автопилоте, потому что был под дозой. Я бы мог что-то сказать в свое оправдание, но молчал – какой смысл? Он ведь пришел сюда не за объяснениями. Все уже случилось, и пути назад нет. Цыган пришел за другим – свести

счеты.

– Это задания для вундеркиндов, мудень. Их никто не решает! Никто не поверит, что я их решил. Они сразу просекли, что работа не моя, тупой ты мудила.

– Какие-то проблемы? – На плечо мне упала огромная ладонь Гены. – Егор, ты в порядке?

– Нет, он не в порядке! Ваш мозговитый долбодятел все запорол! Но мне-то что? Я соскочу, мне не впервой, а вот у тебя, – он больно ткнул пальцем мне в солнечное сплетение, – проблемы. Ты пошел на госэкзамен с фальшивыми документами. Это сразу две статьи: мошенничество и подделка. За тобой придут, уебок! Собирай вещи. Это минимум двушка, понял? Минимум. – Показал два пальца. – И другу своему, человеку дождя, передай: он все еще должен мне денег. – Он посмотрел на свои часы с турбийоном. – Через семь часов долг увеличится до двухсот одной тысячи. Триста рублей я, так и быть, прощу. Чего уставились, уебки?

Из-за спины у меня выскочил Рома, толкнул Цыгана, и тот неловко упал на спину, попытался встать, но наступил на край своего черного плаща и снова упал.

– Эээ, ну-ка еще раз, как ты меня назвал, петушила? – Рома надвигался на него, закатывая рукава. На нем был спортивный костюм ЦСКА с гербом команды во всю спину.

– Ромыч, Ромыч, спокуха! – Гена, как всегда, играл в миротворца.

Пока он успокаивал Рому, Цыган запрыгнул в «Гелендваген».

– Ты уже в розыске, уебок! – крикнул он мне, опустив стекло, и надавил на газ, высунув из окна средний палец.

Я обернулся и увидел, что на улице, у подъезда уже стояли почти все пацаны из общаги, кто-то высовывался из окон. Они молча смотрели на меня. Я направился к подъезду, и они расступились, как Красное море перед Моисеем.

Я вернулся в комнату и несколько минут просто сидел на койке. Даже не думал ни о чем – как будто впал в анабиоз, отключился. Из ступора меня вывел голос Реми, он продолжал извиняться на своем ломаном русском:

– Ты из-за меня пожертвовал этой жертвой.

Я поднял на него взгляд.

– Ничего не бойся. Это я виноват в этой вине. Я признаюсь. Мы сами пойдем к полицейским полицаям и скажем, что Цыган подвергал меня насилию, а тебя шантажировал шантажом. И ребята тоже расскажут свои рассказы.

Он еще долго бормотал что-то, пытаясь утешить меня, а я сидел там, в комнате, на койке, и думал: что делать, куда

звонить? Кому? Звонить Петро? Или маме? А смысл? Во-первых, стыдно, во-вторых, как они помогут? Бежать? Тоже глупость, куда я убегу? Что буду делать, если начну скрываться?

Единственное, что мне оставалось, – смиренно ждать. В конце концов, я ж не убийство совершил, и если полицаи возьмутся за меня, я думаю, мы сможем как-то договориться.

Я залез под одеяло, и на удивление быстро уснул и проспал без снов до самого утра, и утром пошел на занятия, меня никто не ждал и не искал – никаких людей в форме.

К вечеру, когда уже стемнело, я даже начал сомневаться, что меня ищут. В конце концов, с какой стати я вообще поверил барыге? Где гарантия, что его слова – не пустые угрозы?

Чем больше времени проходило, тем легче было дышать.

На следующий день мне пришло сообщение:

D: у тебя проблемы
Colin Laney: это вопрос?
D: утверждение я вижу записи ордер на арест
Colin Laney: я знаю

Прошло часа два, прежде чем он вернулся в чат:

D: не паникуй я все устрою

Я долго смотрел на это сообщение, потом отправил свое:

Colin Laney:???

Но он уже отключился.

* * *

Они пришли за мной. На следующее утро. Два гуся в серых пиджаках, лица настолько обычные, что я вряд ли смог бы описать их. Я мысленно назвал их Траляля и Труляля.

– Егор Портной? Пройдемте с нами.

– А вы кто?

Взяли меня под локти.

– Идемте-идемте.

Я не сопротивлялся, наоборот, с нетерпением ждал, когда же это все закончится.

Мы сели в машину – разумеется, черную. Мне стоило бы встревожиться, как минимум спросить, куда мы едем, но за последние четыре дня я пережил столько панических атак, что

попросту выгорел эмоционально. Мне было все равно. И когда автомобиль подъехал к зданию Академии внешней разведки, я совсем не удивился. Люди в сером вели себя очень корректно, не толкались и не угрожали, – они излучали самоуверенность, подобную той, что исходила от Цыгана, когда мы встретились с ним в первый раз. Мы вышли из машины, и Траляля и Труляля повели меня по длинным пустым коридорам – стены выкрашены дешевой зеленой краской, на полу красный ковролин, глотающий эхо. Двести тринадцать шагов по прямой, поворот направо, еще семьдесят два шага, поворот налево. Кабинет, приемная.

– Николай Петрович ждет нас.

Секретарша, дама за пятьдесят, с лицом, похожим на окорок, как-то странно смотрела на меня: что это, жалость или презрение? Передо мной открыли дверь. На табличке рядом – гравировка: «Николай Петрович Цыганов. Полковник. Ректор».

«Полковник и ректор, – подумал я. – Человек и пароход».

Дверь за мной захлопнулась – Труляля и Траляля остались по ту сторону. За столом сидел старик лет семидесяти с очень странным распределением волос на лице – абсолютно лыс, бровей нет, зато есть усы. Щеточкой. Помню, я еще подумал: интересно, а существуют ли расчески для усов? Или эти усы у него от природы растут вот так, щеточкой? И вообще: существуют ли какие-нибудь книги об истории усов? На стене у него за спиной – огромный, словно нависающий портрет президента Боткина, в углу – икона, справа от стола – самурайские доспехи, за ними в рамке за стеклом – какое-то письмо с размашистой подписью внизу. На столе – нефритовый богомол и еще какие-то сувениры. Горы, горы барахла! Каждый предмет в этом кабинете словно кричал: «У моего хозяина нет вкуса!»

– Хм, мне казалось, вы выше ростом. На фотографии, – сказал усы-щеточкой.

Ох, если бы я получал доллар всякий раз, когда слышу эту фразу… почему все вечно заостряют внимание на моем росте? Это ведь невежливо, нет? Это как если бы я при встрече с каждым ушастым человеком говорил: «Привет, скажи, а вы, ушастые, правда можете слышать ультразвук?»

– Знакомьтесь, это Иван Ильич Шумский.

Усы-щеточкой указал мне за спину. Я обернулся и только тут увидел человека в кресле в дальнем углу кабинета. Весь в черном, в водолазке, очки в тонкой круглой оправе, как у Гарри Поттера. Он сидел, закинув ногу на ногу, штанины брюк задрались, я видел его полосатые красно-белые носки. Когда я обернулся, он помахал мне рукой.

– Присаживайся, – сказал полковник. – Чай, кофе?

Я опустился в кресло, от чая-кофе отказался. Полковник листал какую-то папку.

– Знаешь, что меня больше всего огорчает в современной молодежи? – По интонации я понял – он обращается не ко мне, а к мужику в полосатых носках у меня за спиной. – Никаких амбиций. Такие мозги, а они тратят их на шулерство и обман. – Посмотрел на меня. – С твоими показателями тебе ракеты строить, умножать величие родины, а ты чего? Ц-ц-ц. Такая голова, а дураку досталась. – Взял лист из папки, один из бланков с госэкзамена. Надел очки на нос, отчего стал похож на политическую карикатуру, и стал бегать глазами по строчкам. Усы его словно жили какой-то своей отдельной жизнью – ползали над верхней губой туда-сюда. – Впечатляет, да. Последняя задача: равновесие по Нэшу. Вы в институте изучали его?

Я кивнул, потом покачал головой.

– Так да или нет? – смотрел на меня поверх очков.

– Изучали, но поверхностно.

– А если поверхностно, тогда как ты решил эту задачу? Четыре игрока, четыре возможных хода для них. Сколько времени давали на решение? Сорок минут?

– За сорок минут он решил весь тест, – подал голос мужик в полосатых носках.

– Хмм. – Полковник взял из папки еще один лист. – Языки программирования, их вы тоже изучаете?

И тут до меня дошло: меня не собираются наказывать, наоборот, они меня вербуют.

Петро

Что же касается меня: со мной произошло самое ужасное, что может произойти с ребенком, – я вырос[9].

В одиннадцатом классе к нам в школу приехали «специалисты по профориентации» (да, оказывается, есть и такие), они провели несколько письменных тестов и один устный. На выходе оказалось, что у меня «выдающиеся лингвистические способности», что очень странно, потому что успехами в этой области я никогда особо не блистал. Да, у меня была пятерка по английскому, но там мы дальше London is the capital of Great Britain не заглядывали.

Специалисты, впрочем, оказались правы. Окончив школу, я за лето подтянул английский настолько, что к концу июля уже мог читать рассказы Марка Твена в оригинале. Я легко запоминал новые слова, писал их на полосках бумаги и расклеивал по квартире, на двери холодильника, на потолке над кроватью, везде – и так запоминал.

Вступительные экзамены я сдал не то чтобы очень уж триумфально, но проходной балл набрал, и в итоге уже в середине августа мне сообщили, что я поступил в МГУ на факультет перевода.

Так началась моя студенческая жизнь. И да, я, честно говоря, ожидал, что это будет точь-в-точь как в «Тайной истории» Донны Тартт: я встречу группу таинственных и очень красивых молодых людей – специалистов по древним языкам, и покорю их своими «выдающимися лингвистическими способностями», и быстро стану своим, а потом… ну, потом мы убьем Банни и всю оставшуюся жизнь будем скрывать следы преступления и страдать. Много и красиво страдать.

Да, я был фанатом Донны Тартт в те времена.

Но все вышло иначе. Во всяком случае, в моем институте не было группы таинственных и очень красивых студентов-специалистов-по-древним-языкам, и потому покорять своими «выдающимися лингвистическими способностями» мне было некого.

Первым культурным шоком для меня стала общага. Именно там я узнал, что постельное белье, оказывается, надо стирать хотя бы раз в неделю и что если этого не делать, то скоро цветом и фактурой простыни будут похожи на Туринскую плащаницу. В общаге все было по-новому: вместо воды из кранов текли звуки, причудливые, странные, как песни китов, а трещины на потолке напоминали карту дельты Амазонки.

Общага была местом, лишенным личного пространства, я долго не мог к этому привыкнуть. Впрочем, и здесь не обходилось без волшебства. Однажды вечером я вернулся с занятий, и мой сосед по комнате, Данила, сказал мне:

– Эй, тебя тут искал один, с журфака. Представился Греком, сказал, ты поймешь.

Вот так, после трехлетнего молчания, Саша Грек снова появился в моей жизни. Просто пришел в общагу. За это время он сильно вырос и, кажется, еще сильнее похудел. И, судя по нелепой прическе, до сих пор стриг себя сам. О том, куда он пропал тогда, в школе, я спрашивать не стал – уродливые шрамы порезов на его запястьях я и так отлично видел, даже несмотря на то что он всегда и везде старался ходить в рубашках и кофтах с длинным рукавом.

Жизнь в университете сильно изменила его – здесь не было гопников и скучных ненужных тупых уроков типа труда и ОБЖ, и каждый студент мог раскрыть свой потенциал. Я как-то вскользь заметил, что это странно – узнать, что он, Грек, учится на журналиста.

– Я был уверен, что ты станешь частным детективом, – сказал я.

– Это все мой дядя, мамин двоюродный брат, – сказал Грек. – Он телеведущий на Первом канале. Помог мне поступить сюда, практику буду проходить у него.

Грек был все тот же: в голове бардак, но такой фактурный и яркий, что наблюдать за ним – одно удовольствие. И еще: к старым бзикам теперь добавилась парочка новых – он, например, никогда не говорил: «На улице жарко», он обязательно называл точную температуру: «На улице тридцать три градуса».

– Во всем должна быть точность, – повторял он и знакомым жестом убирал упавшую на глаза челку.

Когда же я не смог ответить на вопрос, какая у меня группа крови, он и вовсе пришел в ярость:

– Ты дурак-нет? А если ты попадешь в аварию и потребуется переливание? Да ты кровью истечешь раньше, чем они анализ успеют сделать!

Сперва эта его дотошность меня дико раздражала, но очень быстро – буквально через месяц – я привык.

– Ты можешь себе это представить? – спрашивал я у мамы; я звонил ей раз в неделю. – Чисто математически какова вероятность того, что два человека из Рассвета поступят в МГУ и встретятся в общаге?

– Да уж, удивительно, – равнодушно вздыхала она. – Какое странное совпадение. Небось сейчас опять броситесь искать

пропавшее озеро или что-нибудь в этом роде.

С ней было очень сложно говорить – она теперь жила одна, и новая жизнь в «опустевшей квартире» очень плохо влияла на мамин характер: в голосе чувствовалось вечное недовольство, она каждый раз исподтишка, как бы между делом упрекала меня в том, что уехал в Москву и бросил ее там, в Рассвете, одну. Егору тоже доставалось.

И, выслушав все мои истории про встречу с Греком, она задала Вопрос. Вопрос, который каждая мать рано или поздно задает своему сыну-студенту:

– А у тебя самого-то как дела? Девушка есть?

* * *

И тут мне придется признаться: я был ботаном; лицо цвета промокашки, очки в толстой оправе, грязные волосы и целый букет комплексов – да, это я. Здрасте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самое важное событие моей молодости произошло со мной именно в библиотеке. Зимой я постоянно там сидел, в основном потому, что там, в отличие от общаги, хорошо топили. В библиотеке все были свои, ну, то есть мы не то чтобы очень уж ладили друг с другом, но за два года обучения уже порядком привыкли друг к другу и даже здоровались при встрече.

Там была девушка, с которой я уже целый год собирался познакомиться. Она приходила по средам, садилась за стол в дальнем углу читального зала, под аркой, и что-то напряженно переписывала в тетрадки на пружинках. Светлые волосы, забранные в хвост красной резинкой, родинка на левой щеке, ямочка на подбородке. Просто так подойти к ней я боялся, поэтому целыми днями, сидя через два стола от нее и делая вид, что усиленно конспектирую что-то, я придумывал «зловещий план знакомства». План состоял из пяти пунктов:

1) выяснить, какими книгами она пользуется;

2) найти эти книги и прочесть от корки до корки, тщательно подготовиться;

3) перестать трусить и подойти к ней (самый сложный пункт);

4) завязать разговор в стиле: библиотекарь сказал, что вы взяли последний экземпляр этой книги; эта книга вам еще нужна?

5) и тогда она скажет либо «нет, не нужна, забирайте», либо «да, нужна», и тогда я отвечу: «А кстати, вы знали, что автор этой книги…» – и расскажу ей удивительную историю об авторе этой книги или о самой книге, и она сразу поймет, какой я умный, и мы будем жить долго и счастливо, и нарожаем детей, и будем

вместе ехать в закат на кабриолете.

Да, знаю, на стадии пятого пункта мой план выглядел довольно размыто. И чтобы подготовиться к пункту пять, сначала мне нужно было проработать пункты один и два.

Вообще-то, честно говоря, на IQ-тестах я показывал довольно высокие результаты, поэтому сейчас я даже не могу объяснить, как умудрился слепить в своей голове настолько дебильный план: я не придумал ничего лучше, кроме как спрятаться за ближайшим книжным стеллажом и ждать, пока девушка выйдет, скажем, в туалет, чтобы быстро подойти к ее столу и просмотреть названия ее книг.

Вместо того чтобы просто подойти к ней, я устроил за ней слежку.

И, разумеется, как и любой другой идиотский план, этот мой план с самого начала полетел к чертям, а я – полетел вслед за ним.

В ту среду девушка очень долго сидела за столом, потом потянулась, зевнула, отодвинула стул, взяла чашку с остывшим чаем и направилась к выходу из читального зала – полагаю, чтобы долить кипятка.

Вот он, мой шанс!

Я рванул в ближайший проход между стеллажами – и тут же споткнулся обо что-то мягкое. Раздался девичий крик. Секунды две я провел в состоянии свободного падения, пока не приземлился на живот и не впечатался подбородком в паркет.

– Ты чертов дебил! Твою мать!

Нижняя челюсть болела как после нокдауна, я перевернулся на спину и приподнялся на локтях. Очки с меня слетели, я не мог их найти и потому видел лишь силуэт. Девушка сидела на полу, шипела от боли и растирала лодыжку.

– Ссссс. Ты мне на ногу наступил, мудила!

– Молодые люди! – Голос библиотекарши. – Вы что себе позволяете?

– Он на меня наступил!

Библиотекарша подошла к девушке и помогла подняться.

– Оля, я же говорила тебе: не сиди на полу, это плохо кончится.

Вот так я познакомился с будущей женой – случайно наступил на нее в библиотеке, пока, эммм, «пытался познакомиться» с другой девушкой.

Впрочем, нет, вру: на самом деле настоящее наше знакомство случилось чуть позже. На вечеринке, организованной Греком. Да, не удивляйтесь, Грек иногда организовывал вечеринки – опять же с чисто научными целями: например, каждый приглашенный

должен был привести с собой друга (или подругу), фамилия которого обозначает какой-нибудь цвет или профессию.

– Зачем тебе это? – спрашивал я.

– Много будешь знать – состаришься, – отвечал Грек.

– Я и так состарюсь. Мы все состаримся.

– Ох, да ты, я вижу, пессимист.

Вот так, на этой странной вечеринке – под завязку набитой Шварцами, Звонаревыми, Беловыми, Зелеными, Кузнецовыми и Синявскими, – мы с ней и столкнулись. Ее фамилия была Краснова.

– Как твоя нога? – спросил я.

– Ничего. Пинка дать смогу. – Она жевала жвачку и, щурясь, разглядывала меня. Потом вдруг спросила: – Слушай, так это ты – тот самый чувак, который не знает, какая у него группа крови?

– Эээ?

– Прости. Просто Грек именно так тебя описал: «У меня есть друг, который не знает, какая у него группа крови, я думаю, вам надо познакомиться».

Я засмеялся так, что чуть не опрокинул на себя стакан с сидром.

– Подожди-подожди, – сказала она. – Это еще не все. Эту фразу он выдал в ответ на вопрос: «Эй, Грек, у тебя нет на примете человека, который помог бы мне с журналом?»

Вот так я узнал, что она – редактор студенческого журнала и ей нужен кто-то, кто мог бы переводить с английского и немецкого статьи иностранных изданий. Мы ушли с вечеринки и всю ночь гуляли по территории университета. Я смог наконец рассмотреть ее получше: длинные черные волосы, восточные черты лица, очки с маленькими круглыми линзами. Был конец сентября, темнело и холодало очень быстро, но она все еще ходила в майке с короткими рукавами. На предплечьях – татуировки: рисунки Мариуса Эшера («Следы буйной молодости. Очень жалею теперь об этом, даже платье не наденешь, сразу все пялятся на татухи»).

– Я хочу посвятить следующий номер журнала проблеме абортов, – сказала она, когда мы возвращались в общежитие. – И мне нужна будет помощь со сбором информации.

Я засмеялся. Она искоса посмотрела на меня.

– Что?

– Да так, я просто подумал сейчас: если бы мы поженились, и у нас появились дети, и они спросили бы, как мы познакомились, я бы ответил: «Ну, сначала я наступил на вашу маму в библиотеке, а потом мы вместе написали статью про аборты».

Она улыбнулась:

– Ага, а я скажу им: «А еще, когда мы познакомились, ваш отец даже не знал, какая у него группа крови».

Мы зашли в кафе, сели за столик – и постепенно наша первая встреча переросла в свидание. Это вышло спонтанно, оказалось, нам действительно интересно друг с другом. Я узнал, что ее настоящее имя «Олам» – таджикское слово, означает «ночь». А Олей она стала здесь, переехав в Москву, потому что «так проще».

Вот так все и сложилось: через две недели мы уже были парой, и я помогал ей готовить материалы для выпуска номера студенческого журнала: искал в интернете научные статьи, посвященные развитию эмбриона в матке, переводил их. Она за это время успела взять интервью у акушера-гинеколога и опросить целую кучу людей. К нам даже подключился Грек; узнав о том, что я перевожу статьи для студенческого журнала, он сказал:

– О, я тоже хочу.

– Ты?

– Вообще-т я на журфаке учусь, забыл?

Журнал наш назывался «Кактус». Редакция («редакция») располагалась в подвале второго корпуса, в типографии, где стояли огромные ксероксы. Студенты приходили сюда, чтобы сделать ксерокопии нужных страниц из пособий, учебников или тетрадок с конспектами лекций. Вечером, после шести, когда поток желающих сделать ксерокопию иссякал, мы приходили сюда и обсуждали верстку и наполнение полос. По сути, Оля была единственным постоянным сотрудником, другие студенты надолго здесь не задерживались – работа в «Кактусе» требовала слишком много времени и сил.

Тот самый, октябрьский, номер наделал много шума. Дирекция института была недовольна выбранной темой и ее, по их мнению, «однобоким» и «слишком либеральным» (sic!) толкованием. Олю даже вызывали на беседу с деканом.

Мы с Греком ждали ее в редакции. Дело близилось к вечеру, коридоры института опустели, огромные ксерокс-машины молчали, они уже остыли, но в воздухе все еще витал характерный запах – что-то похожее на запах разогретых, горячих чернил и офсетной печати. Когда она вошла, мы молча посмотрели на нее. Оля щелкнула языком, раздался характерный звон – сережка у нее в языке ударилась о зубы. Она любила так делать.

– Декан сказал, что в нашей газете недостаточно «просвещающих» и «остросоциальных» тем.

– Это как понимать?

– Мы должны написать статью, ммм, о пользе воздержания.

Пару минут мы все подавленно молчали. Первая же попытка сделать что-то самобытное – и тут же давление «сверху». По сути, «Кактус» целиком принадлежал университету: мы пользовались университетской типографией, редакция наша располагалась там же, в подвале второго корпуса, и мы прекрасно понимали, что не можем проигнорировать «пожелание» деканата.

– Да ладно, чего вы раскисли-то? – спросила Оля. – Это проверка. Они просто хотят посмотреть на нашу реакцию. Я ведь с журфака, я должна уметь обходить цензуру. И делать это изящно. Я спрашивала у ребят, которые раньше занимались изданием «Кактуса». Они говорят, это обычная практика, прошлый декан очень любил так делать: как только газета начинала набирать популярность, он вызывал главного редактора и высказывал свое «скромное пожелание» о том, что «хочет видеть «Кактус» более оптимистичным и нравственно направленным». Это у них, – она показала пальцем в потолок, – игра такая. Подбрасывают нам задачки и потом ржут, наблюдая за тем, как мы пытаемся выполнить приказ и одновременно не потерять лицо.

– То есть это вроде как экзамен на знание эзопова языка?

Она кивнула.

– Ну что, господа, есть у вас какие-нибудь предложения?

Грек постучал карандашом себе по лбу, потом убрал карандаш за ухо.

– А что, если мы пойдем в лобовую атаку?

– В смысле?

– Следующий номер посвятим венерическим заболеваниям.

Мы с Олей рассмеялись.

– Нет, серьезно. – Грек спрыгнул с подоконника и стал ходить из стороны в сторону. – Они ведь хотят, чтобы номер был посвящен целомудрию?

– Воздержанию.

– Одно и то же.

– Не совсем.

– Неважно! Поместим на первую полосу фотку Гюстава Флобера! Ну, ту, где он весь такой, страшный, с усами, лысый и обрюзгший от сифилиса. И подпись: «Флобер умер от сифилиса. Just sain'».

– Это смешная идея, Грек, правда, – сказала Оля. – Только она никуда не годится. К тому же Флобер умер не от сифилиса. Он умер от инфаркта. Или от инсульта. Я точно не помню.

– Черт!

– Мопассан, – сказал я. – Мопассан умер от сифилиса.

– Секундочку! – Оля потянулась к ноутбуку и открыла статью

о Мопассане в «Википедии». – Ну да, он был болен. Но умер он от «прогрессивного паралича мозга», что бы это ни значило.

– Но он же был бабником. – Грек достал из-за уха карандаш, стучал им по лбу. – Как и Флобер. Они постоянно к шлюхам ходили.

– А Ницше? – сказал я. – Он же тоже умер от нейросифилиса, не?

– Так, народ! – Оля громко захлопнула ноутбук. – Мне кажется, мы немного отвлеклись. Декан хотел, чтобы наша газета была, цитирую, «более целомудренной и нравственной», а сифилис – это как раз обратное.

– Ох, – Грек всплеснул руками, – ну извини, я не знаю ни одного великого девственника.

– Кант! – Я поднял руку, как ученик в классе. – Иммануил Кант! Он умер девственником!

Грек скептически посмотрел на меня:

– Откуда ты знаешь, ты свечку держал?

– «Нравственный закон внутри нас». – Оля улыбнулась. – А это может сработать, они ведь хотели, чтобы мы написали о нравственности и целомудрии, верно? Вот мы и напишем о Канте: «нравственный закон» и «целомудрие» – два в одном. Посвятим ему целый номер. Как тебе идея, Грек?

Грек любил только свои собственные идеи, все остальные не вызывали у него никакого энтузиазма. Вот и сейчас он равнодушно пожал плечами:

– Сойдет.

– Продано! – Оля щелкнула языком – блик! – И рецензии. – Она повернулась ко мне: – Нам нужно что-то в отдел книжных рецензий. Рецензии на книжки, в которых есть «нравственные» и «целомудренные» герои. Типа «Гордость и предубеждение» или, – как же ее? – Она щелкала пальцами, пытаясь вспомнить. – Грек, как называлась та книжка Сент-Бева про монашку?

– Не помню, – буркнул он.

Оля повернулась ко мне и вопросительно вскинула бровь.

– Я не читал Сент-Бева, – признался я.

– Так. – Она открыла ноутбук и стала гуглить. – Секундочку.

– Эй! А как насчет «Имени розы»? – спросил Грек. – Там же монахи. Они же типа целомудренные. Обеты и все такое. И еще там про убийства.

– Точно.

– У меня есть идея получше, – сказал я. Они посмотрели на меня. – Джон Ирвинг. «Правила дома сидра». Я давно хотел написать об этой книге. И еще есть хороший роман «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой.

– Они про монахов и целомудрие?

– Почти. Они про аборты.

Повисла пауза. Грек и Оля переглянулись, Оля щелкнула языком – блик!

– Тоже неплохо.

* * *

Сейчас, ретроспективно, я понимаю, что это было чистой воды ребячество, и мы ходили по тонкому льду. Впрочем, нам не в чем было себя винить – мы отстаивали свои убеждения и учились обходить цензуру. Именно так и выглядели наши отношения с администрацией университета на протяжении всего обучения. Они спускали нам свои нелепые распоряжения, а мы выворачивали их наизнанку и делали все по-своему, за это нас по очереди вызывали к декану в кабинет для воспитательной беседы. Нам это нравилось.

Знаете, в каждом универе есть такие студенты – держатся в стороне ото всех, общаются только друг с другом и ведут себя так, словно обладают каким-то тайным знанием. Это были мы – я, Оля, и Грек. После занятий мы встречались в полуподвале типографии, среди ксероксов, нагретых непрерывной работой, под белыми люминесцентными лампами, – и до поздней ночи обсуждали содержание следующего номера. «Кактус» был нашим детищем, идей было много, мы с трудом успевали совмещать работу с учебой.

Несколько раз мы пытались взять («завербовать», – говорил Грек) в штат еще хотя бы одного сотрудника. И хотя у нас была целая очередь из соискателей, никто, к сожалению, не задерживался в нашей компании надолго.

– Простите, я так больше не могу. Я ухожу! – ворчал очередной претендент, собирая вещи. – Вы – настоящая секта. Ржете над шуточками, которые понятны только вам, и заканчиваете друг за друга фразы. Это довольно жутко выглядит со стороны, ребят. Я чувствую себя как филолог на вечеринке астрофизиков.

Сперва у нас не было четко определенных обязанностей и должностей, и из-за этого часто возникали проблемы, – то с верстkой очередного номера, то с наполнением, то с деканатом. В конце концов нам все же пришлось как-то распределить между собой базовые обязанности. Оля отвечала за дизайн, верстку и наполнение полос, Грек, как всегда, был главным инвестором, генератором идей и, как ни странно, автором самых интересных

текстов, на мои же плечи лег весь технологический процесс (переговоры с типографией и распространение журнала), плюс переводы (каждую неделю я писал краткие дайджесты самых интересных материалов англоязычной прессы и иногда публиковал свои переводы эссе Дэвида Фостера Уоллеса).

Вот так мы и работали – до самого пятого курса. А потом, прямо перед выпускным, Грек исчез. Перестал отвечать на звонки и ходить на занятия. Мы ждали, что он все же объявится в редакции и объяснится или хотя бы просто даст о себе знать, но – прошла неделя, потом две, а вестей от него не было. В деканате мне сообщили, что он съехал из общежития и уже забрал все документы, включая диплом. Оля нашла номер его матери и позвонила.

– Да, он уехал в другую страну, – сказала старушка на том конце провода. – Учиться. Шлет мне теперь фотографии из университета. Там красиво.

В другую страну. Учиться. И нам ничего не сказал. Вот придурок.

Спустя полгода, уже работая в бюро переводов, я ради любопытства вбил его имя в строку поиска Гугла – к моему удивлению, кроме вороха нерелевантных ссылок на социальные сети, Гугл выдал одну видеозапись с официального аккаунта BBC. Это был он, наш друг. Стоял на холме где-то в центре пустыни, в бронежилете и в каске с надписью «press», за спиной – очертания древнего восточного города и клубы черного дыма на горизонте; на английском языке он рассказывал, как сепаратисты захватили какой-то храм, то ли в Пальмире, то ли в Пакистане. И подпись внизу: «Alexandar Griek».

Я показал запись Оле, она смотрела на экран так, словно там кого-то пытали. Посмотрела на меня:

– Это точно не инсценировка?

Я пожал плечами:

– Официальный аккаунт BBC.

Она покачала головой, снова уставилась на экран, ткнула пальцем:

– Смотри, они опять написали его фамилию неправильно. – Потом вздохнула и добавила: – Ну, хотя бы маме додумался соврать, уже неплохо.

Именно так, через интернет, я следил за его передвижениями из одной горячей точки в другую, за его карьерой военного корреспондента. Пытался еще раз показать Оле один из репортажей, но она не захотела смотреть. Это довольно тяжело – видеть, как один из самых близких тебе людей лезет под пули ради красивого кадра (а именно этим он и занимался – такой

характер).

Вот ведь странно, правда? Некоторые люди всю жизнь вертятся вокруг тебя, как спутники вокруг планеты, и все же по прошествии лет ты о них толком ничего сказать не можешь, кроме «ну да, я всю жизнь с ним знаком», ты даже не сможешь описать их, если тебя попросят, ты настолько привык видеть их лица, что уже давно забыл, как они выглядят; а есть другие люди – они врываются в твою жизнь, как кометы в атмосферу Земли, горят, разбрасывают свои обломки и улетают. Именно так было с Греком – он даже в помещения не входил, а именно врывался. И позже, когда он исчез, мы с Олей сразу ощутили его отсутствие.

В отличие от новой, буйной и полной опасностей жизни Грека моя жизнь развивалась по более скучному сценарию. После института я перепробовал несколько весьма экзотических профессий: например, некоторое время работал в фирме, торгующей декоративными элементами, стилизованными под черепа и рога лосей и буйволов, потом полгода провел в аквариумной компании в должности дизайнера, и хотя само по себе это занятие было довольно интересным, мне пришлось оставить его из-за внезапно появившейся аллергии на все виды корма для рыб (это в нагрузку к моей аллергии на морепродукты, да). В итоге первый год нашей с Олей совместной жизни в съемной квартире деньги на оплату аренды я зарабатывал именно переводами: адаптировал тексты для пресс-конференций, презентаций, переводил завещания и жалобы клиентов. В целом денег на жизнь хватало: мы были бедны и счастливы. И даже когда я пытался заговорить о будущем, она зажимала мне рот и говорила:

– Знаешь, говорят: лучший способ убить шутку – объяснить ее смысл. И точно так же с будущим: хочешь убить его – распланируй жизнь на десять лет вперед.

В итоге она (как всегда) оказалась права – будущее само диктовало нам свои условия.

* * *

– Я беременна, – сказала она.

Просто зашла в комнату, села рядом со мной и сказала: «Я беременна». Без всяких прелюдий и предисловий. Потом, правда, добавила:

– Не знаю, как так получилось. То ли таблетки не сработали, то ли я случайно пропустила день.

Как обычно реагируют на эти слова? Радуются, пугаются,

нервничают?

Я же пришел в ужас. Вовсе не потому, что не хотел детей, нет. И финансовый вопрос меня не пугал, я любил Олю и прекрасно знал, что рано или поздно услышу от нее эти слова. Тут было другое: из всех возможных мыслей в голове у меня почему-то возникла только одна: а что, если я буду плохим отцом? Как это вообще выглядит – быть отцом?

И эта мысль меня буквально парализовала.

Оля ждала реакции, а я молчал и тупо смотрел перед собой, не мог подобрать нужные слова – ощущение такое, словно иду по минному полю.

Ребенок еще не родился, мы даже не решили, что будем делать с ним на стадии беременности, а я уже сидел там, на кровати, и представлял себе, как испорчу ему жизнь. Это было нелепо, и если бы кто-то другой рассказал мне такую историю – я бы рассмеялся. Вот же ж придурок, подумал бы я, ребенку минус восемь месяцев, а он уже все за него решил.

Оля тронула меня за плечо – не могла понять, что со мной.

– Ты весь бледный, тебе плохо?

– Я? Нет, ничего. Я просто. Просто задумался.

– Если ты еще не решил, мы можем отложить этот разговор. – Я видел разочарование на ее лице – не такой реакции она ждала.

– Что? Нет! Ты чего? Да я же. – Я начал заикаться, обнял ее, меня трясло. – Это прекрасно! Прекрасно! Я счастлив.

Я прижимал ее к себе и чувствовал, как она наконец расслабилась в моих объятиях.

– А почему ты такой бледный? И вспотел весь. Что с тобой?

Я посмотрел ей в глаза:

– Я боюсь.

– Чего?

– Что буду плохим отцом.

Она пару секунд разглядывала меня, ждала, что я рассмеюсь, скажу, что пошутил. И вдруг рассмеялась сама и снова прижалась ко мне.

– Какой же ты придурок, ей-богу!

* * *

Странная вещь – отцовство. Оно проделывает с мозгом причудливые вещи. Инстинкт самосохранения обостряется до предела. Первые полгода после рождения Льва я только и делал, что боялся.

В английском есть такое слово: overthinking.

Это когда слишком много думаешь. Передозировка мыслей. Именно этим я и занимался – слишком много думал.

А если со мной что-нибудь случится, кто позаботится о моей семье? А если что-нибудь случится с Левой? Что, если однажды он не проснется? Или, наоборот, не сможет уснуть? А если у него остановится сердце? Такое ведь тоже бывает, да? А если он забудет, как дышать? Я слышал о таких случаях – страшное дело. А если вырастет и станет байкером или, еще хуже, политиком? Или возненавидит меня? А если у него обнаружится аллергия на пенициллин? У нас в семье у всех на что-нибудь аллергия. В основном на нормальную жизнь.

Сейчас об этом легко и весело вспоминать, тогда же, в первые полгода жизни сына у меня случались настоящие панические атаки. Когда я смотрел на него, совсем еще маленького, лежащего в колыбели, завернутого в голубой плед, я не думал: «Как же сильно я тебя люблю», я думал: «Боже мой, какой ты хрупкий, как же я смогу тебя защитить?»

Отец однажды назвал мою мать Атлантом, держащим небо над моей головой, ей ведь действительно казалось, что если она чуть-чуть ослабит хватку, то я выйду из-под контроля и что-нибудь плохое обязательно случится.

Теперь у меня был свой сын, и я повторял все ошибки матери.

Ночами я ворочал в голове свои тяжелые, нелепые мысли: зачем мы вообще позволили маленькому ребенку появиться на свет в мире, где все вокруг создано для того, чтобы его убить или – как минимум – сделать ему больно? В Библии написано, что Бог создал этот мир специально для человека. Довольно спорное утверждение, учитывая, что 99,9999 процентов обозримой Вселенной непригодно для жизни человека. Вообще. Там просто нет воздуха. И еще там запредельные температуры. И радиация. И черные дыры. И еще много всякой херни, о которой мы даже не знаем. И даже на Земле не весь воздух пригоден для дыхания. Строго говоря, всего двадцать-тридцать процентов поверхности Земли пригодны для жизни (эти числа я, как любой фанат статистики и отец-истеричка, разумеется, брал с потолка). Кроме того, преступность в мире растет, террористы, военные конфликты, экономический и топливный кризис, парниковый эффект. Да и в самых безопасных местах, в каком-нибудь Монако, тебя вполне может сбить автомобиль (примечание: не забыть посмотреть статистику ДТП в Монако).

Вот так, по ночам я не мог уснуть, вставал каждый час или даже чаще и подходил к кроватке Льва и прислушивался – проверял, дышит ли он. И убедившись, что дышит, пытался сосчитать его пульс и частоту дыхания. И если все было в норме,

я возвращался в постель и продолжал ворочать в голове свои нелепые, идиотские мысли: о малярии, лейкемии, аллергии на пенициллин, раке легких, пассивном курении, пищевом отравлении, паразитах в ковровом покрытии и обо всех остальных напастях, поджидающих моего сына за пределами его кроватки, а некоторые – даже в этой самой кроватке.

К счастью, рядом была Оля, луч здравомыслия в моем наполненном паранойей отцовстве.

И знаете что? На самом деле я стал отцом вовсе не в тот момент, когда мой сын родился; я стал отцом в момент, когда перестал держать небо над ним. В момент, когда понял, что небо не упадет.

Не знаю, как такое происходит; наверно, надо повзрослеть, отрастить хребет. Однажды наступает миг, когда ты просто устаешь бояться и понимаешь, что твоей жене и сыну не нужен инфантильный невротик, им нужен человек, на которого они могут рассчитывать. И ты становишься таким человеком.

* * *

Не знаю, когда мама начала курить. В смысле много курить. Я даже не помню, когда и при каких обстоятельствах узнал о том, что она курит. Мне стыдно в этом признаваться: ведь если сын не заметил, что у матери появилась очень вредная, вонючая привычка, – это значит, что он ее очень редко навещает.

И да, я могу придумать кучу оправданий своих не-приездов: рождение сына, ипотека, вечные поиски работы и подработки.

Она курила много, очень много – по две пачки в день минимум. У нее и так была аллергия на пыльцу, теперь же к ней добавился хронический бронхит. И аллергия обострилась, особенно болезненно она протекала летом, когда цвела амброзия.

Ей прописали хорошее вроде бы антигистаминное, только одна проблема: список побочных эффектов у него длиннее, чем список пассажиров «Титаника». После приема лекарства она становилась сонной, вялой и словно пьяной и в целом выглядела очень плохо; ее голос менялся, он говорила медленно, заикалась и жутко злилась на себя и на окружающих, когда не могла вспомнить какое-нибудь слово. Пугали ее не столько побочные эффекты, сколько чувство беспомощности, возникавшее всякий раз, когда она принимала очередную дозу; она даже просила врача подобрать другое лекарство, послабее, полегче. Он выписывал новый рецепт, но слабое лекарство не действовало – кашель и трудности с дыханием возвращались. Помогал только

старый препарат.

Весной, когда все вокруг начинало цвести, я приезжал к ней на две недели и потом еще каждые выходные до конца июня; потом «сдавал свой пост» Егору. Ей это не нравилось, она ворчала:

– Не надо меня пасти, я взрослый человек, сама о себе позабочусь. – Язык у нее заплетался, она хваталась за голову, била себя ладонью по лбу. – Чертово лекарство.

– Я не стерегу тебя, – говорил я. – Просто приехал провести с тобой время.

– Ну да, конечно. На самом деле ты здесь потому, что чувствуешь себя виноватым. Тебе стыдно, ты бросил свою мать хрен знает где и несколько лет не вспоминал о ней.

Я знал, что все это ворчание – результат действия препарата, и все равно с трудом сдерживался: хотелось собрать вещи, послать ее и хлопнуть дверью.

Она была невыносима. И если раньше даже в самые сложные периоды она всегда находила в себе силы собраться и идти дальше, то теперь в ней словно что-то надломилось.

Ее бросало из крайности в крайность: то ворчит, то рыдает.

– Это лекарство меня убивает. Я не хочу его пить, мне противно просыпаться, я как под водой весь день, не могу думать. – И пряталась под одеяло, рыдала там, просила оставить ее в покое.

Я ехал к доктору и говорил с ним о ее состоянии. Он пожимал плечами: «Другие лекарства не помогают».

– Тогда найди мне другого доктора! – кричала она.

Когда Леве исполнилось четыре, мы приехали к ней всей семьей, я надеялся, что присутствие внука смягчит, успокоит ее, но вышло все ровно наоборот – в течение двух дней мы слушали нотации о том, какие мы никудышные родители.

– Зачем вы кормите ребенка этой дрянью? Хотите желудок ему посадить? Детям нельзя жареное!

Оля закатывала глаза, но терпела.

– Что значит «он еще слишком мал»? – продолжала мама. – Егор пошел на фортепиано, когда ему было три! Леве уже четыре, а вы до сих пор не занимаетесь его развитием. С таким подходом он вырастет посред… посредс… ссствен. – Голос снова подводил ее, она с досадой сплевывала. – Короче, дураком он вырастет.

– Мама!

* * *

– А чем ты вообще занимаешься, Оленька?

Мы сидели за обеденным столом. Олю так удивило это обращение, что она даже поперхнулась.

– Я пишу диссертацию.

– О, как интересно. И о чем же она?

– О выученной беспомощности.

– Это что такое? Никогда не слышала.

Оля посмотрела на меня, я кивнул – расскажи, мол, пусть послушает.

– Вы слышали когда-нибудь об эксперименте Мартина Селигмана?

– Нет.

– Он развивал идеи Павлова. И провел один эксперимент. Собак посадили в клетки и били током…

– Ой, бедные собачки. Никогда не любила ученых. Садисты. Прости, продолжай. Больше не буду перебивать.

Оля снова посмотрела на меня, я снова кивнул.

– Каждый удар сопровождали звуковым сигналом. Потом, после серии ударов, клетки открывали. Селигман был уверен, что собаки попытаются сбежать. На деле же все было с точностью до наоборот – собаки ложились на пол и скулили, потому что ждали нового удара током. Понимаете? Находясь в клетке, собаки несколько раз пытались избежать разряда, но это им не удавалось. В итоге они так привыкли к его неизбежности, что даже при открытой клетке не проявляли никаких признаков воли к свободе.

Мама нахмурилась:

– Странно, я всегда считала, что собаки умные.

– В том-то и уникальность эксперимента, – Оля качала головой. – Селигман тоже был уверен, что они сбегут. К тому же дело вовсе не в собаках. Подобный паттерн поведения вполне характерен и для людей. Именно об этом я и пишу. Есть множество экспериментально подтвержденных случаев, когда люди совершали такие же нелогичные поступки.

– Например?

– Например, человек пытается устроиться на работу – с высокой зарплатой и такой же высокой ответственностью. Скажем, это работа его мечты. Его не берут. Один раз, второй, третий, четвертый, пятый. В итоге он плюет на все и устраивается на «обычную», простую работу – зарплата меньше, и вообще это не то, что он хотел, зато здесь у него гораздо больше шансов. А потом ему вдруг звонят и предлагают еще раз пройти собеседование на работу мечты. Что он делает? – Оля указала ложкой на маму, ожидая ответа.

– Празднует?

– Не-а. В том-то и дело. Он отказывается. Ему так противны воспоминания о поражениях, что он сам начинает придумывать причины, почему недостоин этой работы. Когнитивная ловушка. Ему кажется, что от него ничего не зависит. И в данном случае он полностью повторяет паттерн поведения собак из эксперимента Селигмана.

Мама слушала внимательно и с большим интересом, но, кажется, так и ничего и не поняла. Она сама была словно воплощением эксперимента Селигмана: жизнь так часто била ее «током», что теперь она уже не верила в другие способы существования. Лежала на дне своей внутренней клетки и рычала на всех, кто хотел ей помочь.

Она пыталась бросить курить и, чтобы как-то сбить потребность в табаке, перешла на сладкое. Сладкое, впрочем, не очень помогало: она быстро набрала семь килограммов и теперь без конца жаловалась на лишний вес. И даже от курения она не могла отказаться, курила втихую, и каждый раз, когда я приезжал на выходные, она, как подросток, пыталась замаскировать запахи – везде стояли зажженные ароматические свечи, а изо рта у нее пахло мятной жвачкой.

– Такое ощущение, что ей снова пятнадцать. Курит в туалете, боже мой. Я нашел пачку «Рэд эппл» и мятный «Тик-так» за сливным бачком.

С мамой действительно было что-то не так – казалось, она специально проверяет наше терпение на прочность. Я не узнавал ее: она – женщина, которая в одиночку вырастила нас, двоих детей, и буквально за шкирку протащила через нелегкое детство и развод; работала на трех работах, чтобы оплачивать мне репетиторов и занятия Егора с преподавателем фортепиано и сделать первые демозаписи его ноктюрнов; своим характером, своим упорством она всегда подавала нам пример; теперь же – теперь она курила в туалете и прятала сигареты за сливным бачком.

– Я говорил с врачом. Он сказал, что такое бывает при климаксе. Возможно, она пьет какие-то таблетки. Они меняют характер. Только она не хочет об этом говорить.

А потом:

– Ее поймали в супермаркете, пыталась украсть банку с газировкой.

С этим нужно было что-то делать, теперь каждый звонок от Егора вызывал у меня тревогу.

– Она втихую снимала деньги у меня со счета, представляешь?

– Она – шшто?! – Я так громко кричал в телефон, что в комнату ко мне зашла Оля.

– Что такое? – спросила она. Я положил трубку, оперся на стол и уткнулся лицом в ладони.

– Она вытащила карточку из бумажника у Егора и снимала с нее деньги. На что тратила – не говорит.

* * *

Сложнее всего было слушать ее оправдания. Все эти крики и упреки: «Я ваша мать!», «Я не обязана перед вами отчитываться!», «Как вы смеете рыться в моих вещах!»

Егор залез в ее аптечку и перебрал таблетки. В баночке с этикеткой «аспирин» на самом деле лежали другие таблетки, морфин. В пакетике, без рецепта. И даже когда мы высыпали таблетки на стол, прямо перед ней, она продолжала ворчать и отбиваться, используя все самые глупые отмазки, которые только может придумать припертый к стенке наркоман:

– Это не мое! Я не знаю, откуда это здесь. Вы ничего не докажете!

– Мам, мы не следователи. Мы не собираемся ничего доказывать. – Она сидела на диване, скрестив руки на груди, насупившись, как обиженный ребенок. Егор сел на стул напротив нее. – Нам нужно о-о-о-очень серьезно поговорить.

Разговора не получилось, любую попытку заговорить о лечении она встречала криками, упреками, угрозами.

– Я говорил с наркологом. Он говорит, ее надо положить в клинику.

– С ума сошел?!

– Не ори.

– Это убьет ее! Она решит, что ее предали. Избавились от нее.

– Петро, не ори на меня. Я всего лишь передаю тебе слова врача. Снимать человека с иглы нужно под присмотром специалиста. Если тебя беспокоит финансовый вопрос, то не парься, я все оплачу.

– А ты, значит, у нас теперь богатенький Буратино, да?

Егор тяжело вздохнул.

– Хорошо. Не важно. Что ты предлагаешь тогда?

* * *

Она не оставила нам выбора. Я позвонил Оле и сказал, что

задержусь еще минимум на неделю. Егор съездил в магазин, купил продукты, воду в бутылках и ящик с инструментами.

– Что вы делаете? – спросила мама, когда увидела, как я скручиваю замки с двери в туалете и в ванной.

– Готовимся, – сказал Егор. Он выставлял бутылки с йогуртами на полки холодильника. – Нам предстоит тяжелая неделя.

Она, конечно, сразу поняла, к чему все идет, и попыталась сбежать, хотела выскользнуть на улицу, но не справилась с замком.

– Что происходит? Откройте дверь, я хочу выйти, подышать свежим воздухом.

– Никуда ты не пойдешь. – Я вытащил личинку замка из двери в туалет, бросил ее в ящик для инструментов и занялся замком в спальне.

Через минуту я услышал, как она открывает окно. Когда я вбежал в зал, Егор за ногу тянул ее назад, она брыкалась, била его пяткой, пыталась попасть по лицу, визжала – пронзительно и низко, как сирена в Дрездене перед авиаударом.

Я подскочил, схватил ее за вторую ногу и помог Егору втянуть ее обратно, она грохнулась на пол с неприятным, противоестественным звуком – словно собаку ударили под дых. Минуту мы, все трое просто лежали на паркете и шумно, глубоко дышали. Мама не двигалась, и я испугался, что при падении она могла сломать себе что-нибудь, я потянулся к ней, но она отпрянула, прижала ноги к груди, спрятала голову между колен, обхватила себя руками и зарыдала, завыла.

– Вы не понимаете. Они помогают мне. Они помогают мне думать и говорить. Без них я тупею.

* * *

Центры контроля проведения боли расположены на входе в спинной мозг и в тройничном нерве. Именно там толпятся синапсы, контролирующие поток болевых сигналов. Тончайшая настройка. По сути, это шлюз, и он всегда приоткрыт, – главная задача таких синапсов – не пропускать слабые болевые сигналы и по возможности гасить сильные. Именно на этот шлюз обычно воздействуют анальгетики вроде морфина – они перекрывают его; то есть, по сути, не пускают в мозг информацию о боли. Со всеми этими анальгетиками на основе опиоидов есть одна проблема (на самом деле проблем много, но одна – главная) – контролировать процесс невозможно (или – очень сложно). И если он запущен – и

уже возникла зависимость – это значит, что троичный нерв больше неспособен адекватно оценивать болевые импульсы. Ведь наркотик делает это за него. И именно поэтому синдром отмены у морфинистов – штука особенно страшная и болезненная. Мама кричала так, словно ее облили кислотой – она бредила, задыхалась, пыталась разодрать себе горло ногтями. Мне было страшно смотреть на нее: глаза пустые, как будто мертвые, рот – дрожащая дуга боли. Нам даже пришлось связать ее ненадолго. Егор требовал вызвать врача – он больше не мог слышать ее вопли. А я – я знал, что если вызовем «скорую» и поместим маму в наркодиспансер, она никогда нам этого не простит. Сейчас я уже даже не могу понять, чего я добивался, что и кому я хотел доказать? Она ведь могла умереть там, у нас на руках, и все же я упрямо не желал везти ее в больницу, хотя на самом деле, как я сейчас понимаю, это мое нежелание могло очень плохо закончиться.

Сложнее всего было на третий день. Мы спали с ней в одной комнате, на раскладушках возле ее кровати, спали по очереди, чтобы всегда быть начеку. Ее трясло, знобило, она все время просилась в туалет.

– Конечно, ты можешь сходить, – говорил Егор. – Только дверь останется открытой, чтоб мы могли видеть тебя.

Нам приходилось несколько раз за ночь менять простыни в ее кровати, так обильно она потела. Несколько раз ее вырвало – два раза по пути к унитазу, один раз – прямо в постели.

– Я умираю, – бормотала она.

– Ты не умираешь, это обычный детокс. Ломка. Вот, выпей воды.

Она смотрела на меня снизу вверх – губы потрескались, глаза запали, под ними синяки, волосы растрепались, слиплись так, что видно седые непрокрашенные корни, пряди липли к щекам и лбу; я хотел поправить ее подушку, но она ударила меня по руке.

– Не трогай меня!

– Вот, выпей воды.

– Сам выпей.

Агрессия сменялась жалостью к себе – она начинала рыдать и просила прощения, потом еще пять минут – и она снова обвиняла нас в том, что мы специально пытаем ее: «Я знаю, вам доставляет удовольствие смотреть, как я страдаю».

На третий день ей стало лучше. Она встала и направилась в туалет.

– Дверь оставь нараспашку, – сказал я.

– Зачем? Вы уже скрутили замок.

– Я хочу быть уверен, что у тебя там нет заначки, которую я

пропустил.

Она сильно похудела за эти дни – ключицы торчали, пальцы казались неестественно тонкими и длинными, пижама висела на ней, как мешок.

– Я не могу писать, если знаю, что кто-то услышит журчание.

Я сидел в кресле с карандашом и толстой книжкой под названием «1001 кроссворд».

– Прости, ничем не могу помочь, – сказал я, не отрываясь от кроссворда. – Ты можешь спеть что-нибудь, и тогда я буду слушать твое пение, а не «журчание».

Она зашла в туалет, хлопнул стульчак.

– Кстати, ты знал, что хозяева ягодных плантаций заставляли рабов петь во время сбора урожая? Так хозяин знал, что рабы не едят его ягоды. Ты не можешь одновременно петь и есть ягоды.

– Если это вызов, то я принимаю его! Сейчас принесу ягоды – и увидим!

И я услышал ее смех, ей понравилась шутка.

Шаркая тапочками по паркету, она вернулась в кровать и залезла под одеяло. Прошло минуты две, и вдруг она спросила:

– Что ты делаешь?

– Разгадываю кроссворды.

Она долго смотрела на меня, я отвлекся от страницы.

– Что?

– Ты такой красивый.

– Эмм, спасибо.

– Почему ты не любишь, когда я называю тебя красивым? Это же правда.

Я не знал, что ответить. Она продолжала:

– Ты и в детстве был красивым мальчиком, хотя и не верил в это и всегда очень злился, когда я говорила, что ты красавец.

– Все мамы считают своих детей красивыми.

– Возможно, но в моем случае все иначе. Потому что ты *действительно* красивый.

Я устало вздохнул и посмотрел на нее поверх кроссворда. Я не мог понять, что это с ней – очередной перепад настроения, вызванный детоксом, или просто минутка материнской нежности? Это был хороший знак, первый положительный симптом.

И все же время здесь, в этой «комнате детокса», тянулось невероятно медленно, за каждым новым движением минутной стрелки на часах я наблюдал, как Ахиллес за черепахой. И даже когда Егор приходил, чтобы сменить меня, я все равно не мог найти себе занятие. Я был измотан – физически и эмоционально – так сильно, что не мог толком ни читать, ни смотреть телевизор,

ни даже играть в компьютерные игры. Спать я тоже не мог. И я разгадывал кроссворды, один за другим – начал с самых простых, потом перешел на самые сложные, те, где в клетки нужно вписывать слова вроде «сингулярность» или «клептократия».

От такой активной кроссвордной деятельности мой карандаш быстро затупился, и я отправился гулять по дому в поисках точилки или нового карандаша. Найти их оказалось не так-то просто, в ящиках стола у мамы лежали швейные принадлежности, какие-то журналы типа «Выкройки» или «Игольное ушко»; карандаши же я, наоборот, нашел в ящике под швейной машинкой. Они лежали на стопке листов, исписанных маминым почерком. Конечно, это нехорошо – копаться в чужих вещах и тем более читать черновики, но я не удержался. Тем более у меня было оправдание – я не копался в ее вещах, я просто искал карандаши, и не моя вина, что она хранит их в одном ящике со своими черновиками.

Центр тяжести

Я был сложным ребенком – я начал приносить родителям неприятности задолго до своего рождения. Когда моей будущей маме было двенадцать, – а мне, стало быть, минус двенадцать, – беззубая цыганка на ярмарке сказала ей: «Твой первый сын будет уродом».

* * *

И дальше – еще сто страниц. Мое детство, рассказ о знакомстве родителей, уход отца, история нашего с Сашей Греком «расследования», нашей попытки найти пропавшее Третье озеро, там, в Рассвете. И все это – от моего лица. Как если бы я сам рассказывал эту историю на бумаге.

Я взял черновики и пошел в мамину спальню, сел на край кровати, рядом с ней.

– Мам. Я тут нашел у тебя.

Она, щурясь, смотрела на листок, потом на меня. Облизала потрескавшиеся губы.

– Где ты взял его?

– В ящике, под швейной машинкой.

Она сморщилась, словно от мигрени.

– Хватит копаться в моих вещах…

– Я не копался, правда. Я искал карандаши. И вот нашел это. Ты пишешь про меня? – Молчит. – Почему про меня? И почему от моего лица?

Она перевернулась на другой бок, спиной ко мне.

– Не знаю. Я пыталась писать от своего лица, но все это было… скучно. Мне нужен был свежий взгляд на собственную жизнь. – Тяжелый вздох. – И тогда я вспомнила нашу старую шутку.

– Какую?

– О том, что ты был сложным ребенком – и начал приносить неприятности задолго до своего рождения. – Еще один тяжелый вздох. – И я подумала, что с этого можно начать книгу. И начала. Прости, я, наверно, должна была спросить у тебя разрешения, прежде чем… прежде чем делать тебя протагонистом. В любом случае, как видишь, ничего хорошего из этого не получилось – я снова уперлась в тупик, я не знаю, как это закончить. Как всегда.

Егор сидел в кресле и наблюдал за нами. Мы с ним переглянулись.

– Ты должна дописать его. Я хочу узнать, что будет дальше.

Она застонала и натянула одеяло на голову.

– Я не знаю, что будет дальше. Вы ведь так и не нашли Третье озеро. В этом отличие жизни от беллетристики – в жизни, как правило, нет внятной концовки. Кроме смерти.

– Но так в этом ведь и вся прелесть: тебе не обязательно держаться за настоящее жизнеописание. То, что ты уже написала, выглядит довольно бодро, а концовку ты можешь просто придумать.

Минуту она молчала, словно обдумывала мои слова.

– Оставь меня в покое. Ты же знаешь, я проклята. Я никогда ничего не довожу до конца.

– Неправда.

– Правда. Я проклята. Я только завязки умею придумывать. – Она бормотала из-под одеяла, я слышал, как она тихо плачет. – Дерьмо все это. Полное дерьмо. Я ненавижу писать.

– Неправда. Когда-то ты написала целую книгу сказок. И ее даже издали.

– Ту книгу тоже не я написала. Половину рассказов за меня закончил ты. Потому что я никогда ничего не довожу до конца. И я не умею придумывать концовки.

– И что? Разве это проблема? Вот художник Шишкин не умел рисовать животных. И он просил всегда своих друзей-художников помочь ему в этом, они рисовали на его картинах медведей или лошадей. Скажи, разве Шишкин стал от этого менее талантливым? Он умел рисовать лес, и делал это прекрасно. И ты тоже умеешь придумывать причудливые, странные, сказочные сюжеты. Не думаю, что стоит так убиваться из-за того, что у тебя проблемы с концовками. Да ты почитай наших классиков – у них у всех проблемы с концовками. Это вообще одна из главных бед русских – мы ничего не способны довести до логического завершения: ни романы, ни реформы, ни дороги.

Минуту мама неподвижно лежала под одеялом, потом выглянула, вздохнула.

– Ты ведь придумал все это, про Шишкина. Чтобы меня успокоить.

Я открыл ноутбук и показал ей статью об Иване Шишкине в Википедии. История о том, что великий художник-пейзажист, оказывается, не умел рисовать животных и попросил своего друга, Павла Савицкого, дорисовать медведей на картине «Утро в сосновом лесу», произвела на маму огромное впечатление. Не знаю, стало ли это открытие отправной точкой ее пути к выздоровлению (в конце концов, было бы глупо утверждать, что статья из Википедии вылечила ее от зависимости), но уже

следующее утро мама начала с того, что почистила зубы и помыла голову.

А потом взяла меня за руку и сказала:

– Обещай мне. Обещай, что будешь моим Павлом Савицким.

* * *

Утром зазвонил телефон. Я услышал голос Грека в телефонной трубке и на несколько секунд потерял дар речи.

– Ты еще там? Нас что, разъединили? – спросил он и рассмеялся – он знал, что не разъединили.

– Нет, нет, я здесь.

– Кто это? – спросила Оля. Она сидела справа от меня, а рядом с ней – шестилетний Лева доедал омлет с помидорами.

Я прикрыл трубку ладонью и шепотом произнес: «Грек». Оля вскинула брови.

– Привет! Господи-боже! Извини, я просто, ну, не ожидал. – Я встал из-за стола и стал ходить по кухне из стороны в сторону. – Я дико рад тебя слышать. Ты. Ты. Ты исчез.

Он засмеялся:

– Да жив я, жив. Просто работы было много.

– Да? И что за работа?

– Ну, разная работа. Я как раз по этому поводу и звоню. Как у тебя там дела на рабочем фронте?

Я почему-то сразу понял, что он и так уже все про нас знает, – он всегда все обо всех узнавал, прежде чем звонить. Я рассказал ему о нашей жизни, о ребенке. Он кратко поздравил меня и тут же перешел к делу:

– Слушай, у меня есть для вас отличное предложение. Надо встретиться.

Первая встреча Грека и Оли прошла не очень гладко – она ударила его. По-настоящему. В челюсть. Звук такой, словно кто-то уронил кочан капусты на кафельный пол. Я встал между ними, схватил Олю за руку, ее трясло.

Грек сплюнул на ладонь кровавую слюну, проверил языком зубы.

– И я рад тебя видеть.

– Восемь лет! – сказала она сквозь зубы. – О чем ты думал? Знаешь, я рада, что ты жив и здоров, учитывая то, что я видела, но, боже мой, какой же ты мудак! – Покачала головой.

Весь вечер и всю ночь мы говорили – вспоминали прошлое, обсуждали планы. Грек попытался объяснить свое исчезновение: его дядя, сказал он, был сотрудником BBC и предложил ему место

в своей команде. «Сложнее всего было уехать, я знал, что нехорошо поступаю. Но и рассказать никому об этом предложении я не мог, вы бы начали отговаривать меня, и вам бы это удалось. А я не хотел оставаться, я хотел уехать. И чем дальше, тем лучше».

Вот так: он выжил под пулями и бомбежками, однажды попал в плен к сепаратистам, потом занял должность исполнительного продюсера и три года занимался производством новостных программ и документальных фильмов. А теперь просто взял и вернулся в Москву; и за обеденным столом объявил нам, что сейчас набирает команду профессионалов для создания нового СМИ. Задача амбициозная, и если бы я не знал его лично, я бы засомневался, но это был Грек, поэтому я не стал задавать вопросов – я знал, он не станет на них отвечать.

Он очень сильно изменился за эти восемь лет – кожа на лице грубая, словно дубленая, обветренная, обожженная солнцем, глубокие морщины на лбу и в углах рта. Он все еще стригся сам, только теперь уже налысо; привычка же убирать челку с лица осталась, хотя челки уже и не было – поэтому, когда он резко дергал головой, это выглядело как нервный тик. В свои тридцать два он выглядел минимум на сорок.

Через неделю мы уже осматривали помещения для будущего офиса на юго-западе Москвы. Еще через две недели российский офис новостного портала «Осмос» был официально открыт, и, разбивая бутылку шампанского, Грек сломал дверной косяк на входе в свой кабинет. Этот конфуз его нисколько не расстроил.

– Отличная примета! – воскликнул он. – Знаете, говорят: если сломал дверной косяк, значит, косяков на работе больше не будет.

Он ошибался.

* * *

Мы с Олей проводили на работе почти все время – иногда даже ночевали там – и, разумеется, оставить Леву одного мы не могли – он ходил на работу вместе с нами. Вот так и получилось, что сын наш вырос в стенах новостного издания. Утром я отвозил его в школу и днем, если няня брала выходной, привозил в редакцию, и он катался на самокате между столами редакторов. Грек называл его «сыном полка».

Маленький, худощавый и хрупкий, ему было шесть, и я всеми силами пытался дать ему свободу, не держать небо над ним, – у меня не всегда получалось, но я старался. Признаюсь, это было

нелегко. На шестой день рожденья мы подарили ему самокат – стильный, цвета лайма, из углепластика, с логотипом «Феррари» (не знаю, почему именно «Феррари»). И как любой шестилетний мальчишка, Лева не признавал ограничений скорости, он был в том возрасте, когда «тормоза придумали трусы». Работая в офисе, сидя за столом, я то и дело слышал, как самокат колесами шуршит по ковролину в коридоре, и вдруг – бдыщщь! – с грохотом врезается то в мусорную урну, то в ксерокс, то в кулер. Я тут же вскакивал со стула и начинал озираться, испуганный, встревоженный.

– Расслабься, – говорила Оля. – Все с ним нормально.

– Откуда ты знаешь?

– Сынок! – кричала Оля. – Ты как там?

– Холошо! – отвечал он.

– Видишь?

Лева был маленький и белобрысый и внешне походил не столько на меня, сколько на Егора в детстве. Это нечаянное сходство стало поводом для постоянных шуточек со стороны Грека.

– Нет, ну правда. Вы оба черноволосые и смуглые, а сын у вас, ну истинный ариец. Я бы на твоем месте задумался, Петро.

На эти шутки Оля старалась не реагировать, ей казалось, что если Грека игнорировать, рано или поздно ему надоест. Как же она ошибалась! Во всем, что касалось низкопробного и дурацкого юмора, Грек был неутомим. Он постоянно подкладывал на мой рабочий стол рекламные буклеты типа «ДНК-тест – самый верный способ проверить отцовство» или «Как пережить измену жены». Естественно, эти его выходки не оставались без ответа: мы с Олей знали его слабое место и в качестве ответной меры решили всегда писать его фамилию с ошибками. Когда нужно было отослать ему какой-то документ на подпись, я намеренно коверкал одну букву – и на поверку оказалось, что способов неправильного написания его фамилии даже больше, чем я мог себе представить: «Александр Крек», «Александр Хрюк», «Александур Крюк» и так далее.

– Так, какого хрена? – кричал он, врываясь к нам в кабинет. – Это документ вообще-то! Как можно сделать две ошибки в слове из четырех букв?

Мы с Олей смотрели на ошибку и старательно изображали неловкость.

– Ой, друг, прости, просто я устал очень. Сейчас исправлю.

Когда Грек возвращался в свой кабинет, Оля поднимала ладонь, я давал ей пять. И Грек тут же вновь появлялся возле нашего стола.

– Я так и знал! Я видел через жалюзи. Зачем ты дал ей пять?

Оля закатывала глаза.

И так продолжалось два месяца, он забрасывал нас намеками на то, что Лева не наш сын, а мы делали ошибки в его фамилии. В конце концов ему пришлось признать поражение, ведь постоянно заниматься исправлениями своей фамилии в статьях и документах – это довольно утомительно.

* * *

Офис у нас был общий, мы все ютились за столами в одном помещении, отделенные друг от друга фанерными перегородками. Отдельный кабинет был только у Грека. Зачем он ему, мы не знали. Кабинет был почти пуст, из мебели там стояли только стул и стол. За годы работы военным корреспондентом Грек так привык к спартанским условиям жизни, что иногда пугал меня и окружающих своими выходками. На его рабочем столе, например, помимо ноутбука и горсти ручек с карандашами лежал небольшой серый брусок, похожий на хозяйственное мыло. Я как-то пошутил на эту тему:

– Зачем ты держишь мыло на столе? Или это типа символ? Гигиена, чистая журналистика, все такое, да?

– Это не мыло, это пластид, – сказал он, не отвлекаясь от экрана ноутбука.

Я ждал, что он рассмеется, скажет, что это шутка, но он был предельно серьезен.

– В смысле взрывчатка, что ли?

– Подарок Амира.

– Амира?

– Чувак из армии сопротивления в Сирии, ага. Я ему жизнь спас, и по их обычаям он должен был хоть что-нибудь подарить, а у него ничего, кроме пластида, с собой не было. Вот использую его теперь в качестве пресс-папье и ароматизатора одновременно. – Он взял пластид и бросил мне.

Я неловко поймал его. Вероятно, на лице у меня был такой испуг, что он рассмеялся.

– Да расслабься ты. Это же не нитроглицерин, он не взрывается от удара или механического воздействия. Нужен пускатель, разряд тока определенной силы.

Я вертел брусок в руках, разглядывал гравировку на нем.

– А почему он так пахнет? Как будто фиалками. Как мыло.

– По легенде, сепаратисты стали подмешивать ароматизатор, чтобы провозить взрывчатку через блокпосты под видом мыла, ну

и кинологов с собаками запутать. Звучит правдоподобно, но не ручаюсь, что это правда.

В тот день я имел неосторожность рассказать про пластид Оле. Уже через минуту она зашла в кабинет к Греку, хлопнув дверью так сильно, что мой компьютер начал перезагружаться.

– Мне плевать, что он «не взорвется»! – кричала она. – Если не унесешь его отсюда, я взорвусь, понял? У меня тут сын за фанерной стеной. Господи, Грек! Хочешь, чтоб за нами полицаи пришли?

* * *

И полицаи пришли.

Но не из-за пластида и не за Греком.

Однажды утром, когда я шел на работу, он подошел ко мне прямо на улице, возле входа в метро «Юго-Западная». Представился, показал корочку, «следователь по особо важным делам». Я запомнил только имя. Денис. Еще подумал: какое дурацкое имя. Следователь по особо важным делам Денис. Надо же такое придумать.

– Меня в чем-то обвиняют?

– Пока нет.

У представителей власти в России есть одно свойство – наглый, безапелляционный тон. Они, как истинно кафкианские персонажи, разговаривают с вами так, словно вы уже виновны, просто пока не знаете об этом, – да и знать-то вам не положено.

Мне бы послать его, потребовать повестку, но он застал меня врасплох – на это, как я сейчас понимаю, он и рассчитывал. Наши юристы часто проводили брифинги, где раз за разом пытались втолковать нам, чтобы мы никогда, никогда, никогда,

Он как-то странно смотрел на меня. Я только потом, попрощавшись с ним, покинув комнату для допросов, уже сидя в трамвае, возвращаясь домой, понял – левый глаз у него стеклянный (или я просто додумываю?); и оттого взгляд – как будто застывший, он словно смотрел сквозь меня или пытался вспомнить что-то. А на шее, вокруг кадыка несколько островков черной щетины – плохо побрился. Спешил, наверно.

Он задавал стандартные вопросы: как вы оказались в журнале «Осмос»? Что значит название журнала? Вы согласны с политикой журнала? Почему вы пользуетесь одноразовым телефоном? Зачем так часто меняете номер? Как называется ваша должность? За какие материалы вы отвечаете? Что вы можете сказать о своих коллегах?

Я знал эти вопросы наизусть – нас ведь готовили к этому – и отвечал почти автоматически.

Следователь кивал и смотрел то на экран планшета, то куда-то в верхний правый угол комнаты, мне за спину.

И тут он спросил:

– Ваша мать. Чем она занимается?

– Эммм, она безработная. Раньше работала редактором в издательстве.

Он вскинул брови (точнее, одну бровь; та, что над стеклянным глазом, была неподвижна) – словно бы в удивлении. Хотя, конечно, прекрасно знал ответ.

– Я думал, она – писатель.

Как странно. Я ждал вопросов о редакционной политике, о политике вообще, но на столе лежала книга. Книга сказок. Маминых сказок. «Путешествие камней».

– Смотрите, что у меня есть. Редкий экземпляр. Первое издание. – Он посмотрел на меня. – Первое и единственное. Сколько экземпляров было напечатано?

Я пожал плечами:

– Не знаю. Около двух тысяч, наверно.

– А, вот тут, на последней странице написано. – Он ткнул пальцем. – Восемьсот восемьдесят экземпляров. Странная цифра. Знаете, я совершенно случайно на нее наткнулся. На книгу, в смысле. Прочитал, мне очень понравилось. Стал искать другие книги вашей матери, но, – развел руками, – оказалось, что она больше ничего не написала. И я задумался: а почему?

Я вздохнул.

– Там много причин. Книга провалилась, тираж так и не был распродан. Ну, и семейные обстоятельства, смерть деда сильно ее подкосила.

Следователь поджал губы и медленно закивал, словно

выражая сочувствие.

– Понимаю. И все же, если вы не против, я хотел бы задать вам пару вопросов об этой книге. У нее, например, очень интересное посвящение. Вот. – Он открыл ее на первой странице и зачитал вслух:

«Моим детям. 1245».

Он поднял на меня взгляд:

– Что это значит?

– Что именно?

– 1245. Что означают эти цифры?

Я открыл было рот, но запнулся. Что здесь происходит?

– Я подсказал ей идею той сказки. Про портного и озера. Про похитителей озер, – сказал я, прочистив горло. – Там в сказке речь идет о пяти озерах. Одно из них чудесным образом исчезает. Третье. Поэтому такой ряд цифр. Тройка пропала.

– «Чудесным образом»? Прям вот чудесным?

– Ну да, это же сказка. Там все происходит чудесным образом.

Следователь сморщился, словно почуял запах говна.

– Тогда еще вопрос. – Он повернул ко мне планшет, на экране – серия снимков. – Вы, возможно, замечали, что на улицах стало неспокойно, – устало сказал он, листая фотографии.

Я смотрю на них. На каждом снимке – стена. На каждой стене – граффити. Геральдическое сердце. Красное, трафаретное, словно фрагмент стеклянного витража.

Я хочу сказать что-то, но начинаю кашлять. Следователь неподвижно наблюдает за мной. Дождавшись, когда я прокашляюсь, он говорит:

– Их много в последнее время, таких граффити.

– Надеюсь, вы не думаете, что это я их рисую, – говорю я.

Он улыбается снисходительно, так взрослый реагирует на шутку ребенка.

– Скажите, только честно: вы верите в гороскопы? – Следователь сцепил пальцы замком на колене. Он вел себя так, словно это был не допрос, а интервью. – Это просто вопрос. Без подвоха, – пояснил он.

– Нет, не верю.

– Да, я тоже. Мне кажется, сегодня, в наше время, когда люди уже почти освоили космос, только законченный, клинический идиот может верить в то, что по расположению звезд можно определить чью-то судьбу. В этом есть что-то архаично-нелепое – это как верить в магию или в единорогов. Вы ведь не верите в магию?

– Нет, не верю.

– Правильно. Вы – скептик. Мне это нравится. Холодный ум. У любого события есть причина. Во всем есть логика. Согласны?

Я был не согласен, но он ждал другого ответа, поэтому я кивнул.

Он снова встал и начал мерить комнату шагами.

– Я тоже скептик. За годы работы я четко усвоил, что совпадений не бывает, и если тебе кажется, что события хаотичны, – значит ты просто не видишь всей картины.

Он остановился возле стены и пару секунд увлеченно ковырял ногтем облупившуюся краску. Потом словно спохватился, вспомнил обо мне, вернулся к столу.

– Месяц назад, восьмого августа, на мясном рынке на улице Ефремова произошел один странный случай. Некий Михаил Е., библиотекарь по профессии, пришел на рынок купить бычье сердце. Ну, любит он есть на обед тушеное бычье сердце. У всех свои причуды. Так вот, эммм, свидетели утверждают, что во вторник, восьмого числа, в восемнадцать сорок по московскому времени, Михаил Е. подошел к прилавку и попросил взвесить ему пару бычьих сердец. А дальше, цитирую, «началась какая-то чертовщина»: когда мясник взял сердце в руки – оно забилось. – Следователь поднял взгляд от листа бумаги, посмотрел на меня. – Прямо в руках у мясника. И даже больше, тут еще есть. На вопль Михаила Е. сбежались и другие посетители рынка и двое охранников. И все как один утверждают, что видели это самое бьющееся сердце, словно живое. Когда же один из охранников попытался поднять его, сердце, опять же, как утверждают двенадцать свидетелей, вдруг засветилось у него в руках. Как лампочка. Наши специалисты опросили всех свидетелей и проверили их – сговор между ними исключен, они не знали друг друга или знали лишь шапочно. Сердце мы изъяли. Надеялись найти там какие-нибудь светодиоды или другие механизмы. Но, – он пожал плечами, – ничего не нашли. У меня есть серьезное подозрение, что один – как минимум один! – из свидетелей находится в сговоре с организатором этого… этого, – он неопределенно махнул рукой, пытаясь, видимо, вспомнить слово «перформанс», – безобразия. И я подозреваю, что именно он – один из них – подменил сердце на настоящее, чтобы сбить с толку следствие. – Он снова замолчал, разглядывал меня своим стеклянным глазом. – Но и это еще не все. Такой же случай произошел спустя три дня на другом рынке, рядом с метро «Алексеевская», а потом, еще спустя день, сердце засветилось в руках у покупателя на рынке на «Юго-Западной». И вот как раз в третьем случае наш шутник – или шутники! – прокололся: мы изъяли светящееся сердце до того, как его успели подменить. –

Он вытащил из папки пару фотографий, протянул их мне. На фотографиях: разрезанное сердце, а внутри куча проводов и светодиодов. – Как я говорил: обычная мистификация. Очень умелая, впрочем. Что вы об этом думаете?

Прошла минута прежде, чем я смог открыть рот – настолько дико звучала эта его история. Он засмеялся – явно наслаждался моей реакцией.

– На этом эпопея со светящимися сердцами завершилась. И это объяснимо: чтобы изготовить такой, эммм, аппарат, нужно много сил и времени. Теперь аппарат у нас. Но странности не закончились. На этой неделе, – сказал он, – у нас было несколько облав. Нам удалось выследить и арестовать сразу трех, – он показал три пальца: большой, указательный, средний, – трех участников группировки «Графт». Да, мы считаем, что это не один человек, а целая ОПГ. Я знаю, что вы думаете, люди называют их «уличными художниками», – он изобразил пальцами кавычки, – но мы смотрим на это по-другому. По закону любые не согласованные с властью акции – это экстремизм. И вот мы взяли их, этих людей, и привезли сюда, и здесь я, так сказать, поговорил с ними. Ничего особенного они не сказали. Но! – Он поднял палец. – Кое-что у них все же было. – Длинная пауза, он постучал пальцем по книге. – Книга сказок. Я нашел ее при обыске в квартире одного из преступников. Других книг у него не было, и я подумал: «Зачем она ему?» И тогда я проверил список изъятого имущества при задержании его соратников. И знаете что? У них все же было кое-что общее – книга вашей матери. Бумажный экземпляр в твердом переплете, год издания: 1998, тираж 880 экземпляров. Забавная цифра, никогда не понимал, почему так сложно напечатать ровно тысячу экземпляров? Почему именно 880, вы не знаете?

Я медленно покачал головой.

– Ну да ладно. – Он махнул рукой. – О чем бишь я? Я ведь не просто так спросил у вас, верите ли вы в гороскопы, магию и чудесные совпадения и прочий бред. Мы с вами – скептики по натуре, мы же понимаем, что такого рода «совпадения», – снова изобразил кавычки, – чисто математически настолько маловероятны, что ими можно пренебречь[11]. Согласны?

Я сглотнул.

– И тут я, значит, задумался, – продолжил он, откинувшись на спинку стула (спинка тоскливо скрипнула), – книга никому не известной писательницы, – вскинул руки в защитном жесте, – без обид, мне-то книга очень понравилась, – приложил руку к сердцу, – особенно последняя сказка, как ее? – взял книгу, открыл на оглавлении. – Про человека по имени Графт, который купил

себе сердце – прекрасно, я прям расчувствовался там в конце, так трогательно. И вот же забавно, именно там, в этой сказке, есть история о сердцах, которые светятся, если их взять в руки. Невероятно, не так ли? Когда я обнаружил это, я готов был кричать «эврика». – Он засмеялся. – Я наконец-то понял, откуда взялась у уличных художников эта дикая идея – подбрасывать на мясные рынки светящиеся сердца. Ну да ладно, – захлопнул книгу. – Вопрос висит в воздухе: каким образом книга, изданная двадцать лет назад и с тех пор ни разу не переизданная, я проверял, ее нет даже на пиратских файлообменниках, книга-призрак, можно сказать, каким образом эта книга связана с группировкой сепаратистов? – Он засмеялся, хрипло, развел руками. – Абсурд! Что обычно мы находим в квартирах у такого рода людей? Философские, анархистские труды, порнографию, Дюма, Конан Дойла, как ни странно, книги по шифрованию, криптографии. Даже сказки братьев Гримм, что только они не используют для шифрования сообщений. – Он снова поднял палец и постучал им по обложке маминой книги. – Никогда я еще не находил у трех людей одновременно книгу с таким бесславным прошлым – опять же, без обид, но ведь достать ее действительно невероятно сложно. Это не просто раритет, ее ведь уже не существует практически. Даже в тех библиотеках, где эта книга вроде бы числится, в наличии ее нет. Украли. И вот скажите мне, как скептик скептику, какое объяснение кажется вам тут наиболее логичным? Ну, исключая тот вариант, что все они просто любят сказки вашей матери и оказались ярыми ее фанатами? Настолько ярыми, что не боятся цитировать ее в своих, эээ, – как это у них называется… – снова кавычки пальцами, – «перформансах»?

Он замолчал и уставился на меня, я слышал, как жужжит лампочка под потолком.

– Я не знаю, – сказал я.

Он разглядывал мое лицо, словно карту. Юрист учил меня молчать во время допроса; самое главное – не начинать оправдываться, отвечать по существу. Это лишь звучит легко, на самом деле я всеми силами сдерживал слова, вопросы, все эти «На что вы намекаете?», «Что вы хотите этим сказать?». Меня учили отвечать кратко и емко.

Когда тишина стала утомительной, следователь выдохнул и снова откинулся назад на стуле (стул опять заскрипел, еще более жалобно; вот-вот сломается).

– И это все? – спросил он. – Просто не знаете?

Я пожал плечами. Руки я держал между колен, чтобы он не видел, как они дрожат.

– Если вы не против, я поделюсь с вами своими, ммм, соображениями. Как скептик со скептиком. Есть некий уличный художник, который занимается, эммм, перформансами. Не люблю это слово, и все же. Его творения, или, скажем так, «работы», – он изобразил кавычки пальцами, – требуют высокого уровня подготовки и огромных, просто невероятных ресурсов. При этом он умудряется оставаться, как это у нас умные люди говорят, инкогнито. Его репутация растет, у него уже даже есть целая армия поклонников, почти религиозная секта, люди считают его чуть ли не богом, или как минимум магом, способным менять ландшафты и стирать с лица земли целые водоемы. И знаете что? Мне все равно. Мне все равно, как он это делает. Мне интересно другое: почему в своих работах он цитирует книгу вашей матери? Почему именно ее, а?

Он молча смотрел на меня, и только через минуту я вдруг понял, что это не риторический вопрос – он действительно хочет, чтобы я ответил.

– Я не знаю, – сказал я.

* * *

Возможно, вы слышали о фильме «Пропавший без вести» (1982) режиссера Коста-Гавраса. В его основу легла реальная история журналиста Чарльза Хормана, погибшего в Чили в 1973 году во время военного переворота.

Мало кто знает, но во время озвучки и постпродакшна Коста-Гаврас заменил все звуки хлопающих дверей на звуки ружейных выстрелов. Опросы показали, что никто из зрителей не заметил подмены. Но наблюдения за людьми во время сеанса дали интересный результат – стало ясно, что замена звука – весьма эффективный прием, отлично сработавший на атмосферу фильма: каждый раз, когда на экране захлопывалась дверь, зрители в зале вздрагивали, испуганно моргали и иногда даже начинали озираться.

Примерно так же чувствовал себя я, когда вернулся в офис после допроса – нервно дергался при каждом громком звуке, при каждом хлопке.

Несколько раз собирался позвонить маме, но так и не решился; теперь, после такого странного разговора со следователем, меня душила паранойя, казалось, я даже был почти уверен (хотя, разумеется, никаких доказательств у меня не было), что мой телефон на прослушке. И вечером я просто сел в машину и поехал к ней домой.

Она уже год как жила в Москве (Егор купил ей квартиру, однушку, на Юго-Западе). Мы долго уговаривали ее переехать, она все упиралась, но в конце концов признала, что ездить к ней в гости в Рассвет, за тысячу километров от Москвы – весьма неудобно.

Переезд дался маме нелегко, она, в сущности, оставила всех своих друзей/знакомых в Рассвете и здесь, в столице, теперь начинала жизнь заново, и эта новая жизнь, как ни странно, очень бодрила ее. Мы боялись, что резкая смена обстановки, расставание с прошлым снова загонят ее в депрессию, но не тут-то было: с переездом у нее, кажется, открылось второе дыхание; она тут же нашла работу (опять в издательстве), подружилась с соседями и теперь часто приезжала к нам на метро, провести время с Левой, который ее просто обожал.

– Да-да, я знаю, меня тоже вызывали на беседу, – сказала она.

– Тебя? Когда?

– Сегодня утром. – В ее голосе не было ни капли тревоги. Наоборот, я давно не видел ее в таком приподнятом настроении: история о том, что некий анонимный художник позаимствовал имя одного из ее персонажей и цитирует ее сюжеты в своих перформансах, приводила ее в восторг. – Кто-то оживляет мои сказки! Ты можешь себе это представить?

Она смеялась, и смех ее был звонкий, по-настоящему счастливый. Я наблюдал за ней и не мог поверить тому, как сильно она преобразилась за столь короткий срок, я было подумал, что эта ее веселость, ее неадекватная реакция – результат действия препаратов, но через пять минут, поговорив с ней, понял, что дело вовсе не в таблетках, все было проще: вчера в разговоре со следователем мама получила самый сильнодействующий и самый желанный наркотик для любого писателя – признание.

– У меня мурашки по коже от этой мысли, – сказала она. – Остается только один вопрос: кто он такой? И почему выбрал именно мою книгу?

– Это два вопроса, мам.

Марина

– Графт. Графт. Графт, – повторяла Саша на разные лады, словно пробуя слово на вкус. – Мне нравится, как оно звучит: такой причудливый симбиоз «граффити» и «графа Толстого».

Я посмеялась, думала, шутит. Оказалось, нет. Она действительно стала подписывать свои работы этим именем.

Не знаю, что-то было в этих сказках Нины Ходжаровой. Такие странные, сентиментальные. И Саша тоже полюбила их – с моей подачи. Настолько полюбила, что даже взяла псевдоним в честь одного из героев.

Это была ее идея, да: она давно думала сделать что-то подобное – откопать где-нибудь всеми забытую книгу и с помощью серии инсталляций и перформансов по всему городу сделать ее объектом пристального внимания прессы и властей – или даже, прости-господи, культа, если получится. Пусть поломают голову.

Вывести из забвения, понимаешь?

И главная цель такого действия – реакция автора книги.

[неразборчиво]

В смысле, представь только: ты написал книгу сказок – весьма неплохих, да что там, отличных сказок! – но она провалилась, – давным-давно, двадцать лет назад. А потом ты читаешь новости или включаешь телевизор и узнаешь, что по всему городу происходят странные вещи – твои сказки оживают. Точнее, оживают их ключевые, визуальные элементы.

Что ты почувствуешь?

Именно! Счастье. И это счастье – оно и есть цель. Оно и есть произведение искусства.

Да и с сердцами этими получилось весело. Ведь первое светящееся сердце она сделала как подарок на день рождения, чтобы порадовать меня – у нее тогда даже мыслей не было, что его можно будет использовать в качестве объекта искусства.

Я помню, держала сердце в руках, смотрела на него и не могла поверить, что оно не настоящее, настолько странно-реалистично оно выглядело, совсем живое – идеальные текстура, цвет, детализация – настолько точное воплощение, что аж до тошноты, до дрожи, до зуда в зубах хочется бросить, потому что мозг отказывается верить в реальность происходящего. И мое собственное сердце билось так бешено, что аж закладывало уши.

– Ух, господи! – сказала я. – Это ж если у меня от его вида

паническая атака, а прикинь, что будет, если его подбросить в мясную лавку, и кто-то случайно возьмет его в руки, а оно – фигак! – и засветится.

Саша смотрела на меня, склонив голову набок – она всегда смотрела так, когда обдумывала новую идею.

Вот так вскользь брошенная фраза стала основой первого перформанса анонимного художника Графта. И имя здесь идеально подходило.

Потом были и другие работы: мы, например, запустили в прессе эту утку, что в одном из московских роддомов родилась девочка, которая плачет музыкой. В смысле дышит, дышит музыкой. Как в той, другой сказке из книжки, помнишь? Абсурд, но нам поверили. В такую вот эпоху мы живем, магический, прости-господи, реализм.

Но даже этого Саше было мало, она искала новые возможности взаимодействия со зрителем, с тем, кто воспринимает и интерпретирует искусство, – и дальше, ну, дальше ее работы стали все сильнее загибаться в область политического акционизма.

Сегодня много пишут о том, что Саша целенаправленно боролась против режима Боткина, но это бред. Ей было плевать на него – на его месте мог быть любой другой птеродактиль.

Ее цель, говорила она, проверить Систему на прочность. Спровоцировать власть, заставить отвечать, реагировать на давление художника – и наблюдать за реакцией. Система, в ее понимании, – это не просто президент-парламент-силовики, но – сам организм государства; это огромное, наглое животное, дающее метастазы в головы граждан, и все работы Графта были заточены именно на то, чтобы создать как можно больше «точек напряжения», чтобы растормошить чудовище, заставить его шевелиться, совершать ошибки – и посмотреть, что будет дальше.

У нее был целый манифест. Серьезно. Она говорила так: в авторитарном, прости-господи, государстве искусство неотделимо от насилия.

Ну, то есть понимаешь, да? Риск – важная часть произведения искусства, риск – это душа автора. Журналист, который пишет статью, зная, что ему за нее могут пробить голову, такой же художник, как и граффитист, который с трафаретами ночью выбирается на улицу, зная, что его могут догнать и отмудохать товарищи майоры.

Все началось с той прекрасной акции на Девятое мая. Когда на Тверскую вдруг высыпали двести восемьдесят два загримированных под Боткина статиста. Идеальный пластический грим – неотличимые лица. Акция называлась «Хорошего человека

должно быть много».

[Вопрос]

О-о-о, ты даже не представляешь, как сложно было найти всех этих волонтеров, собрать в одном, прости-господи, месте и не спалиться при этом. Плюс уговорить выйти на акцию – это отдельная история. Они ведь знали, что их будут бить, смелые ребята, горжусь ими. Я потом как-нибудь расскажу, как мы их натаскивали. Там материала на полный метр. Я, кстати, с гордостью могу сказать, что семерых из них гримировала лично. И каждому из них рисовала родинку.

Короче, прикинь, Девятое мая, по Тверской едут танки, и вдруг – двести восемьдесят два двойника президента выходят на улицу. Все с орденами, в военной форме. Офанареть просто!

Особенно весело было наблюдать за тем, как их по улице гоняют товарищи майоры. И-де-аль-но.

Вот именно тогда впервые и прозвучало это имя – Графт. Именно он, коллективный Графт, придумал это.

А потом через месяц была еще шумиха – рабочие на городской свалке разравнивали кучи мусора бульдозером и откопали целую кучу трупов в военной форме. Вызвали полицию, и при осмотре выяснилось, что это вовсе не трупы, а манекены – предельно реалистичные, выполненные большим мастером. Восемнадцать копий одного и того же человека в форме полковника. И в кармане каждого манекена – визитка: «Неудачная попытка номер 1», «Неудачная попытка номер 2»… и так далее до восемнадцати.

История попала во все новостные сводки, люди всерьез обсуждали, что это значит, – почему манекены облачены в форму, почему у них желтые глазные яблоки и почему их восемнадцать? И самое главное: кто автор и что он хотел этим сказать?

Прокуратура, впрочем, жест Графта не оценила; они сразу же начали трясти все фирмы, занимающиеся пластическим гримом и изготовлением манекенов, и до нас «товарищи майоры» тоже дошли (она так всех полицаев называла, вне зависимости от звания или отдела: товарищи майоры), запугивали, требовали назвать имя автора «Неудачной попытки».

– А почему манекенов восемнадцать? Это типа восемнадцать лет правления Боткина? – спрашивала я и, не дождавшись ответа, говорила: – Слушай, все это ужасно весело, конечно. Но и опасно ведь. В смысле, для тебя. Специалистов такого профиля не так уж много. И все знают, что ты дружишь и работаешь с гиперреалистами. Если бы я была «товарищем майором», я бы

первым делом за тебя взялась.

Саша пожала плечами:

– Они и взялись, только у них ничего нет.

– Почему?

– Потому что выкинуть на свалку шестнадцать манекенов – это не преступление. Даже на хулиганство не тянет. – Она улыбнулась. – Расслабься, мы не делаем ничего незаконного.

«Мы». Я заметила эту оговорку. Она никогда не считала «Графтом» себя, для нее это был скорее символ – мы все, несогласные, были Графтом. Во всяком случае, именно так я поняла это ее «мы».

– К тому же, – добавила Саша, – полицаи утаили от журналистов всю информацию: в кармане у каждого манекена было еще кое-что.

Я вопросительно посмотрела на нее.

– Капсулы с гепатопротекторами, – сказала она.

– Зачем? – спросила я.

В то время метафора «президент – гепатит» еще только начинала набирать обороты. И следующая работа Саши – подписанная, разумеется, именем «Графт» – окончательно закрепила эту метафору в умах людей. Но для этого ей нужны были таблетки.

На них-то мы и погорели.

* * *

Саша редко и очень неохотно говорила о прошлом: иногда мне казалось, что даже сама фраза «А помнишь?» доставляет ей дискомфорт. Возможно, отчасти и поэтому мы так легко с ней ладили и находили общий язык: мы с одинаковым презрением и недоверием относились к прошлому. И все же, как ты понимаешь, избавиться от него невозможно – оно повсюду.

У Саши была эта, прости-господи, татуировка на левой лопатке – желтая лилия, небольшая, я могла полностью накрыть рисунок своей ладонью. Саше не нравилось, когда я прикасалась к этой лилии, словно мое прикосновение как-то нарушало ее личное пространство, пространство ее прошлого.

Татуировку эту она постепенно «исправляла» – ходила в салон к знакомому тату-мастеру, и он поэтапно превращал лилию в какой-то абстрактный рисунок в стиле Эшера. Работа непростая, да и у Саши времени свободного было немного, поэтому процесс «исправления» затягивался.

Тату-мастера звали Измаил – огромный такой детина, черная

борода лопатой, на лысине – татуха в виде лабиринта, кулаки размером с арбузы, рост такой, что с трудом проходит стандартный дверной проем – приходится наклоняться. Тело его почти целиком (на девяносто один процент, уточнял он) покрыто татуировками – в общем, выглядит как типичный стереотипный татуировщик из голливудского фильма. Но был один нюанс: на стене в его салоне, кроме гарпунов, огромных акульих челюстей и прочих атрибутов «Моби Дика» (салон был целиком и полностью стилизован под таверну из романа Мелвилла), висел красный диплом мединститута.

Студентом Измаил изучал генетику и нейробиологию, но так и не ужился с окружающими. «Тот случай, когда габариты поставили крест на моей карьере; где бы я ни находился, я всегда занимал слишком много места», – говорил он, посмеиваясь; и от его смеха все предметы на столах и стекла в оконных рамах начинали звенеть в такт его замогильному хохоту.

Это забавно, но более добродушного и открытого человека я в жизни не встречала; он словно был заперт в этом своем огромном, монструозном теле, оно мешало ему выражать себя. Когда в салоне были случайные клиенты (он называл их «чужаками»), то он старательно изображал из себя неандертальца и брутального мужика – харкал, матерился и называл всех, даже женщин, «братанами», словно переключался в режим гопника; когда же все случайные люди уходили, и оставались только мы, он позволял себе раскрепоститься: голос его чуть-чуть смягчался, он вынимал линзы и надевал свои «профессорские» очки с тонкой оправе и позволял себе говорить о тех вещах, которые его действительно волновали – о науке, генетике, о жизни вообще.

У него, кстати, был еще и удивительный нюх; знаешь, про Куприна же рассказывали, что он, просто втянув ноздрями воздух, мог многое сказать о собеседнике? Так вот, не знаю, правда ли все эти россказни про Куприна, но Измаил действительно умел так делать – он подходил к тебе очень близко и словно шмыгал носом, как бы резко вдыхал тебя. «Вдохнув» меня, он тут же сказал:

– Сертралин.

Я с ужасом посмотрела на него, он улыбнулся и приложил палец к губам:

– Не переживай так. Здесь нечего стыдиться. Я тоже их когда-то принимал. Ты, кстати, знаешь эту байку? Химики проводили анализ воды в Темзе, в нескольких местах, и помимо прочей дряни в пробах воды обнаружили алпразолам. – Он видел, что я не понимаю, к чему он ведет, и пояснил: – Весь Лондон на них сидит. Каждый второй как минимум; люди жрут так много

ксанакса и прозака, что активные вещества потом вместе с мочой попадают в Темзу. – Он засмеялся. – Прости, я знаю, это мерзкая история.

Все гиперреалисты собирались именно здесь, в баре при тату-салоне у Измаила, он всех нас знал и всегда был рад видеть. Мы быстро подружились с ним. Я иногда даже специально просила его понюхать меня и требовала, чтобы он еще что-нибудь обо мне рассказал.

– А ты знаешь, что три процента нашей ДНК отвечают за обоняние? – говорил он. – Для справки: три процента – это офигеть как много! Вся фишка в том, что бóльшая часть этих генов, этих трех процентов, нерабочая! Ты понимаешь, что это значит? Они просто есть, заложены в нас, но выключены, обесточены, как тумблеры в электрощитке. – Рукой он показал, как дергает за воображаемый тумблер. – То есть, возможно, в процессе эволюции нашего обоняния был период, когда мы могли чувствовать запах хищника или цветка за километры от нас; или, я не знаю, могли почувствовать уровень содержания железа в ручье, просто понюхав воду. Но потом настал момент, когда глаза стали важнее, мы (или, точнее, наши предки) научились различать тысячи оттенков цвета, и обонятельные гены просто выключились, перешли в режим ожидания – они как старые районы в городе, понимаешь? Районы, в которых раньше была жизнь, но потом что-то случилось (случилась эволюция), и эти «дома» бросили.

Ведь получается, что мы, люди, далеко не «венец творения», наоборот, мы носим в своих генах множество черновиков и неудавшихся, выдохшихся, устаревших идей; если представить, что ДНК человека – это роман, то это роман с кучей тупиковых, мертвых сюжетных линий и заброшенных, забытых персонажей, которых автор просто не потрудился убрать из финального варианта. Или вот другая метафора: знаешь, есть такие издания классических текстов – туда включены авторские черновики и комментарии; вот наши с тобой ДНК – это как раз вот такое издание, со всеми заметками на полях и исходными данными. И «неудавшиеся главы» внутри нас порой гораздо интереснее тех, что «удались», или, вернее, они гораздо информативнее: благодаря им мы знаем, что нас создавали методом проб и ошибок; триллионов проб и ошибок; то есть если (допустим) Бог есть, то об этих ваших муках творца он знает не понаслышке. – Измаил взял паузу, тер лоб, словно пытаясь вспомнить что-то. – Та же история, кстати, с китами и дельфинами, у них тоже есть обонятельные гены. Загвоздка в том, что эти гены точно так же находятся в отключенном состоянии и никак не работают при

формировании эмбриона. Ведь киты и дельфины получают информацию из воды, а не из воздуха.

– Измаил. – Я смотрела на него снизу вверх.

– Да?

– Я тебя обожаю.

* * *

Измаил много рассказывал мне о своем ремесле: вообще-то, исправить татуировку размером с ладонь – дело четырех-пяти часов, говорил он. Процедура называется cover up; по сути, это «замазывание» старой татуировки посредством нанесения поверх нее нового рисунка. В тех местах, где новый рисунок не попадает на старый, наносят либо фон, либо, в зависимости от объема, могут «забивать» белым пигментом, который потом немного выцветает и становится телесного цвета. Технология та же, так что боли ровно столько же, сколько и при нанесении на чистый участок кожи. Крови, в принципе, обычно немного, зависит от места, конечно, и от персональных особенностей человека, скорее бывает что-то типа слизи – смесь чернил и вазелина, который наносят на кожу перед нанесением татуировки, плюс мыльный раствор, которым татуировщик протирает кожу от как раз этой слизи.

Он даже разрешил мне посмотреть на то, как он «исправляет» тату Саши, но я сломалась уже на второй минуте; это довольно тяжело – смотреть, как близкому человеку делают больно, даже если сам он/она на это подписался.

– Пойду подышу свежим воздухом.

Я вышла на парковку, присела на «Харлей» Измаила и пару минут, как ребенок, делала вид, будто на полной скорости качу по магистрали сквозь аризонскую пустыню. И тут заметила, что музей через дорогу наконец открылся. Ну, то есть не совсем музей, конечно: в доме напротив была квартира какого-то русского писателя. Как утверждала табличка на стене: «В этом доме жил и работал русский писатель и драматург Иван Ликеев, и здесь же в сентябре 1937 года он был арестован»; о драматурге Ликееве я никогда ничего не слышала, а еще мне было скучно, поэтому из любопытства я решила зайти.

На входе мне выдали билет, замшевые бахилы и попросили не фотографировать. Всего нас было человек пять, и дама-экскурсовод с причудливой прической – ее грязные ломкие седые волосы сплющенным пучком закручивались на макушке и очень напоминали птичье гнездо – вела нас из одной комнаты в другую.

Внутри пахло ладаном. Мы следовали за дамой-гидом и слушали историю каждого предмета в доме. Мы видели кабинет Ликеева, его рабочий стол, огромное пресс-папье из зеленого хрусталя, бирюзовую чашку для карандашей (подарок Бабеля) и звонок для прислуги в виде черепашки.

– За этим столом Ликеев написал свою лучшую пьесу «Очевидение», – говорит дама-с-гнездом-на-голове, – когда кабинет переносили из одной комнаты в другую, стол и диван по просьбе писателя переносили туда же.

«Как интересно, – подумала я, – особенно учитывая, что этот стол вряд ли так уж легко пролезал в эти дверные проемы. И вообще, сколько он весит?»

И еще: сколько людей нужно, чтобы перетащить стол из одного кабинета в другой? Вопрос звучит как шутка, но мне правда интересно, и я пытаюсь уточнить вес и прочие характеристики стола у сотрудницы музея. Она смотрит на меня с подозрением, так, словно я задумала что-то нехорошее.

Там же, в углу, рядом со столом – огромный черный кожаный диван, на котором, как нам объясняет гид, родился сам Ликеев, его братья (включая знаменитого художника-реалиста Дмитрия Ликеева) и почти все его дети, кроме двух. Звучит впечатляюще – на этом диване, прости-господи, рожали писателя и художника – но я вдруг чувствую неловкость, смотрю на диван, и мне кажется, что у меня нет права знать о писателе такие интимные вещи. Я вспоминаю цитату из моего любимого романа «Попугай Флобера»:

«Отчего нас так тянет к реликвиям? Разве мы недостаточно верим словам? Или приметы прожитой жизни содержат в себе какую-то дополнительную правду?»

Мы идем дальше, в «комнату отдыха» – здесь стоят таз и кувшин для умывания, гантели, съемцы (специальный аппарат, чтоб снимать сапоги), шкафчик с лекарствами, «гигроскопической» ватой и сиропом от кашля, разбитое зеркальце, граммофон, резная деревянная чернильница, на стенах – копии фресок Рафаэля, на полках – множество книг, среди которых «Критика чистого разума» в оригинале и Коран (французский перевод). И тут я начинаю понимать: все это не просто экспонаты – это личные вещи. Личные. Ликеев трогал их, пользовался ими каждый день, делал заметки в книгах, загибал уголки, – и теперь все они здесь, под стеклом, – мумии вещей. И это странно, но я чувствую себя чужой в этой комнате, так, словно вошла без приглашения, нарушила чье-то личное пространство.

Как хорошо все-таки, что в девятнадцатом веке не было интернета. Вот уж чего я точно не хотела бы видеть, так это

восстановленной из кэша истории браузера с ноутбука Толстого или Достоевского.

Я снова вспоминаю «Попугая…» Барнса, и у меня пара вопросов по мотивам: почему вещи писателей мы ценим не меньше, а иногда и больше, чем, собственно, тексты? Ведь лучший – и единственный – способ приблизиться к автору – прочесть его книги, разве нет? Где тут граница между почитанием и фетишизмом? Есть ли она вообще, эта граница? Или я просто слишком много думаю? Неужели тот факт, что я видела диван, на котором рожали Ликеева (и его братьев и всех детей, кроме двух), может как-то обогатить мой опыт чтения его книг? Или – мой опыт per se?

Мы идем дальше – в комнату с арочными потолками, ту самую, где Ликеев написал другую свою пьесу «Притяжение», на потолке – стальные кольца. «Здесь была кладовая, – объясняет дама-гид. – И продукты подвешивали на крюках, в воздухе, чтобы мыши и крысы не могли добраться до них».

Тут есть какая-то метафора, но мне не хватает ума, чтобы ее сформулировать.

* * *

В тусовке гиперреалистов я быстро стала своей, хотя и не была художницей и даже, честно говоря, не стремилась ей быть. Меня все называли Саша + 1, и мне это даже нравилось. Единственный, кто недолюбливал меня, – Караташ. И я его тоже – не очень. Он часто заходил в тату-салон – вообще, именно там, у Измаила, чаще всего собирались гиперреалисты. И Караташ тоже, хотя внешне он, конечно, сильно выделялся на фоне остальных: всегда идеально черно-белый, гладко выбритый и выглаженный, и кожа на лице всегда жутковато-розовая, полупрозрачная, – заходил обсудить одну из своих будущих скульптур и оставался на целый день. Дико бесил меня. Он был гораздо старше Саши, во всяком случае, выглядел лет на сорок – сорок пять, не меньше, и тем не менее относился к ней с благоговением. Вообще, я быстро поняла, что Саша – важный для них для всех человек.

Она – она была как связующее звено. Знаешь, есть такие люди: они обладают мощнейшей внутренней гравитацией – ты попадаешь под действие их обаяния и ума и сам не замечаешь того, как твоя жизнь начинает вращаться вокруг них, как спутник вокруг планеты. Она была центром тяжести для всех гиперреалистов. И для меня.

Они с Караташем часто обсуждали что-то наедине, даже меня

не брали с собой сначала, я дико ревновала, конечно, но потом быстро поняла, что отношения у них совсем другие: сперва я думала, что Саша вроде как подмастерье Карataша, поставляет ему материалы, помогает работать над инсталляциями, но очень быстро поняла, что все наоборот – это он был ее оруженосцем.

Он как-то позвонил мне – голос смущенный, сдавленный, – мы с ним не очень ладили, поэтому звонок сильно меня удивил:

– У Саши что-то с телефоном?

– Эммм, не думаю, только что с ней говорила. Пять минут назад буквально.

– Понятно. – Неловкая пауза. – Скажи ей, что я все решил с таблетками. Будут через неделю. И ради бога, что за детский сад, она теперь все время на меня дуться будет?

– Прости, но я не совсем понимаю, о чем ты.

– Ладно. – Тяжелый вздох. – Просто скажи, что таблетки я устроил.

– Что за таблетки?

– Она поймет.

Чуть позже я узнала, что именно Карataш имел связи в фармкомпаниях и анонимно доставал для Саши материалы для ее работ. Такая схема – с посредником – позволяла ей сохранять анонимность. Первая ссора между ними возникла, когда Саша вместе с привычным пенолатексом, который они закупали у швейцарской фирмы Skin FX, включила в заказ пятьсот двадцать упаковок лекарств против гепатита А. Никто тогда еще не знал, зачем они нужны ей, эти таблетки, и зачем в таком количестве, но она пришла в ярость, когда Карataш сказал, что не сможет выполнить заказ в срок. Он объяснял ей, что могут возникнуть проблемы с сертификацией и вообще провезти такую партию лекарства под носом у Минздрава и Роспотребназдора, не оставив следов на бумаге и в сети, не так-то просто, если не сказать невозможно.

– У меня нет времени, – ворчала Саша, – выставка через три недели. Что ты мне предлагаешь? Ходить по аптекам и скупать все гепатопротекторы, что у них есть в наличии? Офигеть просто, это, конечно, совсем не будет выглядеть подозрительно, блин!

В итоге Карataш, уж не знаю как, нашел способ протащить в Россию несколько коробок этих проклятых таблеток.

И лишь потом, уже перед самой выставкой, я поняла, к чему все идет, – Саша не успевала закончить работу и попросила меня помочь. Огромный холст висел на стене в лофте, Саша стояла на стремянке и по одной осторожно клеила на него таблетки, я же сидела под лестницей на полу, вскрывала пачку за пачкой, выдавливала таблетки из блистеров в глубокую чашу со сколом

на ободке и протягивала ей – и так несколько дней напролет, с короткими перерывами на обед и сон, все силы бросили на эту картину, чтобы успеть в срок. К началу выставки я заработала цистит – так долго сидела на холодном полу, что это, разумеется, аукнулось проблемами с мочевым пузырем.

В итоге картина-из-таблеток стала главным экспонатом выставки и главным ее, прости-господи, скандалом. Многие ведь считают, что именно с нее начались, ну, эти «гонения на художников». Гонения, блин. Травля, вот что это было.

* * *

Картину быстро убрали. Без шума и пыли. Плевать, что холст имеет художественную ценность. Просто исчезла картина, прикинь?

Пришли товарищи майоры, оцепили все и вывезли все экспонаты к чертям.

Суки.

Но это еще мелочи.

По-настоящему дерьмо влетело в вентилятор, когда православные активисты в первый раз устроили погром на выставке работ Карataша. Мы узнали об этом из новостей, затем и сам Паша, заглянув к нам в студию, показал видео – там просто пиздец был.

Предводитель активистов, отец Пигидий стоял возле телеги с ампутированными руками и кричал, просто орал в камеру, как бешеный – вены на лбу, на висках вздулись, – я и не знала, что там бывает столько вен, – морда красная:

«Вот! Узрите! Они называют это искусством! Но что такое искусство? Должно ли оно вызывать отвращение? Тошноту? Нет, говорю я! Искусство должно нести свет и красоту! Оно должно радовать и наполнять счастьем! Вы видите здесь красоту?»

«Не-е-ет!» – подхватывала аудитория за кадром.

«Эта мерзость наполняет вас счастьем?»

«Не-е-е-е-е-ет!» – блеяли активисты.

– А где охрана? – спросила Саша, глядя на экран смартфона. – Почему ему позволяют выступать там? И вообще – этот мужик как-то странно на Гудини похож. Или мне кажется?

– Погоди, – сказал Карataш, – сейчас самый сок будет!

«Эти люди называют себя художниками! Но я говорю: они не художники, они лжепророки! – кричал отец Пигидий, красный рот его шевелился где-то внутри кустистой рыжей бороды. – Но может ли называть себя художником тот, кто отрекся от Бога?!

Дар художника – это Божий дар, недаром его называют Божьей искрой! Вы видите здесь искру?»

«Не-е-е-е-ет».

«И вы правы! Здесь нет искры! Здесь нет Божьего огня!»

В кадре появился еще один активист с алюминиевой канистрой в руках.

– Нихрена себе! – Саша чесала лоб. – Они что, правда собираются…

– Угу: господь, жги, – сказал Карataш. Смартфон в его руке дрожал.

– Нет, серьезно, где охрана? Полицию вызвали хоть?

Мы молча, с нарастающей тревогой, смотрели, как отец Пигидий поливает инсталляцию бензином. И только тут, когда уже в прямом смысле запахло жареным, вмешалась охрана. В кадре появились люди в синей форме, активисты кидались на них, началась потасовка, картинка затряслась и погасла. Пару секунд мы все по инерции смотрели на темный экран, словно надеясь, что картинка вернется и в кадре будут смеющиеся, ряженые активисты, они снимут кресты и рясы и, хохоча, хором закричат: «Сюрприз!» – а потом отец Пигидий отклеит от лица эту уродливую, напоминающую зассанный веник бороду и скажет что-нибудь вроде: «Ха, видели бы вы свои лица! Вы что, поверили, да? Серьезно, поверили, что истинный христианин, представитель церкви, верующий будет заниматься такими мерзостями? Ха-ха! Как мы вас подловили, а?» Но ничего такого не произошло.

Карataш включил еще одно видео, с другого ракурса, где видно было, что активистам все же удалось поджечь инсталляцию. Латекс мгновенно воспламенился, галерея наполнилась черным дымом.

– Их посадят, – сказала Саша.

– Неа. Официальный представитель РПЦ уже вступился за них.

– Чего-о-о-о?

– Ну, его попросили прокомментировать, и он сказал, что вообще-то поджог – это перебор, но работы мои и правда отвратительные и тошнотворные. Короче, максимум, что им впаяют, хулиганство. Потому что, судя по словам патриарха, художественной ценности мои работы не имеют и уничтожать их – дело богоугодное. Священная война, короче.

Саша с тревогой смотрела в окно. За окном – дерево, каштан, растущий наискосок, изогнутый временем, он словно тянулся куда-то.

– Крестовые походы начнутся.

– И что ты будешь делать? – спросила я у Карataша.

– Попрошу политического убежища. В США или в Швейцарии. Теперь это будет несложно. С таким-то видео на руках.

Карaташ бодрился, пытался шутить на эту тему, но я видела, как он на самом деле напуган. Причем пугал его не сам факт почти ритуального сожжения его работ мракобесами в рясах, его пугала реакция властей и официальных, прости господи, представителей церкви. Это был плохой знак, первый по-настоящему тревожный звонок, и Карaташ почувствовал это, и Саша, кажется, тоже. А я – нет. Я видела, конечно, что это явный перебор, но тогда мне казалось, что дно уже достигнуто и хуже уже точно не будет. В самом деле: фанатики врываются на выставку и под молчаливый одобрямс полиции сжигают работы художников, куда уж хуже?

А вот поди ж ты.

* * *

Карaташ попросил политического убежища в Швейцарии. Заявку удовлетворили через месяц, и мы с Сашей поехали провожать его в аэропорт. Он бодрился, без конца болтал, рассказывал о будущих проектах. Саша молчала и грустно улыбалась, кивала иногда. Было что-то странное в этом прощании – вроде бы все закончилось хорошо, и мы провожали друга в новую жизнь, но Карaташ совсем не выглядел счастливым. Даже довольным. И Саша – тоже.

И голос. Голос его – какой-то странный, словно извиняющийся. Лицо такое, словно его на электрический стул ведут, а он храбрится.

– Что такое? – спросила я, когда самолет швейцарских авиалиний уже оторвался от земли. – Что-то не так?

Саша молча теребила висящее на шее кольцо на цепочке. Когда мы вышли на парковку, я сразу увидела коричневые машины на той стороне дороги. И людей возле них. Люди приближались.

– Он меня сдал, – сказала Саша. Сняла с шеи кольцо и протянула мне. – Вот, возьми. Отдашь, когда вернусь.

Но она не вернулась.

Измаил

[интервью с хозяином тату-салона]

Я знаю людей. И знаю, что ты сейчас подумал: все говорят, что знают людей. Но я – не все, братан, я действительно неплохо шарю в людях. И в отличие от тебя, я не сужу людей по внешности. Нет-нет, не извиняйся, я все понимаю, братан. Огромный татуированный лысый бугай – на такого, как я, очень легко повесить ярлык.

Мне шестьдесят три, и за свою жизнь я видел и делал столько всякого говна, что хватило бы на десяток книг. Знаю, что ты думаешь: все так говорят.

Но знаешь что, братан: нахуй всех, кто так говорит. Когда ты вошел в мой салон, я по тому, как ты толкаешь дверь, понял, что ты безобидный пиздюк и в последний раз ты дрался лет в тринадцать. Это легко понять – мимика тела.

Плюс запах. Химиотерапия и целое соцветие таблеток – ты пахнешь больницей. Дай угадаю: рак печени. Метастазы? Мне жаль, братан.

Книгу?

Ты типа писатель? Ха-ха.

А про кого книга?

Графт?

Да.

Нет.

Ты удивишься, но татуировки необязательно должны что-то значить. Тюремные – да, зэки чуть-чуть ебнутые на символизме и прочем, у них тело – главный документ, у них с этим строго. Но в остальном. Вот свои первые татухи я ваще делал наобум. Особого смысла в них не было, я был маленьким пиздюком и хотел что-то сделать со своим телом. Самая первая – вот эта **[показывает надпись на левом предплечье поверх ветвящихся вен – красивый каллиграфический шрифт: Call me Ishmael]**. Да, знаю, банально, чо, но я ж, это, не претендую, братан. Мне было шестнадцать, – комплексы, вся хуйня, – и я хотел сделать свое тело уникальным – обычный юношеский долбоебизм. Плюс «Измаил» – мое имя, так что имею право, нахуй тех, кому не нравится.

[Вопрос]

А?

[Вопрос]

Да не, это тупо, я больше надписей не делал на теле. И тем более цитаты из книжек на себе набивать – это дно. Хотя не, погодь, это я гоню, была одна надпись. Всего одна. Женское имя **[оттягивает воротник майки, показывает рисунок сразу под ключицей, слева – колючая проволока спиралью обмотана вокруг вскинутой руки]**. Вот здесь было. Ужасная, блядь, ошибка. Набивать татухи с именами баб – это ебаный стыд. И я, братан, испытал это на себе. Именно поэтому я раз в месяц бесплатно свожу кому-нибудь одну татуировку с бабским именем – это моя благотворительность, – и желающих много, поверь. Но я, как видишь, выкрутился, чо. Превратил буквы ее имени в витки колючей проволоки. Изгнал ее из своего тела на символическом уровне.

[Вопрос]

Ух, йопт, поверь, братан, ты не хочешь слышать об этом: представь себе самые ебанутые отношения в истории и умножь на ебучий квадриллион. Причем я ведь не уникален: у всех бывал такой пиздец – больные и грязные отношения, в которых один партнер с оттягом вытирает ноги о другого, а тот, другой, убеждает себя, что вытирание ног – признак самой искренней любви и привязанности. «Бьет – значит любит» на каком-то своем больном символическом уровне. Сейчас я уже и сам охуеваю от того, что добровольно шел на эти унижения. Это как с бухлом: ты знаешь, что будет похмелье, но все равно зажимаешь нос и вливаешь в себя эту дрянь – типа она притупляет боль и плохие мысли; хотя на деле все наоборот: когда отпустит, боль будет такая, что подоконник грызть начнешь. И мыслей плохих жопой ешь. Я даже благодарен ей сейчас…

[Вопрос]

В смысле кому? Этой бляди. Ты меня ваще слушаешь?! Ланлан, прости, братан, ты тут ни при чем. Тяжелые, с-сук, воспоминания. Я даже набил татуху – что-то вроде оберега **[показывает на левый висок – зачеркнутая химическая формула]**. Знаешь, что это? Формула морфина. Мой личный религиозный символ. Тотем и табу. Специально набил поближе к височной доле мозга. Каждое утро смотрю в зеркало и вижу его.

Мое напоминание о том, что, с-сук, боль – это всего лишь химическая реакция. Боль – это шлюз в стволе мозга, набор синапсов.

Серьезно, братан.

[Вопрос]

А да, да, прости, братан. Графт. Ты ведь про нее книгу пишешь, да?

Если кратко: ебнутая была наглухо. Так и запиши там у себя **[смеется; смех у него тяжелый, низкочастотный, словно гул сабвуфера при максимальной громкости]**. Не, братан, я шуткую, канеш. Но. Она ебнутая была. И в хорошем и в плохом смысле. В хорошем – потому что, с-сук, была гениальна, из тех людей, кого боженька в темя поцеловал. И я не только о ее работах говорю, но и ваще, знаешь, о масштабе фигуры. Эта аура. Радиация личности. Она излучала силу, тестостерона в ней было больше, чем в тебе. Без обид, братан. Знаешь, такое, что, кажется, сейчас она посмотрит на бутылку – и бутылка лопнет к хуям. Типа вот как телекинез, только на более больном символическом уровне. Она меня пугала. Я не прикалываюсь, братан; в смысле ничего угрожающего в ее поведении не было. Это что-то нутряное, архетипы, вот это все. Типа вот как у тигров; тигр может просто лежать и вылизывать себе лапы, и вроде он весь из себя такой спокойный и умиротворенный, но мы-то с тобой знаем, братан, что тигры, с-сук, опасные, блядь, существа. Вот и с Сашей было так же. Она пришла ко мне однажды, свести татуху. И я сразу все про нее понял – по запаху. Она вошла и как бы заполнила собой все пространство, с-сук. Не в том смысле, что от нее воняло, а, знаешь, типа на больном символическом уровне. Потом пришла еще одну тату свести. У нее был этот бзик – в молодости наделала стремных татух и потом всю жизнь ходила и сводила их, как будто хотела переиграть все, перезагрузить свою кожу. У нее процентов двадцать кожи было забито белым пигментом – сплошные сведенные татухи, выглядело как стремная экзема. Короче, стремно было, да.

[Вопрос]

А Марина, да, Марина появилась где-то за год до. До того, как начался весь этот ебаный пиздец. Как-то сама собой появилась. Хрупкая такая, знаешь, тонкие запястья, схвати – и сломаешь. Марина хвостом за ней ходила. В смысле за Сашей. Вот прям как утенок за мамой. Они ж еще похожи были внешне, как

сестры, и все шутковали, что, мол, эта их любовь – это такая, знаешь, изощренная форма нарциссизма. Странная пара. Саша, она, мож, и была такая худощавая и чахлая, но на деле – ходячий гром, мощь такая, что трансформаторные будки сгорают, если она мимо проходит. И вдруг с ней – Марина, этот запуганный подросток. В смысле ей лет двадцать было или больше даже, но выглядела, как школьница. Глаза огромные, смотрит на тебя так, что, с-сук, вся скорбь мира через тебя проходит. Как олененок Бэмби через секунду после того, как его маму грохнули. Ну, в этом, в мультике этом, помнишь?

[Вопрос]

Не знаю, что там тебе уже наболтали про них, но я тебе так скажу: это были больные отношения, братан **[стучит пальцем по виску с зачеркнутой формулой морфина]**. Уж поверь, я в этом, с-сук, разбираюсь. Взаимная зависимость. Я ж говорю, Саша ебнутая была наглухо, на всех уровнях, она не умела общаться – она приказывала, нависала над людьми, давила их харизмой, шантажировала. И все это не со зла, просто такой характер. Знаешь, вот есть люди, у которых проблемы с зеркальными нейронами? Вот она такая была.

И вот при ней эта Марина. Бегает, с-сук, как служанка. Ее было пиздец жалко. Я вроде как увидел в ней себя, знаешь. Такой же пиздюк был по молодости. Забитый затравленный взгляд, и это болезненное, неестественное желание прибиться к тому, кто сильнее, спрятаться в его тени. Проблема в том, что чаще всего в этой тени еще хуже, чем… чем где угодно. На войне не так опасно, как в тени жестокого человека.

Я пережил все это, братан. Я, с-сук, знаю, каково это. И это хуево, поверь мне на слово. Хуево – здесь самое верное слово. Когда уродливую пустоту внутри себя пытаешься заполнить другим человеком и начинаешь служить ему. Я думаю, здесь много общего с этим, – ну, знаешь, – с религиозным чувством. Именно так и было, братан. Саша была для Марины чем-то вроде идола для папуасов. Знаешь, когда так замыкаешься на человеке, что и сам начинаешь верить: все хорошее – благодаря ему; а если что-то плохо – значит, ты просто плохо стараешься угодить; надо угождать еще лучше-сильнее-больше. Угождать-угождать-угождать.

Это как Душечка. Только гораздо хуже. Душечка – она же, с-сук, тоже растворялась в своих мужиках, но для нее в этом служении был кайф, она не страдала. Она радовалась.

А я – я, братан, сейчас говорю о другом уровне служения – когда растворение в другом человеке по уровню боли похоже на

растворение в серной кислоте.

Я, с-сук, видел все это. Так себе зрелище. Что ни спроси у нее – ответ всегда один:

«Марин, а что ты делаешь завтра?» – «У Саши выставка, я буду готовить экспонаты».

«Марин, ты куда?» – «Надо съездить на Никитский, забрать лекарства для Саши».

И все у нее так: Саша, для Саши, у Саши, про Сашу, Саша-саша-саша-саша.

Шла Саша по шоссе, а за ней – Марина.

А когда спрашиваешь: «Нет, Марин, про Сашу я все понял, у тебя-то самой как дела, как самочувствие, ты в порядке?» – а она смотрит так, словно ты задал какой-то, с-сук, запредельно неприличный вопрос – про ее вагинальные выделения или типа того. Нарушил какой-то, блядь, закон.

Только подумай, братан. Насколько внутренне изувечен должен быть человек, чтобы просто вопрос в стиле «как дела» вызывал у него панику, страх, возмущение?

И собсно, поэтому они и грызлись вечно с Караташем. Он ведь тоже все видел. И постоянно травил Марину, называл ее ручной обезьянкой, той-терьером – они, с-сук, чуть ли не насмерть подрались однажды. Она его бутылкой по голове ухуячила, а он ей с ноги в живот. Еле разнял. Я этому пидору потом по-тихому сказал, что башку его турецкую, как арбуз раздавлю, если еще, с-сук, хоть раз услышу хоть одно слово в адрес Бэмби.

Егор

Итак, мне предложили работу. Или, точнее: сделали предложение, от которого я не смог отказаться. И я попал в Компанию, в шестой отдел.

Почему именно в шестой, спросите вы, и чем занимаются первые пять? Я задал тот же вопрос, но мне посоветовали заткнуться.

Когда мы вышли из кабинета полковника, этот гусь в черной водолазке – Иван Ильич Шумский – протянул мне визитку.

– Приедешь завтра по этому адресу. Тебя встретит парень, зовут Константин. Он все покажет. Не пропадай.

Это его «не пропадай» звучало зловеще. Я смотрел ему вслед и думал: D – это он? И вообще: неужели все это устроил D?

* * *

Офис Компании (серьезно, мы так ее и называли между собой – даже в переписке – просто «Компания», с большой буквы) располагался в краснокирпичном здании бывшего завода времен СССР – ну, знаете, огромные окна, высокие потолки, гигантские дверные проемы, – все было сделано для того, чтобы человек внутри чувствовал себя маленьким и незначительным винтиком в большой машине, направляющейся в светлое социалистическое будущее. Напротив главного входа на небольшой площади какой-то памятник – трехметровый цементный куб. И никакой таблички. Никто толком не знал, зачем эта хреновина там стоит. Есть версия, что куб этот – на самом деле постамент для памятника основателю кирпично-красного завода, но 1) то ли памятник снесли во время перестройки, 2) то ли забыли установить; подробностей никто не знал, а куб так и стоял годами на площади, зарастал плесенью и мхом, огромный, серый, без опознавательных знаков. Какой-то уличный художник пару лет назад ночью покрасил куб в желтый цвет, нарисовал несколько черных дырок, как в швейцарском сыре, в одной из дыр пририсовал мышонка из мультфильма «Том и Джерри», читающего книжку с буквой «V» на обложке. Муниципальная служба смыла граффити с куба уже на следующий день, но название прижилось, с тех пор проклятый куб местные называли не иначе как Памятник Сыру, или просто ПС. Даже таксисты знали эту байку и прекрасно понимали, куда ехать, когда клиент просил довезти до ПС.

На той стороне площади, за ПС располагалась кофейня «У черта на куличках». Я не прикалываюсь – это официальное название; местные называли ее просто «У черта», а православные активисты раз в месяц устраивали акции протеста у входа, требуя сменить название на более богоугодное; протесты верующих делали кофейню еще более популярной. По сути, это была обычная хипстерская кофейня в стиле лофт: стулья, подернутые декоративной ржавчиной, индустриальное освещение, лампочки-эдисоны с изогнутыми вольфрамовыми нитями, столы из ценных пород дерева и чугунные трубы, торчащие из стен, за кассой – молодые люди с аккуратно смазанными барсучьим жиром бородами. Ничего особенно чертовского там не водилось; разве что соевое молоко и веганский бургер. Сюда меня и привел тот самый Костя после экскурсии по офису. Костя сильно выделялся на фоне хипстеров: растрепанный, бледный, в рубашке с принтом ярким и причудливым, как псилоцибиновый трип. Нижняя губа, распухшая, словно от укуса пчелы. Сперва я думал, что он ее просто прикусил случайно, но потом понял – нет, у него действительно такая губа. Всем губам губа – от нее сложно отвести взгляд.

– В офисе кофе лучше не пей, – говорил Костя, пока я старался не смотреть на его губу, – его там делают из молотых грязных носков. И это почти не шутка. А вот в «Черте» кофе что надо. Эспрессо вообще адский. В хорошем смысле. Крепкий стаф.

– Какие странные названия у вас тут. Памятник Сыру, «Черт».

– Это еще что. Знаешь, как называется здание, в котором мы сидим? Мышеловка. Бывший завод по производству мышеловок и шпингалетов. Долго пустовал, а потом его купили, переделали в лофт и стали сдавать под офисы. Но название осталось.

Именно здесь, сидя в «Черте» у окна с видом на ПС и Мышеловку, Костя и рассказал мне о том, как он сам попал в Компанию.

В конце нулевых он учился в МГУ на факультете ВМК (вычислительной математики и кибернетики) и параллельно посещал спецкурс «виртуальное зрение», затем пробился в лабораторию компьютерной графики и мультимедиа при факультете, именно там он впервые поучаствовал в экспериментах по машинному обучению и узнал о нейросетях. Сама идея алгоритма, который может переписывать сам себя и совершенствоваться без участия человека, завораживала его. Кроме того, там же в лаборатории Костя и разработал свой первый алгоритм по распознаванию лиц.

– Строго говоря, на эту идею меня натолкнул мой наставник. Он писал научную работу о программах, способных распознавать

пол человека на фото. Я взял его исходный код, расковырял его и написал на его основе свой.

Алгоритм был сырой, данных мало, на тот момент у Кости просто не было необходимых ресурсов и мощностей для развития этой идеи, и он на время ее отложил.

Окончив университет, он отправил резюме в какую-то серьезную софт-компанию, типа Adobe, успешно прошел собеседование и отправился в Голландию, где три года проработал в одном из филиалов. Дома после работы в качестве хобби он продолжал совершенствовать свою нейросеть. Зарплата позволяла наращивать мощности и покупать место на серверах, и так он разработал свою первую систему распознавания – пока не лиц, но узоров на крыльях бабочек.

Костя с детства был страстным энтомологом, поэтому, работая с системами распознавания образов, он первым делом вспомнил о чешуекрылых: вручную разметил несколько сотен фотографий крыльев бабочек и начал тестировать систему – результат превзошел все ожидания, его нейросеть легко распознавала виды бабочек на фотографиях и видеозаписях, даже очень некачественных. Затем то же самое он проделал с кошками и создал алгоритм, способный по фотографии определить породу кота. Его лучший друг, Егор по кличке Не-кантовать, собрал из всего этого приложение и выложил в сеть. Тогда-то с ними и связался Иван Ильич Шумский, основатель и глава Компании.

– Он предложил встретиться и за полчаса убедил меня в том, что мой алгоритм – самое важное и прорывное достижение индустрии за последние десять лет. Ха-ха. Иван Ильич умеет толкать речи, да.

Вы, говорил Иван Ильич, будущее. У меня очень влиятельные покровители. Люди там, наверху, не дураки, они понимают, что Сеть (с большой буквы, да) растет и дает огромные возможности, поэтому они сейчас вкладывают большие, огромные деньги в технологии, в искусственный интеллект и в естественный тоже – то есть в вас, друзья мои. Это все ради вас, аванс, и все, что от вас требуется, – творить, создавать новое. Последние три года ты тренировался на кошках и бабочках, Костя, пора переходить на людей.

– И вот мы здесь, в офисе на юге Москвы. – Костя отпил из стакана. – Иван Ильич классный. Странный, но классный. Ты привыкнешь. Косит под Джобса немного – водолазка эта его, одет всегда в черное, очки с круглыми линзами, – но ему можно, он действительно очень широко мыслит. Визионер. Ну ты понял. А еще он пьет и ест только продукты зеленого цвета – бзик у него такой. – Костя рассмеялся.

Довольно странно слышать, как над чужими бзиками потешается человек, который каждый день приходит на работу в рубашках с кислотными галлюциногенными принтами, хотел сказать я, но промолчал. К тому же сам я в детстве ел только еду круглой формы, поэтому прекрасно понимал людей с обсессивно-компульсивными расстройствами.

– И если он взял тебя, значит, он что-то в тебе увидел.

– И что я должен делать?

* * *

В первый же рабочий день у меня начались проблемы. Мне выделили компьютер и канал связи, дали доступ к серверам. Ради любопытства попытался просканировать систему и обнаружил, что наши сервера разрешают анонимные AXFR-запросы, – я полез дальше, но сработала защита, и комп отрубился. Через полчаса в офисе появился Иван Ильич и позвал меня «на пару слов».

– Какого хрена ты делаешь?

– Я?

– Сканируешь мою сеть?

– Я, эээ…

Он выглядел очень спокойным, даже голос тихий. И это почему-то особенно пугало; исподтишка я разглядывал его: какая странная у него форма головы, думал я, остроконечная, как будто яйцеобразная. Вытянутая, как у индейца майя. Или это просто волосы так растут?

– Слышал выражение: самый легкий способ быть обманутым – считать себя умнее других?

– Иван Ильич, я…

– Иди отсюда.

Весь красный от стыда и унижения, я вернулся к своему столу. Костя вытащил один наушник, посмотрел на меня, усмехнулся.

– Что – сканировал сеть? И увидел, что сервера разрешают анонимные AXFR-запросы, ха! Типичная ошибка новичка.

– Не паникуй, все норм. Мы все на это попадались, – сказал Витек; еще один местный программист, его стол рядом с моим; обычно он ни с кем не разговаривал, просто сидел, отвернувшись к стене с компом на коленях, на голове – огромные белые наушники, а в них – статические шумы такой силы, что я слышал ритм басов и ударных – кажется, Sigur ros. – Первое, что делает хакер, попадая в новую сеть, сканирует ее.

– Но…

– Иван Ильич ведь тоже не дурак. Он знает, кто мы и на что способны. Это была ловушка, чувак. Тебя заманили в нее и дали по носу. Чтоб впредь знал, что любая дыра в системе может быть ловушкой, и не лез не свое дело. – Костя усмехнулся. – А ты что думал? У него, – показал пальцем в сторону кабинета шефа, затем постучал пальцем по виску, – ай-кью за 180. Не шути с ним. Кроме того, в каждый комп всторен контроллер трафика – шаг влево, шаг вправо, и тебя отрубают от сети.

* * *

Первое, что бросалось в глаза, – крайняя закрытость, герметичность Компании. Структурно она напоминала подпольный кружок – куча отдельных «ячеек», где никто не владеет всей информацией. Шесть этажей, более четырех тысяч квадратных метров и, если я правильно посчитал, почти триста (а может, и больше) сотрудников. Контроль на входе очень строгий, рамки-металлоискатели, протаскивать свое оборудование строго запрещено, у каждого именной смартфон, одобренный Компанией, и именная магнитная карточка, пройти с которой можно только на свой этаж; мы были на шестом – девять человек, элита, интеллект, мозги, в одном офисе с хозяином; под нами, если я правильно понял, пять этажей рабочей силы – программистов, инженеров, технарей. Общаться с ними нам запрещали. Все это, конечно, граничило с паранойей, но в целом я понимал логику: начальство отсекало любую возможность несанкционированного слива данных и промышленного шпионажа.

Лишь проработав в компании два года, я впервые получил доступ на пятый этаж и смог встретиться с командой программистов, работавших над моим алгоритмом.

Впрочем, я бы соврал, если бы сказал, что атмосфера «на шестом» была угнетающей. Как раз наоборот: обычно работа в офисе, особенно если это работа программиста – дело довольно тихое и унылое, ты просто сидишь перед экраном и долбишь по клавиатуре до тех пор, пока не заболят суставы и глаза, пока звезды в ночи не начнешь путать с битыми пикселями. В Компании все было иначе – это звучит странно, но мне действительно нравилось там работать (во всяком случае, до тех пор, пока нас не подмяло под себя Минобороны), мы постоянно находили способ как-то развлечься и выпустить пар.

1. Один из программистов ради смеха написал «Генератор Идиотских Никнеймов»: и каждый день, заходя в офис, мы все

запускали ГИН, получали бейдж со случайно сгенерированной кличкой и целый день откликались только на нее. И знаете что? Иногда это и правда забавно, когда тебя весь день называют не Егором, а Триста рублей, а ты своих коллег называешь: Некантовать, Всесильная Курага или Сын полкана, Оркестровая ямочка, Субатомный ёж, Очень большой пупок, Эдвард-волосатые-руки-ножницы, Эвелина Вау и ее брат Оскар, Осторожно-двери-заколочены и так далее. Глупо, но весело.

2. Еще у нас была специальная стена, которую мы использовали, чтобы снять стресс, выпустить пар и просто оторваться по полной, – в нее каждый мог швырнуть что-нибудь, как правило, шарик с краской: они лежали рядом в больших стеклянных блюдах из ИКЕА, похожие на огромные драже M&Ms. Эту стену мы называли Джексонполлок.

3. Чтобы кровь в ногах и мозгах не застаивалась, Иван Ильич ввел моду на смену обстановки: каждую неделю он назначал одного из нас Верховным Дизайнером или сокращенно ВД. ВД получал полный карт-бланш на смену обстановки и купон, дававший возможность заказать два новых предмета интерьера в утвержденном списке магазинов мебели – цена не имела значения, купон был безлимитный. Эта игра в ВД уже через год превратила наш офис в настоящий музей инфантильности – каждый новый ВД пытался переплюнуть предыдущего, в итоге каждую неделю в офисе появлялись все новые и новые безумные предметы интерьера: в углу стояла раритетная гильотина с работающим подъемным механизмом (мы даже иногда использовали ее для нарезки овощей для салата), под потолком висели светильники в виде светящихся эритроцитов, в комнате отдыха располагалось «кресло Мёбиуса», скелет тираннозавра (мы называли его Гоша и в пасти у него хранили столовые принадлежности), диван в виде огромной желтой уточки, книжный стеллаж, стилизованный под игру в тетрис, и «кресло Супер Марио», собранное из кубиков Лего, вешалка в виде чучела оленя, а также детская горка и боксерская груша с программируемым поведением – когда ее лупили, она разговаривала: «Да, вот, так, врежь мне еще разок! Ты такой сильный!»; сначала эта груша всем нравилась, но очень быстро надоела; в конце концов, это довольно противоестественно и крипово – слушать, как во время отработки ударов груша просит тебя отлупить ее посильнее, поэтому мы ее убрали.

Короче, уже через год после введения еженедельной должности ВД наш офис стал похож на смесь фантазии ребенка и лизергинового трипа. Иван Ильич молча наблюдал за нами сквозь стеклянную стену своего огромного кабинета-аквариума – он явно

был доволен тем, как используем наше рабочее пространство: эта его задумка действительно повысила нашу производительность, работать в такой атмосфере творческого безумия – одно удовольствие.

* * *

D вновь появился в сети спустя полгода после моего прихода в Компанию. Я стал расспрашивать его о ней.

D: с чего ты взял что я работаю на Компанию Colin Laney: ну во первых ты только что назвал ее Компанией. С большой буквы. Так ее называют только сотрудники.

D: браво шерлок

Он долго не отвечал, снова пропал на полгода. Как будто обиделся. И когда вернулся – опять стал вести себя странно:

D: егор это очень серьезно послушай меня

D: я заслал тебя в Компанию не просто так ты мой агент время пришло мне нужно чтобы ты открыл мне доступ к вашим серверам это важно

Я смотрел на экран и буквально чувствовал, как потеют подмышки. Несколько раз набирал ему ответ и тут же стирал.

D: у нас нет времени быстрее они уже идут

Я в ужасе озирался: какого хрена здесь происходит? Он это серьезно?

D: я вытащил тебя тогда спас от тюрьмы дал работу помнишь

D: время отдавать долги открой доступ открой доступ открой доступ открой доступ открой доступ открой доступ открой доступ открой доступ

Что я мог ответить на это? Неизвестный мне человек требует открыть доступ к внутренней информации Компании, то есть совершить преступление – а как бы вы поступили? Все было даже хуже: доступа к серверам у меня не было, в Компании очень строго относились к возможным утечкам.

Я сидел перед монитором и чувствовал, как постепенно закипаю изнутри от стресса и нерешительности. И тут:

D: хаха
D: видел бы ты свое лицо

Он прислал мне скриншот – фото моего лица, сделанное на вэбку в моем ноуте.

Colin Laney: мудак
D: прости мне было скучно

Я показал в камеру средний палец, достал из кармана бактерицидный пластырь и заклеил ее.

Colin Laney: слышал историю о мальчике, который кричал «волк»?
D: о да эта грустная история про мальчика с синдромом туретта только он не волк кричал он кричал идите все нахуй

Это было странно: мы с D общались много лет, исключительно в чате, я не знал ни его имени, ни возраста, ни пола. И тем не менее я искренне считал его своим лучшим другом. Эта дистанция – анонимность – нисколько меня не смущала, наоборот, как истинный интроверт/социофоб, я избегал личного общения с людьми и мог по-настоящему раскрепоститься лишь в переписке.

Меня вообще никогда особо не тянуло к людям.

В Компании я проработал десять лет четыре месяца и двадцать дней, за это время я общался (а под общением я понимаю не просто бесполезный треп/сплетни или «привет-пока», а настоящий обмен информацией и/или эмоциями, то есть нечто такое, что предполагает вовлеченность) всего с семью людьми – включая Костю, Ивана Ильича и охранника Борю, с которым мы очень подружились. Со всеми остальными я в общей сложности перекинулся максимум двумястами словами.

Я снял (а позже, через три года, купил) квартиру недалеко от офиса Компании на улице имени 6-го Подвига Геракла (серьезно, есть и такая улица) и каждое утро ходил на работу и обратно пешком – я тщательно простроил свой маршрут, чтобы, не дай бог, не заблудиться; я знал, что ходьба полезна для сердца, и каждое утро, если верить шагомеру, проходил четыре километра семьсот метров туда и пять километров сто метров обратно; лишние триста метров на обратном пути – это мои заскоки в магазин за продуктами: 1) молоко, 2) сыр, 3) шведские хлебцы, 4) шоколадки «Киткат», 5) замороженная овощная смесь, 6) креветки, 7) остальное опционально.

И за десять лет четыре месяца и двадцать дней я выучил маршрут вплоть до мельчайших деталей, я мог бы повторить его с закрытыми глазами:

– выхожу из подъезда, дальше налево – двести шагов, ныряю в пропахший псиной подземный переход, стены которого выложены дешевой плиткой для санузла, обычно там сидит одноногий мужик и на баяне играет главную тему из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», но возможны варианты;

– потом пятьсот метров по прямой мимо решеток вентиляции, из которых зимой шарашит горячий воздух, и потому там вечно околачиваются бомжи. Особенно зимой, в морозы;

– дальше через перекресток, слева заброшенная колокольня, которая торчит здесь, как сгнивший зуб, – отреставрировать ее не могут (нет денег), снести тоже (культурное наследие), вот и стоит здесь, полуразвалившаяся и обнесенная чахлым забором из профнастила, и всем своим видом словно извиняется: «Простите великодушно, что порчу городской пейзаж»;

– затем еще километр по прямой, и здесь бешеными темпами строят буддийский храм. Скаты крыш еще не готовы, но огромная каменная статуя Будды уже медитирует и меланхолично смотрит на дорогу. Говорят, что наш президент в последнее время очень увлекается всеми этими восточными практиками и вот даже получил благословение далай-ламы на строительство храма;

– далее очень известный в нашем районе караоке-бар под названием «Пляши и беляши»; известен он в основном своим названием, хозяин бара (и по совместительству автор названия) утверждает, что «беляши» – это глагол, который означает «отрывайся в мясо»;

– потом поворот направо, и здесь на углу – тату-салон «Измаил», там на входе замечательная табличка: «Татуировку с именем бывшей/бывшего выводим бесплатно»;

– а дальше – в качестве контраста – дом-музей Ивана Ликеева; табличка на входе утверждает, что Ликеев – великий писатель, классик русской литературы XIX века, проблема в том, что Гугл о существовании Ликеева ничего не знает и по запросу находит лишь какого-то другого Ликеева – художника. Однажды я зашел в музей и как бы между делом во время экскурсии посетовал даме-экскурсоводу на то, что не могу найти ни одной книги Ликеева в интернете; дама окатила меня презрительным взглядом и сказала:

– Молодежь! Никакого уважения к традициям!

Я осторожно заметил, что это не ответ на мой вопрос, на что дама разразилась руганью и потребовала от меня покинуть помещение дома-музея великого писателя земли русской. С тех

пор я больше туда не возвращался, хотя хожу мимо этого загадочного здания каждый день и каждый день размышляю о том, что же такого написал Ликеев и почему запросы о нем в интернете не дают никаких результатов; писатель Шредингера, не иначе;

– собственно, через сто метров после дома-музея сворачиваю на ту самую площадь, захожу в «У Черта» за кофе, а дальше – мимо ПС и – вуаля! – я на работе.

* * *

Что же касается личной жизни, я трижды пытался завести отношения с женщинами. С первой своей девушкой я познакомился именно в «Черте»; это случилось как раз после того случая, когда меня выгнали из дома-музея Ликеева. Не знаю, что на меня нашло тогда: мне понравилась девушка, я просто взял и пригласил ее на свидание, а она взяла и согласилась. Ее звали Лена, и мы встречались три месяца и двадцать два дня, за это время мы сорок один с половиной раз занимались сексом, и четыре раза ссорились в пух и прах, в последний раз ее взбесила моя привычка подсчитывать все, что я делаю, включая коитус. В конце концов она назвала меня «скользким» и «холодным» и хлопнула дверью. И если с холодностью я готов был согласиться, то «скользкость», на мой взгляд, – это сильное преувеличение.

Нет, правда, а почему людей так бесит моя привычка подсчитывать все, что со мной происходит? Это мой способ сохранять контроль, бороться с энтропией, что в этом плохого?

Вторую мою девушку звали Виктория, и с ней я познакомился однажды в декабре. Она навернулась на льду и больно ушибла колено, – случилось это как раз напротив дома-музея Ликеева, что натолкнуло меня на довольно странные размышления о том, как много места занимает этот несуществующий писатель в моей жизни. Я помог девушке подняться и отвез на такси в больницу.

Мы встречались с ней пять месяцев и двадцать четыре дня, и все это время я тщательно скрывал от нее свою привычку все подсчитывать, потому что к тому времени понял, что женщин это дико бесит; особенно подсчет количества сношений (в скобках замечу: опытным путем я выяснил, что слова «сношение» и «коитус» их тоже бесят). С Викторией у нас не сложилось вовсе не потому, что я был «холодным» и «скользким»; она нашла во мне другие недостатки. Я был для нее недостаточно мужественным: не мог забить гвоздь, починить дверную ручку, прочистить засор,

отрастить бороду, отремонтировать стиральную машину, перестелить и отциклевать паркет – короче, мужчина, в ее понимании, – это такой волосатый, вонючий чернорабочий, который спит в обнимку со своим ящиком с гаечными ключами и отвертками. И каждый раз, когда я предлагал вызвать специалиста, она презрительно смотрела на меня; не знаю, что у нее там за проблемы были с отцом, но в какой-то момент мне все это настоебело, и я сам предложил ей свалить из моей жизни и, чтобы сохранить симметрию своих отношений, назвал ее «холодной» и «скользкой».

Моя третья попытка была, пожалуй, самой успешной из всех; с Полиной мы встречались шесть месяцев и двенадцать дней, даже успели съехаться; ее не раздражала моя привычка подсчитывать наши занятия сексом, слова «сношение» и «коитус» ее только веселили, и она никогда не требовала, чтобы я отремонтировал холодильник или сменил колено у раковины на кухне. Ничего такого. Она, кажется, любила меня и даже прощала мне все мои бзики и странности. И все же мы расстались. Расстались потому, что в однажды, лежа с ней в обнимку под одеялом, я понял, что мне скучно. Вот так: под мышкой у меня сопела красивая женщина, а я лежал там, в этой кровати с ортопедическим матрасом под чистыми вкуснопахнущими простынями и думал о том, что попросту теряю время, думал о работе – о строчках кода, об алгоритмах, о нейросетях и миллионе других более интересных вещей. Мне было все сложнее уделять ей время, и вскоре я заметил, что и вовсе не хочу возвращаться домой. У меня много работы, говорил я, жизнь подождет.

Нет, правда, Петро, я завидую тебе. Вам с Олей. Как вам это удалось? Как вы нашли друг друга? Как умудряетесь с годами не устать от быта, от всех этих унылых обнимашек? Как умудряетесь не выбесить друг друга своими бзиками и вредными привычками? Как вы находите этот баланс? Как?

* * *

Короче, после расставания с Полиной я, скажем так, заблокировал функцию «отношения» в списке приоритетных задач, решил, что не буду больше тратить время на все эти бесполезные попытки «быть нормальным».

Моей семьей стал шестой отдел, у нас были десятки разработок, но ключевые – две:

1) Убик (Ubiq) – детище Кости, с которого все началось,

2) и вытекающий из него Кусто (Kusto) – самообучающийся алгоритм, способный, имея минимальный объем данных о человеке, найти и восстановить его переписку, счета и прочие личные данные. Идея такая: скармливаешь нейросетям несколько образцов писем и пару сотен сообщений человека, любую базовую информацию. Даже фотографии. Вы удивитесь, но ваши фото могут рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете; нейросеть видит все: наклон головы, активность лицевых мышц, морщины в уголках рта и глаз; изучив пару фотографий, сеть может многое сказать о привычках человека: стесняется ли он своих залысин, считает ли себя красивым, хорошо ли питается и даже – в какой стадии депрессии он находится и думает ли о самоубийстве; а в перспективе – за какого кандидата будет голосовать на выборах: консервативного или либерального. Получив базовый пакет данных, Кусто обрабатывает их, маркирует и ищет закономерности: манеру письма, лексику, ошибки, привычки, психическое состояние, комплексы, – в общем, все возможные зацепки. Затем он получает доступ к сети и начинает как бы процеживать данные – подобно киту, цедящему планктон из воды с помощью своих усов, – при этом маркируя все участки, где есть совпадения; затем возвращается к помеченным сегментам, обрабатывает их, и на основе новых данных еще раз процеживает всю big data, все сервера, до которых может дотянуться, – и так до тех пор, пока не добьется максимальной точности, исключающей ошибку.

На практике это означает вот что: допустим, у нас есть условный Вася, он торгует оружием, покупает травматы и в гараже переделывает их в огнестрел; иногда делает глушители и патроны. Продает их Вася не где-нибудь, а в глубоких слоях интернета, в даркнете, там, где отследить человека практически невозможно – полная анонимность.

Вся штука в том, что даже в глубоком интернете Вася оставляет следы: он пишет письма, общается, и еще, как и все мы, иногда он ошибается: например, вводит пароль не с первого раза или подключается к сети через чужой вайфай.

Вот этим, собственно, Кусто и занимается: сперва он ищет Васину переписку, сравнивает ее с перепиской миллионов других людей в своей базе, проводит в некотором роде графологическую, или, точнее, лексико-синтаксическую, экспертизу. Вася думает, что его невозможно поймать, ведь у него две жизни: Вася-гражданин и Вася – торговец оружием, – и если жизни эти не пересекаются, думает Вася, значит, он в безопасности. Но Вася ошибается: он постоянно пишет сообщения в сети и оставляет зацепки, которые Кусто соотносит с данными из своей обширной

базы.

На первых этапах работы информации, как правило, очень мало, но Кусто терпелив, он цедит и индексирует ее долго – неделями, месяцами, каталогизирует подозреваемых. И постоянно следит за объектами, все время проверяет вероятность совпадения, и когда вероятность превышает процент погрешности, сообщает об этом мне. А дальше – через пару дней – к Васе в дверь уже стучатся люди в форме.

* * *

Убик тоже стремительно развивался. Костя наращивал мощности, и очень скоро система научилась не только распознавать лица и эмоции, но и, обмениваясь информацией с Кусто, могла прогнозировать возможное поведение людей, попавших в объектив камеры. Это был настоящий прорыв: Убик действительно с высокой степенью вероятности предсказывал маршруты идущих по улицам людей. И все это, опираясь на минимальные объемы данных.

Иван Ильич был в восторге и тут же назначил новую встречу инвесторам. Костю, впрочем, новость об этой встрече скорее напугала. На следующее утро он явился в офис в деловом костюме; пиджак был явно с чужого плеча, висел на нем как мешок, рубашка мятая, галстук с каким-то безвкусным бразильским узором. Костя сидел за столом и готовил слайды к презентации, он грыз ногти так громко, что было слышно, кажется, даже в столовой. Я подошел к нему, похлопал по плечу. Он вздрогнул и обернулся, смотрел на меня затравленно, как должник на коллектора. Я хотел как-то подбодрить, успокоить его, но он перебил меня:

– Мы не готовы, Егор, в системе слишком много багов. Сука-сука-сука-сук! Мы так и не решили проблему Депардье.

– Кого?

– Жерар Депардье.

– Ты о чем вообще?

– Система. Она лагает, когда в поле зрения камер попадает фотография Депардье.

Я думал, он прикалывается – он вообще был мастер неловкого юмора, – и рассмеялся, опять же, чтобы поддержать его. Но он не улыбнулся.

– Погоди, – сказал я, – так это не шутка?

Он нервно чесал шею; всегда так делал, когда нервничал.

– В том-то и дело, что нет, и, самое страшное, я не могу

понять, в чем дело. Мы скармливали ей миллионы фотографий лиц, и все было отлично, но вот, блин, лицо Депардье вызывает у нее перегрев! И с фотографиями президента тоже какая-то фигня все время.

– Ты сказал об этом Ивану Ильичу?

– Дурак, что ли? Он же меня задушит нахрен.

Костя был прав, Убик отлично работал, но внезапные баги – вроде этих, с Депардье и Боткиным, – могли вылезти прямо во время презентации и все испортить. Одна из главных проблем алгоритма заключалась в том, что он часто не замечал очевидных нюансов; увеличение фотобанка уже давно не давало результатов, нам нужен был новый качественный скачок. И как это всегда бывает – скачок случился неожиданно. Однажды Костя позвонил мне прямо среди ночи:

– Близнецы! Мне нужны близнецы! – кричал он в трубку. Он был в каком-то шумном месте, и я плохо его слышал; на заднем плане – вопли и звуки ударов. – Близнецы!

– Ммм? – Я сонно потянулся за часами на прикроватной тумбочке – 02:45. – При чем тут гороскопы?

– Сам ты гороскопы! Я про людей! Я тут сейчас кино смотрю. «Двойной удар», с Ван Даммом который. И у меня это, знаешь, ну, ну это, озарение! Я понял! Чтобы повысить эффективность алгоритма, нужно научить его видеть нюансы, так? Видеть разницу. Для этого нам нужно очень много фотографий близнецов. Даже не так, не фотографий. Они нужны живые. Одинаковые, но разные.

– О'ке-е-ей. – Я приподнялся в кровати, тер заспанные глаза ладонями, плечом прижимая телефон к уху. – И сколько близнецов тебе нужно?

– Чем больше, тем лучше.

Ивана Ильича сложно было удивить, он знал, что Костя, как и все гении, чуть-чуть сумасшедший, и ценил его за это, поэтому, выслушав историю про озарение во время просмотра старого боевика с Жан-Клодом Ван Даммом, просто сказал: «Конечно, без проблем», выделил деньги, и Костя тут же связался с актерским агентством.

Вести переговоры Костя, мягко говоря, не умел, поэтому в первом же агентстве его послали, решив, что он перепутал их с борделем.

– А что я такого сказал? – Он удивленно разводил руками. – Я просто сказал, что мне нужны близняшки на вечер. И что верну их в целости и сохранности.

В итоге в агентство пришлось звонить мне и объяснять, что мы не извращенцы, а ученые, и близнецы нам нужны во имя

науки.

В течение двух следующих недель по нашему офису целыми днями гуляли толпы близнецов; довольно сюрреалистическое зрелище. Мы обустроили в комнате отдыха фотостудию, Витек позвал своего друга-фотографа, на фоне хромакея мы расставили десятки камер по периметру, с утра до вечера фотографировали двойняшек и создавали подробнейшие 3D-модели их лиц.

– Слушай, я вот сейчас подумал: мы ведь измеряем лица. Это что ж получается, мы – лицемеры? – сказал Костя и рассмеялся; его собственное лицо было заспанное, под глазами мешки, на шее – покраснение, опять расчесал.

Работа с близнецами действительно позволила отладить алгоритм. Мы даже отыскали нескольких человек, похожих на Жерара Депардье, это позволило отследить баг в системе; впрочем, до конца избавиться от него так и не удалось – Убик иногда просто слеп при виде фотографии опухшего французского актера.

– Теперь эту базу данных с двойняшками можно использовать для калибровки, – объяснял Костя Ивану Ильичу, который однажды из любопытства спустился к нам на этаж понаблюдать за работой. – Это позволит снизить до минимума погрешность в тех случаях, когда в кадр попадают очень-очень похожие люди. Система быстро научится отличать их.

Иван Ильич кивал.

– Понимаю. Художник видит разницу, сходство видит профан, – сказал он так, словно процитировал кого-то.

* * *

Мое альфа-тестирование тоже прошло вполне успешно – на первых порах Кусто работал не идеально, требовал очень много вводных данных, но при правильном подходе почти безотказно находил цифровые следы в сети. Лучше всего он работал именно с языком и синтаксисом. Из любопытства я первым делом скормил машине несколько страниц нашей с тобой переписки в мессенджере, и Кусто почти сразу нашел все твои личные данные, Петро, и даже заглянул в электронную почту. Я помню, смотрел на экран и, схватившись за голову, кричал на весь офис:

– Работает! Пацаны, оно работает!

– Заткнись, – отозвался Костя; он все еще безуспешно искал возможные причины «бага Депардье».

Весь вечер я гонял Кусто, тестировал скорость и эффективность сжатия данных. По очереди искал всех своих

родственников и знакомых. Плюс ради интереса решил найти Реми, которого в последний раз видел четыре года назад, когда съезжал из общаги. Оказалось, Реми вернулся в Канаду и устроился в компанию своего отца, управлял сетью магазинов, торгующих подержанными кадиллаками. В свои двадцать шесть он уже начал лысеть, отрастил брюшко и довольно уродливую бородку, во взгляде его уже не было той детской беззаботности, которая всегда была его визитной карточкой. Менеджер по продажам с купленным в ипотеку домом в пригороде. Кусто вскрыл архив его почты и даже пролез на «Облако», и оказалось, что Реми больше не занимается big data и машинным обучением. Я помню, смотрел на экран, на фото и выписки со счетов и не мог поверить, что этот тот самый Реми, тот самый парень с темпераментом лабрадора, который так смешно коверкал русский язык; Реми, с которым мы полтора года делили комнату в общаге и написали алгоритм для подбора подарков друзьям; Реми, который, собственно, и подтолкнул меня к тому, чтобы заняться машинным обучением, создать Кусто; Реми, из-за которого я попал в Компанию и чуть не попал в тюрьму. Сомнений не было – это он. Мне кажется, он просто умотал назад в Канаду, когда понял, что не сможет выплатить долг Цыгану. И в этом было что-то фундаментально-грустное – один из самых одаренных программистов из всех, кого я знал, теперь торговал подержанными кадиллаками где-то в канадском захолустье.

Я запустил чат и даже начал набирать:

Colin Laney: приветствую тебе мое приветствие

Но тут же стер строчку и вышел.

Что я ему скажу? Я для него – напоминание о той реальности, от которой он убежал.

Это открытие выбило меня из колеи: оказывается, узнать, чем занимается сегодня твой старый знакомый – не всегда весело. Поэтому, когда я начал скармливать алгоритму фотографии и образцы текстов отца, у меня было плохое предчувствие. Я боялся, что машина выдаст свидетельство о смерти или справку из вытрезвителя – или еще что похуже: хотя что может быть хуже двух этих опций? Я совсем ничего не слышал об отце с тех пор, как… даже не знаю, с каких пор. И это странно, но Кусто не нашел никаких совпадений в сети. Я думал, это баг системы, но оказалось – нет. В сети действительно не было цифровых следов Павла Портного-математика. Последние записи из его налоговой декларации датировались 2010 годом, а потом он уволился из Обнинского университета атомной энергетики – и исчез. Такое резкое исчезновение возможно, только если человек ушел в

монастырь. Впрочем, не удивлюсь, если окажется, что так оно и есть – и через десять лет он постучит в мою дверь, облысевший, с длинной лопатоподобной бородой, одетый в монашескую рясу.

Рабочий день уже подходил к концу, и я ради смеха стал настраивать Кусто на деанонимизацию D. Ввел базовые характеристики и стал смотреть.

Уже через полчаса D появился в чате.

D: какого хера ты делаешь
Colin Laney: ты о чем?
D: ты знаешь о чем выруби шарманку

Я посмотрел на часы. Надо же, как быстро узнал. Последние сомнения в том, что D – сотрудник Компании, отпали.

Colin Laney: просто тестирую систему не паникуй хотел проверить твою бдительность
D: проверил вырубай
D: неужели тебе действительно так нужно знать кто я
D: хаха
D: а прикинь в итоге выяснится что я просто робот, прошедший тест тьюринга
D: а почему бы и нет
D: вы же там у себя ии разрабатываете
D: или вот еще круче представь что ты на самом деле всего лишь персонаж романа а я автор
D: и в этом чате я как бы общаюсь с тобой и влияю на твою мотивацию и могу одним щелчком просто взять и убить тебя или свести с ума как в том романе набокова
Colin Laney: ты обкурился что ли?
D: чуть чуть
D: ты никогда не думал почему я не пользуюсь знаками препинания
Colin Laney: думал. Моя теория: знаки препинания убили твоих родителей, и их не-использование – твой вид протеста.
D: хахаха зачет

* * *

И знаете, что? Я правда гордился своим изобретением. И сейчас горжусь. Несмотря ни на что. Но Петро – Петро был типичным Петро.

– Мое лицо, – ворчал он, – это мое личное пространство, и

мне не нравится, когда его используют для того, чтобы узнать обо мне то, что я, возможно, не хочу выдавать.

– Никто не претендует на твое личное пространство, бро. Если не хочешь ничего выдавать – ходи в парандже. Кусто и Убик нужны не для слежки, их цель – сбор и анализ информации. Информации, которая потенциально может помочь тебе: прогнозировать твое состояние, предсказывать болезни, лечить депрессию. Ради этого можно чуть-чуть и пожертвовать «частной жизнью».

– Слышал историю про супермать?

Мы стоим на балконе. Девятый этаж, полночь. Всю неделю по телику обещали звездопад – он выпадал прямо на день рождения Петро. И вот мы уже полчаса стоим на холоде – минус пять градусов – оба в куртках, шарфах и шапках. Петро пьет вино прямо из горла, мы оба пьяны, – несильно, но достаточно, чтобы начать выяснять отношения. Небо чистое, темное, район спальный, поэтому звезды тоже на месте, – но пока не падают. Оля уже несколько раз выходила к нам и звала назад, но мы упрямо стоим на морозе – забыли про небо и про звездопад – и теперь, как обычно, болтаем за жизнь.

– Чего?

– Ну, супермать. – Петро делает глоток из горла, вытирает рот тыльной стороной ладони, шмыгает носом. – В Екатеринбурге сейчас женщину судят за жестокое обращение с сыном. Она приковала его наручниками к батарее за то, что он, цитирую, «дружил не с теми друзьями». Ну, не нравились ей его друзья, понимаешь? А на уговоры он не реагировал. Вот она и решила «по-матерински» защитить его от «плохой компании» – и пока он спал, приковала к батарее.

Я засмеялся.

– Прикалываешься?

– Не-а. Реальная история. Мать приковала сына к батарее, потому что боялась, что он спутается с хулиганами и они его испортят, собьют с пути истинного, или типа того. Она сделала это из чистой любви, как ты понимаешь, такая вот гиперзабота. При этом она, конечно, его и пальцем не тронула. Насилия, во всяком случае физического, не было. Она продолжала кормить его, давала ему смотреть телевизор, помогала делать уроки…

– Погоди, а как он в школу ходил?

– А он не ходил. Она позвонила в школу и сказала, что он заболел. А потом позвонила на работу и взяла отгул на две недели. Ей было несложно – работала то ли на мясокомбинате, то ли еще где-то, не помню. Это неважно для истории. И, в общем, две недели держала сына прикованным к батарее.

– А в туалет он как ходил? Мылся как?

– В том-то и дело, ее план был очень плохо продуман, как видишь. Куча сложностей. Градус любви к сыну сильно превышал градус интеллекта. Увы. И никакого плана, по сути, не было – она просто держала его на привязи, чтобы оградить его от общения с «плохими» друзьями. То есть «как бы чего не вышло». Она надеялась, что сможет перевоспитать сына, внушить ему свою любовь, перековать его характер. Но. Прошло две недели, а он ненавидел ее все сильнее. И она не могла понять почему. А потом она пошла за хлебом в магазин, а сын тем временем разбил окно табуреткой и стал звать на помощь. Приехала полиция – а дальше суд, журналисты и слава. Сомнительная, но слава. Теперь мать судят, и лично для меня самое интересное – это ее реакция на обвинения. Видишь ли, в чем дело: она искренне не понимает, почему ее поступок незаконен и нарушает права человека. «Я ж мать! – кричит она. – Я желаю сыну только лучшего, я бы никогда не сделала ему больно, я забочусь о нем, не лезьте в мой воспитательный процесс, не вам меня учить!»

Я слушал его, облокотившись на парапет, и смотрел вниз, на ореолы света уличных фонарей.

– И знаешь что? – сказал Петро. – По-моему, это отличная метафора того, о чем мы говорим. Ведь многие действительно встанут на сторону матери. И уже встали! Люди петиции создают и подписывают, чтобы ее освободили. Сын-то в порядке. В самом деле: она ж мать, она защищала сына от плохой компании (опять же, плохой, по ее словам; это еще надо доказать), пыталась уберечь его от ошибок. И неважно, что нарушила при этом базовые права человека.

– Посмотрим, – сказал я, – как ты запоешь, когда Леве стукнет тринадцать, он проколет уши-ноздри-язык, начнет хлопать дверью, слушать панк-рок и подхватит трипак от случайной знакомой на рейв-вечеринке.

– Об этом я и говорю, Егор. Поиск грамотного баланса между свободой и контролем – вот задача родителя. И правителя, если уж мы продолжаем метафору. Потому что перегиб в сторону контроля всегда кончается одинаково – наручниками на запястьях у несогласных. А потом – и у всех остальных. И, разумеется, все это всегда мотивируется заботой о них же. Я ведь уже пережил это отцовское чувство: держал небо над Левой, паниковал и из кожи вон лез, чтобы защитить его от мира, где столько острых предметов и тупых людей, я шагу ему не давал ступить без моего письменного разрешения. А потом понял, что если буду продолжать в том же духе – он меня возненавидит. Уж лучше панк-рок и серьга в ухе, чем сломанная психика и полное

отсутствие доверия. Ты хочешь знать, в чем моя главная претензия к этому вашему Оку Саурона?

– Ха-ха, как смешно.

– …да в том же, в чем и к той супермаме из Екатеринбурга. Народ – не собственность государства, ребенок – не собственность родителя. Да и вообще, может быть, в этом вся проблема: когда власть набивается народу в друзья – это плохо; а когда лезет в его личное пространство – это беда.

Я вздохнул.

– Мы недавно тестировали алгоритм. Включили на месяц. Преступность снизилась. Два теракта предотвратили еще на стадии планирования. И это – за месяц. Ты ведь знаешь, что это так. Неужели ради этого не стоит чуть-чуть пожертвовать этим вашим «личным пространством»?

Петро грустно улыбался, повернулся ко мне, лицо подсвечено теплым желтым светом из окна.

– Я не сомневаюсь в эффективности системы, Егор, но: кто сторожит стражей? – Посмотрел вверх и нахмурился. – Эй, да блин! Серьезно? – На чистое небо наползала огромная туча. – Мы тут полчаса уже стоим, вали отсюда! Слышь ты! Обзор не загораживай. – И погрозил туче кулаком.

Я засмеялся.

– Чего смешного? – спросил он.

– Да так. Детство вспомнил. Вы ж всегда с мамой грызлись. Ты вечно боролся с ее контролем, отстаивал свой личный, авторский хаос.

– Да? Не помню.

– Было-было. Она рассказывала, как ты в четыре года ей назло пытался утонуть в бассейне, потому что она заставляла тебя ходить на плавание, а ты не хотел.

Петро покачал головой:

– Это неправда. Я не назло пытался утонуть, я действительно чуть не утонул. Это она тебе сказала, что я «назло»?

Дверь балкона открылась – Ольга:

– Хотела напомнить, что у тебя есть сын, и он спит. А ты тут орешь.

– Прости, Оль, – вздохнул Петро и показал в небо. – Просто эта дурацкая туча хочет испортить мне день рож… – Но Оля уже захлопнула дверь.

Минуту мы молча стояли, вскинув головы, как два сумасшедших уфолога в ожидании инопланетного вторжения. Туча продолжала наползать на звездное небо – это выглядело тоскливо, Петро бормотал в адрес тучи проклятия, желал ей выйти замуж за алкоголика.

– Или еще та история с конструктором, – сказал я.

– А что с ним? – спросил он, не отрывая взгляда от тучи.

– Ты кидался детальками конструктора в корзину для мусора – это была твоя игра «конструктор-бол». Мама наказала тебя, сказала, что конструктор нужен для того, чтобы собирать из него модели, создавать что-то новое, а не бросаться им в ведра. В итоге ты ссыпал весь конструктор в мусорное ведро и сказал: «Вот, держи, я собрал модель мусора».

На этот раз он захохотал, сделал еще глоток вина, шмыгнул носом.

– Боже, как холодно. Всего минус пять, почему так холодно? – Посмотрел на меня. – Совершенно не помню этого. Мне казалось, я был очень послушный и тихий ребенок.

Я покачал головой. Лицо замерзло, онемело, я растирал щеки ладонями. Хотелось вернуться в теплую квартиру, но я стоял здесь – мне было плевать на звездопад, я стоял тут из солидарности с братом, он так обрадовался, когда узнал, что в ночь на его день рождения случится «крайне редкое природное явление», а теперь эта туча – наползала не только на небо, но и на его личный праздник.

– Может, и послушный, – сказал я. – Но тихий – точно нет. Когда покушались на твой личный хаос – ты включал Уильяма Уоллеса. В любом случае теперь я понимаю, откуда она взялась.

– Кто – «она»? – Снова не глядя на меня. Стоит, смотрит вверх. А я смотрю на него, и мне обидно, дико обидно осознавать, что он не только не гордится мной, но и вообще считает мою работу вредной.

– Эта твоя метафора. В которой государство – это дура-мать, приковавшая сына к батарее во имя «его же блага». Это даже как-то забавно, если подумать. Но я ведь не об этом: только подумай, наши алгоритмы могут по фотографии поставить диагноз, определить психическое состояние – увидеть психопата до того, как он что-то совершит; обнаружить террориста до того, как он успеет собрать бомбу, отследить его, отталкиваясь от списка его покупок в аптеке; это новый уровень мышления; новый уровень безопасности. Лицо человека, – я ткнул пальцем ему в нос, – на нем все написано: счастье, агрессия, интеллект. Если мы правильно настроим свои алгоритмы, мы сможем предотвращать самоубийства, теракты, сможем диагностировать депрессию на ранней стадии, понимаешь? Я говорю о прорыве.

– А частная жизнь?

– Какая частная жизнь? Люди сами по своей воле выкладывают в сеть всю информацию о себе. Фотографии, адреса, списки покупок. И сами ставят галочку «согласен»

в лицензионных соглашениях. Мы используем только те данные, которые люди сами несут в сеть. И вообще, если я скажу тебе, что твои личные данные – твои фотографии, например – в перспективе могут помочь найти пропавшего без вести человека или понять, как лечить биполярное расстройство, – как ты поступишь?

Петро покачал головой:

– В том-то и проблема, Егор.

– В чем?

– Что бы мы ни делали, все равно получается автомат Калашникова. Из каждого технического прорыва всегда торчит милитаристская грыжа. И что с этим делать – я не знаю.

Я смотрел на профиль Петро, мне хотелось ударить его, я зажмурился и несколько раз выдохнул. Потом сказал:

– Арпанет.

– Что?

– Арпанет. Это компьютерная сеть, которую создали в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году в США. Знаешь, кто был заказчиком? Министерство обороны. Они решили создать сеть передачи данных на случай войны с СССР. Вояки, которых ты так презираешь, стояли у истоков интернета. Так что давай без анекдотов про автомат Калашникова, ладно? Тефлоновые покрытия, микроволновые печи, спутники-GPS – все это начиналось как военные разработки. И если ты такой принципиальный пацифист – то выкинь свой мобильник и залезай жить обратно на дерево!

– Эй, да чего, Егор, куда ты? Сейчас звездопад начнется!

– В жопу твой звездопад.

Фрагмент из книги Александра Грека «Двойник» [публикуется с разрешения автора]

Предисловие

В 1999 году кандидат в президенты (тогда еще министр обороны) Михаил Иванович Боткин давал интервью на одном из центральных каналов. Все шло отлично, кандидат был лаконичен, четок и самоуверен. В кресле он сидел прямо, почти не двигаясь, на груди – ордена, на лице – спокойствие. Спокойствие, впрочем, было срежиссировано, как и само интервью: каждые пять-шесть минут запись прерывали, чтобы стереть со лба и из-под носа у Боткина капли пота.

– Не забывайте моргать, моргайте чаще, – шептал ему помощник, пока гримеры выгребали из его морщин на лбу растекшийся тональный крем.

– Моргать? Вы там охренели совсем? Это самый тупой совет на свете, – ворчал министр.

– Эксперты по мимике утверждают, что люди чувствуют недоверие к кандидатам, которые моргают реже, чем двадцать раз в минуту.

– Двадцать раз в минуту. Как они это подсчитали, интересно?

Тут включается представитель PR-группы кандидата:

– Опросы показали, что если кандидат слишком редко моргает, у избирателей может возникнуть ощущение неестественности, а это плохо скажется на рейтинге. Та же проблема со слишком частым морганием – такие кандидаты выглядят нервными и суетливыми, избиратели менее охотно отдают за них свой голос.

Боткин жмурится, массирует переносицу.

– У меня от вас голова болит.

Очередной брифинг закончен, запись возобновляют.

– Армия научила меня самым важным вещам в жизни, – говорит кандидат. – Дисциплине, ответственности и любви к родине. Или нет, лучше не так. Давайте переснимем. Любовь к родине на первом месте. Потом ответственность и дисциплина. Или лучше: дисциплина на втором месте, а потом ответственность.

– Стоп!

Помощник снова склоняется над изможденным, потеющим

министром обороны.

– Михал Иваныч, теперь вы моргаете слишком часто, – шепчет он.

Министр пьет воду из стакана. Кадык его ходит туда-сюда. Рука дрожит, но не от страха или усталости – он в бешенстве. Еще один такой совет – и он взорвется. Помощник чувствует это и тихонько, бочком отступает.

– Да итижи-пассатижи! Я не могу одновременно моргать и говорить! – ворчит Боткин и с грохотом ставит стакан на столик в центре кадра. Вода выплескивается и течет по краю стакана. Подбегает помощник оператора и вытирает лужу салфетками. Ведущий, журналист Владимир Молчанов, все это время сидит в кресле напротив Боткина и внимательно разглядывает лицо кандидата в президенты.

Как странно, думает он, ты растешь в провинции, в Ленинградской области, учишься в сельской школе, где за одной партой с тобой сидит низкорослый, свирепый мальчишка с неправильным прикусом. Ты даешь ему списывать домашку, потому что если нет – он караулит тебя на пути из школы и бьет, больно, без синяков, со знанием дела. Он не блещет умом и часто даже не понимает вопросов учителей, но его упрямства, наглости и занятий боксом вполне хватает для того, чтобы ни разу не остаться на второй год. Затем школьный ад кончается, ты идешь в университет, а он сперва идет каменщиком на местную стройку, а потом исчезает. И тридцать лет спустя ты включаешь телевизор и видишь на экране того самого мальчишку. Выросший, возмужавший, он стоит на трибуне, в военном мундире, весь в орденах, с серьезным видом, проступающими залысинами и неестественно побелевшими зубами и отвечает на вопросы журналистов. Он стал министром обороны. Тот самый жилистый, как перекрученная, высохшая виноградная лоза, низкорослый пацан, которого звали Желтухой (после того, как на уроке биологии выяснилось, что другое название желтухи – болезнь Боткина). Теперь он на экране, в военной фуражке и куртке цвета хаки, в окружении целой толпы охранников. Все охранники ниже его ростом, и это сразу бросается в глаза, и ты понимаешь, что их специально подбирали так, чтобы министр казался выше. Проходит еще семь лет, и ты снова видишь его на экране, пока сидишь в аэропорту, ожидая вылета, – на одном из центральных каналов рядом с ним стоит действующий президент, хлопает Желтуху по плечу и называет преемником. А потом тебе в студию звонит его помощник и предлагает устроить большое интервью с кандидатом. Ты, разумеется, соглашаешься – разве можно отказаться от такого? – и хотя это дико, но тебе кажется, что если

б ты не согласился, то он, как в детстве, подкараулил бы тебя у подъезда и бил бы в солнечное сплетение до тех пор, пока… И вот вы встречаетесь здесь, в студии. Неловкая пауза, объятия (не менее неловкие), воспоминания о «старых добрых» временах. Вы оба пытаетесь вести себя непринужденно, но ничего не получается – кандидат в президенты смотрит на тебя с опаской, даже с тревогой, ведь ты знаешь, каким он был, ты знаешь о нем то, что его pr-команда стерла из «официальной биографии»: пьяные драки и два срока за мошенничество. Он больше не Желтуха, не пацан с района, он – министр обороны самой большой страны на планете, кандидат в президенты, Михаил Иванович Боткин.

– Итак, записываем через – три, два, один.

Камера пишет, софиты светят, Боткин потеет.

– На чем я остановился? – спрашивает он.

– Патриотизм, – говорит Молчанов.

– Патриотизм – верность своим корням, своей крови, совей земле. Тьфу! Своей, своей земле. А не совей. Давайте переснимем.

Кандидат говорит медленно. Теперь, после ремарки про «моргания» все присутствующие в комнате, включая ведущего, заняты только одним – считают, сколько раз в минуту моргает человек в кадре, укладывается ли он в «норматив», в двадцать раз. Судя по медленной, путаной речи Боткина, он тоже считает. Его терпение на пределе. Молчанову кажется, он слышит, как медленно, со скрипом, вращаются перегретые от постоянного подсчета моргания шестеренки в голове у министра.

– Что вы считаете самым страшным грехом? Какой поступок вы не могли бы простить?

– Предательство. – Боткин отвечает без паузы, он даже не пытается скрыть тот факт, что знает вопросы заранее. – Знаете, у Данте Аль… аль… как же его звали?

– Стоп!

– Гриша! – Кандидат смотрит за спину ведущему, туда, где стоит помощник. – Почему я не могу сказать просто «Данте»? Зачем мне нужно говорить его фамилию? Ведь все знают, кто такой Данте!

– Это часть борьбы за аудиторию, – отвечает Гриша. – Если в разговоре кандидат проявляет энциклопедические знания, это повышает его рейтинг среди представителей среднего класса.

Боткин раздувает ноздри и морщится, словно почувствовал запах дерьма.

– Какое мне дело до этого вашего среднего класса? Я – с народом.

Гриша что-то бубнит в защиту среднего класса, ссылается на

статистику. Боткин массирует переносицу.

– Ну ладно. Как его там зовут? Алигери?

Гриша произносит по буквам:

– А. Л. Мягкий знак. И. Г. Е. Р. И.

– Алигери?

– Нет, не совсем. Мягкий знак после «л».

В течение минуты вся съемочная группа хором пытается научить кандидата правильно произносить фамилию итальянского поэта, но – тщетно.

– Гриша, блядь, короче, я просто скажу «Данте». Идите на хер со своим мягким знаком. Правитель должен быть твердым, никаких мягких знаков.

Помощник испуганно смотрит на Боткина, он так обильно потеет, что не только рубашка, но и пиджак на спине уже промок насквозь – между лопатками у него настоящая клякса Роршаха.

– Запись через три, два… – На камере зажигается красная лампочка.

Молчанов продолжает задавать вопросы. И тут начинается самое интересное: до людей в студии постепенно доходит, что ведущий отклонился от сценария. Он задает не те вопросы, всячески пытается вывести кандидата на настоящий диалог. Студия медленно, словно нервно-паралитическим газом, наполняется тревогой. Боткин пытается скрыть шок, взгляд выдает его, на лбу выступают крупные капли пота.

– Четыре года назад вы проводили реорганизацию Рособоронэкспорта. Цель: снизить издержки, сделать систему более эффективной. Результат: издержки выросли на двадцать три процента, а все подряды на капитальный ремонт помещений Минобороны в обход тендеров получает одна-единственная организация, принадлежащая вашему зятю. Как вы это объясните?

Присутствующие в студии наблюдают за этим, не шевелясь, словно завороженные, никому в голову не приходит прервать ведущего, остановить запись – температура в студии поднимается все выше, потеют все без исключения. Помощник Боткина, Гриша, стоит в углу, хватает воздух ртом, у него, кажется, приступ астмы. На лице – смесь ужаса и восторга: его начальника, его Хозяина, тыкают носом в просчеты; Хозяина, который однажды чуть не устроил стрельбу в отеле после того, как консьерж сказал, что свободных номеров нет; Хозяина, который недавно приказал своим вертухаям «проучить» красивую девушку, отказавшуюся сесть к нему за столик в ресторане и выпить с ним вина.

Там же, за камерами, среди массовки стою я – мне двадцать, я студент журфака МГУ, прохожу практику на телеканале, наблюдаю за работой своего дяди – Владимира Молчанова.

И вот действующий министр обороны, кандидат в президенты, Михаил Иванович Боткин, три часа просидевший перед камерой под светом софитов с каменным лицом, невозмутимый, как гипсовая статуя, и моргающий ровно двадцать раз в минуту, – сперва выглядит ошарашенным, потом пытается улыбнуться:

– Владимир, вы же серьезный журналист, зачем вы верите желтой прессе? Все это выдумки моих недругов.

– Ну как же? Почему выдумки? У меня данные из открытых источников, вот выписки из Росреестра, заверенные, с печатями. А вот результаты аудита.

– Я же вам объясняю – все эти слухи, которые обо мне распространяют, – это спланированная акция. Единственная ее цель – опорочить меня в глазах моих избирателей.

– Допустим. Но что с вашим зятем?

– А что с моим зятем?

– Он получает заказы от Минобороны в обход конкурса. Разве тут нет конфликта интересов?

И тут в кадр врывается ассистент:

– Стоп! Остановите съемку!

Боткин презрительно улыбается, подается вперед и тычет пальцем в ведущего:

– Нет, Гриша, дай-ка я скажу ему: ты спрашивал, что такое патриотизм. Я тебе отвечу: это вера. Часто даже слепая вера. Вопреки всему. – Боткин поднялся из кресла, лицо его блестит, тональный крем плывет по щекам и по лбу, натекает на брови. Ему кажется, что он говорит важные вещи. – Видишь эти руки? Видишь мозоли? Я несколько лет работал каменщиком, я строил стены, я строил дома, я создавал. А что создал ты? Настоящий патриот не боится замарать руки во имя великой цели, во имя Родины. Мне нечего стыдиться, понял? Возможно, у меня грязные руки, – это неважно, главное, помыслы мои чисты!

* * *

Интервью прервали, Боткин вышел из студии, не сказав больше ни слова, даже не попрощавшись, оттолкнув подошедшего гримера, а через два часа Владимира Молчанова вызвал к себе в кабинет лично генеральный директор канала и предложил «собрать манатки по-хорошему».

– Вам что, угрожают из-за меня? – спросил Молчанов.

– Нет. Пока нет. Но, – директор пожал плечами, – ты же понимаешь: в таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть.

Вот так Молчанов (и я – вместе с ним) оказался без работы и без малейшего шанса получить какую бы то ни было должность на государственном онлайн-ТВ – его имя внесли в черные списки еще до того, как Боткин начал угрожать: начальники государственных СМИ отлично умели подстраиваться под настроения своих покровителей. Молчанов это знал и потому даже не пытался с тех пор устроиться по профессии, и следующие двенадцать лет он занимался производством документальных фильмов – работал монтажером, сценаристом, оператором. И даже это ему приходилось делать под псевдонимом «Тютчев», дабы избежать лишних вопросов и проверок со стороны (созданного позже) Комитета Исторической Правды (который, по странной иронии, занимался как раз обратным – фальсификациями).

Запись того интервью изъяли – оно так и не вышло в эфир, даже в усеченном виде. Общение с народом и тем более с журналистами всегда заканчивалось для Боткина плохо – конфузом или даже катастрофой. Однажды прямо во время очередного прямого включения один из журналистов пожаловался на бюрократию, сказал, мол, слишком много инстанций отвечают за одни и те же отрасли. «У семи нянек дитя без глаза», – добавил он. Боткин, уже тогда страдавший от прогрессирующей глухоты, похоже, то ли не услышал первую часть вопроса, то ли воспринял пословицу буквально. «Ох, – вздохнул он, – такого, конечно, нельзя допускать. Я поставлю это дело под личный контроль, лично спрошу у детского омбундсмена, обещаю вам, мы выясним, кто именно виноват в том, что ребенок лишился глаза. Все семь нянек будут привлечены к ответственности, и родителей тоже нужно будет допросить». Ответ президента в прямом эфире транслировали все центральные каналы, и никакой возможности вырезать или как-то сгладить монтажом этот конфуз у режиссеров не было. В сети поднялся сильный шум, такой сильный, что PR-команда и 6-й отдел потом очень долго (и безуспешно) пытались стереть любое упоминание о «семи няньках» из строки выдачи в поисковиках.

Вообще, этим бравым ребятам из PR-команды Боткина можно только посочувствовать: заставить президента заткнуться они не могли, поэтому им приходилось постоянно бороться с последствиями его скверного и попросту неврастеничного чувства юмора, – или, точнее, отсутствия оного.

Со временем даже анекдоты и байки о Боткине стали строиться именно на этом – на его несдержанности и неспособности мыслить образами.

Вот типичный (и несмешной – как и все анекдоты о Боткине)

анекдот того времени:

Боткин с женой смотрит телевизор, хочет переключить канал, но ничего не получается.

Жена:

– Батарейки сели.

Боткин тянется к телефону, набирает номер и говорит:

– Господин прокурор, потрудитесь объяснить, кто и почему без моего ведома посадил батарейки? И главное – по какой статье?

* * *

Двенадцать лет Молчанов снимал документальные фильмы об экологии, о дельфинах и голубых китах, о таянии льдов и о разливе нефти в Тихом океане. И так бы и остался он безвестным документалистом, если бы не его последняя лента – «Болезнь грязных рук». Кино было заявлено на фестиваль как «просветительский проект о гигиене». Фильм начинался как обычная хроника – история о гепатите А, рассказ о жизни ученого-медика Боткина, впервые описавшего ее симптомы и возможные причины появления. На экране мелькали графики с подробным закадровым комментарием, объясняющим процесс заражения организма. В целом лента производила тоскливое впечатление, смотреть ее было настолько скучно, что, если верить слухам, ни один член цензурного комитета не смог досмотреть ее до конца, а некоторые засыпали уже на пятнадцатой минуте, и в кинозале из-за храпа цензоров невозможно было разобрать, что говорит закадровый голос.

В итоге фильм все же получил печать «допущено к прокату». Сопроводительное письмо к нему заслуживает отдельного упоминания, я просто приведу его здесь полностью, без купюр:

«Художественные качества данного продукта представляются сомнительными. Беспокойство цензурного комитета было вызвано тем фактом, что означенный ученый (Боткин П. П.) является однофамильцем нашего национального лидера. Цензурным комитетом было отправлено письмо с запросом в Комитет Исторической Правды с целью установить допустимость того факта, что название болезни (болезнь Боткина) очень похоже [sic!] на фамилию нашего национального лидера. Вследствие чего было принято решение о внесении на рассмотрение проекта закона о внесении изменений в медицинскую энциклопедию – о переименовании «болезни Боткина» вследствие того, что

настоящее название порочит имя нашего национального лидера».

В остальном никаких нареканий фильм не вызвал. Лента вышла в прокат и попала во все возможные плей-листы в гос-онлайн-кинотеатрах – в отдел «образовательные телепередачи». Через неделю администратор киносети заметил странную активность на странице, посвященной фильму, – количество просмотров стремительно росло, возник вирусный эффект, через две недели «Болезнь грязных рук» вошла в десятку самых популярных лент в онлайн-кинотеатрах по всей стране, обогнав даже «Брата-2» и «Цинь Чихуанди, император», любимые фильмы президента. Причину популярности выяснили быстро – в финальные титры режиссер, скрывавшийся под псевдонимом «Тютчев», вмонтировал шестисекундный фрагмент того самого интервью двенадцатилетней давности, где несдержавшийся кандидат в президенты кричит на интервьюера: *«Настоящий патриот не боится запачкать руки во имя великой цели, во имя Родины. Мне нечего стыдиться, понял? Возможно, у меня грязные руки – это неважно, главное, помыслы мои чисты!»*

Боткин и до этого говорил глупости и гадости, народ прощал ему все. Но здесь же, в данном случае свою роль сыграл контекст – фильм о гепатите А, болезни грязных рук, в котором в самом конце появляется президент, смотрит на зрителей с экрана и с гордостью сообщает, что грязные руки – признак патриотизма.

Говорят, когда новость об этом «конфузе» просочилась в прессу, один из цензоров (тот, что дал фильму «зеленый свет») выбросился из окна. Кабинет его находился на пятом этаже, и потому суицидальный порыв закончился лишь множественными переломами.

Вот так, с подачи Молчанова и возник – и закрепился – этот ассоциативный ряд: Боткин – печень – болезнь, – который первым подхватил анонимный художник Графт, автор картины «Лекарство А». Графт выложил на холсте лицо главы государства из двух с половиной тысяч капсул гепатопротекторов – препаратов против гепатита. Картина наделала много шума в прессе и даже привела к закрытию галереи (официальная причина закрытия – несоответствие помещения нормам пожарной безопасности).

Администрация Боткина пыталась как-то исправить ситуацию, даже выписали из США лучших PR-специалистов, чтобы те «обновили образ национального лидера» и вытеснили из сознания народа неприятную ассоциацию с болезнью или хотя бы придали ей позитивный оттенок. Американцы сразу взялись за дело и попытались мифологизировать самый известный эпизод из

биографии президента: его работу каменщиком на стройке; но результата не добились, и далее цепочку «Боткин-печень-гепатит» они попытались аккуратно заменить другой: «Боткин-врач-лечение» – смотрите, мол, граждане, ваш президент совсем как тот знаменитый врач пришел излечить вас от хвори.

Но новая метафора не прижилась, чему немало поспособствовали художники-гиперреалисты, которые так активно эксплуатировали тему гепатопротекторов в качестве политического высказывания, что вскоре даже самые простые таблетки для лечения печени в народе стали воспринимать как символ протестного движения, бунта, сопротивления режиму. Чиновников-боткинцев теперь забрасывали не яйцами, а таблетками эссенциале и капсулами с урсодезоксихолевой кислотой.

* * *

И вот здесь наша история дает новый, весьма неожиданный виток. Многие сегодня говорят, что именно фильм «Болезнь грязных рук» стал отправной точкой для завинчивания гаек и глубокой реформации Министерства культуры. Мол, президент обиделся, осерчал на художников и устроил им показательную порку.

Но – той же весной произошел еще один примечательный инцидент. 1 марта 20XX года Боткин провел свою уже давно ставшую традиционной ежегодную пресс-конференцию. Он появился перед камерами, и все сразу заметили, как он внезапно помолодел и изменился. Он был бодр, остроумен и весел, а его PR-команда активно распространяла информацию о том, что последние три месяца лидер нации провел в оздоровительном центре где-то в Гонконге – отсюда его бодрость и моложавость. «Китайская медицина запускает время вспять». И все бы ничего, да только зрители и журналисты заметили одну странность: уже в самом конце интервью президент, вытирая пот с лица носовым платком, случайно стер еще и родинку. Ту самую знаменитую президентскую родинку «как у Роберта де Ниро». Смахнул и не заметил.

Сеть, как всегда, отреагировала взрывом шуток и мемов, которые все сводились к банальной игре слов: «родинка – это маленькая родина», – в таком духе.

Тогда же, в самом начале марта того злополучного года, в редакцию «Осмоса» на ящик для анонимных писем пришло сообщение. Автор письма сообщал, что работает одним из

двойников президента и очень опасается за свою жизнь; он обещал рассказать свою историю, в обмен просил только об одном – помочь уехать из страны.

Письмо было вполне стандартное, на нашу почту часто писали сумасшедшие; мой «ящик для анонимов» был до краев забит письмами, в которых очевидно нездоровые люди предлагали в обмен на «вознаграждение» рассказать «всю правду» об инопланетных вторжениях, масонских заговорах, иллюминатах, тамплиерах, ассасинах и прочей шизолабуде. Но именно это письмо отличалось как минимум тем, что автор просил не денег, а защиты. Я ответил анониму и лично в одиночку отправился на встречу. На всякий случай, впрочем, захватил с собой электрошокер – мало ли кто меня там поджидает.

Мы встретились на стрельбище. Он сам выбрал это место, объяснив выбор тем, что из-за ужасного шума выстрелов нас никто не сможет подслушать и записать. Увидев «двойника», я был сильно разочарован: он был действительно похож на президента, но – двойник? Нет.

«Не спешите с выводами, – сказал он, заметив мое разочарование. – Вы удивитесь, когда узнаете, какие чудеса творит грим. Вон видели же, небось, родинку, которую он стер платком? Это все потому, что гримера сменили, а новый пока не умеет влагостойкий грим накладывать».

И рассказал свою удивительную историю. Ту самую, из-за которой «Осмос» закрыли. Ту самую, из-за которой нам пришлось бежать из страны.

Егор

Работать в Компании было непросто. Иван Ильич действительно пытался создать в офисе, как он сам говорил, «особенную» атмосферу – яркий, необычный дизайн интерьера, большие окна, нехилая зарплата. И все же к нам, к подчиненным, он относился без особого доверия. Меня это нисколько не смущало, я понимал: чтобы держать под контролем Компанию с нашим потенциалом, нужно быть чуточку параноиком; когда в руках у тебя такие технологии, без жестких границ и правил не обойтись – чуть-чуть ослабишь хватку, и все полетит к чертям: случится утечка, или кого-то из важных фигур уведут конкуренты. Я и сейчас считаю, что Иван Ильич поступал правильно: в его общении с нами всегда был элемент психологического давления, манипуляции. Мы были, в сущности, техносектой, со своим жестким уставом и правилами, чем-то вроде «Бойцовского клуба», только без Эдварда Нортона и мордобоя, и, разумеется, не всем это нравилось. Например, Костя – убежденный либертарианец – был вечно всем недоволен:

– Он совершает ошибку, – говорил Костя, когда мы отправлялись на обед в кафе «У черта» (открыто говорить об этом в офисе он, конечно, боялся). – Братание с силовиками может нам аукнуться еще.

– Ты прям как мой брат, – сказал я. – Ему тоже Штази везде мерещатся. Правительство заинтересовано в наших разработках и готово платить, что в этом плохого?

Он показал три пальца – большой, указательный и средний.

– Три вещи. Первое: будем брать у них деньги – потеряем независимость. Инвесторы от правительства – это такой Трикстер: с виду очень щедрый, но всегда есть подвох. Второе: Минобороны распугает других игроков, инвесторы ай-ти-рынка не захотят соваться к нам. И третье: тебя не смущают возможные последствия?

– Я разработчик, моя задача – думать о результате, а не о последствиях.

– Хорошо, разработчик, тогда скажи мне, о каком результате может идти речь, если я уже двенадцать дней жду решения по новым серверам? Двенадцать, Егор!

Я со скучающим видом рисовал динозавра на салфетке. Птеродактиля.

– У нас работа стоит, а он не может даже запросы на сервера одобрить. Он, видите ли, слишком занят. Знаю я, чем он занят. В десны братается с этими. – Он показал пальцем в потолок,

помолчал и снова стал возмущаться: – Я, в смысле, какого ляда вообще, а? С чего он взял, что мы все сейчас встанем и строем пойдем вслед за ним? Я, например, не хочу соваться в Минобр, мне кажется, если мы начнем развивать проект в сторону медицины, у нас гораздо больше шансов принести пользу: ты же видел, как ловко алгоритмы ставят диагнозы и интерпретируют рентгеновские снимки. – Снял очки, тер переносицу большим и указательным пальцами. – Пойми меня правильно: я, так же как и ты, безумно благодарен ИИ, он все это создал, устроил. Но. – Вернул очки на нос и вздохнул, набираясь сил, чтобы сказать главное: – Очевидно, что Компания переросла его, и он с ней не справляется. Он тянет нас на дно.

Я посмотрел на него и рассмеялся:

– Ты охренел, что ли? Ты что такое говоришь? Под брусчаткой пляж? Что – думаешь, турнешь его с трона, и тебя повысят до CEO?

Костя вскинул руки и тоже рассмеялся – сдавленно, нервно.

– Да, я знаю, как это звучит: типа я такой Брут, подбиваю мочкануть Цезаря. Но давай на секунду отложим все вот эти вот культурные аллюзии, – он выразительно отодвинул в сторону солонку и перечницу, – и посмотрим на Компанию с чисто практической точки зрения. Как на Проект, который мы с тобой вдвоем тащили все эти годы? Сколько запросов на новое оборудование ты отправил ему в этом месяце?

– Шесть, – сказал я и дорисовал птеродактилю монокль. А потом вложил ему в лапы скипетр и державу.

– Сколько из них он одобрил?

Я молча разглядывал своего геральдического птеродактиля. Костя и так знал, что ни одного.

– Мы как-то упустили этот момент, – сказал он. Ждал, что я спрошу «какой момент», но я молчал, и ему пришлось продолжить: – Это для нас с тобой Компания – произведение искусства. А для него, – он махнул рукой в сторону Мышеловки, – что она для него? Товар. Понимаешь? Почему, ты думаешь, мы так долго ждем новое оборудование? А я тебе скажу: у нас всего одна фирма-поставщик, и она не справляется с нашими объемами. Мы растем слишком быстро. И тут ты можешь спросить: а почему же мы тогда не подтянем еще одну фирму? Почему не закажем новые сервера и прочее барахло у другого поставщика? А я тебе скажу: потому что мы связаны жестким контрактом с фирмой Dart. И вот мне стало интересно, что же такого особенного в фирме Dart, почему у нас контракт только с ними. Причем на очень выгодных для них условиях. И тут до меня дошло. – Он положил на стол распечатку и пальцем

подвинул ко мне. – Угадай, кто у них в совете директоров? Кто владеет пятьюдесятью одним процентом акций?

Я взглянул на листок, и у меня закружилась голова.

– Вся эта история для него, – продолжал Костя, – это просто бабки. Понимаешь, о чем я? Конфликт интересов. Покажу этот листок акционерам Компании, и его отстранят.

В груди открылась воронка сомнений – удушливая, безвоздушная. Знаете, тот момент, когда тебя вынуждают сделать выбор, но ты не готов – ты просто хочешь, чтобы все оставалось как есть, но уже поздно, тебя затягивают в заговор.

– Слушай, – вздохнул я, – я не знаю, чего ты там себе придумал, но я не хочу в этом участвовать.

– Поздняк метаться, бро. Ты – создатель Кусто. Хочешь ты или нет, если начнется буча среди акционеров, твой голос, твое мнение будет иметь вес. Поэтому я и говорю с тобой.

Всю ночь меня тошнило – буквально и фигурально, – я ненавидел Костю – за то, что он посвятил меня во все эти свои планы, рассказал о грядущей «буче», заставил выбирать сторону. Они всегда соперничали, – Костя и Иван Ильич, – высоковольтное напряжение между ними я чувствовал издалека. Я не силен в выборе сторон и вообще не люблю патовые ситуации, – почему люди вечно просят, чтобы ты за них впрягся? Однажды я уже впрягся за Реми, и что из этого вышло? Я чуть в тюрьму не загремел, вот что. Поэтому – нет, спасибо.

Все осложнялось еще и тем, что год назад я взял новую квартиру в ипотеку – для мамы, хотел перевезти ее в Москву, – и потому теперь финансово был очень зависим от зарплаты в Компании. В общем, все эти Костины разговоры о «буче» никак не клеились с моими планами на будущее.

Через пару дней я зашел в кабинет ИИ, сдать отчеты. Он был занят, даже взгляд на меня не поднял, сидел за столом, стучал пальцами по клавиатуре. Я положил папку в общую кучу и уже хотел уйти, но задержался в дверях. Его кабинет располагался этажом выше офиса, вместо одной из стен – панорамное окно с видом на наши рабочие места. Это огромное окно всегда вызывало у меня ассоциации с аквариумом, и это было иронично, потому что в углу здесь стоял настоящий аквариум, морской, с зебрасомами, монодактилями и спинорогом Пикассо. Иван Ильич вообще любил дорогие, необычные вещи: на стене у него за спиной – три большие картины; на каждой из них черно-белые руки держат красную нить, но штука в том, что нить не рисованная, а настоящая, и она тянется от одной картины к другой, и картины образуют триптих «Тонкая красная линия». В стене рядом с аквариумом – стеллаж, на нем – книги (не могу

разглядеть названий) и черная колонка (но все мы знаем, что на самом деле это стационарный электромагнитный подавитель сигналов – дорогая игрушка, которую ИИ запускает всякий раз, когда к нему заходят всякие важные гуси, чтобы эти гуси – или еще кто – не вздумали записать разговор).

– Что-то забыл? – спросил Иван Ильич, не отвлекаясь от монитора. Мой пульс подскочил – до ста сорока, не меньше; в ушах свистело, как при резком взлете. Я хотел сказать что-то, но не мог выдавить ни слова.

– Егор, я очень занят. Если хочешь сказать что-то – говори сейчас.

Воронка сомнений в груди расширялась, я чувствовал, как меня затягивает в нее.

– Я хотел. Хотел узнать. Насчет запросов. На новое оборудование. Сервера.

Иван Ильич на секунду перестал печатать, но тут же продолжил.

– Сегодня его не будет. Можешь идти.

Я сделал над собой усилие, подошел к столу и сел на стул напротив. На этот раз Иван Ильич даже посмотрел на меня – он был уставший, выглядел так, словно не спал всю ночь.

– Господи-боже, Егор, я же сказал: не сегодня.

– Мне нравится здесь работать. – Вдруг произнес я. Это был важный шаг, позавчера Костя заставил меня выбирать, и вот – я сделал свой выбор, воронка сомнений в груди тут же схлопнулась. Я знал, что не смогу предать ИИ. – Я очень благодарен вам. За все.

Он не умел улыбаться; но в тот момент его лицо, всегда неподвижное, словно обколотое ботоксом, чуть изменилось. Левый уголок рта чуть поднялся. В его случае это вполне могло сойти за улыбку.

– Это все?

– Нет. Мне кажется, мы делаем важное дело, и я хотел бы… то есть… ну, некоторые все же недовольны. Недовольны тем, что мы ждем новое оборудование, и, и, эээ, это плохо влияет на командный дух. Поэтому. Я хотел узнать, может быть, я могу как-то помочь с переговорами по оборудованию. В смысле, быть полезным. Я все равно ничего не смогу сделать, пока мне не привезут мои железки. Сижу, множу энтропию.

ИИ не моргая смотрел на меня. Он убрал руки с клавиатуры, сложил их в замок, подался вперед.

– Давай. Говори. Ты же пришел сказать мне кое-что про Константина. Он, кажется, многим здесь, эм, скажем так, весьма напряжен.

В груди снова открылась воронка, но в этот раз я силой воли задавил ее – отступать было поздно.

– Верность. Когда вы принимали меня в Компанию, вы сказали, что больше всего цените в людях верность, – сказал я; это прозвучало глупо и как-то по-дурацки, и я добавил: – Я хотел сказать, что не разделяю всеобщее недовольство.

Он едва заметно кивнул.

– Так, значит, оно все-таки есть – «всеобщее недовольство». – Он разглядывал ногти на левой руке, так, словно только что сделал маникюр. – Это печально. Знаешь, а ведь Константин – один из самых одаренных людей из всех, кого я знаю. И слухи, которые до меня доходят. Меня это очень огорчает. Очень. – Он выдержал паузу, перестал разглядывать ногти и посмотрел на меня. Как будто хотел сказать еще что-то, но передумал. Повернулся к экрану и снова застучал по клавиатуре. – Сегодня вечером твои запросы на оборудование будут одобрены. В течение недели все доставят. Свободен.

Я встал со стула.

– Все шесть?

Он кивнул – опять же, едва заметно.

– Все шесть. Считай это наградой. За твою верность.

Я вышел из кабинета и посмотрел на Костю. Он сидел за столом в одной из своих дурацких рубашек, на голове огромные белые наушники, жует жвачку, пишет код. Еще не знает, что ему конец – мне было жалко его.

* * *

Я бы хотел сказать, что той ночью спал как ребенок. Но это не так. Умом я знал, что поступил правильно – сохранил верность Компании. И все же мне было противно – и я не знал почему.

Следующим утром у входа в офис стояли три полицейские машины. Внутри, в фойе, люди в форме. За столиком сидел мой старый знакомый – охранник Борис. Широко посаженные глаза придавали его лицу какое-то глуповатое выражение, особенно когда он улыбался – он словно не мог толком сфокусировать взгляд (внешность его, впрочем, была обманчива: однажды я заметил у него в руках книжку Нила Геймана – уже точно не помню, какую именно, что-то про двух братьев, которые поменялись местами, – и мы разговорились и теперь иногда общались по-приятельски, обсуждали любимых писателей).

– Черт знает что, – сказал он. – Костя в офис ворвался.

– В смысле «ворвался»? – спросил я.

– Ну, пришел такой, сказал, что забыл что-то важное, хотел подняться в шестой отдел. Но ты же знаешь – протокол безопасности, все дела. В смене были Димка и Серега, они сказали ему, мол, звони Ивану Ильичу, если одобрит, тогда пустим. А он, это, прикинь, ствол на них направил.

По спине у меня, мерзко щекоча, покатилась капля пота, прямо вдоль позвоночника.

– Совсем ебнулся, ага, – добавил Боря. – Тебе придется идти пешком, он лифты заблокировал.

Я поднимался на шестой этаж по лестнице, меня тошнило – от страха и почему-то от стыда. Я знал, что Косте грозит увольнение, но мне и в голову бы не пришло, что он решит с оружием вломиться в офис. Ребята тоже не могли в это поверить. Вокруг его рабочего места на полу и на столе были рассыпаны клавиши от клавиатуры – он ударил ею охранника по голове, когда тот подкрался сзади и пытался оттащить его от компьютера.

– Этот шлакоблок заблочил лифты и выходы на лестницу, – сказал Витек; он почему-то считал, что «шлакоблок» – это ругательство. – Только забыл про резервный лифт для персонала в противоположном крыле. Плюс дополнительная защита сети, о которой он не знал, – Иван Ильич, оказывается, даже к такому подготовился. К саботажу.

– Что он хотел? Украсть данные? – спросил я.

– Хуже. Уничтожить.

Меня бросило в пот. Уничтожить? Мы девять лет создавали Компанию, и после всего этого он вот так просто решил спалить сервера? Я сейчас даже не могу описать шок, который вызвало у меня это слово: уничтожить. Ребята были того же мнения. Никакого сочувствия мы к нему не испытывали, и с тех пор если и говорили о нем, то даже имени не упоминали и, кажется, вовсе не интересовались его дальнейшей судьбой, настолько вероломным и неадекватным выглядел этот его поступок. Что с ним стало? Его судили? Он в тюрьме или отделался штрафом? Какая разница – он нам больше не друг, сперва пытался тут переворот устроить, а когда не вышло, решил спалить все нахер – не очень похоже на поведение здорового человека.

Иван Ильич, с другой стороны, кажется, был даже рад, что все именно так и закончилось – предательство Кости сплотило нас. С тех пор все наши запросы на новое оборудование рассматривались и выполнялись в течение трех дней максимум, и я до сих пор не знаю, что это было. Мне иногда кажется, что все эти задержки с оборудованием были частью какой-то «игры», ИИ специально испытывал наше терпение, давил на нас, проверял

нашу лояльность. И Костя просто не прошел проверку – начал копать под начальника. Короче, вел себя так же, как ты, Петро – был «отцом-истеричкой».

А я, ну, я не видел ничего плохого в том, чтобы работать с Минобороны и создавать программное обеспечение, которое поможет бороться с преступностью. Это звучит наивно, но я действительно чувствовал себя супергероем. И мы действительно помогали. Когда мы в тестовом режиме запустили Убик и Кусто и подключили их к городской системе обеспечения безопасности, я был безумно горд собой. Результаты тестовой проверки превзошли даже самые смелые наши ожидания. Я смотрел на экраны и видел, как мой алгоритм в прямом эфире сортирует сообщения о подозрительной активности, тут же опознает нарушителя, ведет его и передает данные о его передвижениях на смартфоны полицейских, находящихся поблизости.

Это был прорыв.

А потом началось падение.

* * *

Иван Ильич был очень мрачен в тот день. Он вошел офис, в руке картонный стаканчик с кофе; и сам он был цвета картона. Под глазами мешки, на шее – порезы после неосторожного бритья. Мы все уже слышали новости: 1 марта 1964 года (по новому стилю) Компания целиком перешла в ведение Министерства обороны. Они давно давили на нас. Первые результаты тестов Убика и Кусто в городской среде были настолько впечатляющими, что о нас заговорили на самых верхах. Казалось бы, такой успех должен был дать нам свободу и новое финансирование, но вышло наоборот – инвесторы стали бороться за контроль над нами. Иван Ильич долго не подпускал гусей из спецслужб к нашим разработкам – и это злило высшее начальство. «Ваши технологии имеют государственную значимость», – говорили они. Он до последнего старался балансировать на грани, но, как известно, от leading edge до bleeding edge путь недолгий – всего две буквы. Система поглощала нас – медленно, но довольно агрессивно, – и мы ничего не могли с этим сделать. Ивана Ильича все чаще вызывали «наверх», на совещания, где он распинался перед вояками, убеждал этих лысеющих гусей, что мы не просто толпа очкариков-программистов, что мы – будущее, но риторический дар его к тому моменту то ли поистерся, то ли просто перестал действовать на высшее начальство. Говорили, что это Костя перед уходом

успел все же отправить туда, «наверх», какие-то материалы, компрометирующие Ивана Ильича, после чего Ивану Ильичу пришлось отдать контрольный пакет акций.

Нам не урезали зарплату, наоборот, даже повысили (тут были свои плюсы: я, например, смог купить вторую квартиру на юго-западе Москвы и теперь уговаривал маму переехать), – теперь мы были напрямую привязаны к бюджету Минобороны, и многим в Компании это нравилось. Многим, но не всем; мы получили бюджет, но утратили независимость – теперь к нам то и дело приезжали какие-то китайские специалисты для «обмена опытом»; и даже хуже: нам приходилось отчитываться за каждый шаг, и если раньше запросы на новое оборудование рассматривал и одобрял лично Иван Ильич, то теперь Компанию поглотил огромный и неповоротливый бюрократический Левиафан. Теперь запросы обрабатывались месяцами, и мы писали письма (не электронные, а настоящие – на бумаге!) в десятки, сотни инстанций, нам приходилось заполнять кучу анкет и рисовать «графики эффективности» – и очень скоро все это привело к тому, что большую часть времени мы занимались не кодингом и не отладкой алгоритмов, а написанием гребаных писем, часть из которых все равно терялась где-то в министерских лабиринтах; и все начиналось сначала. Все это плохо сказывалось на общем командном духе, но мы продолжали бороться. Компания была нашим детищем, и теперь проект умирал, – или, точнее: обрастал жиром официоза, становился медлительным и неповоротливым, – прямо у нас на глазах – на это было больно смотреть. И еще было страшно. Витек сидел на антидепрессантах, я потихоньку подсел на диазепам, чтобы хоть высыпаться по ночам.

Иногда просто сдавали нервы: однажды я от руки нарисовал на листе бумаги своего любимого птеродактиля с моноклем, скипетром и державой, сунул в конверт и отправил в министерство вместо отчета. Уже через пять минут до меня дошло, насколько необдуманный поступок я совершил, но было поздно – конверт забрали. И всю следующую неделю я жрал диазепам и ждал, когда Иван Ильич вызовет меня к себе, но он не вызвал – ни через неделю, ни через две. Вообще не вызвал. Тогда я набрался наглости и вместо следующего «графика эффективности» нарисовал еще одного птеродактиля с моноклем. Но этот птеродактиль отличался от предыдущего – вместо державы у него был бильярдный шар-восьмерка.

И-и-и-и – снова ничего! Никаких санкций.

В третий раз я совсем обнаглел и сунул в конверт листок бумаги с надписью «Алекс – Юстасу: я собрал всех покемонов, что дальше?»

В течение полугода я саботировал отправку писем, отправлял им вырезки из желтых газет («Николь Кидман не умеет аплодировать! Шок-фото!»), фотографии кошек и хомячков, легкое порно, жесткое порно, кинк, футанари, хентай, гэнг-бэнг, свои грязные носки, писал им любовные письма и письма с угрозами, просил денег в долг и грозился покончить с собой. И к каждому письму прикладывал свои рисунки птеродактилей с моноклями и в цилиндрах.

Никто мне так и не ответил. Причем, что интересно, стоило мне однажды задержать отправку отчета, мне тут же прислали напоминание: «Убедительная просьба все документы присылать в срок. Спасибо [печать Министерства обороны]».

И, в общем, на этом и закончились все мои попытки привлечь внимание вышестоящих инстанций.

Когда Иван Ильич в конце концов вызвал меня к себе, я даже напрягся сначала – неужели они начали вскрывать конверты?

Я постучал в дверь (хотя в этом не было смысла – дверь-то стеклянная, а секретарша его уже предупредила), в нос ударил резкий запах спирта; в кабинете словно разбили бутылку водки. ИИ не выглядел пьяным, нет, но он был подавлен; лицо опухшее, как пчелы покусали. Я положил ему на стол очередной конверт с «отчетом» (на этот раз с настоящим – без котиков и птеродактилей с моноклями). Он посмотрел на стопку листов и горько усмехнулся:

– Отчеты! На бумаге! Ты можешь себе такое представить? Нашим отделом руководит человек, который требует, чтобы отчеты ему приносили на бумаге! У него нет электронной почты, видите ли! Он, видите ли, не доверяет компьютерам!

Я хотел было заметить, что мы и раньше распечатывали отчеты, но промолчал. Я знал, что он прав.

– Отделом новейших разработок руководит человек, который еще Брежнева видел живым! – ворчал он. – Вот что мне с этим делать, а?

Я смущенно молчал, опустив голову, как провинившийся школьник в кабинете директора.

– Ладно, прости, это не твое дело, конечно. Просто… просто чувствую себя Дон Кихотом – борюсь с ветряными мельницами. Или точнее – с нафталиновыми. Этому сраному брежневскому чиновнику не нужны никакие результаты и разработки. Точнее, нужны, но такие, которые помогут ему выслужиться перед теми, кто над ним. Ему плевать, насколько эффективны Кусто или Убик. Если эта эффективность не оседает в карманах его прямых начальников. Скоро начнет требовать, чтобы мы ловили, как он это называет, – он изобразил кавычки пальцами, – «внутренних

врагов». Вот новый тренд. Вот если бы твой Кусто выяснил бы имя художника этого, который насмехается над президентом, тогда и денег дадут, и орденами обвешают. И вот все у них так! Сука, все у них так!

– Какого художника? – спросил я.

– Ну этого. Графта.

* * *

О Графте я, конечно, слышал. Петро рассказывал, как его вызывали на допрос. Какой-то аноним, по странному совпадению в качестве никнейма взявший себе имя одного из персонажей сказок нашей матери. Все это было странно, поэтому я из чистого любопытства однажды вечером настроил Кусто на поиск следов Графта.

Расчет был прост, я изучил материалы о нем и понял: кто бы он ни был, он связан с кино и/или с медициной. Работы его выполнены очень качественно, чаще всего это сделанные с помощью 3D-принтера реплики человеческих тел и/или органов. Там я и стал искать в первую очередь – для начала получил доступ к данным нескольких компаний по медоборудованию. Одна из них, швейцарская Skin FX, как раз и занималась производством кожи из пенолатекса, разработкой протезов и искусственных органов для обучения студентов в мединститутах. Туда я и запустил Кусто. Это оказалось просто – я просканировал сеть, в логах сканов портов обнаружил не фильтруемый файерволлом сервер и выгрузил в публичную директорию сайта компании скрипты. И та-дааааам: Кусто проник в их корпоративную сеть. Я настроил его на поиск необычных транзакций, оптовых закупок пенолатекса и отражение этих закупок в переписке сотрудников. Долго искать не пришлось: алгоритм тут же выдал известного художника Павла Караташа. Караташ (как ни странно, это не псевдоним) работал аккуратно, пользовался анонимайзерами, Тором и прочим стаффом, но, как и любой бестолковый гусь, совершал ошибки – вот так оно всегда и бывает: ты можешь быть очень осторожным, но стоит тебе хоть один раз по запарке забыть ввести верный пароль, и – бум! – ты уже оставил след. Так и случилось с Караташем: все материалы для своих жутковатых скульптур он закупал в двух компаниях – Skin FX и Hepatum, обычно он все делал анонимно, через глубокую сеть, но пару раз серьезно наследил по неосторожности, Кусто засек его и дальше, промаркировав нужные блоки инфопотока, вытащил из серверов данные обо всех его сделках.

Одна из них выглядела весьма красноречиво: пятьсот двадцать упаковок гепатопротекторов. Куплены на частное лицо.

Нет, вы только представьте себе. Он просто закупил пятьсот двадцать упаковок по оптовой цене, не стал заметать следы, пожертвовал анонимностью, просто потому, что хотел сэкономить, получить скидку. Каков дебил, а?

Иван Ильич смотрел на меня поверх очков:

– Ты ведь искал Графта с помощью Кусто, ммм?

Я промолчал, он рассмеялся.

– А что? Ты правда думал, что я не узнаю? Эх, Егор, Егор, мы уже сколько лет знакомы, а тебе до сих пор кажется, что ты умнее всех. – Он выдержал паузу, словно ждал ответа, но я молчал, и он продолжил: – Зачем ты искал его?

Я рассказал ему о маминой книге сказок.

Иван Ильич расхохотался:

– Вот это поворот! Он фанат вашей мамы? Этот Карataш? Серьезно?

Я пожал плечами:

– Карataш просто купил пятьсот двадцать упаковок таблеток для печени. А через месяц анонимный художник Графт представил на выставке свою работу, выложенную из этих самых таблеток. Все это выглядит подозрительно и очень непохоже на совпадение, и все же – никаких гарантий, что Карataш и Графт – одно лицо, у меня нет.

– Ладно. – Иван Ильич открыл ноутбук. – Можешь идти. Мне стоило бы оштрафовать тебя за самодеятельность, но этот твой Кусто, кажется, этим своим расследованием только что обеспечил нам финансирование.

* * *

Что он имел в виду, когда говорил про «финансирование», я понял лишь спустя две недели, когда Иван Ильич зашел в офис с бутылкой шампанского в руках. Он объявил, что полицаям удалось вычислить и задержать художника Графта.

– И все благодаря нам!

Арест художника был отличным поводом для начальства выслужиться перед высшими чинами Министерства обороны. Все знали, как сильно Боткин обижался на шутки в свой адрес – и поговаривали, что свой портрет, выложенный из таблеток, он воспринял как личное оскорбление, потребовал срочно найти и наказать художника. По нашей наводке полицаи задержали Павла Карataша, и после серии допросов он в обмен на выездную визу

выдал всех, включая Александру Кардионову, художницу, скрывавшуюся под кличкой «Графт».

– Прикинь? Графт – это баба.

– Отличная работа, Егор! Благодаря тебе нам теперь пересмотрят бюджет на следующий год – в сторону увеличения. Смотри, что у меня есть. – Он достал из подарочного пакета красную вязаную шапку. – Шапка Кусто. Теперь она твоя, ты заслужил. – И натянул ее мне на голову.

Иван Ильич действительно был счастлив, я понял вот что: плевать ему было на двоякость ситуации, судьба девушки-художницы его не беспокоила, он волновался лишь о том, чтобы сохранить Компанию. Цена не имела значения, он сделал свой выбор.

Он еще раз поздравил нас и ушел к себе в кабинет. Я снял красную шапку и убрал ее в нижний ящик стола. И тем же вечером, возвращаясь домой, выбросил в урну.

Помню, пришел домой, долго сидел в кресле, смотрел в стену. В груди снова открылась воронка – огромная, шумная, болезненная. Воронка сомнений. Меня затягивало в нее, и я уже не мог сопротивляться.

«Самое главное – не потерять лицо», – всегда говорит Петро. Я думал, он драматизирует, – он ведь всегда драматизирует, это его фишка: отец-истеричка, – но теперь, сидя там, в подступающей темноте, в своей пустой квартире, я почти чувствовал, как теряю лицо – оно горело, так сильно и так больно, словно в меня плеснули соляной кислотой. Я никогда бы не подумал, что идиома «потерять лицо» может быть настолько буквальной. Тогда-то я и вспомнил про мамины таблетки. Тот самый пакетик с голубыми кругляшками.

Прости, Петро. Я знаю, ты будешь в ярости, когда дойдешь до этого места. Но ведь из песни слов не выкинешь. А я не выкинул мамин наркотик. Не знаю я почему, отстань. Тебе на все нужна причина, да? Так вот таблетки я не выкинул на всякий случай. Как тебе такая причина?

И вот *всякий* случай настал.

Я сходил в какой-то типа-китайский магазин на углу, купил ступку и пестик из оникса, вернулся домой, растолок одну таблетку, высыпал порошок на зеркальце, минут десять смотрел на все это безобразие – и наконец вдохнул.

Через минуту лицо онемело, и боль ушла. И воронка в груди затянулась.

Вы ошибаетесь. Никто не арестовывал Графта.

[Вопрос]

Нет, Марина не врет. Она просто не в курсе. Саша использовала ее.

[Вопрос]

Вы ведь читали ее манифест?

[Вопрос]

Да-да. Сашин манифест. «Художник и Система». Я прочту вам последний абзац, вот:

«Система не наказывает и не уничтожает – ей это не нужно, она не подавляет протест, – ведь любая борьба – это лишний шум, – она поглощает его; так удобнее; и чище. Цель Системы – не задавить человека, а убаюкать, удержать внутри зоны комфорта. И потому главная опасность для художника сегодня – не тюрьма и не гонения; главная опасность – заговорить на языке Системы. Это и есть смерть.

И чтобы не умереть – буквально и фигурально, – художник должен играть на опережение. Быть проворней Системы и постоянно проверять ее на прочность».

[Вопрос]

Я не «полагаю», я уверен, что похищение Графта – инсценировка, очередной Сашин перформанс. Она, как всегда, сыграла «на опережение». Узнала, что за ней идут, и разыграла свой арест прежде, чем этот самый арест случился; прежде чем Система успела дотянуться до нее. Это ведь идеально вписывается в ее манифест, в ее философию. Представьте себе, какая суматоха была в кабинетах у силовиков, когда стало известно, что Графта задержали, но кто именно задержал, куда ее увезли и где она теперь – никто не знает, хаха.

[Вопрос]

Как это – зачем? Чтобы создать миф. Миф о мученике. Скормить его Системе и понаблюдать за тем, как она его

поглотит. Подавится или нет.

Егор

Москва все больше напоминает Шанхай. Во всяком случае, мой район. Или же это все потому, что тут открыли буддийский храм? Теперь все вокруг дублируется на китайском, специально для туристов. А вечером всюду неоновые вывески и рекламные баннеры – иероглифы светятся в темноте. Довольно странное ощущение, я вроде бы живу здесь уже девять лет, но изменения заметил только недавно.

На моей улице закрылись почти все кафешки, старую колокольню снесли, и только тату-салон «Измаил» остался на месте. Я часто ходил мимо и всегда чуть задерживался у витрины, разглядывал образцы. Мне не нравились все эти русалки, демоны, черепа и прочее мракобесие, но я действительно часто задумывался о том, что бы такое нанести себе на предплечье или на шею – какой-то символ: рожок Тристеро или надпись waste. Это сложно назвать желанием, скорее такой, знаете, едва ощутимый импульс где-то в подкорке – я вряд ли смог бы объяснить, зачем мне нужна татуировка, возможно, я просто очень банальный человек и комплексую из-за того, что в свой почти-тридцатник похож скорее на подростка.

И, в общем, именно в тот период – с наркотическим туманом в голове и зыбкой предынфарктной тяжестью в груди, – однажды в понедельник я пересилил себя и толкнул дверь салона.

Внутри – довольно чисто, я бы даже сказал стерильно, запах, как в операционной. И это сразу настроило меня на хороший лад. Салон, как позже объяснил мне его хозяин, Измаил, был стилизован под таверну из «Моби Дика», и, эммм, стилизация удалась. В смысле, сам роман я не читал, но стоило мне переступить порог, у меня появилось ощущение, будто я провалился в червоточину и попал в девятнадцатый век, в таверну для китобоев: повсюду рассохшиеся доски, бочки, гарпуны на стенах и челюсти огромной акулы в баре. Разве что запах не соответствовал иллюзии – запах дезинфектанта. С гигиеной здесь все было в порядке.

– Э, братан, забыл чо?

Спросил мужик за стойкой – огромный, просто колоссальный, он встал со стула, оперся кулаками-гирями на поверхность стола и подался вперед, словно навис надо мной. Я как завороженный наблюдал за змеями, ящерицами и витками колючей проволоки, обвивающими его предплечья и уползающими под рукава черной майки.

– Я хочу сделать татуировку, – сказал я.

Он словно шмыгнул носом, втянул воздух, поморщился. Склонил голову набок.

– Тебе сколько лет?

– Тридцать.

– Да ладно! Кого ты лечишь?

– Мне двадцать девять. Могу паспорт показать.

– Давай.

Я достал паспорт, он долго разглядывал фотографию, меня, снова фотографию. Вернул паспорт.

– И что ты хочешь набить?

Вот с этим у меня была проблема – я не знал, чего хочу. И если я и хотел чего-то, то – наказать себя, оставить на теле отметину; иными словами – совершить необратимый поступок.

– Какой-нибудь символ, – сказал я и тут же понял, как невероятно глупо это звучит.

– Какой-нибудь символ? – Он улыбнулся.

– Да. – На мгновение я подумал, что было бы забавно набить себе птеродактиля с моноклем, скипетром и державой. В конце концов, я постоянно их рисую, почему бы и нет? Я оглядел стену с образцами и вдруг увидел на ней какие-то иероглифы, и тут меня осенило. – Строчки кода, – сказал я, и эта мысль показалась мне едва ли не гениальной: если набью на своем теле строчки кода, то никогда их не забуду.

Верзила вздохнул, почесал переносицу.

– Слушай, парень. Я ничего тебе не сделаю.

– Что? Почему? Я же показал паспорт. Мне двадцать девять. Правда.

– Я не делаю татуировки людям под веществами. Вещества делают нас импульсивными.

– Но… – Я испуганно смотрел на него. – Я трезв. Я вообще не пью.

– А я не про алкоголь. – Снова склонил голову набок, сморщил нос. – Ты под чем-то другим. – Он постучал пальцем по виску. – Опиаты. Я такое за версту чую. Сначала протрезвей, а потом – милости прошу.

Весь вечер я провел в горячей ванной – несколько раз мыл голову. Потом сходил в магазин за антибактериальным мылом, антиперсперантом, гелем для душа, лосьоном, листерином, мирамистином и туалетной водой. Неужели от меня и правда пахнет морфином? И этот запах можно почуять?

– Скажи, от меня пахнет чем-нибудь?

Витек принюхался и закашлялся.

– Ух ты ж, йопт! – замахал ладонью перед лицом. – Ты парфюмерный грабанул, что ли? Зачем так духаниться-то? Как

школьник на свидании, ей-богу.

* * *

Примерно тогда же я впервые заметил, что за мной следят. Какой-то гусь в коричневом плаще, один и тот же, постоянно терся поблизости – высокий, волосы бесцветные, как солома. Он даже не пытался шифроваться – я замечал его повсюду, – в метро, в трамвае, – и по пути на работу, и обратно. Пару раз я пытался оторваться, путал следы, но тщетно – он явно знал, где я живу.

Все это было мерзко и тревожно, и мое увлечение морфием только подогревало паранойю. В очередной раз заметив коричневый плащ возле Памятника Сыру, я зашел в офис и направился к стойке охраны. За ней сидел Боря. Недавно он перенес операцию: ему вживили кохлеарный имплант, и он теперь напропалую хвастался перед всеми, называл себя киборгом.

– Я могу регулировать уровень слуха с помощью приложения в телефоне, прикинь! Могу настроиться даже на сонар. Могу услышать твой пульс. А самое крутое, что имплант заряжается дистанционно, никаких проводов. Я человек будущего, йоу!

– Да, Боря, йоу, это круто. Поздравляю. Слушай, тут такое дело, у вас же есть камеры на улице?

– Пффф, обижаешь.

– Отлично. Видишь того гуся? Возле Памятника Сыру?

– Угу. Он частенько тут путается.

– Серьезно? Ты тоже заметил?

Боря пожал плечами, мол, это моя работа, чувак.

– Пару недель назад он даже заходил в офис.

– Даже так? И как ты его записал? Он показывал документы? Паспорт?

Боря не просто качал головой, он тряс ею, как ребенок, – словно пытался стряхнуть с макушки паука.

– Прости, Егор. Не могу сказать. У меня нет таких полномочий.

– Хм. Тогда можешь сбросить мне на почту скриншот с камеры, где видно его лицо?

Боря затряс головой:

– Неа, прости, Егор.

– Понимаю, да. «Платон мне друг, но истина дороже».

– Именно. Меня ж уволят, понимаешь?

– Да без проблем, не парься. Еще раз поздравляю с имплантом. Не забывай обновлять прошивку, чтобы его не

взломали.

– Постой, что? Его могут взломать?

– Ну да. Ты же им через приложение рулишь, значит, он подключен к сети.

Не лице его – неподдельный испуг. Я даже пожалел, что завел об этом речь.

– Но… кому нафиг может понадобиться взламывать мой имплант?

– Да ладно тебе, Борь, ну чо ты, я ж прикалываюсь. Программерский юмор, ну.

* * *

Я вышел на улицу и направился прямиком к коричневому плащу. Он заметил, что я приближаюсь, но притворялся, будто увлеченно разглядывает ПС. Я окликнул его, он обернулся, и я сделал фото на смартфон.

– Спасибо, – сказал я и пошел обратно в офис. Внутри все клокотало – смесь страха и восторга. Я и сам не ожидал от себя такой наглости. Восторг, впрочем, быстро улетучился, я прогнал его фото через ОКО, но сеть не нашла ни одного четкого совпадения. Я зашел в кабинет к Ивану Ильичу и показал фото ему.

– Кто это? – спросил он.

– Какой-то гусь из Штази ходит за мной уже неделю.

– В смысле, из Штази?

– Ну, из органов. Пасет меня по дороге на работу и обратно. Даже пальто как будто в ГДР купил.

– Через нашу базу прогонял?

Я кивнул.

– Без толку.

Иван Ильич склонил голову, постучал по фото карандашом.

– Вы что-то знаете об этом? – спросил я.

– А? – Он поднял на меня взгляд, растерянный. Я сразу понял: о слежке он не знал, но сам факт ее наличия его совсем не удивил. – Я? Нет, не знаю. Но я выясню.

– Мне стоит беспокоиться?

– Насчет чего?

– Ну, за мной по пятам ходит человек, биометрические данные которого удалены из нашей базы. Тут как бы всего один вариант.

Он вздохнул:

– Иди, работай, Егор. Я разберусь.

* * *

Гусь в плаще исчез (или, возможно, просто стал более осторожен; или его заменили на другого гуся в плаще, который пока не примелькался; тут много вариантов). Но легче не стало, наоборот, меня душил страх, и, уходя из дома по утрам, я включал датчики движения и скрытые камеры, потому что подозревал, что в мое отсутствие ко мне в квартиру могут прийти эти самые гуси в плащах. Умом я понимал, что это нездоровое поведение, но ничего не мог с собой поделать. Возможно, дело было в веществах – сильно било по мозгам и по среднему уху; сильнее, чем я готов был признать. Первое время его эффект, – я называл его «эффект прилива», – ощущение, словно меня изнутри окатывает теплыми волнами, в ушах – шум прибоя, – бодрил меня, в этом был кайф, но потом ощущения притупились, – за «приливом» всегда следовал «отлив», и теплые волны под кожей, под ребрами сменялись сухостью во рту и зудом в глазных яблоках, а шум прибоя превращался в раздражающее тарахтение, похожее на грохот проезжающего мимо поезда, – удовольствия уже не было, только гадливость и больничный привкус марли на языке; побочные эффекты раздражали, плюс обострившаяся светобоязнь – солнечный свет так шарашил по сетчатке, что мне пришлось купить очки с поляризацией. И без того худой и бледный, с немытой головой, в темных очках, я теперь выглядел как студент, который выполз из общаги за пивом, опохмелиться. Я сам себе не нравился, но жрать таблетки не переставал – знал: если перестану, в груди откроется не просто воронка, но черная дыра сомнений; а этого я не мог допустить.

Пару раз на улице мне мерещился Костя, – точнее, человек в яркой рубашке с принтом, как психоцибиновый трип, – маячил где-то впереди: то в толпе на переходе через дорогу, то в очереди в супермаркете, лица я не видел, но фигурой, осанкой он был точь-в-точь Костя, и это странно, но я ужасно боялся встретиться с ним глазами, как только видел эту яркую, кислотную рубашку, тут же бежал – как можно дальше, не оглядываясь.

Совсем нервы не к черту.

– Мне нужен пистолет, – сказал я. Мы с Борей сидели в «Черте» – у него тоже был обеденный перерыв. Я рассказал ему о слежке и о том, что пару раз, возможно, видел Костю в супермаркете, и снова повторил: – Я серьезно, мне нужен пистолет. – Боря долго смотрел в окно. По площади мимо ПС шли три буддистских монаха – лысые головы и желтые одежды.

– Ствол? Тебе? Не, бро, это плохая идея.

– Это еще почему?

– Есть два способа объяснить: долгий и скучный и быстрый, но болезненный. Какой выбираешь?

– Быстрый.

– О'кей, идем.

Мы вышли на улицу и направились к офису мимо Памятника Сыру. И тут он ни с того ни с сего заехал мне локтем в нос. В глазах потемнело, я с трудом удержал равновесие.

– Какого хера? – Я держался за переносицу, теплая кровь уже капала на майку. – Твою мать, Боря, какого хера?

– Ты сам выбрал, вот я и.

– Ты дурак, что ли? Боже, как же больно.

– Вот и я о том же.

Я стоял, наклонившись вперед, искры из глаз, вот-вот блевану. Боря склонился ко мне.

– Ствол, Егор, нужен только тем людям, которые способны им воспользоваться. Вот возьми. – Протянул мне пару салфеток. – Заткни ноздри. Вот у меня нет ствола, а знаешь, почему? Потому что я такой же, как ты. Я трусливый. И безобидный. Не смогу нажать на курок в критический момент. И ты тоже не сможешь.

– Я? С чего ты взял?

Он толкнул меня – так сильно, что я завалился на спину и больно ударился затылком о брусчатку. Боря тут же подскочил ко мне.

– Ой, блин, прости, бро, я не хотел, не думал, что ты так легко завалишься. Просто пытаюсь объяснить тебе, почему ствол – плохая идея.

– Что теперь? Будешь бить меня ногами?

– Да нет, что ты. Давай помогу.

– Иди в жопу! Не трогай меня!

– Я тоже как-то хотел купить ствол, но меня отговорили. Так же, как я тебя сейчас.

– Что это, блядь, за способ такой?

– Ты не способен на обдуманную агрессию, понимаешь? Я ударил тебя, а потом уронил на асфальт, а ты даже не ответил. Ты безобидный.

Он снова попытался помочь мне, но я оттолкнул его – в голове гудело, мне было тошно и стыдно одновременно. Я понял, что он прав. Пистолет под подушкой вряд ли успокоит меня, скорее наоборот – я просто случайно прострелю себе что-нибудь. А если на меня нападут, я не смогу нажать на курок. Кого я обманываю? Не смогу ведь, я и сам это знаю.

Я открыл глаза, надо мной склонился Боря.

– Отвали, – сказал я, – ты мешаешь смотреть мне в серое, бездонное небо Аустерлица.

– Какой Аустерлиц? Мы в Москве.

– Это шутка такая, неуч.

– Ты в порядке?

– Нет, пытаюсь пережить унижение. Ты прав. Ствол – плохая идея.

Он помог мне подняться, отряхнул мне спину. Дал еще салфеток (откуда у него их столько при себе?).

– Да не переживай ты так. Хер с ним, со стволом. С оружием есть одна проблема – оно стреляет. Всегда. И тут уж либо ты убийца, либо ты убит. Я вот с шокером хожу.

– С чем?

– С шокером. – Сунул руку под мышку, достал и показал мне шокер. – Четыре миллиона вольт. Любого быка вырубит на раз, с трех метров, сквозь любую одежду, и никакой уголовки, все живы-здоровы. Ну, разве что в беременных женщин лучше не стрелять, хехе. И в детей. И в инвалидов. А если бык какой докопается, то – бах! – и пока бык очухается, твои следы уже остынут.

– Хм. – Я взял шокер у него с ладони, повертел в руке. – Выглядит круто. А как он включаааааааАААААААААААА

АААААААААААААААААААААААААААА

ААААА

АААААААААААААААА

ааааа

хххххххххх

* * *

Четыре миллиона вольт в моем теле.

Представьте, что из вас вынули душу и в образовавшуюся пустоту насыпали холодного битого стекла. Потом вас хорошенько растрясли и бросили в ванну, наполненную иглами, – и каждое движение, каждый мышечный спазм – это боль, ледяная внутри, обжигающая снаружи. Кожа как будто горит, пузырится, а внутренности, наоборот, словно залили жидким азотом.

И акустический шум в ушах – бесконечный, обрывистый шелест полиэтилена.

Помню, как в детстве мама впервые привезла меня в супермаркет, под Аксаем. Чтобы его возвести, сотрудники строительной компании вырубили вишневый сад (это не метафора и не отсылка к Чехову, это реальность – они действительно вырубили вишневый сад; в прямом смысле). Главное, что я помню, – это пакеты. Белые полиэтиленовые пакеты с логотипом супермаркета и лозунгом «Для всей

семьи!!» – именно так, с двумя восклицательными знаками. Пакеты раздавали бесплатно, и для провинциальных жителей это было что-то новенькое. Пакеты, с логотипом, бесплатно? Да вы шутите! Люди хватали их не глядя, вместе с покупками каждый тащил еще и пакет с пакетами.

Но тут была проблема: супермаркет располагался прямо в степи, в чистом поле – а надо ли говорить, какие там сильные ветры? И так и получалось: люди хватали пакеты, выходили на парковку, и штормовой ветер надувал их, как паруса, и вырывал из рук. Куски полиэтилена летели прочь и цеплялись за ветки вишневых деревьев, немногих оставшихся в живых после стройки огромного магазина. Деревья не принадлежали супермаркету и чисто юридически росли за пределами его территории, поэтому пакеты, зацепившиеся за ветки, снимать никто не спешил. И это было жутковатое зрелище – особенно на слух. Ты идешь по парковке и слышишь, как штормовой ветер треплет пакеты на ветках – словно безумные акустические помехи. Белый шум.

Именно их я услышал сначала. Затем – сирену «скорой помощи».

Я очнулся в больнице, весь опухший, словно с похмелья. В глаза бил яркий свет, и голова от него трещала, как кубик льда, брошенный в горячую воду.

– Ну и дебил же ты. – Это был Боря. Я видел его зыбкий силуэт справа от койки. – Как вообще можно было, а? Ты понимаешь, как ты меня подставил? Они уже мусоров вызвали, думают, что это я тебя шарахнул.

Я попытался сказать что-то – голос хриплый и ломкий:

– Зачем мусоров?

– Они не верят, что человек может сам себя случайно из шокера ударить. И я их не виню. Для этого нужно быть законченным рукожопом. Таким, как ты.

– Добрый день. – В комнату вошла женщина в белом халате. Она словно не шла, а парила ко мне. Движения ее оставляли шлейф в воздухе – как задержка при фотосъемке. И голос – красивый, мелодичный – отдавался музыкой у меня в затылке.

– Он ни в чем не виноват. Это я. Я дебил. Не надо полицию, – пробормотал я, с трудом ворочая языком во рту.

Женщина улыбнулась, искоса посмотрела на Борю, потом на меня, подняла мне веко.

– Как себя чувствуете?

– Пакеты.

– Что?

– В ушах пакеты. Шуршат.

– А, шумы? Это нормально.

– Послушайте, я правда не знал, что такое бывает. – Боря словно извинялся. – Парень в магазине сказал, что это безобидная штука, просто вырубает человека на время. Всяко лучше пистолета. Я и не думал, что могут быть последствия.

– Успокойтесь. – Женщина обходила койку. За спиной у нее – зыбкий, полупрозрачный шлейф.

– У вас шлейф, – сказал я.

– Что?

– Когда вы идете, за спиной у вас появляется такой шлейф, как будто при фотосъемке с сильной задержкой.

– Это нормально. Зрение скоро восстановится.

– Все ведь будет хорошо? Я правда не хотел бы проблем с законом из-за дурацкого шокера, – ныл Боря у нее за спиной.

– Не переживайте, ваш друг будет как новенький. Проблема в том, что шокер нельзя использовать против людей с имплантами, это может вызвать осложнения. Если бы у вас не было импланта, – сказала она мне, – мы бы вас не держали тут. – И снова склонилась надо мной, ее черные волосы упали мне на грудь, она светила фонарикам мне в глаза.

– Постойте, что? – Я приподнялся на локтях. – Кого импланта? В смысле: какого импланта? О чем вы? У меня нет импланта.

– Вообще-то есть. Был. Он поджарился во время удара током – оставил ожог у вас на запястье. Нам пришлось удалить его. – Она показала пальцем на мое замотанное эластичным бинтом запястье.

– Чувак, у тебя тоже был имплант? – спросил Боря.

Я хотел ответить, что не было, но осекся. К тому моменту я уже основательно сидел, воспоминания путались, я часто не мог вспомнить точную хронологию событий, но я был уверен, что не покупал и не вживлял себе никаких имплантов. Тем более в руку. Я бы запомнил.

Или нет?

– Скажите, а удар током мог повредить память?

Она задумалась, пожала плечами:

– Кратковременную, да. Может барахлить. Но скоро придет в норму.

– А могу я увидеть имплант?

* * *

Я сидел на стуле в коридоре и держал перед глазами баночку с имплантом внутри. Микрочип внутри треснувшей стеклянной

капсулы. Мелкий, размером с муравья.

– Это трекер, – сказал Боря.

– Откуда ты знаешь? – спросил я.

– Я собаке своей такой вживил, чтоб, если потеряется, можно было отследить ее. Для этого приложение есть.

Я посмотрел на него:

– Покажи-ка свои запястья.

Он ухмыльнулся:

– Ты чего? Совсем уже? Если он есть у тебя, это не значит, что он у всех.

– Ты ведь тоже работаешь на Компанию.

– Да, но я не помню, чтобы мне что-то вживляли. А память у меня отличная. – Он постучал пальцем по виску.

Перед глазами у меня все еще немного двоилось, я снял очки и долго массировал переносицу.

– Но нам ведь делали прививки. От гриппа. – Я посмотрел на него. – Помнишь?

Петро

Я все еще не оставлял надежды отыскать Графта. В каком-то смысле этот поиск стал моей навязчивой идеей. Я знал, что если не узнаю, кто он такой и почему взял себе именно этот псевдоним, – сойду с ума, наверно.

Поэтому, когда в сети появилось видео с погромом и сожжением скульптур на выставке гиперреалистов, я тут же вызвался написать об этом для «Осмоса» и первым делом позвонил в галерею Artra – трубку взял секретарь и после долгих уговоров все же переключил меня на куратора.

– Погром? – сказал он. – Нет, мне нечего сказать. В смысле, это же Карaташ – с ним никогда не знаешь, что он выкинет. Погром и поджог скульптуры я не могу комментировать.

– Тайна следствия?

– Да нет, просто вчера меня не было в галерее, я видел то же, что и вы – видео. И все. А постановка это или нет – это пусть органы решают.

– В каком смысле постановка?

– В прямом. Есть уже такая городская легенда, что поджег скульптуры был спланирован. Поджог скульптуры – это часть скульптуры. Типичная фишка гиперреалистов: они же всегда вроде как «играют на опережение». Если они знали, что православные активисты готовят погром, они вполне могли опередить их – и смоделировать погром самостоятельно. Меня весь день об этом спрашивают. Но я не могу ответить. Не потому, что не хочу, просто не знаю. Могу только сказать, что скульптура действительно уничтожена и мои люди потушили пожар с большим трудом. А потом приехал наряд полиции, они повязали этого сумасшедшего священника и уехали. Так что, если хотите что-то узнать – это вам в полицию надо.

[Запись разговора с младшим сержантом Семеном Деревянко]

Не, ну а я чо? Я ж это. Ну да, мы задержали его.

[Вопрос]

Не, ну как. Как обычно, а как?

[Вопрос]

Ну это, звонок поступил. Диспетчеру. И он, диспетчер, сбросил нам, и мы выехали на место, а чо?

[Вопрос]

Не, ну, так-то, мы приехали, а там уже все. Дым, сажа, вонища. Как будто покрышки жгли. Ну и мы, чо. Мы это. Там этого. Священника этого. Его вроде как охрана связала. Ну как связала. Не веревкой, а типа скотчем. Руки за спиной. Я не знаю, как это назвать. Типа руки ему скотчем связали. Показали нам запись, как он это. Бензином все заливает и поджигает. Ну и мы его. А чо? Мы его это, и приняли. Разрезали скотч. Наручники на него и. Права ему зачитали. Все по протоколу, чо. Погрузили его, везем в отделение. И я такой торможу, значит, на светофоре, а он… в общем, он там на заднем сиденье наручники снял. Да я хуй знает как! Просто взял и снял. Священник этот. Как этот. Как фокусник этот. Как бишь его? И, короче, дверь открыл и это. Выскочил из машины и, и, и. Побежал! Вот прям натурально побежал! В этой своей накидке! Да, точняк, в рясе! Серега на меня как-то не по-братски бочку катит за это. Но это это. Брехня это все.

[Вопрос]

Да гондон штопаный! Напарник мой. Бывший. Он в рапорте в этом своем написал, что я это. Двери не заблочил. Но это он просто крыса и не по-братски вообще. Все я заблочил. Я ж это. Не тупой. Это он специально, чтобы его не разжаловали. Так-то он это. Это ж стремно, если у тебя из машины подозреваемый сбегает прямо средь бела дня. Некомпетенция. А у Сереги, у гондона этого. У него эти. Дети у него. И еще ипотека. И жена. И теща. И печень. Больная в смысле печень. И теща тоже больная. Но печень больнее. Полный комплект, короче.

[Вопрос]

А, да, священник. Ну чо, мы погнались за ним, конечно, а чо? Чо еще делать-то? Ситуация, как-грится, патовая. А он, я те отвечаю, втопил, как этот. Ну, как, блин, его звали-то? Этого черножопого, который самый быстрый человек на свете. Все Олимпиады по бегу выигрывает, ну. Да-да, Хусейн Бонд, он самый. И в общем, это. Беда-то одна не приходит. И в общем, мы за ним бежим, и тут-то Серегу машина и сбила. То есть вот прям натурально сбила. На перекрестке! Не, ну несильно. Но, как

грится, ощутимо.

[Вопрос]

А чо ему будет-то? Он же гондон! Так ему и надо.

[Вопрос]

Да на капот поймал. Руку сломал, ушибы, ссадины-хуядины. И главное, сбил-то его педик какой-то на «Тойоте Приус», прикинь? Когда тебя тачка сбивает – это обидно. Но когда тебя сбивает пидорская тачка – это обидно вдвойне. И это. Я ж это, не мог оставить боевого товарища в таком состоянии. Хоть он, как-грится, и гондон. И, в общем, как я написал в рапорте, нам пришлось «прекратить преследование подозреваемого по причине наезда легкового транспортного средства иностранного производства на сотрудника полиции при исполнении». И мы, короче, оформили место происшествия. И это. Отвечаю, возвращаемся к машине, а ее это. Нет ее. Скоммуниздили.

[Вопрос]

Я знаю! Кому вообще в голову придет угонять патрульную тачку? Худший, сука, день в моей жизни. Но Серега все равно гондон.

Петро

Над показаниями младшего лейтенанта Деревянко смеялась вся редакция. Но мне было не до смеха – успешный побег «отца Пигидия» сильно осложнял мое расследование. Если бы эти два идиота-полицейских довезли его до отделения и сняли отпечатки пальцев, у меня была бы зацепка, я бы как минимум знал, действительно ли он священник и как его зовут на самом деле.

Но он исчез, и теперь у меня не было ничего, кроме видео, на котором он сжигает скульптуру. Представители РПЦ открестились (каламбур ненамеренный) от него и отказались комментировать дальнейшую судьбу этого странного персонажа.

В итоге он как в воду канул, чем лишь подтвердил гипотезу о том, что вся эта история с сожжением – постановка.

* * *

– Нашел!

Я зашел в кабинет и кинул папку на стол Греку. Папка соскользнула на пол, бумаги разлетелись по зеленому ковролину.

– Черт! – Эта неловкость снизила пафос момента, я встал на одно колено и начал собирать бумаги.

– Кого нашел-то? – спросил Грек, наблюдая за мной. Он громко жевал зеленое яблоко.

– Отца Пигидия! Или, точнее, Олега Осипова, по кличке Гудини. – Я собрал бумаги и протянул их Греку. – Художник-акционист из группы «НЕТ». Давний знакомый Павла Караташа. Знаешь, в чем его фишка? В исчезании. Все его перформансы строятся на том, что он сначала попадается в руки полицаям, а затем сбегает от них. Исчезает из камеры. Или из патрульной машины, как в случае с нашим бравым младшим лейтенантом Деревянко. Поэтому его и прозвали Гудини – он может выбраться из любой тюрьмы и любой клетки.

Грек отложил яблоко и начал листать папку.

– Впечатляет, – сказал он. – Фото есть-нет?

– Нет.

Он поднял на меня взгляд:

– Как так? Если у него так много приводов?

Я пожал плечами:

– Это его фишка: фото тоже исчезают. Есть парочка – размытые, нечеткие.

– И с чего ты взял, что это он?

– Эммм, – я начал загибать пальцы, – знакомый Карataша, это раз, может открыть любой замок, это два, все, с кем я говорил о нем, описали его как очень высокого и очень рыжего человека, это три. И самое главное: никакого отца Пигидия не существует. Это вообще не славянское имя. Просто прикол.

– Но у тебя тут написано, что они враги.

– Один из источников утверждает, что Гудини увел у Карataша то ли жену, то ли девушку. С тех пор Карataш делает все возможное, чтобы выдавить Гудини из «тусовки». Постоянно вставляет ему палки в колеса.

– А. То есть этот Гудини, по-твоему, в отместку решил спалить его выставку?

Я пожал плечами:

– Это все, что я нарыл. Просто слухи.

– Блин, ну что у нас за страна такая? Даже погромы – и те фальшивые. – Грек продолжал листать папку. – А вообще, я, кажется, недооценивал их. Я-то думал, современное искусство – это скучно. А тут, гляди-ка, настоящие подпольные войны художников-акционистов.

– Но ты еще самое крутое не слышал. – Я подался вперед, оперся руками на стол. – Все перформансы Гудини связаны с «исчезанием». Знаешь, какой самый известный из них? Исчезновение озера.

Колесо решений

[рассказ из книги Нины Ходжаровой «Путешествие камней»]

Каждую ночь Портной приходил к озеру. Хватался за береговую линию и встряхивал водную гладь – так встряхивают простыню или одеяло. Озеро колыхалось, шло волнами – на берег вылетали рыбы.

Мальчишка, сын Портного, ходил по берегу с корзиной и собирал рыб, бьющихся, молчаливых. Портной тем временем возвращал озеро на место, прилаживал, пришивал к земле и ровнял непокорные складки-волны на воде. Озеро снова ложилось на землю, плавно, как новая скатерть на обеденный стол. Мальчишка собирал выброшенных на берег рыб (они дергались, задыхались в корзине – и все так же молчали) и возвращался к отцу.

Дома, пока в котелке бурлила уха, Портной учил мальчишку правильно ухаживать за озером, – выкладывал на скатерть предметы – солонку, перечницу, бокал, моток ниток и маленький камень.

– Смотри, – говорил он, хватал скатерть за край, встряхивал ее, да так, что все предметы, кроме камня оставались на местах, – камень взлетал и падал на кровать в углу комнаты.

– Ты должен научиться этому, – говорил Портной. – Это наш долг – беречь озеро. Озеро кормит и поит нас, и мы, Портные, в ответ бережем его, защищаем. Но озеро – нежная ткань, если дернуть неосторожно, оно порвется и утечет, просочится в землю, все, до последней капли. Поэтому ты и тренируешься на скатерти. Попробуй всколыхнуть ее так, чтобы не опрокинуть ни солонку, ни перечницу и не разбить бокал. – Портной вернул камень на стол, между перечницей и солонкой.

Мальчик схватился за скатерть и осторожно тряхнул ее – предметы не сдвинулись с мест.

– Не бойся, – сказал Портной, – это просто тренировка. Сильнее.

Мальчик создал волну посильнее. Солонка упала набок, рассыпав белые кристаллы.

– Сильнее.

Мальчик тряхнул скатерть, на этот раз очень сильно: солонка с перечницей полетели в стену, бокал ударился о потолок и раскололся.

Мальчик побагровел от стыда.

– Ничего, – вздохнул Портной, – научишься.

И мальчик научился.

Через месяц Портной доверил ему озеро. В свой первый раз мальчик перестарался – тряхнул слишком сильно – и вместе с карпами на берег вылетели два глубоководных сома, три коряги и даже мачта затонувшего сто лет назад корабля. Со дна поднялся ил, и озеро помутнело, как грязная лужа, а лунная дорожка на его поверхности погнулась и пошла зигзагом.

– Ты чего, малой? – спросил Портной, посмеиваясь. – Не дебоширь. Беги, бросай рыбу обратно, пока не умерла. А остальное я исправлю.

Портной разровнял озеро ладонью и подул на него, – тихо, осторожно, – так дуют на горячее. И ил развеялся, как пар над чашкой горячего чая, озеро снова прояснилось.

Мальчик побросал рыбу обратно и вернулся к отцу.

– Сходи домой, принеси мне чашу и кисть, я научу тебя исправлять лунную дорожку.

Когда мальчик вернулся с инвентарем, Портной достал ножницы и аккуратно распорол береговую линию.

– Хватайся с той стороны, – сказал он сыну.

Они взяли озеро, подняли с земли и стали скручивать, выжимать над чашкой, словно мокрую простыню. И ртуть лунной дорожки капала в чашку – кап, кап, кап – из перекрученной поверхности воды. Когда чашка наполнилась, они вернули озеро на место, и портной ловкими стежками пришил береговую линию к земле, да так, что швов было не разглядеть. Потом взял чашку, кисть и принялся за дело.

– Здесь важно сохранять пропорции, – говорил он и наносил серебристые, дрожащие разводы на воду под луной. – И внимательно следи, чтобы дорожка начиналась ровно под луной, чтобы криво не пошло. Это с опытом придет. А пока рисуешь, можно и немного подурачиться. – Он нарисовал на воде кошачью морду и засмеялся. – Я всегда плохо рисовал. Может, у тебя получится что-нибудь поинтереснее.

* * *

Портных в деревне уважали. Придет фермер, скажет: засуха, урожай пропадает. Портной берет озеро, кладет в карман, идет на ферму и там, держа воду в ладонях, цедит ее в желобки оросительных систем. Вода льется, журчит, пшеница поднимается, тянется к солнцу.

Или в другой день – беда: пожар на мельнице! Тут же бегут к

Портному. А он опять хвать озеро, кладет в карман – и бегом на холм. А сын – за ним. Подходят поближе, берут озеро за края, как одеяло, расправляют, подбрасывают и накрывают им горящую мельницу – тут же шипение, пар как в бане. Народ радуется, в ладоши хлопает.

Но есть, конечно, вещи, с которыми Портной не может справиться.

Вот умер король, и понеслась по холмам молва – о наследнике.

– Ой беда, – говорит мужик, – совсем беда.

– Что такое?

– Король войну затеял и собирается выпустить указ: требует от Портных явиться в Замок.

– На кой нам в Замок? – спрашивает Портной. – Мы ж не солдаты. Мы не разжигаем пожары, мы их тушим.

– Да вот, король узнал, что ваши озера вполне можно использовать для борьбы с врагом.

– Это еще что за чепуха? Как же это их можно использовать?

– А очень просто. Вот, смотри, наступает на тебя целый полк солдат, а ты – хвать! – и бросаешь им под ноги озеро, и все они тут же – бульк! – как камни под воду, только круги по поверхности, солдаты, они ведь что – они обвешаны оружием, а оно тяжелое, на дно их тянет пуще якоря.

Портной слушал мужика и становился все мрачнее.

– Дичь какая. Это что ж, он меня в убийцу хочет превратить? Я не буду бросать озеро под солдат.

– Не только под солдат, – говорит мужик, – под танки тоже. Озеро ведь надежней любого минного поля. Под танк бросаешь, и он сразу ко дну – бульк!

Вот это вот «бульк!» в исполнении мужика звучало как-то совсем жутко.

– Ты только смотри, если до завтра не придешь в Замок и не присягнешь королю – они за тобой сами придут. Полицаи.

– Нет, слушай, ну это дичь какая-то, мы живем в Королевстве Пяти Озер, – говорит Портной. – Если он нас заставит бросать озера под вражеские танки, то это что же будет: озера быстро заилятся и загрязнятся. Танки же – это металл и керосин. Вся рыба сдохнет. И озеро станет болотом, ведь мы не сможем ухаживать за ним. А если не будет воды – не будет урожаев. Люди вымрут от голода.

– Да он же король, а короли – они, – мужик постучал себя по голове, – думать не любят.

– А что же другие Портные?

– Я был у дома одного из них, хотел предупредить, но –

поздно, там уже дежурят полицаи. Они и к вам идут. Так что поторопитесь.

* * *

Когда полицаи подъехали, дом уже был пуст. Сигарета еще тлела на краю пепельницы. На плите стоял котелок с ухой, еще горячий. Полицаи кинулись к озеру, но – оно исчезло. На его месте была пустота, овраг, на дне которого лежал полусгнивший каркас корабля. Неровные лужи блестели вдоль вспоротой волшебными ножницами береговой линии.

* * *

– Куда мы идем?

– На запад. К Стене.

Всю ночь они шли на запад. К утру на горизонте возникла деревня – чуть больше двадцати домов, узкие улицы и запах навоза. Там был и постоялый двор, владелец которого, закрыв ладонью две золотые монеты, брошенные Портным на исцарапанный прилавок, протянул им ключ с деревянным брелоком с цифрой «3» на боку. Бросив рюкзак на пол, мальчик рухнул на кровать. Портной сел рядом.

– Зачем мы идем к Стене? – спросил мальчик, глядя в потолок, на голую лампочку на проводе.

Портной снимал ботинки и, морщась, растирал ладонями затекшие ступни.

– Пап? – Мальчик повернул голову.

– Это моя работа – защищать озеро. – Он приложил руку к нагрудному карману пиджака. Портной нервничал – он знал, что озеро нельзя так долго держать в сложенном, скомканном состоянии, – если его не расправить и не пришить к земле в ближайшие полчаса, вся рыба в нем задохнется, умрет, а складки водной глади придется расправлять специальным озерным утюгом.

– А что там – за Стеной?

Портной массировал левую ступню и корчился от боли – кости ныли, словно терлись друг о друга под огрубевшей кожей.

– Там они не смогут нас достать.

– Но…

– Хватит. Поспи пока, я скоро приду.

Он отошел подальше от деревни, достал озеро из кармана,

расстелил по земле и долго смотрел на водную гладь. У него не было плана.

Вернувшись на постоялый двор, он спросил у хозяина, – огромного лысого мужика, – где можно купить еды. В магазине, подходя к кассе, он увидел заголовки газет на стойке по соседству.

«Портные продались врагу».

«Министр обороны: «Украденное озеро – это удар по сельскому хозяйству, преступление против народа, государственная измена».

– Где-то здесь можно взять в аренду пару лошадей? – спросил он у лысого гиганта, вернувшись на постоялый двор.

– У нас – нет. Но в одной из соседних деревень должны быть конюшни, – ответил тот и потянулся за огромной телефонной книгой на полке. – Секундочку. – Книга грохнулась на стол, взметнув облако пыли. И в этот же момент прямо за окном пролетела стая уток – прямо на уровне первого этажа.

Портной подошел к окну и выглянул. Утки – десятки уток – сидели на крыше соседнего дома, еще штук шесть или семь толкались прямо на тротуаре, прямо у входа в постоялый двор.

– Утки, – сказал лысый гигант, листая книгу. – С тех пор как новый король упразднил должности Портных, они как с ума сошли. Летают кругами, ищут озера, а их нет – озер треклятых, все пошли на вооружение. – Портной отвернулся от окна, бросил взгляд на хозяина двора и только тут заметил, что у того даже бровей нет, настолько лыс. – Если бы я был полицейским, я бы решил, что где-то здесь неподалеку остановился Портной, и не один, а с озером. Утки ведь чуют большую воду, их не проведешь.

Портной кивнул на книгу:

– Что там с арендой лошадей?

– А! – Гигант ткнул пальцем в страницу. – Вот. – Перевернул книгу и достал из-под прилавка дисковый телефон.

Когда Портной потянулся за трубкой, хозяин накрыл его руку своей огромной ладонью и подался вперед. Портной ожидал, что изо рта у него будет вонять, но – ничего такого, дыхание пахло мятной жвачкой.

– Это не мое дело, – шепотом сказал хозяин, – и я не собираюсь вас сдавать, но, – он указал пальцем в потолок, – все эти полчища уток – они следуют за вами. И если я догадался, то и полицаи тоже скоро все поймут. Торопитесь.

* * *

Птицы всюду преследовали их. Стоило Портному спешить лошадей, как небо уже через десять минут наполнялось утиным галдежом и трепыханьем крыльев. Птицы чувствовали большую воду у него в кармане и ждали, когда он расправит озеро, махнет им, как скатертью, и опустит на землю. Именно так Портной и делал, озеро было мятое, вода в нем застоялась, лунная дорожка по ночам шла зигзагами, но у Портного не было времени все исправлять. Он знал – за ними идут.

– Надо что-то делать с птицами. Они указывают на нас, как стрелка компаса – на север.

Портной подбросил сухих веток в костер и посмотрел вверх – птицы вихрем вились над верхушками деревьев, почти заслоняя небо.

– Есть одна мысль, – сказал он.

* * *

Поля покрылись трещинами, пыльные бури покрывали стекла домов серым, непроницаемым налетом. Пыль повсюду – на столах, на тарелках, на люстрах, на еде, в волосах, в носу, в ушах, в глазах, в мыслях. Люди конопатили окна и надевали маски, и дети, задувая свечи на тортах в день рожденья, все чаще просили о дожде.

Портной и его сын держали путь на запад. А перед ними – сухие поля, мертвые урожаи, голодный скот, высохшие ручьи, овраги, трещины, песок и пыль – повсюду пыль. И пепел – леса горели.

– А от чего леса горят? От жары?

– Нет. Это люди их жгут.

– Но зачем?

– Они в отчаянии. Воды нет. Урожаи погибли. Работы нет. Никакой. Единственный способ привлечь внимание короля – поджечь лес. Если лес будет гореть, на его тушение выделят средства. И местные жители смогут устроиться в пожарную охрану. Хоть какие-то деньги.

По ночам, пока Портной спал, мальчик доставал озеро у него из кармана и тренировался, встряхивал, ровнял его и убирал обратно. По ночам озеро больше не отбрасывало лунную дорожку – ее пришлось оставить позади, чтобы сбить со следа уток. Белая ртуть дорожки сейчас лежала где-то там, вдали, в лесах, и над ней кружились и крякали сотни обманутых птиц.

* * *

Запасы еды подходили к концу, и отец с сыном решили остановиться в ближайшей деревне. Еще издалека, впрочем, они заметили одну странность: дома в деревне были полуразрушены. Точнее – повреждены, у каждого из них не хватало одной стены, они напоминали театральные сцены.

– Что здесь произошло? – спросил Портной, когда они зашли на постоялый двор. – Почему у всех домов здесь по три стены?

Хозяин двора попыхивал трубкой.

– Налоги.

– В смысле? Вы платите налоги стенами?

– Не, я в смысле – это мы разрушили стены, чтоб, ну, не платить налоги. Не, ну а как? Мы ж фермеры, нас земля кормит, а если нет земли, то и денег нет, – это как дважды два. А тут еще этот закон: все, что имеет четыре стены, оно, видите ли, считается домом, а значит, – вынь-да-положь, – налог на жилье. А налог – это что? Правильно – деньги, нехилая такая сумма, никто не потянет, мы ж не буйволы какие. Вот мы и рушим стены собственных домов, чтоб, ну, не платить. Единственный способ выжить, чо. Но ничего! – Мужик потряс в воздухе дымящейся трубкой. – Мы им еще покажем! Мы каждый день отправляем гонца с письмом в королевский замок. Король милосерден, добр и всемогущ – и будь уверен, он положит конец нашим страданиям.

– А вам не кажется, что ваши страдания, – осторожно заметил Портной, – это и есть результат действий короля?

Мужик поморщился так, словно Портной только что плюнул ему в лицо.

– Э, слышь, я попросил бы не оскорблять короля. По мне, так самоочевидно, что все наши беды как раз оттого, что королю о них не сообщили. Король всеблаг и всемогущ – это как дважды два, – и если бы он знал о наших бедах, он бы не допустил такого безобразия. У меня вот, значит, у соседа участок отобрали, так он, – что ты думаешь, а? – он бац и королю пожаловался, прям вот достучался, прикинь? И что ты думаешь? Участок тут же – вжух! – и вернули. Каково, а? Вот так, по щелчку пальцев! – Мужик щелкнул пальцами, чтоб подчеркнуть весомость своего довода. – Не, братан, тут все как дважды два – это все местные власти, они скрывают правду от короля, и все, что надо сделать – сообщить ему. И уж он-то – ух! – вступится за нас, не даст в обиду!

Портной не стал спорить – он постоянно слышал подобные речи от фермеров, всегда одинаковые, – они как будто повторяли друг за другом одну и ту же мантру, – он знал, что спорить с ними бесполезно – могут и побить. Ему не хватало терпения и красноречия – он чувствовал, что уже слишком стар, и сил все меньше. Но мальчик, сын Портного, очень внимательно слушал

людей. И в каждой новой голодающей деревне им говорили одно и то же: Король добр и всеблаг, и только он поможет – и никто больше! И мальчик видел веру в глазах мужиков и, глядя на отца, видел обратное, – видел, как папа все сильнее разочаровывается в людях, во взгляде его было все больше грусти и безнадеги, – и каждый новый разговор с мужиками как будто убивал в отце надежду. И это злило мальчика. И так, по капле, день за днем, слушая одинаковые – слово в слово – речи мужиков, мальчик копил злость.

Они пересекали очередную деревню, ехали мимо огромной, километровой очереди к единственному колодцу. Уставшие, пыльные люди с ведрами в руках смотрели им вслед. Люди напоминали шайку грабителей с Дикого Запада – их лица скрывали повязки и маски. Никаких эмоций, только усталость.

Небо на горизонте светилось красным – очередной пожар. Только на этот раз горел не лес, но целая деревня – дома, охваченные пламенем, и темные силуэты мужиков вокруг, стоящих неподвижно и молча смотрящих на то, как догорает их имущество.

Мальчик потянул узду, лошадь остановилась.

– Им нужна помощь.

Портной замедлил ход и обернулся:

– Я знаю. Не сейчас.

Мальчик упрямо смотрел ему в глаза:

– Это твоя работа. Мы ведь уже тушили пожары. Всего две минуты!

Портной поморщился, словно от боли в желудке.

– Нет, малек, прости. Сам подумай: если мы им поможем, они поймут, кто мы, и схватят нас. Ты видел газеты: нас считают врагами.

Мальчик стер грязный пот со лба тыльной стороной ладони. Он продолжал смотреть на полыхающее пламя на горизонте, потом снова бросил взгляд на отца – злой и упрямый.

– Это твоя работа.

– Моя работа – защищать озеро.

– А ради чего, ради кого ты его защищаешь?

Портной развернулся и молча поскакал дальше.

Весь вечер они не разговаривали. Отец разжег костер, приготовил уху, разлил ее в две жестяные миски, одну протянул сыну. Мальчишка отвернулся, смотрел в темноту. Портной сел рядом с ним и долго дул на свою миску с ухой.

– Ты, вероятно, думаешь, что если потушить один пожар, это будет благородный поступок. Так и есть. Проблема в том, что этих пожаров сейчас миллионы. Все королевство охвачено

пламенем – буквально и фигурально. Скажи, что важнее: напоить сто человек или сто миллионов человек?

Мальчик не отвечал. Портной пил бульон и смотрел на огонь.

– Если мы сейчас дадим воды этим людям, это будет последний раз. Потому что нас поймают. Эти самые люди.

– Ну доберемся мы до границы. – Мальчик все еще сидел, отвернувшись. – И что?

Портной зажмурился, стараясь сдержать гнев, потом вскочил и швырнул миску в дерево. Зарычал и пнул костер – искры вихрем взвились в небо.

– Озеро там, в кармане. Ножницы мои тоже. – Он махнул рукой в сторону пиджака. – Когда будешь отдавать им воду, передавай от меня привет. Если будут меня искать, скажи – я здесь. Мне все равно.

Он залез в спальный мешок, застегнулся почти до предела, и еще долго в темноте было слышно, как шумно и беспокойно он дышит.

Когда он проснулся, мальчика уже не было. Пиджака тоже.

* * *

– Мы поймали его!

– Кого? Портного?

– Нет, сына! Он сам пришел к нам. Желает видеть короля.

Советник задумчиво смотрел на себя в зеркало, – в глазу монокль, – в народе все называли его «птеродактилем» – он был ужасно худощав и выглядел так, словно костей у него в теле не двести, а все четыреста, и все они торчали в разные стороны. Гора костей, обтянутая тонкой пергаментной кожей, и еще эта голова – лысая, вытянутая, безгубая.

– Ну, введите.

Мальчика ввели в залу, но он отказался говорить с кем-то, кроме короля. Лишь протянул записку: «Говорить буду только с Королем. Лично».

Советник усмехнулся:

– Смотри-ка, дерзкий какой, а! С чего ты взял, что кто-то пустит тебя к королю? Ты кем себя возомнил, а? Король не говорит с народом, для этого у него есть я. Можешь сказать мне, а я передам королю. Говори – где озеро?

Мальчик не отвечал – как воды в рот набрал.

– Будешь молчать – брошу в темницу.

Мальчик не шелохнулся.

Советник свистнул, и, бряцая неудобными доспехами, в залу

вбежали стражники, схватили мальчика под руки и потащили вниз по винтовой лестнице. Когда тяжелая тюремная дверь захлопнулась за мальчиком, он просто сел на лавку и стал ждать. Он знал, у короля мало времени – без третьего озера земли его королевства скоро совсем высохнут, поэтому рано или поздно, – если мальчик будет упрям и непреклонен, – он добьется своего, и его пустят к Королю. И у него был план: он притворится таким же наивным и верующим, как и те люди в деревнях, – попросит у Короля помощи, и присягнет ему, и когда Король потеряет бдительность, подпустит его ближе к себе, тогда-то он и ударит. Потопит Короля в озере, которое спрятал во рту, под языком.

В темнице он провел триста четырнадцать дней, примерно раз в неделю к нему спускались министры и угрозами, уговорами, взятками пытались заставить сказать, где же спрятано третье озеро. Но мальчик молчал, он ждал, что его начнут пытать, применят силу, – но ничего такого не случилось. И стражники, и сами министры, казалось, боялись к нему прикасаться – его упрямство словно бы пугало их.

Спустя же триста четырнадцать дней, – а может больше, – мальчик сперва считал дни, делая пометки на стене, но ослаб из-за плохой еды, – переваренной каши, водянистой каши, – и одиночества, – и вполне мог сбиться со счета, – все же он победил, – все те же двое стражников в неудобных, бряцающих доспехах, снова пришли за ним, взяли под руки и отвели в залу, где жил и работал советник. Советник давил, угрожал, обещал, но мальчик стоял на своем – у него был план: добраться до короля и рассказать ему о всех страданиях народа! Он знал: еще чуть-чуть, и он победит, для этого нужно только упрямство – и время – не более.

– Ну хорошо! – воскликнул советник, потрясая в воздухе своими костлявыми, тощими руками. Ходили слухи, что между пальцами у него перепонки. – Хорошо! Черт бы вас побрал, Портные! Одни от вас проблемы! Хочешь увидеть короля? А ты не боишься? Ты ведь знаешь, что говорят о его взгляде? Люди сходят с ума от него – настолько он силен и пронзителен.

Мальчик покачал головой.

Советник устало вздохнул, кожа на лице сморщилась, пошла складками от недовольства. Он несколько раз вставал с кресла и снова садился, как будто в нерешительности. Потом все же встал, снял с шеи ключ на цепочке и бросил мальчику.

– Открывай. – И указал пальцем на резную дверь в дальней части залы. Палец у него был неестественно длинный, неприятный, как будто там не три фаланги, а все двенадцать.

Мальчик шагнул к двери и сунул ключ в скважину. Он ждал

подвоха, боялся, что сейчас случится что-нибудь ужасное, но дверь просто щелкнула и стала открываться. Сама.

За дверью – тронный зал, парчовые ковры и гардины. Огромный трон, а на нем – и вот тут было самое странное: ведь на троне не было короля. На нем располагалась яркая, позолоченная, – или, возможно, даже золотая, – круглая конструкция, похожая на большое колесо. Мальчик подошел поближе и увидел, что колесо разделено на сегменты, и в каждом сегменте надпись: «война», «мир», «повысить налоги», «понизить налоги», «открыть границы», «закрыть границы», «наказать», «пытать» – и еще много-много всяких слов.

Мальчик обернулся и вопросительно посмотрел на советника. Тот стоял в дверях, опершись о дверной косяк, вылитый птеродактиль.

– Что? Хочешь знать, где король? Он сбежал. Давным-давно сбежал. Не выдержал груза ответственности; так сильно боялся предательства и переворота, что просто не выдержал – собрал вещи и был таков. Мы не знаем, где он. А занимать его место никто особо не торопился, поэтому мы и придумали, скажем так, компромиссный вариант. Народ решили не беспокоить, о бегстве короля не сообщили и просто посадили на трон колесо, которое теперь случайным образом принимает сложные решения: вроде введения налога или объявления войны.

Мальчик внимательно разглядывал лицо советника – ждал, что тот засмеется, признается, что это – шутка. Но, кажется, министр не шутил.

– А что? Мы давно уже так живем. Так даже лучше, чем с королем. Колесо решений так хорошо себя показало, что мы уже несколько поколений пользуемся им. Все сходятся во мнении, что это очень мудрое решение – передоверить самые важные решения слепому случаю.

Мальчик все еще ждал настоящего короля, но чем дольше они с министром говорили, тем очевидней было – все это не шутка.

– Но как же так? А если колесо принимает вредное, плохое решение?

– О, да, с этим мы тоже разобрались, – гордо сказал министр. – Если колесо решений принимает решение, которое выходит нам всем боком, мы наказываем его.

– Кого?

– Колесо, кого же еще? Оно получает двадцать ударов плетью. А что? Хорошая идея ведь. И волки целы, и овцы сыты.

[из дневников Петра Портного]

[23 октября 20XX]

Сегодня опять перечитывал эту мамину сказку. Про портных, озеро и колесо решений. Я ее обожаю, а Егор нет – он говорит, что концовка слишком радикальна и не соответствует общему тону истории. Он говорит, что было бы лучше, если бы мальчик встретил короля и оказалось бы, что сам король несчастный, замученный делами человек, заложник своего собственного царства. А я не согласен, мне именно это и нравится в маминой сказке – то, что она не похожа на другие, что она странная и немного сумасшедшая. В этом что-то есть. Другие сказки, как правило, заканчиваются хорошо, и я долго не мог понять – что здесь не так, почему меня так сильно раздражают хеппи-энды? И вот сегодня дошло: они упрощают реальность; и именно над этим – над упрощением реальности – издевается мама в «Колесе решений». Народные сказки учат нас, что во всех бедах всегда виноват кто-то другой. И стоит нам разделаться с этим «другим» – все тут же встанет на свои места. Убить злого колдуна, отрубить голову дракону, бросить в вулкан Кольцо Всевластия, взорвать Звезду Смерти, – сделай это, говорит сказка, и все остальные проблемы сами собой, автоматически решатся: люди перестанут ссать в подъездах, уклоняться от налогов и воровать провода с линий электропередачи. Вообще, эта вера – в то, что в мире существует некий универсальный злодей/объект, уничтожение которого принесет свободу, – это, мне кажется, очень наивная и даже вредная вера.

Убей дракона – и проблемы исчезнут. Это логика сказки, и она никогда мне не нравилась. На самом деле, если убить дракона, люди вряд ли сильно обрадуются, наоборот: они еще очень долго будут носить цветы на его драконью могилу и, сидя в рваных трениках на кухне, будут повторять: «Вот при *драконе* порядок был, а сейчас что? Безобразие!»

Убить дракона действительно нужно. Но не в реальности, а в голове у каждого жителя страны.

Вопрос: как это сделать?

[26 ноября 20XX]

В последнее время у меня стойкое ощущение, будто я попал в одну из твоих сказок, мам. По всем каналам целый месяц без остановки гоняют документальные фильмы о Великой Китайской стене.

«Стена была не просто символом цельности и нерушимости

Китайской империи (sic!), – сообщает закадровый голос. – В самые темные и сложные времена она защитила китайский народ от набегов западных варваров (sic!)».

Это давно известно: больше всего в своей биографии президент Боткин гордится годами, проведенными на стройках, в должности каменщика, когда он «лично, вот этими вот руками» возводил стены; и именно там, «работая бок о бок с такими же работягами», он познал ценность настоящего товарищества. Боткин плохо разбирался в архитектуре, но небольшой отрезок жизни, проведенный в Китае, сильно повлиял на него, он был поклонником «большого стиля» и, говорят, в молодости даже совершил паломничество к Великой Китайской стене. И потому каждый год за месяц до его дня рождения по всем федеральным каналам стабильно показывают фильмы о династии Цинь и императоре Цинь Чихуанди.

Все это ужасно нелепо, но со временем мы даже как-то привыкли к китайским фетишам президента. В сети иногда шутили, что бесконечные фильмы про Китай – это такой неловкий способ морально подготовить народ к новости о строительстве нашей Великой Русской стены.

Ха, ха.

Никто, конечно же, всерьез такие шутки не воспринимал. А потом слух подтвердился, вышло официальное постановление: правительство планирует построить Стену вдоль всей западной границы.

– Это еще как понимать? Он, видимо, считает себя новым императором династии Цинь? Как вообще можно додуматься до такого?

– Успокойся, – говорил мне Грек, – они не смогут ее построить. Я видел смету. Бюджет не резиновый, у них нет столько денег.

Денег в бюджете действительно не было, поэтому их решили взять у народа.

Новый закон гласил: каждый гражданин должен лично купить именной кирпич. Этот жест – покупку именного кирпича – преподносили как акт патриотизма.

И надо отдать им должное – рекламные ролики в сети и по телику были отличные. Один из них рассказывал о сервисе, который позволяет не просто создать именной кирпич, но и сделать его уникальным, «персонализировать».

«Вы можете выбрать шрифт и любую картинку, и мы изготовим кирпич специально для вас и даже доставим его на место строительства. Кирпич также можно покрыть сусальным золотом, стразами, кристаллами Сваровски. Для молодых и

дерзких у нас есть специальное предложение – стильные принты, которыми каждый подросток может покрыть свой личный кирпич. Потому что мы заботимся не только о единстве, но и об уникальности каждого гражданина! Стабильность и самовыражение! Покупайте наши именные кирпичи!»

На экране: счастливые граждане держат в руках свои именные кирпичи. Все поколения, от мала до велика. У старика в руках кирпич с профилем Владимира Ленина.

«Стена – это шанс для каждого из нас стать частью истории! – говорит он в камеру. – Кто я такой? Просто маленький человек. Но теперь мой личный кирпич ляжет в основу Великой Русской стены, а это значит, что я творю историю».

Рядом со стариком – семейная пара, женщина беременна, а на ее кирпиче – снимок УЗИ ее ребенка.

«Я хочу, чтобы мой сын, символ новой жизни, тоже занял достойное место в Великой Русской стене», – говорит она репортеру.

Следующий в группе, школьник – он решил нанести на свой кирпич стихи из песни любимой рок-группы.

Закадровый голос: «Только вместе мы сможем защитить свои границы. Только вместе мы сможем построить сильную страну. Только Стена защитит нас от внешних врагов».

На фоне начинает играть «Ода к радости» Бетховена, и все эти люди – старик, беременная женщина с мужем и школьник – подходят к недостроенной Стене и возлагают кирпичи в общую кладку. На кладке стоит белозубый рабочий в каске и оранжевом комбинезоне. Он выглядит так, словно сошел с советских агитационных плакатов. В руке шпатель, на загорелом лбу – испарина, на лице – счастливая улыбка. Он сквозь экран смотрит на зрителя, но это непростой взгляд, это взгляд в будущее, сообщает диктор. Рабочий берет именные кирпичи и вкладывает их в стену, музыка достигает пика, крещендо – к инструментам присоединяется хор!

Общий план: толпа счастливых граждан. Обнявшись, они наблюдают, как перед ними в режиме таймлапса растет Великая Русская стена.

Затем музыка затихает. Экран гаснет, и после паузы появляется надпись: СИЛА – В ЕДИНСТВЕ.

Какое-то время мы все молча смотрим на экран.

– Стильно, – говорит Грек. – Видели, какие белые зубы у этого штукатура? Или кто он там? Каменщик?

– Классный таймлапс, – добавляет Ольга. Нам всем настолько не по себе, что мы пытаемся шутить.

История Стены на этом не кончается. Политтехнологи

продолжают упражняться в остроумии. По улицам гуляют люди в майках с патриотическим принтом – шпатель, сжатый в крепкой рабочей руке; говорят, что прототипом этой крепкой рабочей руки стала рука самого Боткина.

А еще – объявления по всему городу: «Приглашаем на бесплатную экскурсию! Станьте свидетелем ИСТОРИИ. Увидеть Великую Русскую стену в процессе возведения. У вас будет возможность лично возложить именной кирпич в кладку!»

На экране: гид гуляет по готовым сегментам стены и рассказывает о ее невероятной прочности. «Сто сорок шесть миллионов именных кирпичей! Эта Стена – не просто символ единства, в ней имя каждого из нас! Все вы, – он тычет пальцем в экран, на зрителя, – стали частью этого эпохального события! Все вы – уже вошли в историю!»

Дальше: рассказ о невероятной прочности Стены. «Она способна выдержать даже ядерный удар! – сообщает гид. – Даже если человечество исчезнет, то все строения, все великие памятники архитектуры рано или поздно развалятся под давлением времени».

На экране – графика: Колизей, Эйфелева башня, Белый дом и прочие узнаваемые архитектурные объекты превращаются в прах. Опять же, в режиме таймлапса.

«Но только не наша Стена! Даже Великая Китайская стена через пару тысяч лет превратится в обломки. А русская – выстоит!»

Дальше: монтажная склейка, рядом с гидом появляется маленький, щуплый человечек азиатской внешности.

«Мы взяли комментарий у китайского эксперта по стенам», – произносит гид и протягивает микрофон эксперту. Тот начинает говорить – по-русски с анекдотическим азиатским акцентом:

«Это плавда. Наса стена – говно по славнению с васей. Лусские лутсе китайцев. Тепель это отевидно, и глупо это отлицать. А амеликанская стена, котолая на гланице с Мексикой – это плосто смесно. Амеликанская стена отень слабая, она тотьно не выделзит яделного взлыва».

На экране – графика: атомный гриб на горизонте, американская стена красиво рушится, разлетается на молекулы, а русская стоит как ни в чем не бывало.

– Это что еще за фигня?? – Я ору на экран. – Какая, нахрен, разница, выдержит стена ядерный удар или нет?? Они вообще в курсе, что такое ядерный взрыв? Они знают, что там есть куча других последствий?

– Поздравляю, – говорит Ольга. – Ты ищешь логику в пропагандистском видео.

[27 ноября 20XX]

Говорят, прямо сегодня – в мой день рождения, надо же – в городе внедрили систему Ubiq 2.0. Егор добился своего. Системе этой, впрочем, дали какое-то совершенно совковое название «Соглядатай-Н». И теперь она целыми днями собирает информацию о передвижении граждан. Самое страшное, что всем плевать. И даже больше – есть люди, которые с восторгом встречают такие новости. А я все вспоминаю тот наш спор с Егором, когда он сказал, что интернет и многие другие полезные вещи начинались именно как военные разработки, и просто так уж вышло, что они пригодились в быту. Мне очень странно думать эту мысль (а так вообще говорят: думать эту мысль?). Наверно, в каждой технологии есть этот «вредоносный код» – они, технологии, делают мир чуть более удобным и в то же время более уязвимым, более хрупким. Технический прогресс уже давно движется по инерции, и эта инерция так сильна, что мы теперь просто вынуждены жить в ее кильватере.

Помню, читал книжку Филипа Дика об андроидах-мечтателях, и там есть одна характерная сцена. В первой главе, кажется, когда Рик Декард приезжает в компанию «Розен», чтобы проверить тест Войта-Кампфа на андроидах последней серии, они с Элдоном Розеном обмениваются такими репликами:

– Проблема [говорит Рик] заключается в методе вашего производства, мистер Розен. Никто на заставлял компанию доводить гуманоидных роботов до такого совершенства, что…

– Мы делали только то, что требовалось колонистам, – перебил его Элдон Розен. – Мы следовали испытанному принципу коммерции. Если бы мы не занимались совершенствованием андроидов, то это сделала бы другая фирма.

Сегодня это такое универсальное оправдание любого техносоревнования: «Если это не сделаем мы, это сделают они, а если они все равно это сделают, тогда почему мы не должны?»

Но самым слабым местом любой технологии все равно остается человек.

Недавно читал историю о том, как хакеры проникли на сервера нескольких крупных банков. Они не стали лезть в саму систему и ломать ее, они поступили проще – получили доступ к камерам наблюдения в гольфклубе для банкиров, и подглядели комбинации на замках на шкафчиках для одежды. Почти у каждого банкира пароль от шкафчика совпадал либо с пинкодом от карты, либо с паролем от рабочей электронной почты.

Да, настолько банально.

И именно так киберпанки получили доступ к переписке, а уж там вообще лежало все необходимое, чтобы обрушить фондовые рынки. И все потому, что кое-кто поленился придумать нормальный пароль.

История поучительная: взломщики сделали ставку на человеческую лень – и не прогадали. Ну а что? Давайте по-честному: многие из нас используют один/два пароля для всех своих устройств, и в этом смысле мы мало чем отличаемся от этих самых «банкиров».

Вообще, взломы и кража данных – это всегда интересно в первую очередь с точки зрения антропологии. У разработчиков софта есть такой термин «эффект Титаника»: чем больше система, тем сложнее найти и укрепить ее слабые места; и чем безопаснее эта система выглядит, тем страшнее последствия ее сбоя. Но главная проблема даже не в переусложненной архитектуре современного киберпространства, проблема в том, что ни одну систему нельзя защитить от идиотов на местах. И от чиновников. Ты можешь построить целую цифровую крепость, использовать самые современные разработки в области шифрования и защиты данных, но все это не имеет значения, если какой-нибудь дятел из министерства-чего-нибудь-там с высоким уровнем доступа запишет свой пароль на желтом стикере, повесит стикер на монитор, а потом сфотографируется на фоне монитора для прессы.

Если какой-то интеллект нас и уничтожит, то скорее низкий, чем искусственный.

[29 ноября 20XX]

…причем впервые я столкнулся с этим не где-нибудь, а в супермаркете, оплачивал продукты на кассе и обнаружил у себя в корзине скидочные купоны на мягкие зубные щетки, ополаскиватель для рта с хлоргексидином и бесплатный прием к стоматологу в клинике через дорогу от дома.

– Представляешь? – говорю Греку. – Один раз заглянул к дантисту, и мне на следующий же день в супермаркете зубные щетки предлагают. Они мою историю браузера смотрят, что ли?

– Неа. – Грек показал в окно, на камеру наблюдения, установленную на фонарном столбе на той стороне улицы. – Твое лицо – твой медиапаспорт. Система засекла тебя, когда ты заходил к стоматологу – вот и закидывает тебя теперь «сопутствующими продуктами». У нас на следующей неделе большой материал выходит на эту тему, ща сброшу тебе на почту черновик.

Мы, впрочем, быстро научились обманывать «Соглядатая-Н» – рисовать узоры на лицах мы не стали, мы сомневались в эффективности этой процедуры – но Грек достал где-то шарфы и платки из какой-то необычной ткани; ткань состояла из волокон, которые засвечивали любое изображение – на фотографиях лицо всегда было смазано огромным бликом, словно от зеркала, и нейросеть не могла нормально считать и обработать информацию.

– Будущее уже здесь, веришь-нет?

– Как оно называется? – спросил я, разглядывая подаренный Греком шарф.

– Уильямгибсон. Одним словом.

Я засмеялся.

– Серьезно?

– Серьезней некуда.

– А про Депардье слышали? – спросила Оля.

– А что с ним?

– Говорят, если надеть майку с принтом-лицом Жерара Депардье, то система не сможет тебя распознать. Какой-то баг, его называют «парадокс Депардье».

Мы с Греком переглянулись – и рассмеялись.

– Господи, Оля, ну ты сама себя слышишь? Депардье! Нелепость какая! Это даже как шутка не очень смешно.

[2 марта 20XX]

Господи, как же сложно работать с Греком! С ним есть одна проблема: он как ребенок с СДВ – не терпит рутины и однообразия, не может усидеть на месте. И если жизнь не обеспечивает его адреналином и сенсациями, он сам начинает искать их в самых неожиданных местах или еще хуже – выдумывать. Так было, например, одиннадцать лет назад, когда он просто свалил из университета и отправился спецкором на Ближний Восток, скакать по барханам под пулями.

Теперь он мой начальник, и моя работа – осаживать его, держать в рамках реальности.

Это ужасно утомительно.

Вот, например, на днях какая-то совсем упоротая история. В сети ходит видеоинтервью Боткина, где он в самом конце случайно платком стирает свою знаменитую родинку со щеки. Нелепость, конечно, но боже-мой, как все возбудились – сколько конспирологии сразу. Ей-богу, люди словно никогда не слышали о графических редакторах и вирусных видео. И Грек, естественно, повелся – ему ведь так скучно писать «обычные» новости и делать «обычные» спецпроекты. И вот – что он сделал? Откопал где-то

мужика, который, блин, на голубом глазу утверждает, что он – двойник Боткина и что двойников у президента не меньше трех. Но самое упоротое в другом – этот сумасшедший заявляет, что никакого Боткина уже нет. То есть он есть, но никто не знает, где он.

Президент. Сбежал. Из страны.

И получается, что страной вот уже целый год управляет, эмм, – теневое правительство? Кардинал Ришелье? Колесо решений?

Надо маме рассказать, вот порадуется – жизнь, кажется, опять подражает ее сказкам. На этот раз – даже без помощи гиперреалистов.

История (опять же, со слов «двойника») такая упоротая, что хоть каждое слово кавычками выделяй: президент Боткин действительно был, но полтора года назад он пережил инсульт и стал почти бесполезен, больше не мог выступать – левая часть лица у него не двигалась, левый глаз не открывался, а уголок рта не поднимался при улыбке. В таком беспомощном виде показаться народу он не мог. Ему нашли двойника. Затем – еще одного. Двойников было несколько, их постоянно меняли, зачем – неясно.

Но самое прекрасное даже не в этом, а в том, как настоящий Боткин исчез. Он стал подозрителен и недоверчив, часто даже отказывался есть, боялся, что отравят. Свои же. Его пугало собственное бессилие. И, говорят, что новый виток репрессий – как раз результат его нарастающей паранойи, попытка как-то закрепиться в реальности, любой ценой пустить в нее корни. Он все еще надеялся победить свое тело и каждый день занимался с физиотерапевтом. И в прошлом году, зимой отправился в Китай, в какую-то сверхдорогую клинику то ли в Гонконге, то ли в Шанхае, к одному из лучших физиотерапевтов Азии, доктору Ву. Два дня он занимался на тренажерах, ходил на массаж и принимал солевые ванны, устраивал прогулки по горам с личной охраной. Был бодр и доволен собой.

А потом исчез. То есть – буквально. Опять же, как утверждает «двойник», однажды утром Боткин просто не вышел из своего номера. Когда охрана ворвалась внутрь, номер был пуст, балконная дверь открыта настежь. Боткин – в лучших традициях старых фильмов про затворников-беглецов – снял шторы с окон, связал их вместе, привязал к кованым прутьям балкона и спустился вниз с третьего этажа.

Неделю вся президентская рать искала шефа в близлежащих городах и селах. Но он оказался умнее. И хитрее. Говорят, из номера он сбежал не с пустыми руками: исчез его лыжный

костюм, палки для скандинавской ходьбы и походный рюкзак с какой-то нехилой суммой денег. Есть версия, что он ушел в монастырь, возможно, даже перешел границу с Тибетом.

А дальше – опять же, если верить «двойнику» – началась тихая, подковерная грызня между опричниками, борьба за опустевший трон. Кто победил в итоге – неясно, но было решено замять историю с исчезновением Боткина: все оставили как есть, ему просто нашли двойника; чучело, которое теперь время от времени достают из чулана, отряхивают от пыли и выставляют напоказ, чтобы народу было кого любить и почитать.

Мы с Греком сегодня поссорились на этой почве – не помню даже, когда я так орал на него в последний раз. Он собирается «разрабатывать» это дело и далее опубликовать материал о «двойнике» и «сбежавшем президенте». Я пригрозил, что уйду из «Осмоса», если эти желтушные бредни появятся на сайте издания. Нет, ну в самом деле – что за фигня? Может, тогда еще и про летающие тарелки начнем, блин, писать?

У нас была очень неприятная беседа – он прямо на планерке стал хвастаться тем, какую шумиху поднимет статья о «двойниках».

– Ах, значит, шумиха – вот что тебя теперь волнует, – сказал я. – Мы теперь за сенсациями охотимся, стало быть.

Грек как-то странно на меня посмотрел, дернул головой, словно убрал с глаз несуществующую челку.

– А что плохого в сенсациях? Сенсации – это хорошо, они привлекают аудиторию и увеличивают конверсию на сайте, – сказал он и как-то натянуто улыбнулся. Было странно слышать от него такое, раньше он всегда неохотно говорил о доходах-расходах; когда я приходил к нему обсудить новый контракт с рекламодателями, он вечно ворчал: мол, наша цель – рассказывать истории, и если они будут хорошие, то будет и результат. Плохие, желтые истории тоже дают результат, говорил он, но лишь на короткой дистанции – на длинной желтизна убивает любой журналистский проект.

– Помнится, когда мы только открылись, один из нас – и это был не я! – сказал, что слепая погоня за трафиком и цифрами – первый шаг к деградации СМИ.

Грек стыдливо опустил голову, разглядывал грязные шнурки на своих кедах.

– Мы открывались в другой стране, Петро.

Мне следовало обратить внимание на эту реплику, но я был слишком зол и ничего не заметил. Я повернулся к Оле:

– Оль, ради бога, поговори с ним, я больше не могу.

Оля массировала переносицу. Она у нас главный судья и

миротворец, вечно улаживает спорные вопросы.

– Петя прав, – сказала она, и я с облегчением выдохнул. – Если у тебя нет подтверждения хотя бы двух источников, ты не имеешь права публиковать подобное. Это вопрос репутации.

Грек затравленно смотрел на нее – как школьник, который знает, что учителя неправы, но не может это доказать.

– Вы все еще не понимаете, да?

[5 августа 20XX]

На нас давят. Сначала через инвесторов давили, теперь – напрямую. Постоянно к материалам придираются, хотя к чему тут придерешься? Эзоповым языком мы овладели в совершенстве, за текстами статей следим внимательно, и если и показываем кому-то средний палец, то всегда старательно маскируем его под указательный.

Стараюсь не впадать в безумие, но мне и самому уже кажется, что взялись за нас как раз после того, как Грек начал копать эту историю с «двойниками». Он даже отправился в Гонконг, где попытался найти тот самый пансионат, в котором, если верить «двойнику», Боткин боролся с последствиями инсульта и из которого, собственно, сбежал.

Мы с Олей не возражали – мы понимали: у Грека очередной период «вселенской тоски», – когда с ним такое случается, он начинает творить всякие глупости: выдумывает себе новые проекты, вляпывается в неприятные истории или же отправляется на край света, где лезет под пули ради красивого кадра, – в общем, все что угодно, лишь бы «не сдохнуть от скуки». Вот и сейчас то же самое, все бросил на нас и уехал в Гонконг, расследовать долбаное «дело о двойниках».

И я бы рад сказать, что он вернулся ни с чем, но все гораздо хуже. С ним что-то случилось там. Приехал весь зашуганный. О том, что случилось, рассказал с неохотой. Пансионат, говорит, так и не нашел, но было постоянное ощущение, будто за ним следят – одни и те же люди попадались на глаза в разных деревнях, даже не пытались прятаться. Пару раз прокалывали колеса. А в один из дней и вовсе напали какие-то бугаи. Отбился чудом, под рукой был электрошокер. Когда шарахнул током одного из нападавших, тот явно заматерился на русском.

Очень беспокоюсь за его состояние. Мне кажется, это что-то психическое уже. Естественно, все эти события он интерпретирует как доказательства своей правоты.

Клянусь, еще чуть-чуть – и напишу заявление об уходе. Надоело все.

[1 сентября 20XX]

Законных оснований для закрытия «Осмоса» у них нет. Прибегнуть к незаконным они не могут. Пока. Железную пяту система еще не отрастила, но все последние законы уже имеют отчетливый металлический привкус. Гайки закручиваются, я это кожей чувствую. Могут прийти ночью с обыском. Доходит до абсурда: недавно у Грека дома во время обыска нашли комикс Арта Шпигельмана «Маус». На обложке была свастика, и полицаи угрожали ему, что заведут дело по статье «экстремизм» за хранение материалов «такого характера».

[27 января 20XX]

Прям под новый год из офиса выгнали. Каково, а?

Ничего не писал целый месяц, нет сил. Очень устал. Очень. Все это выматывает. Психосоматика началась: перхоть и зубы болят. Весь январь в домашних условиях пашем, без зарплат и гарантий. Два дня назад все же нашли новое помещение – практически ушли в подполье – на цокольном этаже, в старой типографии. Двоюродный дядя Грека позволил нам разместиться в каком-то аварийном здании. Чуть ли не в подвале. Грек говорит, летом здесь было жарко; может быть, но зимой – холодно (стены покрываются инеем), пахнет бумажными книгами и типографской краской, офсетной печатью – такая вот ностальгическая обстановка. Окна маленькие, узкие, похожие на амбразуры, и в них без конца мелькают ноги-ноги-ноги (ну, цокольный этаж же). Столы наши располагаются прямо здесь, между вышедшими из строя типографскими станками («Тут есть какая-то метафора», – говорит Грек, шагая между ними, звеня мелочью в карманах).

Грек числился у нас главным редактором. Но это – лишь формально. На самом деле он пашет за троих – общается с инвесторами и рекламодателями, достает деньги и материалы, пишет статьи, верстает их и, кроме того, охраняет редакцию. В прямом смысле. Месяц назад, прям перед закрытием кто-то пытался поджечь вход в наш прошлый офис. Попытка не удалась, сработала сигнализация. На следующий день Грек привез из дома раскладушку, три огнетушителя, бейсбольную биту, лом и «Белую крепость» Орхана Памука.

«Пусть только попробуют еще раз», – ворчал он, пока стелил себе постель прямо рядом с рабочим столом.

Новую редакцию он превратил в настоящую крепость. Установил дверь с четвертым уровнем защиты от взлома («Чтобы попасть сюда, им придется разобрать стену»), на окнах – металлические ставни. Все это выглядит зловеще и устрашающе. Мы перешли на одноразовые телефоны: их сложно отследить

(хреновая китайская сборка), это раз, но главное, если отберут при обыске – не жалко.

Во всем этом есть какая-то горькая ирония: чтобы обмануть систему, мы пользуемся устаревшим оборудованием – и чем старше, тем лучше. Мы словно откатились в прошлый век – в двадцатом веке прячемся от двадцать первого. Абсурдная машина времени.

С хранением информации проблем нет. Мы всегда заранее знаем о приближении полицаев из отдела «Э» – они сами выдают свою позицию. На их машинах установлены устройства, глушащие радиосигналы – Грек называет их «клетками Фарадея». Когда такая штука приближается к офису, у наших дешевых китайских телефонов пропадает связь и GPS. С обычными, продвинутыми смартфонами такого не происходит, но наши пластиковые, пятидолларовые китайские подделки сразу выдают приближение полицаев.

– Оп-па! – говорил Грек. – Клетка Фарадея едет, делаем бэкапы, быстро!

К тому моменту, когда они подходят к двери, мы уже готовы.

– Неужели они не понимают, что эти их глушилки – как колокольчик на шее у кота?

– Они вертухаи, – говорит Грек. – Способность понимать – это первое, что из них выбивают во время обучения.

[28 января 20XX]

Я знаю, этого они и добиваются: хотят сломить морально. С Греком это не работает: его, мне кажется, все эти схватки и препирательства только бодрят; борьба – его стихия, и лучше всего он раскрывается под давлением, в противостоянии, – поэтому любые попытки властей запугать его обречены на провал; они его только подначивают. Во многом именно воинственный настрой Грека, его характер и в нас поддерживает боевой дух. И все же – мне тяжело. Очень. Переживаю я не столько за себя, сколько за Олю и Леву; Греку проще – он (как сам однажды выразился) «предусмотрительно не стал заводить семью и покупать квартиру». А я – я чувствую, что мне все сложнее выстраивать вокруг родных капсулу разумного, безопасного мира – стенки капсулы истончаются, и государство все активнее вторгается в нашу жизнь, через «Соглядатая-Н», переписанные учебники истории, гонения на художников и прочие грязные следы казенных сапог внутри личного пространства граждан.

[1 февраля 20XX]

Законопроекты все чаще начинаются со слова «запрещается». Разворот «на восток» идет полным ходом.

Во время очередных парламентских выборов уставшие от показухи и пустых обещаний люди начали освистывать кандидатов. Что сделало правительство? Ввело уголовную ответственность за свист в местах массовых мероприятий. Но это не остановило людей – они продолжали приходить на дебаты и просто аплодировали, мешая кандидатам выступать, заглушая их голоса. Тогда вышел новый закон: нам запретили аплодировать.

Во время одной из демонстраций полицаи повязали целую группу активистов, в протоколе задержания было написано [sic!] «нарушали общественный порядок, создавая шум с помощью хлопков одной ладони об другую». И все бы ничего, да только среди задержанных значился один инвалид, у него была только одна рука – левая. И все равно его наравне со всеми судили за «аплодисменты». Мы называли его Буддой.

На этом истерия с запретами не закончилась. Люди стали выходить на улицы с заклеенными скотчем ртами.

– Угадай, что случилось?

– Только не говори, что они запретили заклеивать рот скотчем.

– В точку!

И даже этому я уже не удивляюсь. Вчера Лева написал школьное сочинение по истории и принес мне на проверку: «Многие виликие люди стродали за свои убиждения например Иисус Христос, Галилео Галилей, Михаил Боткин», – так начиналась его работа. И да, со стороны это выглядит смешно, но я был в панике – честное слово – они добрались до моего сына, до его мозгов, а это уже заповедная территория.

[2 февраля 20XX]

На неугодных журналистов все чаще нападают – их обливают зеленкой, йодом, фекалиями, бензином, бросались в них тортами, яйцами, оскорблениями.

Грек шутит, что в этом совпадении есть что-то странное – эскалация репрессий началась почти сразу после таинственной «оздоровительной» поездки Боткина в Китай.

Я не согласен с ним, по мне, так гайки стали завинчивать после выставки гиперреалистов.

– Расслабься, тебе нечего бояться, – говорит Грек. – У тебя иммунитет. Твой брат работает на них.

Это обидные слова, хотя в душе я понимаю – Грек прав: Егор действительно в некотором роде находится по ту сторону баррикад. И мне до сих пор стыдно перед ним. Ему не нравится моя работа, мне – его. На его позапрошлый день рождения я подарил ему «Обезьяну и сущность» Хаксли и на форзаце написал: «Моему брату – Эйнштейну». Оля сказала, что это

худший подарок на свете, и делать такие намеки – подло, я сам вскоре пожалел о своем поступке, но переигрывать было поздно. Егор, впрочем, надо отдать ему должное, при всех наших разногласиях, остается настоящим джентльменом: тот первый раз, когда меня вызвали на допрос по «делу о светящихся сердцах», оказался еще и последним, – и позже я узнал, что все решил звонок сверху: полицаям приказали оставить мою семью в покое и убрать слежку. Насчет второго не уверен, но первый пункт они выполнили.

[3 марта 20XX]

У мамы день рождения через месяц. Юбилей, пятьдесят пять лет. Егор затеял целую вечеринку, снял банкетный зал где-то в центре. И пригласил всех ее друзей. Мне тоже прислал приглашение – по электронной почте, очень краткое, сухое. Все еще злится на меня. Поймал себя на мысли, что я попросту завидую ему – завидую своему брату: из нас двоих о маме заботится только он.

Пора бы уже помириться с ним, а то я, кажется, со всеми сейчас на ножах, нервный стал. Стресса все больше. Егор как-то рассказывал, что когда сомневается, в груди у него словно открывается воронка, в которую его затягивает. Воронка сомнений. Теперь я понимаю, о чем он. Чувствую то же самое.

Петро

Однажды вечером по пути на работу меня настиг дождь. Почти тропический ливень – он шел минут пять, не больше, но этого хватило, чтобы я вымок до нитки. Я вернулся домой, снял ботинок, из него полилась вода. Минуту я смотрел на лужу на полу, а потом вдруг, удивив самого себя, зарыдал.

Оля появилась из кухни, нежно вытерла мне лицо полотенцем, начала стягивать с меня мокрую одежду.

– Что случилось? – спросила она.

– Я не знаю, – бормотал я. – Я правда не знаю. Просто… просто устал очень.

К вечеру у меня поднялась температура – прекрасно! Я еще и заболел (как будто одной расшатанной психики мало). Озноб, ломота в теле, тяжесть в груди. Подозрение на воспаление легких не подтвердилось, но врач прописал постельный режим и антибиотики, и еще две недели я провалялся в постели в комнате с задернутыми шторами. Яркий свет резал глаза и усиливал мигрень.

Утром второго дня я открыл глаза, в кресле напротив кровати сидела мама, в руках – тетрадка, пишет, черкает что-то в ней карандашом.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я, с трудом разлепив губы.

– Сегодня я твоя сиделка.

– А где Оля?

– Повезла Леву в школу, потом на работу. Ты сам как?

Я прислушался к своему телу, к своим ощущениям.

– Мигрень прошла. А во рту как будто кошачий лоток, который не чистили месяц.

Она принесла мне стакан воды, зубную пасту и кастрюлю. Я прополоскал рот, стало полегче.

– Что пишешь? – спросил я.

– Книгу.

– Ту самую?

– Ага. О двух мальчиках, которые ищут пропавшее озеро.

– Отличный замысел, я считаю. И как идет?

– Плохо. У меня нет концовки.

* * *

Они втроем – Оля, мама и Грек – по очереди дежурили у моей постели до тех пор, пока я не начал «подавать признаки жизни».

Еще через неделю я уже мог вставать с постели, ходить, правда, было тяжело, и Грек привез мне трость.

Лева добавлял проблем: пока я был дома, больной, заставить его делать что-либо было невозможно, он хотел сидеть со мной и лечить меня своим присутствием, поэтому каждый вечер Грек приезжал, чтобы «выгулять» меня. Только выпроводив меня из дома, Оля могла заставить Леву сесть за стол и взяться за уроки.

Обычно мы гуляли в центре, но в тот день центр был полностью перекрыт – репетиция Парада Победы. Танки месили асфальт на Тверской, и Грек повез меня на Фрунзенскую набережную, и мы гуляли там, или, точнее, передвигались от одной лавочки к другой, в основном молча, лишь иногда, если у меня были силы или желание, общались. Над головами у нас то и дело пролетали истребители, и Грек матерился, провожая их взглядом.

– У меня от этого звука сердце лопается, – говорил он. – Плохие воспоминания. Самое страшное во всех этих «праздниках Победы» в том, что со временем из них выветривается содержание. Как Хэллоуин – сегодня уже толком никто не помнит, почему все наряжаются в костюмы чудовищ и обжираются сладким. У праздника больше нет содержания, только форма. И с Днем Победы, – хоть и больно это признавать, – будет так же: с каждым годом содержания будет все меньше, а формы все больше. Лет через десять-двадцать, а может, и раньше, когда умрет последний свидетель событий, по улицам в мае все еще будут ездить танки, а люди будут наряжаться в «солдат», покупать себе игрушечные автоматы и петь песни про Катюшу, но спроси у них, что такое «Курская дуга» – на тебя наорут и попросят не портить праздник. Что? Думаешь, нагнетаю? Что ж, тогда скажи мне, как елка и бородатый дед в красной рясе связаны с рождением Христа?

Мне нечего было ответить, и несколько минут мы шли в молчании. В последнее время Грек развлекался тем, что фотографировал граффити на улицах и каждый вечер показывал мне фото.

– Вот смотри, вчера заснял.

На фото – три трафаретные надписи на кирпичной стене.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЩИМ
СТРАНА ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАННОЙ

Или еще – вот:

ПЕЧЕНЬ – РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРГАН

И ниже – приписка, вопрос, от руки, баллончиком:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ?

И еще ниже – снова трафаретом – ответ:

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ[12]

– Я собираю их для истории, – говорил Грек. – Когда-нибудь все это закончится, и я напишу книгу.

Во время одной из таких прогулок я оступился и чуть не упал, Грек подхватил меня, я повис на нем, вцепившись в ворот его пальто, потом оперся на плечо и почувствовал – что это?

– Грек?

– Да?

– Что у тебя под пальто?

– Ничего. В смысле одежда всякая. А что?

Я протянул руку, но он отступил, не дал мне коснуться себя. Минуту мы смотрели друг на друга.

– Это бронежилет?

Он молчал.

– Зачем тебе бронежилет?

Молчание.

– Отвечай.

Он вздохнул, поморщился.

– Просто паранойя. Я ведь был военным корреспондентом, помнишь-нет?

Я смотрел на него, разглядывал его лицо.

– Грек.

Молчание.

– Грек, твою мать! Будешь молчать, я въебу тебе вот этой вот тростью по башке. Зачем тебе бронежилет? Говори.

Он сглотнул и улыбнулся – улыбка вымученная, натянутая.

– Есть кое-какие проблемы. Но ничего серьезного. Это, – он хлопнул себя по груди, – просто перестраховка.

Я замахнулся тростью. Грек поднял руки.

– Не надо!

– Тогда говори.

– На нас давят.

– На кого «на нас»? И кто давит?

– На «Осмос». Мы потеряли инвесторов. Их заставили уйти. Но! Я спасаю журнал – всеми возможными способами.

– И что это за «способы»?

Мимо бежала группа спортсменов в яркой форме. Один из них замедлился, когда увидел, как я замахиваюсь тростью.

– Э, мужики, все нормально?

– Да, все отлично, спасибо, – сказал Грек. – Это мой брат, он болен.

Я опустил трость.

Когда бдительный бегун был уже достаточно далеко, Грек продолжил:

– Я видел того мужика.

– Какого мужика?

– Помнишь, я рассказывал, что, когда ездил в Гонконг и искал пансионат, из которого предположительно сбежал Боткин, на меня напали? Так вот, я видел одного из нападавших. Здесь. В Москве.

– Уверен?

– Неа. Я уже ни в чем не уверен. Если нас прессуют за то, что мы начали копать историю про двойников, – то это… это… – Он пожал плечами и вздохнул.

У меня закружилась голова, я дошел до скамейки и медленно, как больной артритом старик, опустился на нее. Сидел, склонившись вперед, и смотрел в асфальт. Рядом сел Грек.

– Помнишь, мы в детстве искали пропавшее Третье озеро?

– М-м-м?

– В последнее время часто думаю о нем. Об озере. Вот бы туда сейчас вернуться. Во времена, когда все было просто и мне было так скучно, что приходилось самому придумывать себе занятия и искать пропавшие озера. И главное – там, в Рассвете, мне не нужно было ходить в бронежилете.

Я посмотрел на него и понял: еще чуть-чуть, и разрыдается. Меня это выбило из колеи – я-то ведь думал, что он тверд как камень, что им не сломить его. Но он сидел там рядом со мной на лавочке и дрожал.

* * *

В двадцать пять лет, сразу после рождения сына я стал замечать, что иногда подсознательно, интуитивно чувствую приближение плохих новостей – не то чтобы суперспособность, скорее привычка. Чутье. Я еще в детстве издалека умел чувствовать признаки приближающейся бури – по лицам родителей, по их голосам и по их молчанию. Вот Оля, например, может предсказывать погоду: если у нее болит травмированное в детстве колено – быть дождю. Ее колено еще ни разу не ошиблось.

В отличие от Гидрометцентра. И точно так же я с детства научился чувствовать беду: если у меня начиналась мигрень, я знал – что-то произойдет. В таких случаях я разжевывал таблетку аспирина и старался не выходить из дома и вообще не высовываться – что было нетрудно, потому что при моих мигренях далеко бы я все равно не ушел.

Моя мигрень однажды даже спасла мне жизнь. Еще в университете. Боль была такой сильной, что мне стало тяжело дышать, и я вышел на улицу, на свежий воздух. Через пять минут на кухне в общаге, прямо рядом с моей комнатой взорвался газовый баллон. Оконная рама грохнулась на асфальт в двух метрах от меня.

Когда я рассказал об этом Оле, она, конечно, не поверила:

– Тут нет никакой мистики. Твоя голова заболела как раз из-за утечки газа, вот и все. Перестань выдумывать.

Она всегда всему находила объяснение, за это я ее и любил. И все же в тот вечер, попрощавшись с Греком, я вернулся домой и всю ночь не мог уснуть – мигрень была такой сильной, что у меня текли слезы. Таблетки лишь ослабляли боль, но голова продолжала трещать, словно кубик льда, брошенный в горячую воду.

– Проверь газ. На всякий случай, – сказал я Оле.

– У нас электрическая плита. Успокойся. Просто лежи.

Это случилось как раз в ночь перед празднованием маминого юбилея. И вечером третьего мая меня свалил с ног очередной приступ мигрени.

Вечером приехал Грек на такси, мы сели в машину. Сперва попали в пробку, потом чуть не столкнулись с каретой, запряженной двумя лошадьми, – жених и невеста ехали в загс на таком экзотическом средстве передвижения («Ух ты, лошадки! – кричал Лева, прижавшись носом к боковому стеклу. – А давайте на них поедем?»), потом, доехав до пункта назначения, мы сломя голову рванули в главный зал и, распахнув двери, поняли, что ошиблись адресом. Нас окружали люди, облаченные в костюмы штурмовиков из фильма «Звездные войны». В углу за барной стойкой сидел Дарт Вейдер.

– Ух ты! – закричал Лева. – Смотри, пап, это Чубакка!

И в самом деле – прямо к нам направлялся человек в костюме Чубакки.

– Вы чего так вырядились? – спросил он.

– Это мы вырядились? – закричал я. Голос мой сорвался в фальцет.

Все, кто находился в зале – штурмовики, Ханы Соло, принцессы Лии, – посмотрели в нашу сторону. Зрелище, прямо

скажем, сюрреалистическое.

Повисла тишина.

И вот он я, стою в своем самом лучшем костюме, взмокший от беготни и нервотрепки, с шестилетним ребенком, рядом – жена в черном вечернем платье, держит туфли в руках, и позади нас Грек, тоже в костюме, с букетом белых роз. И перед нами стоит амбал в костюме Чубакки с арбалетом и спрашивает, чего это мы так вырядились.

– Я Петр Портной, – хрипло сказал я.

– Это не настоящий Чубакка, – сказал Лева. – Чубакка не умеет говорить, он только рычит.

– Очень приятно. А мы тут день звездных войн отмечаем. Четвертое мая.

– Постойте-ка. Какой у вас адрес?

* * *

Через пятнадцать минут мы, вспотевшие и вымотанные, как марафонцы, ворвались в зал, наполненный гипсовыми статуями и людьми во фраках. Кто-то из гостей как раз произносил торжественную речь.

– Дядя Егор! Дядя Егор! Смотрите, что у меня есть! – заорал Лева, размахивая красным световым мечом, как флагом.

Старик, произносивший тост, запнулся и посмотрел на нас. Во второй раз за десять минут мы пережили это жуткое ощущение – когда взгляды в зале скрещиваются на тебе.

– Мне надо выпить, – сказала Оля, вытирая капли пота со лба тыльной стороной ладони. – И чем крепче, тем лучше.

– Господи, ну наконец-то. Мама уже вся извелась, ждет вас, – сказал Егор, Он был весь бледный и словно замученный.

– Что с тобой? Нездоровится?

Он показал ладонь – на ней два красных пятна, как след от укуса вампира.

– Взял в руки электрошокер и случайно выстрелил в себя. – Он рассмеялся. – Да, знаю, я дебил.

Грек взял Леву на руки и протащил его через весь зал, представляя гостям. Каждого из них Лева посвящал в джедаи.

– Где он взял меч? – спросил Егор.

Я пересказал ему наш разговор с Чубаккой, он хохотал, как сумасшедший.

– Он так не хотел уходить оттуда, что пришлось купить ему этот световой меч.

Мы сидели за одним из столиков в углу зала и наблюдали за

Левой, который бегал из стороны в сторону и размахивал своим оружием.

– Отличная штука, кстати. Как светящийся ошейник почти, – сказал Егор.

Лева был единственным ребенком на вечеринке, он быстро заскучал и стал требовать, чтобы я отвел его обратно к Чуббаке и штурмовикам. Я вопросительно посмотрел на Егора, он улыбнулся и махнул рукой.

– Да не парься, можешь идти. Я же понимаю, ему тут скучно. Я бы и сам пошел на ту вечеринку, но, к сожалению, не могу, я вроде как всех этих людей собрал.

Я посмотрел на Олю.

– Что? – Она держала бокал вина. – Я никуда не поеду. Променять хорошее вино на сборище идиотов в карнавальных костюмах? С ума сошел?

Я поцеловал ее в шею:

– Только не пей много.

Она демонстративно тут же осушила бокал.

– Хорошо, как скажешь.

Я подхватил Леву на руки и понес к выходу. В груди – воронка сомнений, я так и не извинился перед Егором, и мне было стыдно из-за этого, я чувствовал себя трусом. Лева так яростно размахивал мечом (ему нравился звук), что в коридоре зацепился им за огромную хрустальную люстру, и сразу два охранника пришли нам на помощь. Меч основательно запутался в люстре, и охранникам пришлось вызвать дежурного.

– Давай я куплю тебе новый.

– Нет! – Лева качал головой. – Мне не нужен новый. Мне нужен *мой* меч.

Мы сидели на стульях в углу и наблюдали, как дежурный, подставив стремянку, пытается освободить Левин меч, когда в зале зазвучали выстрелы, затем – женские крики, визг. Двери распахнулись, и люди во фраках хлынули в коридор, спасаясь, прикрывая головы. Испуганные, как антилопы. Я схватил Леву на руки, прижался спиной к стене и следил за толпой – глазами искал в ней Егора, Грека и Олю. Но их не было. Поток людей иссяк и в зал вбежали охранники, следом зашел и я. В левом углу зала, возле нашего стола толпились люди.

– Мама! – закричал Лева.

Оля обернулась, подбежала к нам и обняла меня, сжала в объятиях.

– Что случилось? – спросил я.

* * *

Стрелка звали Герман Голявкин. На прием он проник под видом работника сцены, пистолет спрятал в подкладке ящика для усилителей. «ТТ». Целью был Грек, но так уж вышло, что в этот вечер мы посадили Грека за один столик с мамой. Она первая заметила, как сквозь толпу к их столику приближается рабочий сцены, увидела его бешеный, затравленный взгляд и руку, спрятанную в нагрудном кармане комбинезона. Что-то в его позе, его лице, его движении – что-то болезненное, больное – не понравилось ей – она пошла ему навстречу.

– Вам плохо? Я могу вам помочь, – спросила она. Она всегда так делала – предлагала помощь человеку, если видела, что ему плохо. Такой характер.

А дальше – стрельба. Голявкин успел сделать четыре выстрела, прежде чем его скрутили. Две пули угодили в стол, одна – разбила бутылку шампанского и попала Греку в колено, но самая первая пуля досталась маме. Она обеими руками схватилась за пистолет, но убийца был сильнее – и выстрелил в нее.

* * *

В клинике пахло вырванными зубами – не знаю, как еще описать этот запах. Именно этот образ – гнилой зуб в луже крови на дне жестяной утки – возник в голове, когда я зашел в приемную. Нет, здесь было очень чисто, но запах. Этот запах. Я старался дышать через рот.

Нас пустили к ней, но в этом не было никакого смысла – она лежала там, в постели без сознания, обмотанная трубками и проводами, словно в научно-фантастическом фильме, подключенная к аппарату искусственного дыхания.

Мы просто смотрели на нее. Егор подошел поближе, а я не смог. Я вышел.

Стоял, разглядывал зеленую стену и затылком чувствовал, как сопровождающая нас сестра смотрит на меня. Я хотел попросить ее отвернуться или хотя бы не смотреть в мою сторону, но побоялся, что она решит, будто я сумасшедший.

Потом мы снова шли по коридору, я щурился от света, наискосок бьющего из огромных окон.

Помню, как шел за сестрой, смотрел на ее ноги и вдруг заметил, что она хромает на левую. Интересно, как она заработала эту травму? Пыталась усмирить буйного? А еще у нее плоскостопие. Разве в медсестры берут с плоскостопием?

* * *

Через неделю мама умерла. Похоронили ее на родине, под Ростовом. С похорон я возвращался в одиночестве, в электричке. Оля и Лева поехали с Егором на его машине, а я – ну, я хотел побыть один – и отправился на вокзал. Сидел в полупустом вагоне, листал файл, который Грек прислал мне накануне – все, что он смог пока нарыть на этого Голявкина. Оля просила меня не лезть «во все это», отдохнуть немного, отвлечься, выспаться, но я не слушал, я знал, что не смогу отвлечься и успокоиться, пока не узнаю, что же на самом деле случилось. Данных было немного, обрывки, всплески информации. Родился, вырос, учился, женился, развелся – больше всего в биографии Голявкина меня поражало одно: ее обыденность. Я все не мог понять, что же заставило обычного человека достать пистолет, проникнуть на званый ужин под видом работника сцены и устроить стрельбу. Голявкин не был знаком с Греком лично, насколько я знал, они никогда не пересекались; он не состоял ни в одной политической партии и/или общественной организации, не хранил дома подозрительных книг, не был ни алкоголиком, ни наркоманом, ни антисемитом, в его анамнезе, впрочем, значились психические заболевания, в медкарте есть пометка, что его дед по отцовской линии покончил с собой (способ не указан); плюс – шесть лет назад бывшая жена требовала через суд запретить Голявкину общаться с детьми; свой иск она, впрочем, почти сразу отозвала, и позже они даже снова ненадолго съехались.

Я быстро пролистал папку, закрыл и тут же снова открыл, начал сначала. Я чувствовал тошноту и тревогу – мне все казалось, что я просто не замечаю чего-то; это всегда сложнее всего – признать, что смысла нет и то, что с тобой произошло, просто нелепая случайность. Нет ничего страшнее случайности. Данных было немного, через свои источники в МВД Грек пытался выяснить подробности допросов Голявкина, его мотивацию, но то, что ему говорили, никак не проясняло ситуацию. На допросах Голявкин утверждал, что Грек то ли лично увел у него жену, то ли – как-то повлиял на ее решение развестись с Голявкиным. Но когда Греку показали фотографию «жены», он даже не мог ее вспомнить, – возможно, просто был в шоке, не знаю, лишь бормотал что-то в свое оправдание: «Прости. Петро, прости ради бога. Я правда не помню ее. Он путает меня с кем-то».

Какой-то человек пришел убивать Грека, потому что перепутал его с любовником жены? Это звучало так обыденно и так реально, что мне становилось страшно.

Я, кажется, уже по третьему или четвертому кругу читал

файл Голявкина, когда напротив меня села девушка – молодая, бледная, с седой прядью, в серой бейсболке. Лицо опухшее, на щеках нездоровый румянец. Больная, замученная. Хотя одета прилично, пахнет шампунем. На шее – кольцо на цепочке. Что-то странное было в ней, я краем глаза наблюдал, пытаясь понять, что именно меня смущает. Она без конца шмыгала носом, и это дико раздражало, но дело было не в этом. И тут до меня дошло – ее бейсболка, она блестит, тот самый материал, который Грек шутливо называл «уильямгибсон».

Девушка читала книгу, держала ее высоко, так, что я легко мог увидеть обложку. Меня бросило в пот – это было «Путешествие камней». Заметив мою реакцию, девушка отложила книгу и представилась. Так я и познакомился со своей сводной сестрой, Мариной.

– Прости, что так внезапно, – сказала она. – И повод для знакомства не самый лучший. Но – здесь как минимум безопасней, чем на улице. На похоронах слишком людно было.

Я стал озираться, и она осадила меня.

– Перестань вертеться. Камера над дверью в тамбуре.

– Меня она не возьмет, – сказал я и постучал пальцем по воротнику, сделанному из уильямгибсона. Она поняла, о чем я, кивнула.

– Выйдем на следующей станции.

Я бы мог как-то пошутить на тему конспирации и шпионских романов, но – было не до смеха. Я вышел на следующей. Марина выскочила из вагона в последнюю секунду – сбрасывала возможный хвост.

Я никогда не любил детективные и шпионские романы. Они, – даже самые лучшие из них, – казались мне плоскими и примитивными. Еще меня всегда удивляло, что действие большинства из них как правило разворачивалось в поезде или было тесно с поездом связано. Это потом, позже, готовясь к экзамену по английской литературе девятнадцатого века, я разгадал эту тайну: на заре детективного жанра поезд был самым популярным местом книжного убийства по двум причинам:

1) детективные романы чаще всего читали именно в поездах (рабочий класс, люди, каждый день ездившие на работу и обратно, развлекали себя книжками в мягкой обложке, – поэтому истории об убийствах в поездах были очень популярны и приносили авторам и привокзальным книготорговцам немалый доход);

2) поезд сам по себе – идеальная метафора детективного романа. Замкнутое, тесное пространство, подчиненное строгому графику/расписанию. Ты садишься в него в определенное время и

едешь по прямой до конечной станции. И то же самое с сюжетами детективов – они прямолинейны, как рельсы: убийство – круг подозреваемых – улики – разгадка. Никаких осечек, все по расписанию.

– Эй! – Марина окликнула меня, и я обернулся.

– А?

– О чем задумался?

– Эмм, о связи поездов и детективных романов… – Я начал пересказывать ей свои размышления.

Она перебила:

– Мне нужна помощь.

Я остановился и еще раз оглядел ее с ног до головы. Только тут до меня стало доходить, в какой странной, сновидческой ситуации я нахожусь.

– Так, значит, это ты? – сказал я вдруг. – Ты и есть Графт, да?

Она схватилась за кольцо на цепочке на шее.

– Да. Нет. Почти. Не совсем. Мне нужна помощь. Можешь устроить встречу с Александром Греком?

– С Греком? Зачем?

– Я слышала, он переправляет людей через Стену.

* * *

– Ты переправляешь людей через Стену? – Это первое, что я спросил, когда зашел в его кабинет.

Он вздрогнул так, словно его ударили током, потом злобно посмотрел на меня и прошипел:

– Ты дурак-нет? Еще громче говори, тебя в Венесуэле не слышали! – Потом подался вперед и прошептал еще тише: – Тебе повезло, что в этой комнате глушатся все сигналы.

– Господи, так, значит, это правда. Ты занимаешься переправкой людей.

– Только тех, кого хотят закрыть по политическим статьям.

– И почему мне не сказал?

Он пожал плечами:

– Ты не спрашивал.

Я опустился в кресло, закрыл лицо ладонями. Долго тер глаза пальцами, словно надеялся проснуться.

– И как ты это делаешь?

– Это делаю не я.

* * *

Грек остановил машину возле какого-то полуразрушенного здания, обнесенного дешевым зеленым забором из профнастила. Охранник на входе, увидев нас, кивнул Греку и открыл калитку:

– Он ждет.

И мы вошли. Внутри – огромное пространство, арки и дыры в стенах; сквозь дыры рвутся лучи солнечного света, в них плавают пылинки. На балках под потолком сидят голуби. Эхо такое мощное, что урчание голубей слышно повсюду, кажется, что их сотни. В центре огромного помещения – пустой грязный бассейн с потрескавшейся плиткой. Вдоль стен – многоэтажные строительные леса, и там, наверху, я увидел людей. Один из них услышал наши шаги, обернулся, помахал рукой и стал спускаться – ловко, как обезьяна, хватаясь за трубы и прыгая с одного перекрытия на другое. Он шел к нам, широко улыбаясь, раскинув руки, облаченный в голубую робу, латексные перчатки и бахилы, словно хирург в операционной.

– Грек, чертяка! Рад тебя видеть. Хотя обычно твое появление не сулит ничего хорошего.

Грек познакомил меня с Андреем Карским. Высокий, худощавый, седые вески. На левом глазу – повязка с компрессом.

– Не обращайте внимание, борюсь с глаукомой, – пояснил он, указав на повязку, и тут же добавил: – Сразу предупреждаю: кто попробует пошутить про пиратов – пойдет на корм рыбам.

Он мне сразу понравился – шумный, болтливый, со странным чувством юмора – скажет что-нибудь и сам смеется. Даже об угрозе смерти и разоблачения он говорил словно бы в шутку. Известный галерист, сотрудник отдела реставрации Пушкинского музея, Карский, прежде чем приступить к делу, провел для нас небольшую экскурсию по разрушенному зданию.

– Это старый спортивный клуб с бассейном, – рассказывал он, пока мы шагали за ним вдоль потрескавшейся стены. – Здание ветхое, на ремонт денег не было. Муниципалитеты долго бодались из-за него, потом один сборол другого, и решили сносить. Приехали бульдозеры, экскаваторы. Начинают ломать, и тут со стен сыплется штукатурка, а под ней, – он показал пальцем, засмеялся, – фреска, видишь? Лик святой. Они бы и продолжили снос, им-то что? Но прораб жадный был, вовремя смекнул, что фреска может стоить кучу денег. Вызвали нас на экспертизу, вот я и работаю теперь. Пытаюсь извлечь святую Димфну Ирландскую из-под слоя штукатурки с минимальными повреждениями или – в идеале – вообще без них. Ну и мои ребята, – машет рукой в дальний угол огромного зала, где на лесах стоят еще люди в голубых робах, – ищут в стенах другие сюрпризы. Если тут была церковь, все стены должны быть

усыпаны фресками. Самое интересное вот здесь, смотрите. – Мы поднялись на строительные леса, и он показал нам фреску. Выглядела она довольно жутко: фигура святой словно выглядывала, вылезала из-за слоя штукатурки, как в рассказе Гоголя «Портрет». – Вот здесь, видишь? – сказал Карский. – Тут рабица, сетка. Я не знаю, кто и зачем замазал эту стену штукатуркой, но я знаю одно – этот человек пытался сберечь, спрятать Димфну. Он ведь мог просто закрасить ее, замазать штукатуркой, понимаешь? Но у него не поднялась рука, и он поступил мудрее, прикрепил к стене сетку и нанес штукатурку поверх. И как бы создал тайник. Я люблю такие открытия. Они напоминают мне о том, что я не одинок, и что когда-то здесь, на этом самом месте стоял человек, для которого чужой труд что-то значил, человек, которому было не наплевать.

* * *

– Кого на этот раз вывозим? – спросил он, когда мы спустились с лесов и отошли подальше.

Я начал испуганно озираться, Карский заметил это.

– Расслабься. – Он махнул рукой. – Мы поэтому и встречаемся здесь: тут нет слежки и прослушки. Разрушенное здание – идеальный вариант.

Я посмотрел на Грека, он кивнул.

– Сколько людей вы хотите переправить? – спросил Карский.

Я показал один палец и спросил:

– А как это происходит? В смысле – переправка?

– Есть протоколы, которые запрещают вскрывать контейнеры с произведениями искусства, – сказал Карский, снимая латексные перчатки. – Картинам нужны особые условия. Особенно если речь о частной коллекции человека с высоким уровнем доступа. Совсем недавно мы с Фондом Роберто Лонги устроили в Москве выставку работ Караваджо. Завтра экспозицию закроют, мои люди соберут, упакуют и опломбируют все картины. Через два дня шедевры отправятся обратно во Флоренцию, в специальном отсеке, в седьмом вагоне, рейс номер 451.

– И что, все так просто? – спросил я. – Вы просто запихнете человека в один из ящиков с картинами? Или она поедет прямо в вагоне?

– Тысяча чертей, конечно, нет! Ящики будут пересчитывать на границе и сверять порядковые номера на пломбах и на замках. А запихнуть вашу сестру в один из них я не могу. Этим картинам более четырехсот лет, я за них головой отвечаю.

– Но…

– Но! – Он поднял палец. – Есть один вариант: если, допустим, какой-нибудь известный коллекционер захочет перевезти свои дорогостоящие картины или, скажем, антиквариат, музыкальные инструменты во Флоренцию, он обратится ко мне, и я сразу скажу: «Йо-хо-хо, лопни моя селезенка! Конечно, я помогу тебе, дружище, я как раз сейчас возвращаю работы Караваджо фонду Роберто Лонги, и у меня есть еще местечко для твоих шедевров».

Повисла пауза.

– И где мы найдем такого коллекционера? – спросил я.

Карский посмотрел на меня.

– В том-то и дело – нигде. Мне придется выдумать его и чуть-чуть подделать бумаги.

* * *

Весь вечер мы обсуждали детали «перевозки»: как доставить Марину в отдел реставрации, как посадить в вагон, а потом – в ящик из-под картины и так далее. На подготовку всего два дня – дольше откладывать отправку картин за границу Карский не мог.

– А вы с женой, – сказал он, – все эти два дня будете делать вид, что живете обычной жизнью. И постарайтесь, чтобы шпики, которые вас пасут, ни о чем не догадались: готовьте еду, слушайте музыку, обсуждайте книги. Если захочешь поговорить с женой о чем-то важном, единственный верный способ – включить вальс на полную громкость и во время танца нашептать ей на ушко.

* * *

Последняя ночь перед бегством выдалась особенно нервной. Мы вернулись домой и ходили по квартире, как по минному полю, старались вести себя естественно, но были слишком напуганы, чтобы о чем-то разговаривать. Поэтому Оля взялась за готовку, нарезала овощи, включила плиту, налила масла в сковороду – старалась хоть как-то разбавить тишину, занять руки и мысли. Я же зашел в свою комнату, достал из шкафа коробку с черновиками маминого недописанного романа. Я пересматривал их и чувствовал тоску – я обещал ей в случае чего дописать роман. Теперь «в случае чего» произошло, и я понятия не имею, что делать дальше. В романе речь шла о жизни провинциальных

школьников – Пети Портного и Саши Грека, – играющих в детективов, ищущих пропавшее Третье озеро. Мамина рукопись обрывалась на сотой странице, в том месте, где мать сообщает мне/сыну радостную весь: ее сборник рассказов «Путешествие камней» опубликуют.

И что же дальше?

Много ли книг вы знаете, где автор умер в середине и дальше текст за него дописывал бы главный герой?

Вот и я о том же.

Куда мне дальше двигать сюжет? Что делать?

Я мог дописать до маминого убийства на торжественном приеме, но меня смущало то, как резко эта ее история будет отличаться от моей. Мама писала книгу о детстве, роман воспитания, а я – моя история стремительно скатывается в антиутопию с элементами киберпанка. Слишком большой контраст между первой и остальными частями, скажет редактор. Сначала у нас детство в девяностых, а потом – нейросети, тотальная слежка, шарфы-уильямгибсоны и бегство из страны, захваченной птеродактилями в погонах. К тому же эта моя встреча с сестрой в электричке – как я, в конце концов, собираюсь написать о ней? Нельзя же просто так швырнуть читателю в лицо эту новость: «Эй, читатель, помнишь, я как-то вскользь один раз, на сороковой странице упоминал о том, что у отца есть дочь от другой женщины? Так вот, на тебе! Получи, распишись! Вот она, спустя почти двадцать лет мы с ней едем в электричке прямо с похорон! Офигительный поворот, а?»

Ну нет, это будет глупо и натянуто, как сюжет из индийского фильма – внезапная и ничем не мотивированная встреча двух родственников.

Возможно, мне стоило бы как-то подготовить читателя к нашей встрече с Мариной, чтобы она (встреча, не Марина) выглядела более естественно.

Хм, а это ведь идея: что, если я параллельно запущу еще одну сюжетную линию – первая часть будет обо мне, вторая – о Марине, а третья – снова обо мне и так далее?

Или нет, нужен еще один персонаж. Егор.

Это может сработать. Самое главное – как-то уговорить Марину рассказать (хоть что-нибудь) о своем детстве и отрочестве, чтобы у меня появился материал для ее сюжетной линии. Оформлю это в виде интервью или, ну, что-нибудь придумаю.

И если наши с ней воспоминания будут перемежаться – то эта наша встреча ближе к концу книги не будет выглядеть как дешевый трюк.

Все эти мысли меня даже как-то воодушевили – я наконец-то выстроил в голове структуру будущего романа. Я кинулся к коробкам с мамиными черновиками – она писала по старинке, в тетрадках в клеточку, и почерк у нее был весьма специфический, вроде бы и разборчивый, но нестабильный – буквы клонятся то вправо, то влево, как при сильной качке. Бóльшая часть ее записей – короткие отрывки, зарисовки, описания внешности персонажей, погоды, размышления. Но были и весьма подробные рассказы – попытки нащупать конец истории.

Я сел за компьютер, открыл текстовый редактор и начал быстро перегонять мамины черновики в электронный вид, – только бы успеть, только бы не забыть. Вот, например, важный рассказ – один из вариантов финала.

Бертольд Брехт, переводчик «Дон Кихота»

[рассказ Нины Ходжаровой, найденный ее сыном, Петром Портным, в ее черновиках]

В 1922 году мюнхенский театр «Каммершпиле» поставил «Барабаны в ночи», первую серьезную пьесу Бертольда Брехта.

Примерно через три месяца после премьеры другой Бертольд Брехт, – так уж вышло, полный тезка драматурга, – молодой преподаватель из Университета Гумбольдта, переводчик, специалист по творчеству Сервантеса, зашел в ресторан в Берлине.

Он представился, официант провел его к столику и выдал меню. Молодой переводчик ждал друга, Микаэля Штрассера, но к нему подошла молодая девушка. Красивая, светловолосая, в темном пальто и красном шарфе.

«Простите, – сказала она, – я случайно услышала ваше имя. Вы – Бертольд Брехт, правильно?»

Бертольд никогда не интересовался театром и потому, разумеется, ничего не слышал о постановке «Барабанов в ночи». Он кивнул и отложил меню.

«Я только хотела сказать вам, что я в восторге от вашей работы».

Вот так и получилось: их знакомство началось с неловкости. Бертольд решил, что она имеет в виду его недавно опубликованный комментарий к переводу «Дон Кихота». Он пригласил ее присесть и отобедать с ним. Она представилась и немного рассказала о себе: Ольга Осинская, дочь русского дипломата, учусь на переводчика-синхрониста.

«Я думаю, вас ждет большое будущее», – добавила она, перебирая в руках красный шарф крупной вязки.

Бертольд гордо расправил плечи – ему ужасно льстил тот факт, что его комментарий к «Дон Кихоту» оценили. И что еще важнее – оценила такая красивая (и, несомненно, умная, ведь она читает научные работы о «Дон Кихоте») девушка.

Гордость его, впрочем, тут же сменилась жгучим ощущением неловкости, когда он понял, что его приняли за другого человека.

«Ваша пьеса произвела фурор», – сказала Ольга. Она описывала реакцию людей в зале, цитировала критиков. Он был в смятении, в панике, девушка продолжала говорить, а он не знал, как прервать ее. В конце концов, когда все стало заходить слишком далеко, он нашел в себе силы и с большим трудом,

словно пытаясь выплюнуть кляп изо рта, проговорил: «Простите, пожалуйста, но, я боюсь, это какая-то ошибка. Я не пишу пьес».

Девушка замолчала и какое-то время, не моргая, смотрела ему в глаза. Словно ждала, что сейчас он рассмеется и скажет, что пошутил. Но он лишь продолжал извиняться, бормотал что-то.

Девушка встала из-за стола, шумно отодвинув стул и, опустив голову, извинившись и повторяя раз за разом «господи, как же неловко», попятилась к выходу.

Минуты две Бертольд сидел неподвижно, упершись ладонями в стол, словно боролся с внутренней качкой, лицо его горело. Из ступора его вывел подошедший друг, Микаэль Штрассер. «Проклятый гололед, – ворчал он, усаживаясь на тот самый стул, где только что сидела Ольга, – я два раза чуть не упал. Куда смотрят коммунальные службы. Ты уже заказал что-то?»

Бертольд вскочил и выбежал на улицу. Шел 1922 год – инфляция, рецессия, Германия в разрухе, – снег никто не убирает, огромные сугробы, уйти по ним далеко за это время она не могла. Бертольд искал глазами красный шарф. Улица – точнее, перекресток – расходилась на четыре стороны. Он наугад выбрал направление, побежал и почти тут же – какое везение! – увидел красный шарф. Тот самый. Он догнал ее и окликнул – и они гуляли весь вечер, обсуждали Дон Кихота и вспоминали неловкую ситуацию в ресторане. И смеялись.

* * *

Они начали встречаться.

Но тут была одна проблема: Ольга жила и училась в Лейпциге, Бертольд – преподавал в Берлине.

187 километров, 3 часа 22 минуты на поезде.

Каждую пятницу он заканчивал лекцию, заполнял формуляры и – со всех ног мчался на Лертский вокзал, где в 12:45 садился на поезд до Лейпцига. Тот самый, на котором мы едем сейчас[13].

Они вместе проводили выходные – и Бертольд ехал обратно в Берлин. Но их общение не ограничивалось пятницей-субботой-воскресеньем – они писали письма. Друг Бертольда, Микаэль, почти каждый день ездил в Лейпциг по делам, – влюбленные использовали его для передачи своих посланий. В своей переписке они называли его «наш почтовый голубь» (она засмеялась), но Микаэль, конечно, не знал об этом прозвище. Если б узнал – перестал бы помогать им. Он был ужасно обидчив: обижался даже тогда, когда люди вовсе не пытались над ним шутить. Он был очень, мммм, упитан, и страшно обижался даже

на самые безобидные намеки на лишний вес.

(Она замолчала и отвернулась к окну, минуты две смотрела на пролетающие мимо деревья-дома-машины, потом продолжила рассказ.)

Так вот, каждую пятницу Бертольд заканчивал свою лекцию о «Дон Кихоте» и со всех ног бежал на вокзал, точнее, ехал, конечно, – ловил такси и обещал водителю двойную плату за «поездку с ветерком». Стоимость проезда в то время, к слову, доходила уже до нескольких миллионов марок – деньги стремительно теряли ценность; буквально и фигурально.

«И это было даже хорошо, – вспоминал Бертольд, – сперва мы все с ужасом наблюдали за тем, как марка падает в цене по отношению к доллару; затем, когда она пробила барьер в миллион – нам стало наплевать. И это было откровение – мы поняли, что будущего нет, а значит, можно со спокойной душой жить здесь и сейчас. Да-да, это звучит дико, но что ты хочешь? Когда все твои сбережения за неделю превращаются в резаную бумагу, у тебя два варианта: покончить с собой или жить на всю катушку. Мы выбрали второе – и были счастливы. Жаль, что недолго».

По пятницам в Лейпциг с Лертского вокзала отправлялись только два рейса – первый в 12:45, второй – в 21:45. И ждать второго значило потерять целый день. А этого он не мог допустить.

И постепенно этот рейс – 12:45 – стал занимать в его жизни одно из самых важных мест.

Он даже письма к ней подписывал именно так – «1245». Это значило: «С нетерпением жду встречи с тобой».

Уже через год они поженились, у них родился сын. Его назвали «Андреас» – ироническая отсылка к одному из героев пьесы «Барабаны в ночи».

Сам Андреас свое детство называл «щелью слабого света между двумя идеально черными вечностями» – имея в виду мировые войны, конечно же, – оно пришлось на 1924–1929 годы, эпоху Штраземана, последний тихий и спокойный период в жизни страны – до того, как.

Андреас признавался, что плохо помнит тот период. Или, возможно, просто не хотел говорить о нем.

Ему было семь, когда в 1930 году национал-социалисты стали второй по численности партией в парламенте. Но даже тогда никто из окружения Брехтов не воспринимал Гитлера всерьез. И Бертольд и Ольга всегда говорили о нем с пренебрежением, для них он был просто очередным чиновником-птеродактилем, немного сумасшедшим, не шибко умным – ну, в самом деле, это

ведь несерьезно, войнобесие и популизм, никто не пойдет за ним; люди ведь не настолько глупы.

Но оказалось – настолько.

В тридцать третьем Гитлер стал рейхсканцлером и сразу взялся за дело: в первые сорок восемь часов были закрыты все газеты, оппозиционно настроенные к нацистам. Через неделю отряды штурмовиков уже устраивали налеты на радиостанции.

Андреас помнил напряженное молчание в доме, тревогу и новые слова, значения которых он тогда еще не знал: «милитаризм», «беспредел», «антисемитизм», «паразиты», «чума», «конвенция».

Дядя Микаэль приходил в гости, и они с отцом обсуждали последние новости – и даже тут отец не хотел верить в происходящее, но когда в ноябре тридцать третьего Германия вышла из Лиги Наций, отец по-настоящему забеспокоился, беседуя с другом, он как-то нервно посмеивался и без конца повторял, что «ситуация выглядит нездоровой».

– Вполне обычная ситуация, – отвечал Микаэль. Он развалился в кресле, расстегнул верхнюю пуговицу кителя, вытянул ноги. В руке стакан с чем-нибудь крепким, на лице – легкое раздражение. – Не надо слушать всех этих евреев-истеричек. Это обычная политическая борьба, и они в ней проигрывают, вот и строят из себя жертв. Все идет по плану. – Он осушил стакан и поморщился. – Они постоянно ноют, как же это достало. С чего они вдруг решили, что у них есть какие-то особые права? Ты вот говоришь о погромах на радиостанциях, ну, хорошо, тут наши ребята чуть перегнули палку, но при этом, заметь, все крупные еврейские газеты и издательства работают.

Бертольд, конечно, чувствовал, что надвигается беда, но не хотел верить. «Нет, этого не может быть», – повторял он.

– Ну конечно, не может! – говорил Штрассер. – Перестань слушать эти еврейские бредни. Обычная информационная война.

Знаете, когда я рассказываю эту историю, люди задают вопрос: «Почему они не сбежали из Германии после этого? На улицах кричат «смерть евреям!», неужели непонятно, к чему все идет?»

И я отвечаю: «В том-то и дело, что нет!» Каждое новое известие об очередной дикости воспринималось как последний предел. Казалось, что уж теперь-то хуже точно не будет. Казалось, что можно пережить и это, что абсурд вот-вот закончится, и люди одумаются. Ольга пыталась говорить об эмиграции – куда угодно, в СССР, в Испанию, в Аргентину. Но Бертольд лишь ворчал в ответ: «Это моя страна, с какой стати я должен уезжать? Уехать – значит отдать им мою страну, оставить ее. Я не могу так, –

повышал голос, тряс пальцем в воздухе. – Что же это будет, если все приличные люди уедут? Эти варвары тогда решат, что они правы, что они победили. Так, что ли?»

Работа оставалась для него отдушиной, анклавом здравого смысла, он каждый день для моциона пешком ходил в университет – девять километров туда и обратно, – читал лекции о литературе позднего Возрождения и продолжал убеждать – себя и окружающих, – что просвещение – единственное эффективное средство против невежества и одичания и что в борьбе с варварами ни в коем случае нельзя опускаться до их уровня.

Главное – не потерять лицо. Или, как писал Стендаль: «Сохранить свое «я» святым и чистым».

Однажды вечером его избили. Прямо на улице. Было уже темно, и на Рохштрассе его подстерегли. Пятеро, в капюшонах, на лицах платки – словно грабители из вестерна. Сами длинные и тощие, совсем еще молодые. Он не видел их лиц, но когда один из них закричал: «Все, пацаны, валим!» – Бертольд узнал голос – это были его студенты. В тот день, за два часа до избиения он читал лекцию о Сервантесе в аудитории 314, во втором корпусе, отвлекся, пустился в размышления и как бы между делом назвал национал-социалистов «шпаной».

Избили его, впрочем, несильно, «почти без переломов»; пинали осторожно; демонстративно сдернули с него очки и растоптали на брусчатке; как будто не убить хотели, а просто проучить – знай, мол, свое место, очкарик.

Через неделю он вернулся в университет – на глазу повязка, левая рука в гипсе – и вызвал одного из студентов (того, чей голос узнал на Рохштрассе) к себе в кабинет, «поговорить по душам». Студент не просто ничего не отрицал, – напротив! – он гордился своим участием в избиении и попросту рассмеялся, когда отец заговорил об отчислении.

Так началось тяжелое и болезненное разбирательство. Никаких доказательств у отца не было, только слова и воспоминания. Но хуже всего было другое – дисциплинарная комиссия встала на сторону студентов, членов национал-социалистической партии. Эти недомерки стояли там, в зале заседаний, смотрели на отца и ухмылялись, пока декан зачитывал заявление и вердикт.

В тот день его вера в просвещение пошатнулась и окончательно угасла в мае тридцать четвертого, когда на площади Оперы запылали костры из книг. Он вернулся домой и долго сидел в кабинете в полной тишине. Затем раздался грохот – стул полетел в стену. А вслед за ним – стакан. Потом еще один. И еще.

Отряды штурмовиков, как стаи диких животных, ночами заполняли опустевшие улицы – они были другие, совсем не люди, какие-то странные, чуждые существа, их голоса звучали глухо и плоско, и даже тени их как-то неприятно гнулись и вытягивались, как кляксы, при свете уличных фонарей. Отец ловил себя на мысли, что боится их, и вечерами, возвращаясь домой, нес в рукаве стальную трубу и, завидев издалека толпу людей, сворачивал в переулок. Однажды они все же настигли его, окружили, взяли в кольцо – так, словно ждали, что он побежит, попытается вырваться, – словно надеялись, что попытается.

– Ты кто такой? – спросил вожак, совсем молодой, лицо какое-то неестественное, восковое – ни одной морщины; улыбается – ямочки на щеках; глаза желтые. – Чего шляешься?

Отец ответил что-то – невнятно и очень многословно. Что это было – это его голос? Неужели это он говорил? Такой жалкий, дрожащий. Он словно извинялся, что идет по улице, что занимает место в мире. Желтоглазый вожак внимательно разглядывал его лицо и нос – искал «жидовские черты». Лицо вполне арийское, нос прямой, и его отпустили, волчья стая просто расступилась, подчиняясь приказу вожака, и отец пошел дальше по улице, опустив голову. Его характер, его боевой настрой совсем истончился, стерся – он понял это, почувствовал, когда услышал извиняющиеся интонации в своем голосе. Как унизительно и мерзко – оправдываться перед бандитами.

Он шел и повторял, как заклинание: «Сохранить свое «я» святым и чистым, сохранить свое «я» святым и чистым». Но сам уже не верил, что это возможно – слишком душно вокруг, слишком темно, слишком дико.

Это моя страна. Это моя страна. Это моя страна? Моя ли это страна?

И летом тридцать четвертого он впервые заикнулся об эмиграции в беседе с Микаэлем.

– На твоем месте я бы не рыпался, – ответил Штрассер.

– Пардон, что?

– Пока ты здесь, в этом доме, служишь своей стране, тебя не тронут, я могу защитить тебя. Но если ты попытаешься уехать, это может быть воспринято в очень негативном ключе.

Штрассер изменился: если раньше, обсуждая очередные погромы штурмовиков, он выглядел смущенным и как-то пытался найти объяснение их жестокости («почему я должен отвечать за чужие ошибки? Я что, сторож им всем?»), то теперь в его голосе появились новые ноты – он больше не сомневался в своей правоте. И речь его казалась неживой, он словно бы не говорил, а зачитывал – вердикт или документ.

– Что значит «может быть воспринято в негативном ключе?»

Штрассер вздохнул.

– Берт, ты мне как брат. И вы, ребята, моя семья, поэтому я буду с вами откровенен. Мы живем в сложное время, в очень важное время и опасное время. Мы окружены врагами, враги везде, но самые опасные враги – это внутренние враги. Те, которые своей трусостью и сомнениями подрывают великие идеи нашего народа. И нашего национального лидера. И чтобы противостоять врагу, мы должны сплотиться вокруг лидера. Только так, сплотившись вокруг лидера, мы сможем победить. – Лицо Штрассера покрылось пятнами, он выставил вперед руку. – Видишь руку? Если пальцы растопырены, ее легко заломить, сломать, но если ты сожмешь ее в кулак – она становится оружием!

– Кажется, кто-то перебрал, – сказала Ольга и повернулась к Бертольду: – Не наливай ему больше.

– Твои шутки здесь неуместны! – Штрассер вскочил с кресла. – Речь идет о госбезопасности, о будущем нации! Нации, слышишь?! – Он медленно сел и потер глаза ладонями. – Я действительно немного перебрал. Я просто хочу сказать, что ваша попытка покинуть страну может быть воспринята очень негативно. Ну, вы понимаете.

Бертольд и Ольга переглянулись.

– Нет, Мик, мы не понимаем. О чем ты?

– Ты женат на русской, Берт, и что еще хуже – в тебе есть еврейская кровь. Прости, Ольга, я люблю тебя, но мы живем в сложное время, и…

Бертольд поставил стакан на край стола.

– Меня в чем-то подозревают?

– Нет-нет, что ты. Ты чист. Но проверки все равно идут, я убрал ваши имена из списков, вы в безопасности. Я обо всем позаботился, мы же семья. Но, – пауза, – вы в безопасности только до тех пор, пока сидите тихо. Если вы попытаетесь уехать, это могут расценить… – Он пожал плечами.

– Расценить как?

– Скажем так, если вы попытаетесь уехать, я не смогу защитить вас.

* * *

– «Не смогу защитить вас»? Что это, черт возьми, значит? – Ольга старалась не кричать, но Андреас слышал дрожащий голос матери сквозь стену, лежа в постели, в своей комнате. – И еще:

что это за херня про «сплотиться вокруг лидера»? Почему все вокруг повторяют это, как заклинание? А его речь, Берт, ты слышал, как он говорит?

– Не кричи.

– Нет, ну, ты слышал?

– Да, я слышал. Не кричи.

– А его форма – что это за цвет? Цвет больной печени.

И все же сделать они ничего не могли. Штрассер напугал их. Напугал так сильно, что какое-то время они даже боялись разговаривать друг с другом в его присутствии.

Потом была Олимпиада, и стало ясно – дальше будет только хуже. Отец из окна наблюдал за толпами идущих строем штурмовиков, за факельными шествиями и прочим войнобесием. Он боялся выходить на улицу, и ему было стыдно за этот страх.

– Видишь этих людей? – говорил он Андреасу. – Запомни их. И запомни вот что: люди, идущие строем, всегда идут не туда. Чаще всего строем не «идут», а уходят – от здравого смысла. Национальная идея – миф, обман, и очень удобный; ты просто вливаешься в толпу и чувствуешь себя частью чего-то большего. И в самом деле: зачем мозги, если есть национальность? Главный соблазн объединяющей идеи в том, что она не требует ничего, кроме покорности, но многое дает взамен – чувство неодиночества и безусловной правоты.

Люди в толпе все делят поровну, даже эмоции, – и в этом проблема. Если человек совершил подлость – ему стыдно. Если подлость совершили два человека – их стыд делится на двоих. Но если подлость совершают миллионы – это хуже всего: ведь разве можно почувствовать одну миллионную стыда?

Никогда не пытайся разделить стыд – ни свой, ни чужой.

Стыд неделим. Запомни это.

Отец снова выглянул в окно, руками вцепился в подоконник – еще чуть-чуть, и оторвет его, столько ненависти, столько стыда в его позе. А внизу – в ногу идут штурмовики.

Это так странно – из окна наблюдать за столкновением двух миров: в центре первого – личность, в центре второго – идея. В первом мире жизнь человека бесценна, во втором не стоит ни гроша. В первом мире любят ближних (родителей, детей, друзей), во втором – дальних (царя, пастора, национального лидера). В первом мире люди почитают конкретных личностей (писателей, ученых), во втором – абстрактных (Бога, вождя, традиционные ценности). В первом мире основа этики – свобода выбора, во втором – покорность. Такой вот парадокс: чем ближе к национальному единству, тем дальше от человека.

* * *

В школах ввели «расоведение», учительница, молодая, дебелая тетка с вечно напряженным лицом, ноздри раздуты, уголки рта всегда опущены, «она словно принюхивается и чувствует запах дерьма», – шутил кто-то из друзей Андреаса. На уроках она рассказывала детям, что арийские девушки должны иметь широкий таз для облегчения деторождения и сношаться только с арийцами, потому что у матки есть память, и если арийская девушка хоть раз «впустит в себя» неарийца – ее генофонд будет испорчен. Дети хихикали при словах «таз» и «сношаться», и тут же мальчик за первой партой получил указкой по голове. Он вскрикивает от боли и глотает вопль – сидит неподвижно и тихо, согнувшись, съежившись под взглядом учительницы.

«Арийцы не смеются», – говорит она.

Когда дядя Микаэль приходил в гости, мама всегда садилась подальше от него и мало разговаривала. Уходя, он выглядел бледным, зубы стиснуты, словно от боли. Или от затаенной злобы. Отец сильно похудел. Кожа на лице истончилась, он совсем перестал улыбаться, выглядел так, словно съел что-то кислое – лайм, например, – и этот лайм застрял у него в пищеводе.

Он запрещал Андреасу слушать радио: звуковые помои, говорил он. В тридцать седьмом году вся новостная повестка пропагандистов почти целиком свелась к «советской угрозе». Враги, враги, враги, предатели, правда за нами, мы против всех, мир против нас, мы правы, а они – нет, мы победим, потому что правда за нами, потому что мы правы, мы сильнее, потому что мы правы, мы правы, потому что мы сильнее, мы правы, мы правы, мы правы, потому что они не правы, они неправы, потому что они враги, враги, враги, враги, враги, мы правы, потому что они враги, мы правы, потому что мы сильнее, потому что они враги, мы победим, потому что они враги, мы сильнее, потому что мы правы, мы правы, мы правы, враги, враги, враги, предатели, правда за нами, мы против всех, мир против нас, мы правы, а они – нет, мы победим, потому что правда за нами, потому что мы правы, мы сильнее, потому что мы правы, мы правы, потому что мы сильнее, мы правы, мы правы, мы правы, потому что они неправы, они неправы, потому что они враги, враги, враги, враги, враги, мы правы, потому что они враги, мы правы, потому что мы сильнее, потому что они враги, мы победим, потому что они враги, мы сильнее, потому что мы правы, мы правы, мы правы, – тотальная невротизация населения, удушливая паранойя на всех

радиочастотах.

В июне с улиц Берлина исчезли почти все мужчины – их массово, в обязательном порядке вызывали на военные учения. Отец боялся, что и за Андреасом придут. Юноша еще не достиг призывного возраста, и все же. И хотя доверие к дяде Микаэлю было подорвано, отец все равно обратился к нему – почему? Кто знает?

«Конечно, – сказал Микаэль, – я знаю, что делать. Мы устроим его в гимназию. Для этого надо вступить в гитлерюгенд».

«Мой сын не будет вступать в гитлерюгенд». – Отец сжал стакан в руке. Еще чуть-чуть – и стакан лопнет.

«Поставь стакан, – сказал дядя Микаэль, не глядя на него. Он сидел за столом, положив на его дубовую поверхность свои огромные, толстые ладони, словно собирался вставать. – Вы на карандаше у СД, в этой ситуации надо быть гибче. Ты же хочешь уберечь Андреаса от армии, верно? Единственный логичный вариант – гимназия. Но в нее попадают через гитлерюгенд. Это лишь формальность, никто не повезет его на стрельбище. Так нужно для протокола, понимаешь? Он поступит в гимназию под моим патронажем, запишем его в мои ассистенты. Он ведь знает языки, это ценный навык, я все устрою».

Андреас не хотел уезжать. Он чувствовал тревогу родителей, они отводили глаза, когда он пытался с ними заговорить.

«Не спорь, – говорил отец, – это единственный способ защитить тебя».

«А вас кто защитит?»

«О себе мы позаботимся».

* * *

Учеба в гимназии давалась ему на удивление легко. Он каждый день писал письма родителям, рассказывал о своих успехах и тревогах. Мать и отец отвечали ему, но письма их всегда были отчасти вымараны цензором – самое важное скрыто под толстыми черными линиями.

А потом – они перестали отвечать. Он продолжал слать письма – но тщетно.

Пытался позвонить в университет, отцу, но секретарь вел себя странно: сперва говорил, что герра Брехта нет на месте, потом – что он здесь не работает.

– Как это – не работает? – Андреас огляделся и понял, что все посетители телеграфа смотрят на него. Он кричал в трубку.

Он позвонил Микаэлю.

– Это не телефонный разговор, – сказал дядя. – Я сегодня приеду, поговорим.

Дальше – только плохие новости. Флаги со свастиками – трепещут, полощутся на ветру. Они с дядей на лавочке в парке при гимназии. Дядя в своей коричневой форме, «цвета больной печени», Андреас – в синих брюках и в жилетке с Лейпцигской эмблемой гимназии.

– Их арестовали. – Дядя смотрит куда-то вдаль, словно говорит сам с собой. Он выглядит опечаленным, но Андреас уже все понял – отец знал, что за ними придут. И вся эта авантюра с фиктивным вступлением в гитлерюгенд и с поступлением в гимназию – все это было задумано для того, чтобы спрятать его, убрать с линии огня.

– Мне жаль, – говорит дядя, обнимает его и вкладывает в руку конверт.

Андреас возвращается в комнату, на всякий случай подпирает дверь стулом. Конверт жжет ему карман, он вскрывает его и видит четыре числа – 1245.

Только три человека знали, что это значит.

«С нетерпением жду встречи с тобой».

Облегчение и радость – эмоции настолько сильные, что Андреас опирается спиной на стену и сползает на пол. Он плачет. Они живы. Он увидит их. Он знает, куда идти.

Дождавшись пятницы, он едет в Берлин, на Лертский вокзал, где в ровно в 12:45 садится на поезд до Лейпцига.

В поезде он нервно ерзает в кресле, надеется на новый знак, новое послание от отца (или от мамы). Но разве их не арестовали? Значит, дядя Микаэль лгал? А если лгал, тогда зачем передал послание от них? Или это ловушка? Нет, не может быть, смысл этих чисел 1245 знают только его родители. Больше никто. Эта мысль наполняет его радостью и волнением.

Он всю дорогу старательно изображает спокойствие. Воздух кажется густым, его тяжело вдыхать, пульс долбит в висках, как барабан в ночи. В крови адреналин, в голове – паранойя.

За ним следят или это только кажется? Человек в кресле через проход – он точно из СС (спокойно, перестань паниковать). Блондин, одет в штатское, но на руках черные перчатки. Зачем?

Юноша берет газету, но тут же откладывает – руки дрожат. Хочет отвернуться к окну, но боится пропустить новый знак от отца.

Поезд тормозит на промежуточной станции. Перрон почти пуст. Черный автомобиль, в нем – силуэты людей. Разве автомобили могут заезжать на перрон? И вдруг – человек в черных перчатках вскакивает с места и бежит по проходу. Дверь

между вагонами распахивается на секунду, и Андреас видит, что в соседнем вагоне началась потасовка. Люди в коричневой форме вытаскивают кого-то на перрон и тащат в сторону автомобиля. Немногочисленные пассажиры отходят подальше, отводят глаза. Андреас видит только спину, ноги избитого пассажира безвольно тащатся по асфальту, на одной из них нет ботинка. Ботинок несет один из них. Эсэсовцы (или кто это?) подтаскивают его к машине, и задняя дверь распахивается, его закидывают в салон машины, в темноту. Ботинок летит следом. Его бросает тот самый блондин в штатском, в черных перчатках. Он подходит к машине, открывает переднюю дверь и, прежде чем сесть, оборачивается. Взгляд его встречается со взглядом Андреаса – или это только кажется? В зубах у блондина зажженная сигарета, он затягивается в последний раз, бросает ее на асфальт, давит каблуком, садится и захлопывает дверь, из окна появляется рука и хлопает по крыше машины.

Автомобиль трогается.

Через минуту трогается поезд.

* * *

В состоянии гадливого, вязкого полусна Андреас доезжает до конечной станции. Никто не встречает его. Когда за окном появляется Лейпциг, он уже точно – шестым, седьмым, восьмым чувством – знает, что родителей больше нет.

Он пытается выяснить у дяди какие-то подробности. Но тот лишь качает головой и полушепотом отвечает: «Я работаю над этим, сам понимаешь, время такое».

«Нет, не понимаю», – хочет закричать он, но сдерживается. Страх истощил его, теперь он не чувствует ничего, кроме презрения – к дяде, к гимназистам, к студентам, к преподавателям, к военным, к Гитлеру, ко всем вокруг. Он не знает, что делать дальше.

Учиться? – для чего?

Бежать? – куда?

* * *

Дядя исчезает из его жизни. Начало войны, всеобщая мобилизация – от Микаэля Штрассера нет вестей. Как нет их и от отца с матерью.

Андреаса вызывают на учения. Ему все равно. Врачи на

медкомиссии скорее разочарованы его физическими данными. Худой, высокий очкарик. Миопия – 4,25.

Ему выдают форму и отправляют на стрельбища, результаты – ниже среднего. Дальше – вызов в кабинет к одному из высших чинов. На табличке длинное слово – то ли «Гауптштурмфюрер», то ли «Оберштурмвюрер».

Высокий мужчина в идеально сидящей форме (словно в ней и родился), волосы с пробором ровно посередине головы (выглядит странно, противоестественно). Глаза зеленые, холодные, похожи на маслины, вмерзшие в лед. Разглядывает Андреаса, спрашивает:

– Почему форма такая, рукава короткие?

– Такую выдали.

Офицер делает пометку в тетради.

– Мне сказали, ты знаешь языки.

Андреас кивает.

– Отвечай по протоколу.

– Так точно, герр гаупштурмфюрер.

– Какие именно?

– Кроме немецкого, знаю русский, испанский, итальянский, еще французский, но хуже, могу говорить и слушать, но пишу с ошибками. Недоучил.

Офицер переходит на испанский, Андреас отвечает. Офицер делает пометку в тетради.

– Можешь идти.

* * *

Через два дня в казарму заходит старшина и называет его фамилию.

Офицер взял его себе в штат – помощником. Андреас не задает вопросов, он знает, что это устроил дядя Микаэль, но благодарности не чувствует – он ничего не чувствует.

Его работа – не только перевод и сортировка документов. Он гладит и стирает форму гауптштурмфюрера, чистит его обувь, варит и приносит кофе, готовит еду, сортирует почту по степени значимости.

Он раб. Но ему все равно. Главное – не на фронте.

Канцелярской жизни, впрочем, быстро приходит конец. В начале сорок второго гауптштурмфюрера отправляют в СССР, и, разумеется, Андреас (ставший незаменимым) едет с ним. Они проходят Украину, останавливаются в Крыму и дальше – в глубь России…

* * *

Марта вздыхает, видно, как тяжело ей даются эти, – пусть и чужие, – воспоминания.

– Он не любил говорить о войне, всегда галопом пробегал эту часть истории. Шла война – вот и все.

Его хозяин – так он называл офицера Ауэра – отвечал за этнические чистки. Решение еврейского вопроса на местах. Андреас видел все это своими глазами. Страшно. После такого сложно остаться человеком.

Она долго молчала, а мы боялись нарушить тишину.

* * *

А потом – крах и отступление. Так он и оказался там – в Рассвете.

Советские войска отжимали их все дальше к границе. Их взяли в кольцо, его отбросило взрывом, а дальше – лишь обрывки воспоминаний. Он свалился в овраг, прятался там почти сутки, вжавшись лицом и всем телом в грязь, дожидаясь, пока утихнет грохот орудий. И даже когда все утихло, он еще долго не решался поднять голову, лежал и притворялся мертвым, как барсук (или какое там животное лучше всех притворяется мертвым?). Когда стемнело, он вылез и некоторое время отогревал руки и ноги рядом с горящим танком. Он слышал вой – высокий и вибрирующий – и думал, это волки воют на луну; и только потом понял, что вой доносится из горящего танка, как из быка Фалариса, – вопли солдат внутри. Он был ранен, сквозное в ноге, чуть выше колена. Штанина черная и липкая от крови, он очень ярко об этом рассказывал. Он даже не почувствовал момента, когда пуля ударила его. Только позже, ночью, вылезая из оврага, он с трудом сдержал вопль, ступив на левую ногу.

Он шел довольно долго. Или скорее полз. Наткнулся на ручей и стал пить. Вода мутная, грязная, как будто ржавая, мерзкая на вкус, он ясно видел раскуроченный труп выше по течению, но ему было все равно.

Несколько раз видел людей вдали и прятался от них в кустах. У него не было плана.

Контузия смазывала время, размывала минуты и часы, он не знал, сколько шел. Он помнил, что увидел впереди какие-то деревянные строения и направился к ним. Свинарники. Свиней там не было, их давно уже съели солдаты, и все же доски сохранили тепло, и он забрался внутрь и упал в стог сена.

Именно там он встретил мою бабушку.

(Она посмотрела на меня. Наверно, у меня было совсем безумное лицо, потому что она рассмеялась.)

– Да, у меня была такая же реакция, когда он впервые рассказал мне эту историю. Анна, моя бабушка, наткнулась на него через сутки, кажется. Он потерял много крови и просто лежал там без сознания. И Анна, ей было тогда двадцать лет, перетащила его в дом и обработала рану.

Это странно. Я имею в виду человеческую природу. На нем была немецкая форма, бабушка ненавидела нацистов, ее отец и брат погибли на фронте. И все же она помогла ему.

«Я хотела бросить его там, – говорила она потом, – хотела, чтобы он страдал. Чтобы умер от потери крови. Чтобы ему было больно. Я плюнула на него и вернулась домой. Мне было тошно, я не хотела к нему прикасаться. Но чем дольше я сидела в доме, на кухне, за столом, тем сильнее меня тошнило. Я прикидывала все «за» и «против». «Одно дело убить человека в бою, но совсем другое – бросить его умирать».

И в то же время другой, более сильный голос: «Да? А сколько людей, живых людей эти свиньи сожгли и уморили голодом? Сколько? Может быть, ему там самое место, в свинарнике?»

«Но я же видела его лицо! Он совсем молодой, лет восемнадцати максимум. Совсем юный. Откуда ты знаешь, почему он здесь? Как он здесь оказался? Ты видела его и оставила там. Ты видела его, а это значит, что теперь его будущее в твоих руках. Ты готова взять ответственность за его смерть?»

Она достала из тайника фотографию братьев, долго смотрела на нее.

«Если бы у него была совесть, он бы не надел эту форму и не оказался бы на оккупированной территории. Этому нет оправдания».

И тут же: «Брось, ты же знаешь себя, ты все равно не сможешь его оставить там. Ты даже тараканов никогда не давишь, тебе их жалко».

«Да, но он хуже таракана. Он убийца».

«Откуда ты знаешь?»

В этом внутреннем споре с самой собой она провела несколько часов. И сдалась. Втащила солдата на телегу и перевезла в дом. «Только попробуй оказаться подонком», – бормотала она, обрабатывая раны.

Она помогла ему. И в то же время она до смерти его боялась. Поэтому на ночь пристегнула его к койке ремнями. Больничная койка появилась в доме еще до войны. Анну мучили боли в спине, и врач посоветовал ей спать на твердой поверхности, и койка из

вытрезвителя, где она тогда работала, пришлась как раз кстати. По работе ей часто приходилось иметь дело с буйными, и потому она умела намертво приковывать людей к кровати.

Он очнулся на следующее утро. В голове все плыло и гудело, словно с похмелья, он попытался пошевелиться, но не смог. Первая мысль: «Я в госпитале. Я парализован».

Лишь позже, когда пространство в голове и перед глазами обрело плотность и трехмерность, он понял, что прикован к койке кожаными ремнями.

«Я в плену. Меня будут пытать».

Он начал дергаться, но в колене стрельнула боль, и он завыл.

В комнату вошла Анна. Минуту или около того они испуганно смотрели друг на друга.

Она боялась его едва ли не сильнее, чем он ее.

Однажды в детстве она случайно заглянула в гараж как раз в тот момент, когда отец перерезал горло свинье. Этот звук – визг, крик боли, резко переходящий в гулкое хлюпанье, и струя темной, густой крови, льющейся в жестяной таз. Ее вырвало прямо там, в пороге. С тех пор она не ела мясо. Это было вынужденное вегетарианство – сам запах жареного мяса, шипение вырезки в масле на сковороде, все это у нее устойчиво ассоциировалось с гулким пузырящимся хлюпаньем вскрытой глотки, там, в сарае, в детстве.

Теперь же она испуганно смотрела на этого худощавого блондина, ремнями прикованного к койке.

«А что, если он садист? Что, если он участвовал в казнях и получал от этого удовольствие? А теперь ты спасла его. Что ты будешь с ним делать? Убьешь его? Ты не сможешь. Кого ты обманываешь? Ты не сможешь смотреть на его страдания? И что остается? Отдать его в руки солдатам?»

Пока она думала, он заговорил:

– Пожалуйста, не надо. Я всего лишь клерк. Я даже не офицер. Я переводил и переписывал документы. Я все расскажу. Не надо. – Он говорил на чистом русском языке. Она бы и не различила легкого акцента, если бы не видела его в форме.

– Ты… – Ей казалось, что она ослышалась. – Ты знаешь русский?

– Да. – Он щурился, стараясь сфокусировать взгляд на ее лице, но перед глазами все плыло. – Я переводчик. Перевожу документы.

– Ты нацист.

– Нет, нет, нет. – Он качал головой.

– Да. – Она отвернулась, ей казалось, что ее сейчас вырвет. – Ты был в нацистской форме.

– Меня забрали на фронт. Забрали. Я не успел сбежать, – бормотал он, голос его дрожал. – Я не выбирал. Не выбирал. – Потом поправился. – У меня не было выбора.

Она села на табуретку в углу комнаты и в отчаянии смотрела на него.

«Какая же я дура! Что я буду теперь делать с ним? Надо срочно сообщить о нем, срочно. Он переводил документы, это может быть полезно для фронта».

Она и сама уже толком не могла себе объяснить, зачем спасла ему жизнь: все прошлые аргументы теперь казались ей нелепыми.

И что теперь? Вот ты спасла его. Для чего? Как ты собираешься вытряхивать из него признание? Даже если он палач – особенно если он палач, – он не скажет тебе правду. Он сделает все, чтобы выжить. Как ты узнаешь, что он не лжет? А если он действительно всего лишь переводчик, как ты сможешь это проверить? И, допустим, ты освободишь его, но как ты можешь быть уверена, что он не воткнет тебе в спину ножницы или отвертку при первой же возможности?

– Я солдат рейха, это правда, но я не убивал. Я клянусь тебе (он врал; позже он признается ей, что убил двух пленных; его начальник, гаупштурмфюрер Ауэр заставлял всех новобранцев участвовать в казни, называл это «боевым крещением»). Моя мать русская. Я здесь не по своей воле. У меня не было выбора.

– Замолчи! Замолчи, слышишь?

– Выслушай меня.

– Нет! – Она подошла к койке и склонилась над ним (и только тут он смог разглядеть ее: темные волосы, тонкие черты лица, впавшие щеки; глаза кажутся огромными на худом, усохшем лице). – Я не хочу слушать. Заткнись!

Он часто дышал и смотрел на нее, не моргая.

Она вышла из комнаты.

Весь вечер она провела на кухне, глядя в стену, и очнулась, лишь когда стало темнеть и сумерки сгустились в углах. Она приготовила ужин – морковь и картошка – все, что осталось, – и пришла покормить его.

– Если скажешь хоть слово, я убью тебя. Молчи, понял?

Так продолжалось три дня. Она заходила в комнату и угрожала убить его, если заговорит, кормила и уходила.

На третий день он не выдержал:

– Так не может продолжаться.

– Я же сказала, молчи!

– Сколько еще ты будешь меня тут держать? Мне больно. Я не могу двигаться. Ноги, руки затекли. У меня эти… про… про… – Он не мог вспомнить слово «пролежни». – Освободи меня!

Она ухмыльнулась и покачала головой.

– Так не может продолжаться.

– Что – хочешь, чтобы я сдала тебя солдатам?

– Ты не сможешь, – сказал он. – Если б могла, уже давно сдала бы.

– А ты умный, да?

– Простая логика. Ты уже три дня расходуешь на меня продукты. Это о многом говорит.

– Да? О чем, например?

– Ты не знаешь, что делать. Со мной.

Она зажмурилась. Ее злило, что ее дилемма так очевидна.

– Я знаю, что ты чувствуешь, – сказал он.

– Ничего ты не знаешь. Ничего. Замолчи.

– Ты не доверяешь мне. Я понимаю. У тебя нет ни единой причины мне доверять. Но все же ты спасла мне жизнь, и, да, я понимаю, что ты уже жалеешь об этом.

– Замолчи. – В руках она держала тарелку с вареной картошкой и морковью.

– Но это не может продолжаться. Если ты боишься меня, тогда просто запри меня где-нибудь, в подвале или еще где, но ты не можешь держать меня в таком положении, прикованным к кровати. Это жестоко.

(В этом месте их версии истории расходятся. Андреас утверждал, что долгую паузу прервал крик петуха; Анна же всегда смеялась над этим заявлением. «Какой петух? – говорила она. – Все было выжжено, убито или съедено. Даже воробьи. Не было там петуха. Это он придумывает, ради драматизма».)

За окном раздался (или не раздался) крик петуха. Анна вышла из комнаты и через минуту вернулась с ножом в руках.

«Она приближалась ко мне, держа нож, неумело, словно боялась, что он взорвется, если сделать резкое движение, – вспоминал Андреас, – но в глазах ее не было злобы, наоборот, она смотрела на меня с ужасом и отчаянием, едва не плача, словно это я к ней с ножом приближался, а не наоборот».

Она поднесла нож к его горлу и оскалилась.

– Сейчас я ослаблю ремни и переведу тебя в подвал. Только попробуй что-нибудь выкинуть. – Она ткнула указательным пальцем ему в лоб, почти между бровей. – Хоть одна дурацкая мысль, и я вскрою тебе глотку. Видел свинарники? Когда-то, до войны, там было много свиней, и я всем им перерезала глотки и пустила их на мясо. А ты хуже, чем свинья, ты бесполезен, тебя даже съесть нельзя.

Он облизнул потрескавшиеся губы.

– Я лежу здесь уже больше четырех дней. Я не помню, когда

нормально ел в последний раз. Даже если бы я задумал что-то, у меня бы вряд ли что-то вышло. Если ты хочешь перевести меня в подвал, тебе придется подставить мне плечо, потому что я с трудом двигаю ногами, у меня дыра в одной из них, помнишь?

Она медленно расстегивала ремни, одной рукой, продолжая держать нож у его горла.

– Осторожно, – бормотал он.

– Вставай. – Отстегнула последнюю пряжку и отскочила. – Вставай.

Он медленно приподнялся на локтях – неудачно. Поднялся снова и поморщился, зажмурился – голова кружилась, перед глазами все плыло. Он дышал часто, громко, по-бычьи и сплевывал густую, желтую слюну, прямо набок на подушку. Через пару минут с большим усилием, словно поднимал штангу, он сел. Стер слюну со щеки тыльной стороной ладони. Корчась от боли, свесил раненую ногу с края кровати. Он держал ее двумя руками и осторожно трогал большими пальцами бинты. Потом стал медленно двигать головой, суставы захрустели, как сухие ветки, он растирал шею ладонью; шевелил пальцами ног и внимательно смотрел на них, проверяя, все ли мышцы слушаются.

– Вставай!

Зажмурился, скорчился, словно с похмелья:

– Не кричи. Я пытаюсь. Дай мне минуту, господи!

Анна стояла перед кроватью, выставив нож, вцепившись в рукоятку обеими руками. Он, щурясь, смотрел на нее.

– Ты ведь никогда не резала свиней.

– Еще как резала.

– Этим ножом? – Он сглотнул и поморщился.

– Этим самым.

– Это нож для разделки мяса. Им не режут горло. Это неудобно.

– А ты, я смотрю, умник, знаешь все обо всем?

Он смотрел вниз так, словно до пола не метр, а как минимум миля.

– И много глоток ты перерезал? – спросила она.

– Я же уже объяснил, я работал в канцелярии, был помощником гауптштурмфюрера Ауэра, я в бою был только один раз, помню огонь, свист, взрывы, а потом… потом я очнулся здесь.

– Слезай с койки, пошли.

Пауза. Он не двигался с места.

– Ну же!

– Да подожди ты. – Его тошнило, боль в ноге вертелась штопором, расходилась по телу в такт сердцебиению.

Он подвигал ступнями и снова скорчился. Все тело покалывало, суставы хрустели. Потом он осторожно нащупал пол правой (здоровой) ногой и стал медленно переносить на нее вес, но нога подогнулась, и он повис на койке, схватившись руками за простыню, испуганно бормоча что-то по-немецки, словно висел на краю пропасти.

– Мне нужна помощь. – Лоб его покрылся испариной, лицо покраснело, на виске вздулась вена.

Анна подошла к нему, перекинула его руку себе через плечо и попыталась поднять его, поставить на ноги. Интуитивно она уперлась одной рукой в кровать, чтобы удержать равновесие, и вдруг с ужасом увидела, что мясницкий нож как-то оказался в его руке. Она ждала удара, вспышки, потока крови, но вместо этого увидела, как нож полетел в угол комнаты и с металлическим лязгом грохнулся на пол.

– Это лишнее, – хрипло сказал он. – Мы же не хотим, чтобы кто-то порезался.

Он полностью оперся на нее, и только тут она почувствовала, какой он легкий, почти невесомый (что было странно, ведь когда она тащила его в дом из свинарника, он казался ей неподъемным; возможно, дело было в форме).

– А теперь, пока мы идем, я хочу сказать вот что: ты спасла мне жизнь, я не собираюсь тебя убивать. Сама подумай: ну убью я тебя, что дальше? Куда я пойду? Я в тылу врага. Немцы отступили. Я не хочу возвращаться к ним. Я же пытался объяснить, а ты не слушаешь. Я могу принести тебе пользу.

– Да? Какую, например?

– Могу отремонтировать крышу.

Она вела его к двери в подвал.

– А ты, я смотрю, мастер на все руки. И переводчик, и специалист по разделочным ножам, и плотник и кровельщик.

– Вообще-то нет, – сказал он. Они уже подходили к подвалу. – На самом деле я всему понемногу научился, пока служил. Так что если вдруг надо будет что починить или зашить – обращайся…

* * *

И он не врал – он действительно многое умел. «Рукастый» – как говорила бабушка. Починил крышу, привел в порядок дом, замки, окна. Короче говоря, гвоздь забить умел. И на исходе войны Анна была уже беременна – моей мамой.

Она заметила мой недоуменный взгляд, пожала плечами:

– Да, я тоже хотела бы узнать, как же так получилось. Но они

не вдавались в подробности. Он просто стал там жить.

Война всех уравняла, всех сделала сиротами, миллионы пропавших без вести, никаких документов и архивов – бюрократический хаос. Андреас легко затерялся в безликой толпе сирот – это было несложно, в послевоенном тумане все были на одно лицо: худые, грязные, голодные. Поди разбери – кто есть кто. Миллионы людей без крова, без документов. Он притворился одним из этих миллионов – солдатом, вернувшимся с фронта после ранения. И даже больше: Анна достала для него новые, русские документы. Так он обрел новую жизнь – стал Андреем. Он получил не просто свидетельство о рождении и паспорт – он получил новую личность.

– А как же язык? Он ведь говорил с акцентом.

– Поначалу он старался вообще ни с кем не общаться. Боялся людей, прятался от них. Ему казалось, что они сразу узнают в нем немца и убьют. Прошло много времени прежде чем он научился жить с этой фобией. И потом, бабушка каждый день занималась с ним, учила его «быть своим» ПЕТРО ТЫ В КРАСНОМ ЛИСТЕ ВАЛИТЕ ИЗ ДОМА ЗА ВАМИ ВЫЕХАЛИ ВАЛИТЕ СЕЙЧАС НЕМЕДЛЕННО У ВАС ПЯТЬ МИНУТ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ УХОДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА УХОДИТЕ

УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ

Что за?!

Я переписывал мамины черновики, и вдруг курсор сам задвигался по экрану. Компьютер разговаривал со мной.

Я потянулся к телефону.

Связи нет.

Ольга

Я была на кухне, нарезала лук, когда вошел Петя. Я обернулась и увидела его лицо – знаете, взгляд человека, которого только что вывели из наркоза после тяжелой операции.

Я схватила сумку с документами, он зашел в детскую и вынес спящего Леву на руках.

– Быстрей. – Шепотом.

Мы в полутьме бежали по ступенькам. Вниз. Помню, как вышли на улицу, но не с парадного, а через вторую дверь – во внутренний дворик, к детской площадке. Мы шли по асфальту, и только тут я поняла, что забыла обуться – я шла босиком.

Я обернулась – в окне нашей квартиры уже мелькали силуэты людей. Много. Человек пять минимум. Если, конечно, их можно назвать людьми.

Петро

– Боже мой! Я думал, они схватили вас! – Грек кинулся к нам, он чуть не плакал, руки тряслись. – Простите, – бормотал он, – простите меня, я пытался, пытался успеть первым, опередить их, но, – он запнулся, посмотрел мне в глаза, – когда я подъехал к вашему дому, там уже стояли их машины. К-как вам удалось уйти?

– Нас предупредили.

До утра мы сидели в подвале, в отделе реставрации, под галереей, окруженные картинами старых мастеров. Пахло высохшей краской и пылью, Оля чихала, шмыгала носом, ее знобило, я приложил ладонь к ее лбу – горячий. Этого еще не хватало.

Потом появился Карский, все еще с повязкой на глазу, но в этот раз предельно серьезный, даже испуганный. И с ним – Марина.

– Вам тоже нужно ехать, – сказал Грек. Я попытался возразить, но он перебил меня: – Ты не понял, Петро. Я тоже еду.

– А как же «Осмос»?

– «Осмоса» больше нет, Петро. С завтрашнего утра все неугодные СМИ будут упразднены. Приказ Боткина.

Нас посадили в грузовик вместе с контейнерами с работами Караваджо и закрыли кузов.

Грузовик несколько раз тормозили на блокпостах, мы слушали шаги, бормотание, кто-то стучал по кузову – дубинкой или чем-то металлическим, – потом машина трогалась, и мы с облегчением выдыхали. Так мы добрались до вокзала, где три часа ждали «погрузки» в вагон.

Все это было унизительно – ехать в вагоне, тайком пересекать границу, спасаться бегством. Казалось бы: мы избежали тюрьмы, но я не чувствовал облегчения – я слушал стук колес и чувствовал тоску. И стыд. Ужасный стыд, как будто совершаю подлость, как будто смалодушничал, но не могу понять, где именно – что я такого натворил? Я все не мог поверить, что вот так, в чем был и с рюкзаком на плече, в последний раз вышел из дома. Я четко осознавал, что больше не вернусь в нашу квартиру – у меня не было иллюзий – и уже начинал скучать по своим книгам, по настольной лампе и по старой точилке для карандашей, которую Оля подарила мне когда-то, еще в институте, на День святого Валентина.

– Увидела ее и сразу поняла – это ты. – Она протянула мне пластиковую фигурку – кот сидит и задумчиво смотрит вдаль;

в голове у него, прямо на макушке, аккуратная круглая дыра.

– То есть, по-твоему, я похож на пластикового кота с дырой в голове?

– Да нет же, дурында, это точилка. Это отверстие – для карандашей. Видишь – этот кот такой умный, что одной лишь силой ума может точить карандаши.

Точилка долго служила мне, я привязался к ней, перевозил ее с собой из одной съемной квартиры в другую, через несколько лет она испортилась, – кот уже не точил, а попросту ломал карандаши, но я все равно держал его на столе, как талисман, – из каких-то своих сентиментальных соображений.

А теперь все это позади – мои книги, моя настольная лампа и моя точилка-кот. Что с ними будет теперь? Что будет с нашей квартирой? Ее переоформят на себя те люди, что пришли за нами этой ночью? И будут жить там, в нашем доме, и пользоваться нашими вещами – а может, и не будут, и просто сгребут все в кучу, побросают в мусорные пакеты, – и книги, и настольную лампу, и точилку-кота, – и вывезут на свалку.

Мне стало тошно от этой мысли, я живо представил себе наши вещи, лежащие в черных мешках среди гор бытового мусора. Их находят бездомные, разрывают мешки и тащат на барахолку, где продают за бесценок. А потом что? Куда деваются вещи с барахолок? Да и вообще, кто же захочет купить старую точилку-кота, которая мало того, что выглядит ужасно, так еще и карандаши не точит, а ломает.

Какая дикость, правда?

Я теперь безработный и бездомный эмигрант, у меня жена и сын, и мне бы думать о том, как обеспечить им достойную жизнь, а я все вспоминаю свою чертову точилку. Как жаль, что я не взял ее с собой, когда собирал вещи. Слишком спешил, был напуган, что поделать.

Чтобы как-то отвлечься, я снова достал мамины черновики. Рядом сидела Марина, и я рассказал ей о своем обещании.

– Мне нужна твоя помощь. Без тебя я не смогу закончить книгу.

Она улыбнулась.

– Хочешь сделать меня персонажем?

– Вроде того. – Я достал диктофон и нажал на «запись». – Расскажи о себе. О детстве. И об отце – каким ты его помнишь?

– Об отце? Это можно.

Она подвинулась поближе и начала:

– Отец называл меня «точка». Ты же помнишь этот его дефект речи, проблемы с буквой «д»: он так и говорил ротина, терево, тверь. А я стала точкой…

Егор

Мамины похороны я помню плохо. К тому моменту я уже плотно сидел на этом дерьме и, разумеется, вовсе не считал себя наркоманом, потому что жрал еще и аддерол; я, кажется, забывал моргать, глаза резало от сухости, во рту тоже – словно разлив нефти, язык прилипал к нёбу, я без конца пил воду, но это не помогало. Чужие голоса долетали до меня с задержкой, я как будто смотрел фильм, в котором был рассинхрон между звуком и картинкой. Плюс сами по себе люди отбрасывали странные изометрические тени не только в пространстве, но и времени, тени просто не поспевали за людьми так же, как звук не поспевал за картинкой, и при движении они создавали эти странные шлейфы из самих себя – словно какие-то полупрозрачные призраки, преследующие людей, – ошибки прошлого или вроде того.

– Ты в порядке? – спросил Петро. – Совсем хреново выглядишь. Вспотел весь.

Я посмотрел на него – губы его не двигались, но голос я все еще слышал; голос дрожал от статических шумов – мое среднее ухо очень плохо реагирует на вещества. Мне стоило бы испытать стыд из-за того, что я, обдолбанный, явился на похороны, но наркотик словно срезал связи между нервными окончаниями в груди и в мозге – никаких чувств, только равнодушие. Мне было наплевать – на все; я знал, что если буду трезв – мне будет больно, а я не хотел испытывать боль – и потому смотрел на кладбище сквозь мутную линзу опиоидного остранения. Это была моя самозащита.

Когда все закончилось, каждый из нас бросил горсть земли на крышку гроба. Я так плохо владел собой, что чуть не свалился в могилу.

Мы шли к машине, и мне пришло сообщение.

McGuffin: тут жесть какая-то

Colin Laney:???

McGuffin: мы запустили кусто, искали следы голявкина этого. но кто-то стирает данные о нем. прямо у нас под носом. пустые логи, почту его снесли. а потом пришли какие-то чмошники в костюмах, поговорили с ильичом, и он сказал вырубить кусто.

Colin Laney:???

McGuffin: приезжай, короче

Я вернулся домой и проспал восемнадцать часов. Проснулся оттого, что начал задыхаться – губы и ноздри забиты высохшими соплями. Во рту – омерзительный медицинский привкус гидрохлорида – один из самых неприятных побочных эффектов. Глаза горят так, словно я всю ночь неотрывно смотрел на сварку. Я принял контрастный душ, прополоскал рот листерином, разжевал таблетку аддерола и отправился на работу. Ребята тихо поздоровались со мной, они сидели по углам, словно запуганные, и даже не смотрели на меня. В другой ситуации я бы разозлился, но сейчас мне было все равно – я включил комп и начал настраивать Кусто, вводить данные для поиска убийцы, точнее – его следов в сети.

И вот тут начались странности – Костя был прав, кто-то заметал их. Следы. Я хотел начать углубленный поиск, но на экране выскочила надпись «доступ ограничен».

– Какого хрена?

Я поднялся в кабинет к Ивану Ильичу. Он был у себя, говорил по телефону, но тут же положил трубку, когда я вошел, начал выражать соболезнования, но я перебил его:

– Что происходит?

В ответ – что-то невнятное: все это ради твоего блага, ты сейчас раздавлен, ты обозлен, тебе надо отдохнуть, проветриться.

– Я уже проветрился! – сказал я и вдруг понял, что кричу во всю глотку. – Откройте доступ.

– Я не могу, – сказал Иван Ильич. И снова: поток оправданий, обтекаемых формулировок. – У тебя паранойя, – говорил он. – Угомонись. Я дам тебе полный доступ к Кусто, но сначала приведи себя в порядок. Ты себя в зеркало видел? Выглядишь как наркоман (вот тут я вздрогнул от неожиданности – это он просто как бы между делом сказал? Или на что-то намекает?). Кроме того, расследовать преступления – не твоя работа, этим уже заняты компетентные органы.

– Да? Это они стирают данные о Голявкине и его переписку из сети?

– Что? Стирают? Что ты… – Он вздохнул, снял очки, начал массировать переносицу. Его голова, и без того по форме напоминавшая яйцо, сегодня, казалось, вытянулась еще сильнее, или это у меня зрение барахлит опять? – Слушай, блин, мне и так тяжело, я тут стараюсь всю эту хреновину на плаву удержать, давай ты не будешь капать мне на мозги хотя бы сейчас, а? Пару дней. – Показал два пальца, вот так V, словно пытался сказать «мир, бро». – Я прошу всего пару дней, Егор. В конце концов, я не могу открыть тебе доступ к Кусто просто потому, что искать преступников – это не твоя чертова работа! Ты не можешь

заниматься этим.

– Это еще почему?

– Потому что, блядь! – Он все еще показывал два пальца, словно забыл, что надо опустить руку. – «Конфликт интересов», слышал такое выражение? Вот у тебя сейчас именно он! Даю тебе отгул – два дня. Отдохни, посмотри сериалы, почитай книжки, проветри голову. Напейся! Сделай хоть что-нибудь. Отвлекись. А потом вернешься, и мы обо всем поговорим.

* * *

Я вернулся домой и пару часов просто неподвижно сидел в кресле, смотрел в стену, словно впал в состояние фуги. Потянулся к телефону, хотел позвонить тебе, Петро, но так и не смог, меня заклинило. Я все еще не мог поверить, что мамы больше нет. Я чувствовал не пустоту, нет, мне было больно. По-настоящему. Повсюду. И боль была не только в теле, но и вне его, в углах, в тенях, в обоях, в шторах, бежала по проводам, по трубам, гудела в радиаторе и конденсатом оседала на оконных стеклах; боль – адская, зубная, ноющая, отдающая в грудь, в солнечное сплетение, в ногти на ногах, в корни волос, в костный мозг. Вся комната, словно газом, наполнялась моей болью и тоской. И потолок – он пульсировал. Или скорее дышал – вздувался и опадал, как белое пористое легкое. Я помню, как умирала бабушка, я был тогда ребенком, и помню, как я плакал оттого, что близкий человек ушел от нас. Но это – то, что накатывало на меня теперь, мысль об убийстве мамы – оно было сильнее – тоска, усиленная злостью: словно лампочка в голове, в которую пустили такое напряжение, что нить накаливания лопнула, и осколки ее застряли где-то там внутри, в мозге.

Я больше не мог, понимаешь? Я взял нож и отковырял половицу в углу комнаты – здесь я хранил запасы. И да, я снова снюхал дорожку – у меня было оправдание, я должен был как-то остановить эти потоки боли, идущие по позвоночнику и бьющие в ствол мозга. Если бы я не сделал этого, я бы разбил себе голову об стену. Серьезно. Потому что больше не мог.

Я несколько раз порывался позвонить тебе, Петро, но так и не смог. Прости. Не знаю, просто. Просто. Я просто не смог бы пережить этот твой взгляд. Да-да, ты прекрасно знаешь, о чем я. Этот твой осуждающий взгляд, взгляд разочарованного старшего брата. Я помню, как ты посмотрел на меня, когда я рассказал, что работаю в Компании и занимаюсь разработкой ИИ – ты посмотрел так, словно я признался, что снимаюсь в порно, где перед

камерой трахаю мертвых животных. И после, каждый раз, когда я тянулся к телефону, чтобы набрать тебя и попросить о помощи, я вспоминал твое лицо, твои глаза и думал: нет, лучше сдохну.

Прости меня.

Морфин почти сразу притупил боль, рассеял ее, выгнал из комнаты, из проводов, обоев, стекла, плинтусов – отовсюду. И потолок успокоился, перестал дышать, давить и падать на меня. Боль оставалась где-то глубоко внутри, но тусклая, как пламя декоративной свечи – я больше ее не боялся. Лицо снова онемело, я тыкал в него пальцем и ничего не чувствовал.

Тут за окном раздался гудок «КамАЗа» – низкий, густой, словно пароходный, – и он почти вернул меня в реальность. Затем снова сигнал, на этот раз тихий – дзинь! Сигнал телефона – оповещение. Кусто оповещал меня всякий раз, когда в нашей внутренней сети возникала активность, связанная с фамилией «Портной», – я настроил его так на всякий случай, из параноидальных соображений. Я знал, что за мной, скорее всего, наблюдают, и старался следить за тем, насколько пристальный интерес ко мне проявляет начальство. Вот и сейчас Кусто отправил мне сообщение: «Петр Портной в красном листе».

Красный лист – это значит, что за тобой уже выехали.

Я сел за комп и подключился к камерам в районе, где ты жил. Камеры не работали, GSM-сеть тоже. Меня бросило в пот. Я знал, что это значит – люди в коричневых машинах уже едут за тобой и вырубили в твоем районе сеть и все системы слежения, они всегда так делают, чтобы не оставлять следов и отрезать все возможности предупредить подозреваемого в том, что к нему едут. Без шума и пыли.

Я был под дозой, перед глазами все плыло, но мыслил я довольно ясно. Я знал, что все равно могу предупредить тебя, пока еще не поздно. Пару лет назад я устанавливал на твой комп антивирус и вместе с ним установил программу удаленного доступа. На всякий случай. И вот – всякий случай настал.

Я подключился к твоему компу, ты в этот момент редактировал свою рукопись. Младший брат следит за тобой. Ха-ха! И прямо посреди твоего текста я начал набирать ПЕТРО ТЫ В КРАСНОМ ЛИСТЕ ВАЛИТЕ ИЗ ДОМА ЗА ВАМИ ВЫЕХАЛИ ВАЛИТЕ СЕЙЧАС НЕМЕДЛЕННО У ВАС ПЯТЬ МИНУТ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ УХОДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ
УХОДИТЕ

Вэбку ты заклеил куском изоленты – хоть это ты додумался сделать, – и я не смог увидеть тебя, а жаль: я бы хотел посмотреть на твое лицо в тот момент. Почти уверен, что ты наложил в штаны, ха-ха.

Я запустил Убик и через склеенные фото с дронов удостоверился, что вы сбежали.

Я был под дозой, но даже в этой дымке блаженного равнодушия я чувствовал, как начинаю злиться все сильнее. Злость прорывалась даже сквозь наркотик.

Ах, значит, так? Значит, так, да? Теперь за братом выехали? Мамы вам мало, да?

Я судорожно соображал, что делать дальше. Они ведь не дадут Петро уйти. Единственный способ ослепить Систему, хотя бы на время – поджарить серверы, а поджарить их удаленно не выйдет, только из офиса.

И что же делать?

И это был он – момент предельной ясности, я точно знал, что сделаю дальше: теперь вся моя подготовка, мой план Б, все это обрело смысл, я знал, что сделаю дальше: закину в рюкзак шокер, ноутбук и поеду в Мышеловку – увольняться.

* * *

Тысяча шагов.

На улице очень людно, проталкиваюсь сквозь толпу, в наушниках играет «All tomorrow's parties». Опять какой-то праздник. Бой барабанов и толпы туристов возле буддийского храма. Всюду искрят бенгальские огни. Неоновые вывески с иероглифами.

Две тысячи шагов.

Дорогу перекрыли, люди толкутся на тротуарах за ограждениями, а по проезжей части идут ряженые в масках. Маски довольно жуткие – яркие, броские, зубастые. Как песьи головы. В руках факелы. Нет, стойте, это не факелы, это огромные огненные веера; и люди в масках размахивают ими и танцуют под звуки барабанов в ночи.

Две тысячи сто восемьдесят шагов.

Свернул в переулок и вышел на площадь, как раз когда песня в наушниках замолчала. Здесь тихо, только гулкое буммм-бумм-бум за спиной, но не более. Возле ПС одинокий буддийский монах; ой, нет, постойте, это не монах, просто дворник в оранжевом, светоотражающем комбинезоне. Лениво метет брусчатку.

Еще восемьдесят шагов и восемь ступенек. И вот она – дверь в Мышеловку.

Главная проблема в офисе – охрана. Два человека на входе, смена караула каждые двадцать минут. Ночью на шестой этаж меня никто не пустит, поэтому придется, эммм, идти на крайние меры. Больших сложностей, впрочем, я во всем этом не видел, мне ведь надо только войти, выйти уже не получится – на этот счет иллюзий я не питал.

Жму на звонок.

– Слушаю, – голос Бори. Худший из всех вариантов. Этого только не хватало.

– Боря, впусти. Это Егор.

– О, Егор!

Вспыхнул зеленый индикатор, дверь поддалась. За стойкой в фойе сидел Боря, он даже привстал, чтобы пожать мне руку.

– А где напарник? – спросил я.

– В тубзике. А ты чего здесь делаешь?

– Да так, вещи забрать. Я увольняюсь.

Боря поджал губы, почесал затылок.

– Эх. Так это ты пришел с Иваном Ильичом поговорить?

– А он что, здесь?

– Ну да, десять минут назад пришел. Вы чуть-чуть разминулись. – Он потянулся к селектору. – Сейчас сообщу ему, что ты з-з-з-з…

Боря рухнул на пол и затрясся, словно в припадке – два электрода сверкали у него на груди. Шокер работал безотказно.

– Прости, прости меня, блин, Боря, ради бога, прости, пожалуйста!

В тот день я, кажется, впервые в жизни сознательно причинил кому-то физический вред. Боря лежал на мраморном полу, его трясло, пальцы согнулись неестественно, как у инвалида. Продавец шокеров утверждал, что они абсолютно безопасны, но я все равно был не готов к тому, что увидел.

– Боря, ради бога, прости, прости, пожалуйста. Мне просто нужно войти. Прости меня.

Второго охранника я вырубил на выходе из туалета, затем подключился к компьютеру в фойе, спалил сигнализацию и вырубил все лифты, включая тот, что в соседнем крыле. Путь был свободен, и я пешком стал подниматься в офис. Сколько еще в здании охранников, я не знал, поэтому очень торопился.

Всего шесть этажей. По два пролета между этажами. По девять ступенек в пролете. Сто восемь ступенек. Я повторял путь, который почти год назад, – триста четырнадцать дней, если быть точным, – прошел Костя. Он ведь тоже тогда обезвредил охрану и

обесточил лифты – и вот теперь, – черт! я ведь иду по его стопам. Буквально. Я был загружен, зрение барахлило, – синеватые ореолы света вокруг лампочек, слепящий алюминий перил, краска на стенах цвета мятной жвачки, – и пока поднимался вверх, – второй этаж, третий, четвертый, – мне казалось, я вижу перед собой Костину спину, словно иду следом за ним, повторяю его траекторию, пошагово, – а он впереди, в одной из своих дурацких, кислотных, калейдоскопических рубашек. До меня вдруг дошло, что все это время я давил в себе чувство вины перед ним; на самом деле все эти триста четырнадцать дней мне было стыдно, потому что где-то в подкорке, подсознательно, я понимал, как малодушно поступил, когда молча встал на сторону ИИ и позже сделал вид, что Кости просто нет и что он сам во всем виноват. Когда я только пришел в Компанию, именно Костя первое время возился со мной, хотя и не обязан был.

Четвертый, пятый этаж – черные трафаретные цифры на стенах цвета мятной жвачки.

Костя ведь в принципе один из немногих людей, которым было не плевать на меня. А потом его выгнали, а я – за все это время, – за все эти триста четырнадцать дней, – я даже ни разу не позвонил, не написал ему, не поинтересовался, как у него дела.

Я ведь даже не извинился перед ним. Хотя сейчас вдруг со всей ясностью понял, что должен был. Сразу. Еще тогда.

Что со мной не так? Я плохой человек? Или просто трусливый? И есть ли разница?

Ближе к шестому этажу я, удивив самого себя, заплакал; я забежал в офис и заблокировал двери; затем завернул в уборную, меня вырвало прямо на черно-белый кафельный пол – руки дрожали, как у алкоголика: господи, что же я делаю? Какого хрена я делаю, а? – я заскочил в комнату отдыха, отломал пару ребер у тираннозавра Гоши и двинулся к кабинету Ивана Ильича. Он видел, как я иду по коридору, видел сквозь стеклянные двери, ждал, что я войду, но я сунул ребра тираннозавра за ручки двери и хорошенько зафиксировал. Иван Ильич нахмурился, я помахал ему рукой и спустился вниз, открыл электрощиток и обесточил его кабинет – теперь он не сможет отключить меня от сети. Пусть посидит там, в темноте, в этом кабинете-аквариуме, подумает над своим поведением. За спиной уже раздавался грохот – я слышал, как он пару раз толкнул дверь, но тщетно.

Дальше – дело техники. Я хорошо знал эту сеть, знал, куда лезть и что ломать, – на все про все минут восемь, не больше. Скрипты уже давно готовы.

Но через пять минут стало ясно, что надо торопиться. Раздался звон стекла – Иван Ильич разбил одну из дверей

металлической ножкой стула. Это был мой просчет – я-то ведь думал, он параноик, и был уверен, что стекла в кабинете бронированные. Но не тут-то было.

Он вышел в коридор и стал медленно спускаться по лестнице. А я отчаянно множил строчки кода на экране – ну же, ну же, давай же, еще чуть-чуть.

– Могу я узнать, чем ты занят? – ИИ остановился на последней ступеньке лестницы. Я ждал угроз – думал, направит на меня пистолет, накинется или просто отключит мой комп от сети, но он стоял там и выглядел скорее растерянным, чем разозленным.

– Егор, отойди от машинки.

Я молча продолжал стучать по клавишам, словно не слышал его.

– Это приказ.

– Вы не можете мне приказывать, я тут больше не работаю. – И да, я знаю, это был неумный и некрасивый жест, но: я показал ему средний палец. – Вот мое заявление об уходе, – и этим же пальцем нажал на enter.

В кино за такой эпичной сценой обычно следует монтажная склейка – и зритель видит серверную, или возгорание, или любой другой пафосный видеоряд, запущенный кнопкой enter, но мы были не в кино, поэтому дальше просто повисла неловкая пауза.

Все это было тоскливо. Я ждал, что он скажет что-нибудь, разозлится, расплачется, кинется на меня. Но он лишь стоял там, возле лестницы. Затем выдохнул устало, сделал пару шагов и опустился в ближайшее кресло. Только тут я заметил, как сильно он постарел за последнее время: морщины на лбу и в углах рта углубились, виски поседели, теперь, когда он сидел вот так, в профиль, согнувшись, осунувшись, я четко видел второй подбородок.

Он посмотрел на меня искоса, потом куда-то вверх.

– Почему тревоги нет? По идее в серверной сейчас пожар начнется.

– Я все вырубил.

Снова пауза – тягучая, долгая. Все это так странно – ведь он не приложил никаких усилий, чтобы остановить меня. И теперь совсем не пытался прервать процесс, минимизировать потери. Он просто ждал, как и я.

– Сейчас система рухнет, и система ослепнет. Но через час, максимум через два ее восстановят. Ты не успеешь сбежать.

– Вы и правда не понимаете, да?

Он быстро поднял голову, посмотрел на меня – словно думал, что ослышался.

– Тогда зачем ты?.. – кивнул на компьютер.

– Они выехали за моим братом.

И снова пауза. Я слышал звуки сирен вдали – ну нет, вертухаи ездят без сирен. Это «скорая»? Или просто полицейские? Выглянул в окно – пустая площадь, возле ПС все еще орудует метлой одинокий дворник в оранжевом комбинезоне. Отсюда он и правда похож на монаха.

– Выехали, значит, – сказал Иван Ильич. – Столько работы, столько сил. Десять лет, сотни рабочих мест. И ты вот так просто хочешь спалить все это. – Он достал из нагрудного кармана пачку сигарет, вытряс одну, зажег, затянулся. Рука дрожит. Посмотрел на меня, выдохнул дым. – А я ведь говорил твоему отцу, что взять тебя в Компанию – плохая идея.

Петро

Воздух в вагоне был душный и неподвижный, словно осязаемый. Запах старой газетной бумаги. Первый блокпост был позади, мы въехали в буферную зону. Поезд остановился прямо перед Стеной, на границе, его отогнали на запасной путь, где он остановился в ожидании разрешения на проезд через шлюз. Беспокоиться не о чем, сказал Карский, обычная формальность, проверят только документы, в вагоны лезть не будут: произведения искусства под защитой Минкульта.

– Можете даже выйти, подышать свежим воздухом, – сказал он.

И я вышел. Мы так торопились покинуть квартиру, что совсем не захватили еды, и теперь у меня сводило желудок от голода. Вдали в небе – лучи прожекторов. Ночь как засвеченная фотография. Звезд не видно, зато отлично видно три вышки – их силуэты на горизонте похожи на «Скорбящих матерей» Вадима Сидура. Воздух такой густой и душный, что звук шагов кажется смазанным, словно доносится из-под воды.

Я все не мог поверить, что мы уезжаем. Сел прямо на задницу, в траву, подбирал комья земли и разглядывал их – бессмысленное действие, но меня успокаивало. Я видел летучих мышей, они летали быстро и прямо, как брошенные кем-то камни. И я вдруг понял, что никогда не замечал, как они поворачивают при полете. Они вообще умеют поворачивать?

Потом еще какой-то звук в тишине – шорох гравия, словно кто-то поскользнулся, спускаясь по насыпи. Затем – шаги. Они удалялись.

Я встал и вгляделся в даль. В высокой траве увидел только голову и рюкзак. Рюкзак узнал сразу. Это Марина. Она шла в сторону лесополосы – быстро, уверенно, не оборачиваясь.

Я уже было открыл рот, чтобы окликнуть ее, но сдержался, вспомнив, где нахожусь. Я бросился за ней, настиг уже в лесу, под кронами сосен. Луна светила ярко, свет пробивался сквозь ветви, и я отчетливо видел силуэт впереди. Тогда я окликнул ее вполголоса, и она резко обернулась – испуганная, бледная.

– Что ты здесь делаешь?

– Я? Это *ты* что здесь делаешь?

– Возвращайся назад.

Обернулась и, ускоряя шаг, пошла дальше.

– Эй!

Я снова бросился за ней:

– Марина!

Она зашипела:

– Твою мать, перестань орать, придурок! Мы в ста метрах от блокпоста.

– Ты ведь в курсе, что мы еще не пересекли границу? – спросил я.

– Возвращайся назад. – Тон матери, которая пытается осадить непослушного сына. – Я тоже скоро вернусь. Обещаю.

– Неа, так не пойдет. Ты меня совсем тупым считаешь?

Мысли путались, я пытался понять, что она делает и зачем. Зачем пытается уйти в лес в буферной зоне? Какой в этом смысл? Первая мысль: она что-то украла. Неужели все так банально? И она просто пытается стащить одну из картин Караваджо?

– Что у тебя в рюкзаке? – спросил я.

Она устало выдохнула:

– Петро, пожалуйста, прошу тебя, иди назад.

– Нет, пока не покажешь рюкзак. Или я сам в него загляну.

Я сделал шаг навстречу, и она достала нож – небольшой, матовый, из какого-то полимерного материала, из тех, что можно пронести через металлодетектор.

Я смотрел ей в глаза и видел – блефует. Она в ужасе, в панике, не знает, что делать. Рука дрожит.

– Ты совсем рехнулась?

– Прости.

Я сунул руку в карман и нащупал камень – тот самый, булыжник из детства, предполагаемый фрагмент рухнувшей Берлинской стены. Достал его и швырнул в нее – в грудь, она вскрикнула от боли и под тяжестью рюкзака повалилась назад, я накинулся на нее, отобрал нож, прижал к земле и расстегнул рюкзак. Из него на траву высыпалось несколько серых брусков, похожих на хозяйственное мыло. Сперва я даже испытал облегчение: значит, она не воровка. Но…

– Что это за хрень такая?

– Ты цепочку мне порвал, мудак, – хрипела она. Выбравшись из лямок рюкзака, она теперь шарила руками в траве.

– Я спросил: что это за херня?

Она не отвечала. Я принюхался и снова почуял запах, тот самый, который там, в поезде принял за ее дезодорант. Он исходил из рюкзака, пахли те самые бруски. Меня бросило в пот от ужаса, до меня, наконец, дошло, откуда я знаю этот запах – синтетическая взрывчатка. Точно такую же Грек когда-то использовал как пресс-папье. Я хотел что-то сказать, но в голове летали какие-то обрывки фраз, как летучие мыши. Глупые и бессмысленные. Я не мог выдавить ни слова. Впервые в жизни я понял, что значит «потерять дар речи», – именно это и

произошло.

Казалось, меня стошнит, я стоял на коленях, склонившись над рюкзаком со взрывчаткой, уперся ладонями в землю и тут же почувствовал под пальцами цепочку и кольцо. Эта находка вернула меня в чувства.

– Нашел, – сказал я.

Марина кинулась ко мне, но я оттолкнул ее.

– Нет. Сначала говори. Что это? Что за херня?

Секунд десять мы молча смотрели друг на друга, шумно дышали в темноте. Вокруг – сверчки и сосны. И шорох летучих мышей.

– Ты ведь не собиралась бежать из страны, так? – Я кивнул на рюкзак. – Ты нас использовала. Чтобы протащить рюкзак с этой дрянью в буферную зону.

Молчит.

– Говори!

– Ты уже сам все сказал. Дай кольцо. – Она протянула руку. Я размахнулся и сделал вид, что швыряю его в заросли. Марина сдавленно закричала и кинулась следом, но быстро поняла, что кольцо все еще у меня в руке.

– Сейчас кину, – сказал я. Говорил я с трудом, скулы сводило от ярости. – Или еще лучше: расплавлю твое кольцо нахер, зажигалкой.

– У тебя нет зажигалки. Ты не куришь.

Она снова замерла, смотрела на меня, пыталась понять – блефую ли. Я поднял брусок взрывчатки и швырнул в заросли. Потом еще один. И еще.

– Стой! – Она выдохнула, села на землю. – Я расскажу.

Она тихо выругалась, воздух вокруг нее словно вибрировал, я чувствовал, как она дрожит. Еще пару секунд она молчала.

– Я не закончила историю. У тебя диктофон с собой?

– Я запомню. Говори.

* * *

– Саша. В последний раз я видела ее там, у выхода из аэропорта, ее заталкивали в черный мерседес.

Пауза.

– И?

– Она мертва.

– Откуда ты знаешь? Есть ведь и другая теория. Что это была инсценировка.

– Нет, я не верю. Она не могла бросить меня. Не могла. В

официальном отчете в графе «причина смерти» стоит «самоубийство». Повесилась в камере предварительного заключения. Это чушь, «товарищи майоры» просто заметали следы, я это знаю, но не могу ничего доказать – тело родственникам так и не выдали, а заключение судмедэксперта «потерялось». Месяц назад хакеры-анонимы выложили в сеть содержимое взломанных почтовых ящиков нескольких больших начальников. В переписке упоминалась и Саша. Точнее – Графт. И заключение судмедэксперта, которое приказали уничтожить. Знаешь, что там было – в заключении? – Голос ее дрожал, она шмыгала носом, но не плакала. – Ожоги от сигарет на лице, два вырванных ногтя на левой руке и сломанный средний палец – на правой. Они тушили об нее сигареты, Петро.

Повисла тишина – болезненная, невыносимая.

– И что теперь? Кого ты собралась взрывать?

– Стену. Мы давно хотели провернуть такую штуку – символический жест. Взрыв Стены, понимаешь? Саше нравилась эта идея. Я хочу закончить ее дело.

– Так это все – просто очередной перформанс? Ради искусства?

– Возможно. Не знаю. Просто довожу до конца то, что она не смогла. Как ты – с маминым романом.

Она не шутила. И мне стало не по себе.

– Ты хоть сама себя слышишь?

Снова тишина.

– Я не могу, – сказала Марина. – Я не могу, понимаешь? Я должна что-то сделать. Я больше не могу молчать. Я уже промолчала один раз, тогда, давным-давно, в детстве, когда измывались надо мной. И до сих пор жалею об этом. Я не могу молчать. Больше не могу. Они не понимают слов. У них другой язык. Вот он, – она достала из рюкзака брусок взрывчатки, – их алфавит.

И снова замолчала, надолго. Как будто надеялась, что я начну ее отговаривать, найду слова – но я не знал, что сказать, я лишь чувствовал, интуитивно знал, что она ошибается.

– Ты совершаешь ошибку, – пробормотал я.

Она хлопнула меня по плечу, и я почувствовал укол.

– Через минуту ты вырубишься. Не бойся, это не опасно. Прости, что так по-дурацки все. Когда ты проснешься, все уже закончится.

Я потянулся к ней, но рука онемела – меня словно придавило к земле. Язык распух во рту, голова наполнялась туманом. Ночь поплыла перед глазами, как чернильная клякса.

Она взяла кольцо на цепочке, помедлила и – вложила его

обратно мне в ладонь.

– Вот, возьми. Отдашь, когда вернусь.

Но она не вернулась.

Эпилог

Когда мы, беженцы, обосновались в Берлине, я каждый день читал новости с родины, надеясь узнать о Марине хоть что-нибудь. Она взорвала Стену, как и обещала, и этот взрыв стал в некотором роде ее лебединой песней – перерождением Графта, – на месте взрыва она оставила граффити – то самое геральдическое сердце, похожее на фрагмент витража. Она продолжила дело Саши, только теперь в качестве материала для своего искусства использовала не пенолатекс и не силикон, а взрывчатку.

Не знаю, где и когда она научилась всему этому – скорее всего у нее были еще какие-то друзья и «увлечения», о которых она умолчала, когда под запись рассказывала мне свою историю. Потому что я почти уверен, что все, что она натворила потом, невозможно сделать в одиночку и без специальной подготовки.

Ее работы становились все более жестокими и странными – сперва они выглядели просто как вандализм, опасная игра: одним из самых известных перформансов «нового Графта» стала серия «работ» под названием «Сломаем четвертую стену»: у здания полицейского участка в южном районе Москвы ночью отвалилась стена, я видел сообщение об этом в новостях. Зрелище впечатляющее: одна из стен аккуратно, по шву отделилась от здания и упала на землю, и сквозь открытые окна в ней пробивались ландыши («Упала на клумбу», – пояснил репортер). Завораживающее зрелище, скажу я вам: я видел полицейский участок в разрезе, все комнаты и кабинеты насквозь, словно обладал рентгеновским зрением, словно смотрел на сцену с огромными пятиэтажными декорациями. Казалось, сейчас прозвенит звонок об окончании антракта, и на авансцену выйдет какая-нибудь Нора Хельмер.

«Мы уже проводим оперативную проверку, это определенно террористический акт, виновные будут наказаны», – сообщал усатый полицай репортерам, стоя на фоне этой причудливой инсталляции. Он старался сохранить лицо, хотя по каплям пота на лбу над верхней губой было ясно, что он в ужасе: кто-то прямо у него под носом за ночь отделил стену от здания, промазав каждый шов стены термитом (смесью алюминия, оксида железа и никеля); и даже успел оставить свою подпись на заборе, прямо напротив участка: Графт.

В течение года Графт совершил еще несколько подобных «нападений» на полицейские участки. В последнем случае были жертвы – и тогда стало ясно, что Марина зашла слишком далеко.

Мне было страшно думать, что это она. Я чувствовал вину перед ней из-за того, что не смог отговорить, остановить ее тогда, там, в темноте, в лесу, в буферной зоне. Ведь у меня было время, она давала мне возможность привести доводы, выступить адвокатом, – но я был так напуган и сбит с толку, что с трудом соображал.

– Перестань страдать фигней, ты бы не смог ее отговорить, – ворчал Грек. – Если кто-то перешел черту – пусть идет к черту. Мы ей ничего не должны. Ты не должен. У тебя какая-то особая разновидность стокгольмского синдрома, вот и все.

Новость о ее аресте настигла меня в берлинском метро, по пути домой. Я знал, что рано или поздно это случится, но всегда надеялся, что Марина сама остановится и просто исчезнет – найдет в себе силы начать новую жизнь. Мы же смогли – и она сможет. Я сидел там, в вагоне, смотрел на экран планшета, и, наверно, у меня было что-то не так с лицом, потому что старушка, сидящая напротив, спросила, хорошо ли я себя чувствую, и предложила воды. А я – я смотрел на экран, на фото Марины: вот она стоит у серой стены и смотрит в объектив, ее арестовали и теперь судят – взгляд потухший и злой. Взгляд выжженного изнутри человека.

Ей дали пожизненное, а потом, когда началась «новая оттепель» и границы снова открыли, Великая Русская стена рухнула. Или, если быть точным: ее так и не смогли достроить, что тоже очень символично и очень по-русски. Режим Боткина просто протух и развалился. Я приезжал в Россию и пытался встретиться с Мариной, чтобы вернуть кольцо на цепочке, но она отказалась от встречи.

С Егором все было еще сложнее – он тоже сидел в тюрьме. Сразу по нескольким статьям, но самым тяжким обвинением было «убийство по неосторожности». Той ночью, ворвавшись в офис Компании, он использовал шокер против охранника с имплантом в голове. Имплант не выдержал напряжения в четыре миллиона вольт, его замкнуло, что привело к кровоизлиянию в мозг. Борис Ефимов, охранник Компании с десятилетним стажем, отец двоих детей, впал в кому и скончался спустя сутки в реанимации.

Егор, кажется, так до сих пор и не простил себя за это. Когда я приезжал к нему в последний раз, он передал мне рукопись – свои воспоминания, чтобы я мог использовать их в мамином романе. Почти половина рукописи состояла из извинений перед родственниками Бориса Ефимова. Я вырезал эти фрагменты.

* * *

Жизнь в изгнании стала для всех нас испытанием, я, как Набоков когда-то, передвигался по Берлину и зарабатывал репетиторством – учил языкам соседских детей: французский, испанский, английский – наконец-то они пригодились, кормили семью на протяжении всей нашей «берлинской жизни». Оля долго не могла найти работу из-за плохого немецкого, но через полтора года втянулась. Сложнее всего, конечно, было Леве – его вырвали из привычной языковой среды и швырнули в новую: тут все было другое – язык, темперамент, игрушки. Он отдалился от нас, стал молчалив и замкнут – он больше полугода со мной не разговаривал, и эти шесть месяцев и десять дней стали для меня даже большим испытанием, чем эмиграция.

Что же касается Грека – он нашел себе новую идею-фикс, – он все не оставлял надежды найти «сбежавшего президента» и доказать, что тот сумасшедший и совершенно непохожий на Боткина «двойник», из-за которого у нас [предположительно] и начались проблемы с силовиками, был прав – и нашей страной действительно управляют некие серые кардиналы [или, скорее, колесо решений], используя образ президента Боткина в качестве фасада, симулякра самодержавия. Он даже начал писать свою книгу-расследование, которую так и назвал «Двойник», где, в сущности, рассказывал именно о том, как колесит по Китаю, пытаясь найти следы европейца, «похожего на президента». Мы с Олей больше не пытались вмешиваться в его отношения с реальностью, просто молча наблюдали – «чем бы дитя ни тешилось…» – говорила Оля.

Ему это даже почти удалось – найти Боткина: в Шанхае он отыскал людей, которые утверждали, что шесть лет назад в городе открылся магазин рыболовных снастей, хозяин которого, лысеющий низкорослый дядька с диким русским акцентом, целыми днями сидел на табуретке у входа в магазин, с блаженным видом пил баночное пиво, читал русские газеты и иногда, щурясь, подставлял солнцу лицо, как довольная ящерица. Что же касается внешности, тут показания очевидцев расходились: одни говорили, что дядька этот был весел и добродушен и мог часами говорить о блеснах и мормышках, другие подтверждали, что один глаз у него всегда был прикрыт, и он словно смотрел на прохожих с подозрительным прищуром, а левый уголок рта был всегда опущен, так, словно дядька выражал крайнее недовольство новостями из русской газеты.

Впрочем, Грек так и не смог найти этого таинственного старичка. Один из жителей района – хозяин булочной через дорогу от магазина рыболовных снастей – рассказывал, что где-то за год до появления Грека в городе точно так же появился какой-

то подозрительный европеец, в деловом костюме, темных очках и с желтыми зубами, который очень интересовался жизнью хозяина магазина рыболовных снастей. Через неделю он исчез – точнее: оба они – и подозрительный тип, и таинственный русский рыболов; и магазин рыболовных снастей закрылся в ту же ночь, а уже через месяц там открылось турагентство.

Никаких фотографий и доказательств Грек достать не смог, и даже хуже: никто из свидетелей не помнил, была ли у «русского» родинка на правой щеке, «как у Роберта де Ниро». А Грек так и продолжал колесить по Китаю, надеясь все же отыскать мифического сбежавшего президента и дописать свою книгу.

Впрочем, это его история, не моя; моя закончилась иначе. В какой-то момент я понял, что мамина рукопись – единственное, что связывает меня с Россией, и потому я с особым трепетом всегда доставал черновики и работал над ними. Я все еще не знал, как закончить текст, но штука в том, что я и не хотел его заканчивать – я чувствовал, боялся, что если наконец поставлю точку, то эта нить, пуповина – единственное, что связывает меня с настоящей Россией, страной, в которой я вырос, – порвется.

И мне было страшно.

И все восемь лет изгнания я писал мамин роман, собирал его как пазл, перечитывал первую часть, вспоминал и оплакивал свое детство.

Но нет, дальше тянуть нельзя, ведь я обещал. Нужно поставить точку.

Я все доделал, мам. Я дописал твой роман.

2012–2017

notes

Примечания

1

Ладно, шучу, не было такой школы; но если бы была, меня бы и туда записали.

2

Красть шутки у Вуди Аллена нехорошо. – *Примечание Егора*.

3

Это вранье, я всегда умел понимать иронию. И в тот момент это была шутка. – *Примечание Егора.*

4

Пошел в жопу! – *Примечание Егора.*

5

Отличное название для романа, кстати. Возьми на заметку. – *Примечание Егора.*

6

На самом деле мама это выдумала. То есть не совсем выдумала. Такой случай действительно имел место, только не с отцом, а с немецким математиком Давидом Гильбертом. – *Примечание Егора.*

7

Отец говорил, что страсть к строительству заборов появилась у русских после падения Советского Союза. В СССР у людей не было личного пространства, у них вообще, кажется, не было ничего личного, все вокруг принадлежало условному «народу»: квартиры, бани, туалеты, – и потому, когда все это рухнуло, первое, что сделали люди – начали строить заборы. И стены. И ограждения. Как в том рассказе Джека Лондона, помнишь? Там человек заблудился, целый месяц блуждал по Аляске и чуть не умер, чуть не сошел с ума от голода. А потом его спасли, и всю оставшуюся жизнь он прятал в матрасе хлеб и фрукты – боялся, что голод вернется. Вся штука в том, что спрятанные продукты он никогда не ел, и они гнили прямо там, под ним, в матрасе, и от него всегда воняло. Примерно так же дела обстоят с нашей русской страстью к заборам: мы убедили себя, что заборы охраняют нашу приватность, на самом же деле они лишь умножают наше одиночество. Прости, брат, я тут решил поумничать в чужом романе. Все, закругляюсь. – *Примечание Егора.*

8

Позже я узнал, что эта сельскохозяйственная метафора с «проектированием початков» – стандартный пример, который все специалисты по машинному обучению используют, чтобы проиллюстрировать свою цель. – *Примечание Егора*.

9

О господи, сколько пафоса! Тоже мне, Питер Пэн! – *Примечание Егора.*

10

Неточная цитата – слишком мало «никогда». – *Примечание Грека.*

11

Какой-то слишком интеллигентный следователь тебе попался. Как гладко разговаривает. – *Примечание Егора**.

* Ну вот чего цепляешься вечно? Какой попался, такой попался. Думаешь, я выбирал его? «А можно всех посмотреть?» – *Примечание Петро к примечанию Егора*.

12

А вот тут, Петро, память тебя подвела: там было не «правоохранительный», а «детородный». – *Примечание Грека*.

13

С одной оговоркой: Лертский вокзал, с которого Бертольд отправлялся в Лейпциг, был уничтожен во время Второй мировой, мы же сели на поезд на Центральном вокзале. – *Примечание автора.*